1 р. 80 к. Индекс 73276

Дорогие друзья «Невы»!

1991 год выдался трудным для всей страны. Нелегок он и для нашего журнала. Разрыв прежних хозяйственных связей, нарушение договорных отношений, отсутствие бумаги — все это привело к существенной задержке сначала одиннадцатого и двенадцатого номеров прошлого года, а затем и первых номеров нынешнего. Редакция старалась сделать все, от нее зависящее, чтобы с наименьшими потерями выбраться из этой сложной ситуации, снова войти в нормальный график. Надеемся, в дальнейшем вы будете получать «Неву» своевременно, как это и было всегда, на протяжении почти сорока лет существования журнала.

Сейчас вы опять оказались перед непростым выбором: каким изданиям отдать предпочтение, на какой журнал подписаться?

Судя по вашим письмам и отзывам, многие подписываются на «Неву» прежде всего потому, что это журнал ленинградский, что каждый его номер — это словно бы весть из Ленинграда — Петербурга, города, который дорог многим и многим жителям нашей страны. Именно поэтому ленинградский, петербургский стиль станет главенствующим в нашем журнале. На страницах «Невы» появятся новые рубрики: «Двенадцать коллегий», «Петербургские трущобы», «Сенатская площадь», «Городские чудаки», «Физиология города» и другие. Что будет в этих рубриках, вы узнаете, получив первые номера «Невы» 1992 года. Надеемся, журнал вас не разочарует.

В будущем году вас ожидают встречи с известными писателями, постоянными авторами «Невы». Это Л. Чуковская и Д. Гранин, В. Конецкий и братья Стругацкие, И. Меттер, Я. Гордин, А. Житинский, М. Чулаки. Редакция продолжит публикации произведений, созданных авторами русского зарубежья — А. Зиновьевым, А. Белинковым, Б. Хазановым, А. Львовым, Ю. Гальпериным.

Ждут вас и новые литературные открытия: в будущем году мы намерены постоянно отдавать страницы журнала молодым, ярко заявившим о себе авторам, а также тем, чьи рукописи поступают к нам, как принято говорить в редакциях, «самотеком».

Широко будет представлена и зарубежная литература: в частности, мы продолжим публикации произведений лауреатов Нобелевской премии.

Литературное и философское наследие мы планируем представить такими именами, как Л. Н. Толстой, А. И. Куприн, Д. Оруэлл, А. М. Ремизов, Ф. Хайек, Б. К. Зайцев, А. П. Остроумова-Лебедева.

Таковы наши стратегические планы. Жизнь, однако, вносит свои коррективы, и мы, возможно, преподнесем вам сюрпризы, предоставив страницы «Невы-92» произведениям неожиданным, как это случилось с повестью В. Суворова «Аквариум», главы из которой вы держите сейчас в руках.

Как и прежде, актуальной будет политическая публицистика «Невы». Однако мы все уже начинаем уставать от политической ожесточенности, от бескомпромиссной борьбы, нередко приобретающей все более крайние, порой отталкивающие формы. Поэтому, не закрывая острые, злободневные темы, и в художественной прозе, и в публицистике мы намерены публиковать произведения, где речь идет об общечеловеческих ценностях — о добре и зле, о любви, о сострадании, о силе и красоте духа и души человеческой. Не возвращаясь вновь и вновь к «вечным темам», нам с вами, дорогие читатели, не справиться с предстоящими трудностями.



«Нева», 1991, № 7, 1—208

НЕВА 7/1991

7/1991

ISSN 0130—741X

Нева



У Инженерного замка
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

7/1991

Выходит
с апреля
1955
года



Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Главный редактор Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. БИТОВ
И. И. ВИНОГРАДОВ
Е. И. ВИСТУНОВ
(заместитель главного редактора)
Д. А. ГРАНИН
Б. Г. ДРУЯН
М. А. ДУДИН
В. В. КОНЕЦКИЙ
Н. М. КОНЯЕВ
Н. П. КРЫЩУК
С. А. ЛУРЬЕ
Е. Н. МОРЯКОВ
Е. В. НЕВЯКИН
(первый заместитель главного редактора)
В. В. ФАДЕЕВ
(ответственный секретарь)
Т. Н. ФЕДОРОВА
В. В. ЧУБИНСКИЙ

Старший технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Александр
ГОРОДНИЦКИЙ



Еще принимают в столице послов,
Бряцают победною медью,
Но скуден лотков и прилавков улов,
Когда-то заваленных снедью.
Еще набирает политик очки
И дарит на память автограф,
Но в темных глубинах глухие толчки
Внимательный ловит сейсмограф.
Еще мудрецы напрягают умы,
Воюют с рутиной имперской,
Не зная, что сгинем бесследно и мы,
Как сгинули греки и персы.
Сгорают в закате спокойные дни,
Назад не вернуться с утра им,
И жирное пламя повальной резни,
Клубясь, долетает с окраин.

Памяти Давида Самойлова

Его везли от собственных столиц.
Д. Самойлов

Его везли от собственных столиц,
Где был он лишь ненадолго —
проститься,
И вслед ему веселой вереницей
Тянулись стаи прилетевших птиц.
Его везли от площади Борьбы
(«С самим собой»,— так он шутил
когда-то),
Где лет минувших памятные даты
Как верстовые видятся столбы.
От подмосковных домиков и круч,
Заснеженных опушек невозвратных,
Где высветил его армейский ватник
Неугасимый моцартовский луч.
Его везли от собственных столиц,
Так увозили некогда другого,
И были так же сдержанно суровы
Измученные лица у возниц.
Шумела у обочины вода,
Зажегся день, недолгий,
словно спичка,
Быть вне столиц — вернейшая привычка,
При жизни и по смерти — навсегда.
Среди несчастий тяготиться счастьем,
Не слышать шума и дышать в дыму,
Быть ко всему, как Пушкин,
непричастным
И все-таки причастным ко всему.
Не все ль равно,
лежать в земле какой,—
Опалихе, Москве или Пернове,
Когда возможно воплотиться в слове,
Которое витает над Землей?
И устремясь к ему лишь видной цели,
Живущим дав несбыточный пример,
В конце строки вдруг умереть
нв сцене,
Как Сирано, как Гамлет, как Мольер.



Горько соплеменнику скажу я,
Гнева и печали не тая:
Не влезай в историю чужую,—
Не твоя ведь это, не твоя!
Отшумят в местечке спозаранку
Конский топот и собачий лай.
Черную не надевай кожанку,
Маузер к бедру не прицепляй!
Ты не верь, что всем голодным равен
В мировом, решительном бою,
Кровь чужую проливать ты вправе,
Если не жалеешь и свою.
Ну куда ты лезешь? Ну, куда ты,—
Жидок, узкоплеч, сутуловат?
Все они не будут виноваты,—
Ты один лишь будешь виноват.
Не свдись в чужие эти сани,
Жизнь свою не отдавай зазря,—
Пусть они приканчивают сами
Своего кроавого царя!

Эмиграция

«Мне говорят, что надо уезжать».
За окнами, хлебнув хмельной отравы,
Шумит чернорубашечная рать
И неотложной требует расправы.
Усердно за собой меня маня,
Предчувствуя неотвратимость
бедствий,
В дорогу собирается родня,—
Уже не эмиграция, а бегство.
А я вослед им говорю: «Пока,
Я опасаюсь временных пристанищ
В безмолвии чужого языка,
Который мне родным уже не станет».
Меня пугают: «Худшей из смертей
Умрешь ты здесь, растерзанный
и голый!»,
Мне говорят: «Пора спасать детей,—
Теперь не время думать про глаголы!
Недолгий срок тебе судьбою дан
Для нового открытия Америк.
Когда вскипает штормом океан,
Не время выбирать удобный берег».
Уже последний отзвенел звонок,
Но медлю я, приникнув, как Оаидий,
К родной земле, где я не одинок,
Где есть кого любить и ненавидеть.

Поминальная Польскому войску

Там, где зелень трав росистых,
Там, где дым скупого бытв,
Посреди земель российских
Войско польское побито.
Не в окопе, не в атаке
Среди сабельного блеска,
В старобельском буераке,
Да в хатынских перелесках.
Капитан и подхорунжий
Посреди березок стылых,
Их стреляли безоружных
Ближним выстрелом в затылок.
Резервисты из Варшавы,
Доктора и профессура,
Их в земле болотной ржавой
Схоронила пуля дура.
Серебро на их фуражках
Потускнело, потускнело,
Возле города Осташков
В месте общего расстрела.
Их зарыли неумело,
Закопали ненадежно,
Еще польска не сгинела,
Але польска сгинуть должна.
Капитан и подхорунжий
Стали почвой для бурьяна,
Но выходит рвы наружу,
Как гноящаяся рана,
Над планетой спутник кружит,
Вся на пенсии охрана,
Но выходят рвы наружу,
Как гноящаяся рана.
Там, где мы бы не хотели,
Там, где сеем мы и пашем,
Не на польском рана теле,
А на нашем, а на нашем.
И поют ветра сурово
Над землей, густой и вязкой,
О весне сорокового,
О содружестве славянском!

Старики

Мне жалко больных стариков,
Кончающих век в коммуналках,
Скупых ветеранских пайков,
Венков их общественных жалких.
В тайге зажигая огни,
Свой скарб умещая в котомке,
Горбатили спины они,
Чтоб счастливы были потомки.
Мне жалко больных стариков,—
Что в жизни они повидали?
Лоснящихся их пиджаков,
Где звякают дружно медали.
Они умирали в бою,
Черняшку глотали на завтрак,
И жизнь оставляли свою
На завтра, на завтра, на завтра.

Мне жалко больных стариков,
Наивных и непримиримых,
За то, что удел их таков,—
Дожить до падении Рима.
Свои переживших года,
Упасть не успевших в атаке,
Которым уже никогда
Родной не увидеть Итвки.
Мне жалко больных старнков,
За то, что не короток век их,
Что сгинуть им не от штыков,
Осколков и ложных наветов.
Что рухнули их образа,
А иремя несется по кругу,
И нам уже с ними в глаза
Смотреть невозможно друг другу.



Покуда рядом льется кровь,
В Баку, Оше и Андижане,
Где рушится домашний кров
И погибают горожане,
Пока предсмертный слышен вой
В толпой разгромленной больнице,
Где азиатский нож кривой
Живот взрезает роженице,
Пока на спорном рубеже
В бесцельной бойне гибнут люди,
Не говори — войны не будет,
Она объявлена уже.
Уже нам не проснуться вновь
В великой некогда державе,
Мы уважать себя не вправе,
Когда в России льется кровь.
Покуда сероликий люд
Евреев обличает зычно,
И автоматы продают
С затертым номером фабричным,
Кресты малюют на дверях
И назначают дни погрома,
И прилипает к пальцам страх,
И все слышней раскаты грома,
Из сил последних прекословь
Слюною брызжущей ораве,
Ты в стороне стоить не в праве,
Когда в России льется кровь.
Пока безмолвствует народ
И ждет развития событий,
А мать над гробом слезы льет
В Тбилиси или Сумгаите,
Пока рабочий предстачком,
С которым власть играла в прятки,
Внезапно падает ничком
С ножом, торчащим из лопатки,
Себя к решениям готовь.
Гражданские клубится войны,
И мы не можем быть спокойны,
Пока в России льется кровь!

Беженцы

Анаит Бесталашвили

Курчавая женщина сахар ссыпает в мешок,
И хлеб со столов собирает в пустынной столовой,
Дли худенькой девочки, смуглой и черноголовой,
И грустного мальчика с именем зиучным Ашот.
Им месяц назад предоставили временный кров
Под зимнею Рузой в пустом санатории этом.
На сто километров ни близких, ни родичей нету.
В ушах их — проклятьи, в глазах отражается кровь.
Крикливых и шумных, голодных и полубольных,
Куда их девать? — Ни жилья им здесь нет, ни работы.
Буфетчица Нина презрительно смотрит на них,
И окна в квартире им бьют по ночам патриоты.
И я вспоминаю военный забыишийся год,
Где с матерью вместе, покинув разрушенный дом свой,
По улице шли мы и, встав у тесовых ворот,
Смотрели нам в спину угрюмые жители Омска.
Беспечные люди, чьи мысли сейчас далеки,
Поскольку подобное с ними стрястись не могло бы,
Не завтра ли утром завязывать вам узелки
И, дом покидая, бежать от стремительной злобы?
Еще за столом собирается к чаю семья,
И вечер спокоен, и в кухне плита не остыла,
Но дымное пламя уже задевает края
Недолгих границ ненадежного вашего тыла.

Виктор
СУВОРОВ

АКВАРИУМ

Повесть

Глава VI

1

Мать-Россия, ты машешь мне детской рукой с железнодорожной насыпи, ты открываешь передо мной свои необозримые дали. Осинки, березки, елочки, разграбленные церкви, девочки на сенокосе, заводские трубы и опять дети на насыпи. Они машут мне вслед и улыбаются мне. Мосты, мосты. Десна-река прогрохотала стальными пролетами. Конотоп, Брянск, Калуга. Стучат колеса на стыках. Тук. Тук. Тук. Шумит вагон. В вагоне у нас пьянка. В вагоне все свои. Эшелон воинский. Чужих нет. В вагоне только военные советники. Будущие. И пьют обитатели вагона за свое будущее. За Десятое главное управление. За генерал-полковника Окунева. Пошла бутылка новая по кругу. Пей, капитан! За звезды! Больших звезд тебе, капитан! Спасибо, майор, и тебе тоже! Глаза горят. Глаза у всех горят. Мы все мальчишки, помешанные на войне. Разве мы шли в училища ради того, чтобы проверять, как у солдат сапоги вычищены? Нет, мы шли в училища как романтики войны. И вот они, счастливцы, которым Десятое главное управление даст такую возможность. За Десятку, братцы! За Десятку!

Много нас в вагоне. Артиллерия, летчики, пехота, танкисты. Еще день назад мы не знали друг друга. Но все мы уже друзья. И снова бутылка по кругу. За вас, ребята, за вашу удачу. За ваши звезды. А куда же меня черти несут? В моих документах числится Куба, но это только потому, что в группе нет никого другого на Кубу. Тут очень много в Египет, много в Сирию. Некоторые во Вьетнам. Если бы был кто-то действительно на Кубу, то мне придумали бы что-то другое. Кравцов, конечно, догадывается, предполагает, что Куба — только маскировка. Но ничего толком не знал и он. Кравцов. Генерал. Я видел его генералом. Но он был в запыленном комбинезоне и в голубом выгоревшем берете, такой же, как все, ничем не отличимый от солдат Спецназа. Я стараюсь представить его в настоящей генеральской форме с золотыми погонами и широкими лампасами. Но это не удается. Я представляю его всегда только так, как в момент нашей самой первой встречи: в чистенькой гимнастерке, с погонами подполковника, с лицом молоденького капитана. Успехов вам, генерал.

2

Красная Пресня — самый мощный военный железнодорожный узел мира. Эшелоны. Эшелоны. Эшелоны. Тысячи людей. Все за высокими заборами. Все под слепящим светом прожекторов. Эшелоны с танками в Германию. Эшелоны с новобранцами в Чехословакию. Лязг и грохот. Маневровые тепловозы формируют составы. На Дальний Восток эшелон с пушками. Вот какие-то контейнеры. Охрана вокруг, как вокруг Брежнева. Склады. Склады. Склады. Погрузка и разгрузка. Эшелон демобилизованных солдат из Польши. И тут же тюремные вагоны. Окна узкие и длинные. Окна закрашены белой краской. Окна в решетках. Красная Пресня — это не только военный центр, это пересыльная тюрьма. Солдаты с овчарками. Красные погоны. Тюремный эшелон медленно уходит в зону. Ворота огромные, стальные. Колючая проволока. Голубой слепящий свет. Тюремные эшелоны. В Бодайбо. В Череповец. В Северодвинск. В Желтые Воды. Огромные серые блоки военного пересыльного пункта. Группа советников в Южный Йемен! Пройдите в блок Б, комната 217. Советник на Кубу! Я. Капитан Суворов? Да. Следуйте за мной. Молодой стройный майор ведет меня мимо каких-то длинных заборов и штабелей из зеленых ящиков. Сюда, капитан. В небольшом дворике нас ждет санитарная машина с красными крестами. Пожалуйста, капитан. Дверь захлопнулась за мной и машина тронулась. Пару раз она останавливалась — наверное, проверка при выходе из запретной зоны. И вот меня везут по Москве. Я знаю, что везут не по прямой дороге, а по улицам большого города. Машина часто поворачивает и подолгу стоит у светофоров на перекрестках. Но это только мои предположения. Видеть я ничего не могу — окна в салоне матовые, как в тюремном вагоне.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6.

3

Удельное давление на грунт американского танка М-60? Какие противотанковые ракеты вам больше нравятся: американские или французские? Почему? Почему винтовые лестницы в замках закручиваются снизу влево вверх, а не снизу вправо вверх? Почему у телеги передние колеса маленькие, а задние большие? Что такое «три линии»? Почему в русской винтовке Мосина нарезы идут слева вверх направо, а в японской винтовке Арисака наоборот? Каковы принципиальные недостатки роторного двигателя Венкеля? Сколько весит ведро ртути? Какой тип женщин вам нравится? Сколько номеров журнала «Огонек» выпускается в год? Кто первым применил «вертикальный охват»? Что означает буква «Л» в названии советского истребителя-бомбардировщика «Су-7 БКЛ»? Если бы вам приказали модернизировать американский стратегический бомбардировщик Б-58, какие параметры вы улучшили бы в первую очередь? Почему на германских танках «пантера» была использована шахматная подвеска? В советской мотострелковой дивизии 257 танков, по вашему мнению это количество нужно уменьшить или увеличить? На сколько? Почему? Как это повлияет на организацию снабжения дивизии? Вопросы сыплются один за другим. Времени на обдумывание никакого. Только задумался — следует новый вопрос. Кто такой Чехов? Это снайпер из 138-й стрелковой дивизии 62-й армии. А Достоевский? Странные вопросы. Кто не знает Достоевского? Николай Герасимович Достоевский — генерал-майор, начальник штаба 3-й ударной армии. Они смеются. Это, капитан, немного не то, чего мы хотим, но твои ответы мы принимаем. Они тебя характеризуют очень ярко. Если мы иногда смеемся, не смущайся. А разве я когда-нибудь смущался?

4

Мне кажется, что мне задали миллион вопросов. Но позже я прикинул, что их было где-то около пяти тысяч: 50 вопросов в час, 17 часов, 6 дней. На некоторые вопросы приходится отвечать 5, а то и 10 минут. На другие уходят секунды. Иногда вопросы повторяются. Иногда один и тот же вопрос быстро повторяется несколько раз. Не надо нервничать. Отвечай быстрее. Не вздумай врать, не вздумай хитрить. Итак, сколько водки вы можете выпить за один раз? Вот фотографии десяти женщин. Какая вам нравится больше всех? 262 умножить на 16. Скорее. В уме. Это не очень трудно. Нужно сначала 262 умножить на 10, потом прибавить половину того что получилось, потом еще 262. Экзаменатор смотрит в упор. Скорее, капитан. Такая чепуха. Я смотрю в потолок. Я мучительно складываю все вместе. Я смотрю прямо перед собой. Какому-то моему предшественнику задавали именно этот вопрос, и он тоненьким карандашом выписывал все вычисления на зеленой бумаге, которой покрыт мой стол. Я хватаю готовый ответ, и тут же соображаю, что это просто провокация. Не могло быть у моего предшественника тоненького карандашика. Не мог он под сверлящим взглядом тайно делать вычисления на бумаге. Я сжимаю челюсти и бросаю свой собственный ответ: 4192. Я даже не смотрю на зеленую бумагу, покрывающую мой стол. Я знаю, что там заведомо неправильный ответ. А вопросы сыплются, как горох: как бы вы, капитан, реагировали, если мы вам предложим торговать арбузами?

Иногда в зале один экзаменатор. Иногда их трое, иногда пятнадцать. Вот двести фотографий, опознайте тех, кого вы видели в этой комнате за время экзаменов. Время пошло. Теперь выберите тех, кого вы видели в этой комнате только однажды. В этом тексте зачеркните все буквы «О», подчеркните все буквы «А», обведите кругом все буквы «С». На действия этого субъекта внимания не обращайте, как и на передачи радио. Время пошло. Субъект корчит мне рожи, старается вырвать мой карандаш, выбивает стул из-под меня. А радио надрывается: зачеркни «С», подчеркни «О»... Иногда во время экзаменов прямо в комнату приносят роскошный обед, иногда забывают. Иногда отпускают в туалет по первому требованию, иногда просить приходится по три раза. Каждый день они подводят меня к последнему рубежу моих умственных и физических возможностей. И я и они этот рубеж совершенно отчетливо чувствуем. Далеко за полночь я не раздеваясь валюсь на свою кровать и засыпаю мгновенно. Вот этого момента они и ждут: ослепительная лампа в глаза. 262 умножить на 16! Ну, скорее. В уме. Это так просто! Ты же уже на этот вопрос отвечал. Ну что же ты! 4192 — кричу я им. И свет гаснет.

5

Много позже я узнал, что тех, кто ответил правильно больше чем на 90 % вопросов, сюда не принимают. Очень умные не нужны. И все же главное в экзаменах — это не

установить уровень знаний. Совсем нет. Способность усваивать большое количество информации в короткое время при сильном возбуждении и при наличии помех — вот что главное. А кроме того устанавливается наличие или отсутствие юмора, уровень оптимизма, уравновешенность, способность к интенсивной деятельности, устойчивость настроения и многое другое.

— Что ж, парень, ты нам подходишь,— сказал мне на исходе шестого дня седой экзаменатор.— Организация у нас серьезная. Правила тут такие короткие, что понимает их даже тот, кто не хочет их понимать. Закон у нас простой: вход — рубль, выход — два. Это означает, что вступить в организацию трудно, но выйти из нее труднее. Теоретически для всех членов организации предусмотрен только один выход из нее — через трубу. Для одних этот выход бывает почетным, для других — позорным и страшным, но для всех нас есть только одна труба. Только через нее мы выходим из организации. Вот она — эта труба...

6

Я думал, что лицо полковника будет преследовать меня всю жизнь в ночных кошмарах. Но он не снился мне никогда. А думал я о нем много. И вот что мне непонятно. Объяснили мне, что любил он деньги, любил выпить, женщин любил. За деньги и продался иностранным разведкам. Допустим, что так. Но у него были великолепные возможности бежать на Запад. Но он не бежал. На Западе было бы ему вдосталь и денег, и вина, и женщин. А в Москве он деньги все равно тратить не мог. Да и не разгуляешься особенно.

Бабник сбежал бы к бабам и деньгам, а он не бежал. А он над крематорием балансировал. Отчего, черт подери? Я кручусь на горячей подушке и уснуть не могу. Первая ночь без экзаменов. А может, телекамера за мной по ночам смотрит? Ну и хрен с ней! Я встаю и показываю кукиш во все углы. Если вы за мной и сейчас следите, то завтра в Центральный Комитет меня не повезут. Потом я решаю, что недостаточно показать им только кукиш, и потому показываю телекамере, если она действительно есть, все, что могу показать. Утром посмотрим, выгонят меня или нет. Продемонстрировав все, что могу, я удовлетворенно улегся на кровать и тут же уснул в твердой уверенности, что завтра меня выгонят в Сибирь командовать танковой ротой, а если нет, то тут жить можно, и можно обходить контроль.

Я сплю в кровати блаженно и сладко. Я сплю крепко. Я знаю, что если меня в Аквариум примут, то это будет большая ошибка советской разведки. Я знаю, что если выход останется только один и только через трубу, то для меня этот выход не будет почетным. Я знаю, что и в своей постели я не умру. Нет, такие в своей постели не умирают. Ах, советская разведка, лучше бы ты меня сразу через трубу пропустила!

7

Меня вновь куда-то везут в закрытой машине с матовыми окнами. Я не вижу куда, и меня никто не видит. Куда же это меня: в Центральный Комитет или в Сибирь? Наверное, все же — в Центральный Комитет. Если бы в Сибирь, то мой чемодан со мной бы был, а раз нет чемодана, это может означать, что везут меня не насовсем, на короткий визит, с возвращением туда, откуда везут.

За окном шумит огромный город, значит, мы где-то в центре. А может быть, это Лубянка? У Лубянки на площади Дзержинского всегда такой шум, как от Ниагарского водопада. Мне почему-то кажется, что мы именно у Лубянки. Но в этом ничего странного: Центральный Комитет тут совсем рядом. Наша машина долго стоит, потом куда-то осторожно въезжает. Сзади лязг металлических ворот. Дверь открывается — выходите.

Мы в узеньком мрачном дворике. С четырех сторон высокие старинные стены. Сзади нас ворота. Сержанты КГБ у ворот. Несколько дверей выходят в мрачный дворик. У одних дверей тоже охрана КГБ. У остальных дверей охраны не видно. Сверху на карнизе воркуют голуби. Сюда, пожалуйста. Седой показывает какие-то бумаги. Сержант КГБ козыряет. Проходите. Седой знает дорогу. Он ведет меня бесконечными коридорами. Красные ковры. Сводчатые потолки. Кожаные двери. У нас вновь проверяют документы. Проходите. Лифт бесшумно поднимает нас на третий этаж. Снова коридоры. Большая приемная. Пожилая женщина за столиком. Подождите, пожалуйста. Седой чуть подтолкнул меня сзади и закрыл дверь за мной, сам оставшись в приемной.

Кабинет высокий. Окна под потолок. Вида из окна никакого. В упор смотрит глухая стена, и голуби на карнизе. Стол дубовый. Худой человек в золотых очках за столом. Костюм коричневый, никаких знаков отличия: ни медалей, ни орденов. Хорошо в армии — посмотрел на погоны, да и начинай говорить: товарищ майор, товарищ подполковник... А как тут начинать? Поэтому я никак не начинаю. Я просто представляюсь:

— Капитан Суворов.

— Здравствуйте, капитан.

— Здравия желаю.

— Мы внимательно изучали вас и решили вас принять в Аквариум, после соответствующей подготовки, конечно.

— Благодарю вас.

— Сегодня 23 августа. Эту дату, капитан, запомните на всю жизнь. С этого дня вы входите в номенклатуру, мы поднимаем вас на очень высокий ее этаж — в номенклатуру Центрального Комитета. Помимо прочих исключительных привилегий вам предоставляется еще одна, с этого дня вы не под контролем КГБ. С этого дня КГБ не имеет права задавать вам вопросы, требовать ответов на них, предпринимать какие-либо акции против вас. Если вы совершите ошибку — доложите о ней своему руководителю, он доложит нам. Если вы не доложите, мы все равно о вашей ошибке узнаем. Но в любом случае любое расследование ваших действий будет проводиться только руководством ГРУ или отделом административных органов ЦК. О любом контакте с КГБ вы обязаны докладывать своему руководителю. Благополучие ЦК зависит от того, как организации и люди, имеющие ранг номенклатуры ЦК, сумеют сохранить свою независимость от любых других организаций. Благополучие ЦК — это и ваше личное благополучие, капитан. Гордитесь доверием, которое Центральный Комитет оказывает военной разведке и вам лично. Желаю успехов.

Я четко козырнул и вышел.

8

Широкое озеро в лесу. По берегам камыш. Над обрывом березовая роща. Там, за высоким забором, наша дача. Крошечный пляж. Лодки вверх дном. На другом берегу тоже какие-то дачи бревенчатые. Тоже за зелеными заборами. Тоже под охраной. Зона тут особая. Дачи. Но дачи только для ответственных товарищей. И в эту дачную зону совсем не легко попасть. Дубовые рощи. Озера. Густые леса. Кое-где красные крыши. И вновь зеленые заборы. Проехать к нашему озеру только по одной дороге можно. Других путей нет. Как ни крути вокруг, а все время будешь в зеленые заборы упираться. За нашими заборами тоже чьи-то дачи. Кто-то там по волейбольному мячику стучит. Но нам не положено знать, кто там стучит. А ему к нам не положено заглядывать. А слева у нас забор выше, чем справа. Из-за того забора по вечерам музыка доносится. Очень приятная мелодия. Танго.

Дача у нас большая. Тут нас живет 23 человека. Но места хватило бы и на тридцать. У каждого по маленькой комнатке. Бревенчатые сосновые стены. Запах смолы. Маленький пейзажик на стенке. Огромная мягкая кровать. Книжная полка. Внизу холл с большим азиатским ковром. Мы встаем, когда хотим. И делаем, что нравится. Завтрак сытный. Обед скромный. Ужин роскошный. Вечерами мы сидим у камина. Мы пьем. Травим байки. Мы все в прошлом офицеры средних этажей советской военной разведки. В группе один подполковник. Два майора. Один старший лейтенант. Остальные капитаны. Один из нас в прошлом летчик-истребитель. Двое ракетчиков. Один десантник. Один командир ракетного катера. Военный врач. Военный юрист. В общем, очень цветастый букет. Мы пришли от разных начальников. Каждый из нас по каким-то причинам попал в фарватер какого-нибудь военного разведчика дивизионного, армейского или более высокого уровня. Каждого из нас кто-то отбирал в свою персональную группу. И вот именно из этих групп Аквариум выбирает своих кандидатов. Понятно, что забирая людей у руководителей разведки на низших этажах, Аквариум совсем не старался забрать всех или самых лучших. Нет. Если у Кравцова Аквариум сегодня заберет всех его лучших ребят, завтра Кравцов не будет выбирать свою свиту так кропотливо. Поэтому Аквариум отбирает людей у нижестоящих начальников очень осторожно, чтобы не отбить им охоту уделять выбору людей столь огромное внимание.

Я много сплю. Я давно не спал так крепко и так сладко. Утром я встаю поздно и иду на озеро. Погода пасмурная. Но вода теплая. И я плаваю очень долго. Я знаю, что этот сон и эта свобода ненадолго. Просто нам дают возможность расслабиться после экзаменов перед началом учебного года. И я расслабляюсь.

9

Быстрая дружба кончается долгой враждой. Я знаю это. И мои товарищи по группе тоже знают это. Поэтому мы не спешим в наших отношениях. Мы очень осторожно прощупываем друг друга. Мы болтаем о пустяках. Мы рассказываем не особенно острые анекдоты. Травим, одним словом. Нам пока можно пить. В огромном буфете обильный выбор: подходи и пей. Но мы пьем умеренно. Когда-то мы станем друзьями. Когда-то мы будем доверять друг другу. Когда-то мы будем поддерживать друг друга. Вот тогда мы и будем пить по-настоящему. Как настоящие офицеры. Но не сейчас.

Нас тщательно обмерили, и вот все мы уже в гражданских костюмах. Некоторым из нас суждено надеть форму, когда мы станем генералами. Некоторым придется остаться в гражданской одежде, даже став генералом. Такова служба.

10

— Меня зовут полковник Разумов Петр Федорович,— представился грузный человек в спортивном костюме с волейбольным мячом в руке.— Мне 51 год. Из них 23 я служу в Аквариуме. Работал в трех странах. За рубежом провел 16 лет. Имею 7 вербовок. Награжден четырьмя боевыми орденами и несколькими медалями. Я буду руководителем вашей группы. Вы, конечно, придумаете мне кличку. Чтобы вам не мучиться, я скажу вам несколько моих неофициальных кличек. Одна из них Слон. Слонами называют всех преподавателей и профессоров Военно-Дипломатической академии. А сама академия именуется — консерватория, когда речь идет о вас, о молодежи, или кладбищем Слонов, когда речь идет о нас — профессорах и преподавателях. Может, когда-то кто-то из вас тоже станет Слоном и придет сюда готовить молодых Слоников. А сейчас я хотел бы поговорить с каждым из вас отдельно.

— Капитан Суворов.

— Я, товарищ полковник.

— Называйте меня просто Петр Федорович.

— Есть.

— Забудьте это «есть». Вы остаетесь офицером Советской Армии, более того, вы подниметесь на самый высокий этаж — в Генеральный штаб. Но это «есть» на время забудьте. Вы можете не щелкать каблуками, когда говорите с начальством?

— Никак нет, товарищ... Петр Федорович.

— Первое тебе, Виктор, задание. Научись сидеть в кресле, слегка развалясь... Ты сидишь с ровной спиной, вроде как штык проглотил. Так гражданские дипломаты не сидят. Понял?

— Понял.

11

Меня давно вопрос занимал: как можно организовать тайную школу шпионов в центре огромного города, да так, чтобы никто не дознался. Чтоб никто нас не засиял ни по-одному, ни стайкой.

А делается все просто. Центральная глыба Военно-Дипломатической академии высится на улице Народного ополчения. Понятно, что никаких названий вы тут не увидите. Только оград узор чугунный, буйные заросли сирени, да колонны, да окна в решетках, да плотные шторы и часовые по углам. Но это — не главное. Тут учат только тех, кто будет работать в большой зоне, в соцлагере.

А нас, расконвоированных, тех, кто из лагеря выход иметь будет, готовят не тут. Слушатели основных факультетов разбросаны по всей Москве по небольшим учебным точкам. А где моя точка, я и сам не знаю...

Каждое утро в 8.30 я у Научно-исследовательского института электромагнитных излучений. Знаете, около Тимирязевского парка. Официально институт принадлежит министерству радиопромышленности. Но кому он на самом деле принадлежит и чем он занимается, мало кому известно. В сталинские времена был институтик маленьким совсем. Человек двести, не больше. И как память того времени — четырехэтажный дворец позднего сталинизма: фальшивые колонны да балкончики. Но рос быстро институт, и огромные шестиэтажные серые блоки — тому свидетели. Это хрущевская экономия. Силикатный кирпич. Хрущобы. А еще дальше стеклянные глыбы брежневского военно-бюрократического размаха. Все это перегорожено множеством стен на зоны и секторы. Проволока колючая, ролики белые. Предъявляйте пропуск в развернутом виде!

Много народу. Утренняя смена. Проходная в двенадцать потоков. На территории объекта не курить. Будьте бдительны! Болтун — находка для врага! Перевыполним план первого квартала! Не стой под грузом! Дробит проходная мощный поток трудовой интеллигенции на реки и ручьи. Течет серая масса по своим отделам да секторам. Скрипит тормозами маневровый тепловоз. Огромный ангар поглощает шестидесятитонные вагоны. Спешит научная братия. Молча толпа валит. Все секретные. Все совершенно секретные. Вход воспрещен! Предъявляйте пропуск в развернутом виде! Заборы бетонные. Заборы кирпичные. Трубы разноцветные. Зона 12-Б.

Над какими проблемами тут работают? Лучше не спрашивать. Еще раз пропуск предъявим. На пропуске множество шифрованных значков. Каждый сверчок — знай свой шесток. Каждый владелец пропуска только в своей, строго для него установленной зоне обитает. Без особых значков на пропуске — не выпустят тебя за зону твоего обитания. Наберем номер на диске — вот мы в ангаре. Тут вся наша группа собирается. Тут стоит огромный МАЗ с оранжевым контейнером. Наше место внутри. А там как в хорошем самолете: ковры да кресла удобные. Только окон нет. В 8.40, когда контейнер уже закрыт изнутри, появляется в ангаре водитель и гонит свой МАЗ по Москве. Водителя мы не видели никогда. Он даже не догадывается, что людей возит. У него работа такая: в 8.40 войти в ангар, сесть в машину и везти контейнер с неким очень опасным грузом через несколько кварталов в сосновый лес. Тут еще некий секретный объект, тоже ангар. Он загоняет контейнер туда, а сам выходит в комнату ожидания. По вечерам он делает еще один рейс. А в остальное время он другие оранжевые контейнеры по Москве гоняет. Может, со взрывателями к атомным бомбам, может, со смертоносными вирусами, которые способны сожрать человечество, может, с аппаратурой генетической войны. Откуда ему знать, что в контейнерах. Все они одинаковы. Все оранжевые. А зашибает он, видимо, здорово. На таких исследовательских центрах все здорово зашибают.

12

Из нашего оранжевого контейнера мы на землю прыг, прыг. В ангаре высоко под потолком воробей чирикает. Ему одному только секреты все видны: кто водитель у нас, кто по ночам ангар убирает, кто в таком же вот контейнере сюда к нам пищу возит и в столовой накрывает. Пока мы в зоне, никого тут нет из персонала. Столовая — и та как система клапанов устроена: если в ней открыта дверь в ангар и кто-то накрывает нам завтрак, то мы не можем проникнуть ни в столовую, ни в ангар. Потом звонок нам, как павловским псам,— готово. Тут уж мы в столовую входим, зато никому другим двери не откроются — автоматика. Кормят хорошо. Меня никогда так не кормили, даже в Чехословакии. И все же зона — она и есть зона, а наш контейнер мы зовем оранжевым вороном. В принципе нас, как зэков, возят, только с комфортом.

В особой книге я «спасибо» пишу за хороший завтрак и заказ на завтра. И скорее на занятия.

Все готовы? Все.

Пять минут подышать.

Дворик у нас аккуратный. Кусты сирени серые бетонные стены почти полностью закрывают — уют. Над сиренью проволока колючая. Что за той проволокой — увидеть нельзя. Только ясно, что там такие же полукруглые ангарные крыши, как у нашего бассейна и теннисного корта. Может, там другая учебная точка — такая же, как и у нас. А может, там польские или венгерские наши коллеги обучаются, а может быть, кубинские, итальянские, ливийские. Откуда нам знать. А может, там и не учебная точка, а секретная лаборатория или склад, а может, там тюрьма просто. По движению нашего оранжевого ворона я все пытаюсь направление по утрам угадать. Чудится, что возят нас совсем недалеко. И по направлению угадывается мне, что мы обучаемся где-то совсем рядом от Краснопресненской тюрьмы. Но точно установить, конечно, невозможно. А сосновых пролесков по Москве хоть пруд пруди, в том же Серебряном бору.

— Подышали? И будет.

Все в зал. Тут сейфы. В моем сейфе четыре тетради. В каждой по 96 страниц. Это на три года. Пиши конспекты убористо, больше запоминай. Хватай информацию с лету. Бумагу приучись экономить.

Тетрадь по разведке — в руку. Сейф — на ключ. И в зал.

Преподаватель от нас кисейной занавеской отгорожен. Потому он нас четко разглядеть не может, но и мы его четко не видим, хотя разговариваем без помех.

Все преподаватели и командиры — Слоны. Некоторые из них допущены к персональной работе с нами. Но большинство — может видеть нас только через полупрозрачный экран и называть только по номерам.

Каждый из них — волк разведки. Каждый провел много лет за пределами большой зоны. Но каждый из них был в провале и оттого превратился в Слона. Тот, кто в провале не был, продолжает работу в добывании или, по крайней мере, в обработке.

Провалившийся волк разведки включает системы защиты, от чего стены нашего спецсооружения плавно задрожали, и начинает:

— Вот так выглядит шпион.— Он показывает большой плакат с человеком в плаще, в черных очках, воротник поднят, руки в карманах.— Так шпиона представляют авторы книг, кинорежиссеры, а за ними и вся просвещенная публика. Вы — не шпионы, вы — доблестные советские разведчики. И вам не пристало на шпионов походить. А посему вам категорически запрещается:

а) носить темные очки даже в жаркий день при ярком солнце;
б) надвигать шляпу на глаза;
в) держать руки в карманах;
г) поднимать воротник пальто или плаща.

Ваша походка, взгляд, дыхание будут подвергнуты долгим тренировкам, но с самого первого дня вы должны запомнить, что в них не должно быть напряжения. Вороватый

взгляд, оглядка через плечо — враг разведчика, и за это в ходе тренировок мы будем вас серьезно наказывать, не менее чем за принципиальные ошибки. Вы меньше всего должны напоминать шпионов. И не только внешним видом, но и методами работы. Писатели детективных романов изображают разведчика — великолепным стрелком и мастером ломания рук своим противникам. Большинство из вас пришли из нижних этажей разведки и сами это видели. Но тут, наверху, в стратегической агентурной разведке мы не будем вас обучать стрельбе и способам ломания рук. Наоборот, мы требуем от вас забыть ваши навыки, полученные в Спецназе. Некоторые разведки мира обучают своих ребят стрельбе и прочим штучкам. Это идет от недостатка опыта. Помните, ребята, что вы можете надеяться только на свою голову, но не на пистолет. Если вы сделаете одну ошибку, то против каждого из вас контрразведка противника бросит пять вертолетов, десять собак, сто машин и триста профессиональных полицейских. Пистолетиком тогда вы уже себе не поможете. И руки всем не переломаете. Пистолет — это ненужная иллюзия. Пистолетик греет ваш бок и создает мираж безопасности. Но вам не нужны иллюзии и миражи. Вы должны постоянно иметь чувство безопасности и превосходства над контрразведкой противника. Но это чувство вам дает не пистолетик, а трезвый расчет без всяких иллюзий. Знаете, это, примерно, как среди монтажников-высотников. Одни из них, малоопытные, пользуются страховочным поясом. Другие — никогда не пользуются. Первые падают и разбиваются, вторые — никогда. Происходит это потому, что тот, кто поясом пользуется, создает себе иллюзию безопасности. Однако он забыл застегнуться, и вот уж его кости собирают в ящик. Тот, кто поясом не пользуется,— иллюзий не имеет. Он постоянно контролирует каждый свой шаг и никогда на высоте не расслабляется. Советская стратегическая разведка своим ребятам не дает страховочных поясов. Знайте, что у вас нет пистолета в кармане, забудьте удары ребром ладони по кирпичу. Надейтесь только на свою голову. Ваш спорт — благородный теннис...

13

Человек способен творить чудеса. Человек может переплывать Ла-Манш три раза, выпивать сто кружек пива, ходить босыми ногами по раскаленным углям, человек может выучить тридцать языков, стать олимпийским чемпионом по боксу, выдумать телевизор или велосипед, стать генералом ГРУ или миллиардером. Все в наших руках. Кто хочет, тот и может. Главное — захотеть чего-то, а потом все зависит только от тренировки. Но если тренировать свою память, мускулы, психику регулярно, то... ничего из вашей затеи не получится. Регулярность тренировок важна, но сама по себе она ничего не решает. Один чудак тренировался каждый день. Раз в день он поднимал утюг. Тренировки продолжались регулярно в течение десяти лет — его мышцы не увеличились. Успех приходит только тогда, когда каждая тренировка (памяти, мышц, психики, силы воли, настойчивости) доводит человека до грани его возможностей. Когда конец тренировки превращается в пытку. Когда человек кричит от боли. Тренировка полезна только тогда, когда она подводит человека к грани его возможностей, и он эту грань совершенно точно знает: я могу прыгнуть вверх на 2 метра, я могу отжаться от пола 153 раза, я могу запомнить за один раз две страницы иностранного текста. И каждая новая тренировка полезна только тогда, когда она будет попыткой побить свой собственный вчерашний рекорд: сдохну, но отожмусь 154 раза.

Нас водят на тренировки будущих олимпийских чемпионов. Вот они, пятнадцатилетние боксеры, пятилетние гимнасты, трехлетние пловцы. Смотрите на выражение их лиц. Ждите самый последний момент тренировочного дня, когда на маленьком детском личике появляется злая решимость побить свой собственный вчерашний рекорд. Смотрите на них! Когда-нибудь они принесут олимпийское золото под огромный красный флаг с серпом и молотом. Смотрите на это лицо! Сколько в нем напряжения. Сколько муки! Это путь к славе. Это путь к успеху! Работать только на пределе своих возможностей. Работать на грани срыва. Чемпионом становится тот, кто знает, что штанга сейчас задавит его, но толкает ее вверх. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность.

Наш Слон привел нас на тренировку юных олимпийцев.

— Так наша страна готовит тех, кто защищает ее спортивную славу. Неужели вы думаете, что наша страна к подготовке разведчиков относится менее серьезно?

Глава VII

1

Февраль 1971 года. Незабываемое время. Начальнику ГРУ генерал-полковнику Петру Ивановичу Ивашутину присвоили звание генерала армии. Ликует Аквариум. Ликует весь Генеральный штаб. Военная разведка впереди! Председатель КГБ Юрий Андропов остается только генерал-полковником. Какая пощечина!

Мы знаем, что Центральный Комитет раздувает огонь борьбы, и драки КГБ — ГРУ не миновать. Баланс между КГБ и армией был нарушен, и вот Центральный Комитет оплошность исправляет. Февраль 1971 года. Идет чистка в среднем слое КГБ. Идет массовое смещение полковников и генерал-майоров КГБ. Идет возвышение офицеров и генералов ГРУ, всего Генерального штаба, всей Советской Армии. Вот командующий Северо-Кавказским военным округом генерал-лейтенант танковых войск Литовцев стал генерал-полковником. А помните, товарищ генерал, ваш тяжелый старт на этом посту? А ведь вам кто-то тогда помог, рискуя головой. Я за эту помощь досрочно стал капитаном. А ведь вы, товарищ генерал, кому-то тайно помогали и помогаете, иначе никто бы вас поддерживать не стал. И не носить бы вам сейчас три генеральские звезды. Успехов вам, генерал.

Февраль 1971 года. КГБ и ГРУ вцепились в глотки друг другу. Но кто это может видеть со стороны? Все знают генерал-полковника Ю. Андропова. А кто знает генерала армии Ивашутина? Но ему реклама и не нужна. Ивашутин, в отличие от Андропова, руководит тайной организацией, которая действует во мраке и не нуждается в рекламе.

2

Войну планирует Генеральный штаб. Генеральный штаб — мозг армии. Любое вмешательство КГБ в процесс планирования неизбежно приводит все государство на грань катастрофы. Поэтому для того, чтобы выжить, государство вынуждено ограничить влияние КГБ на Генеральный штаб. Для того, чтобы победить в войне, Генеральный штаб должен собирать информацию о противнике усилиями своих собственных офицеров, которые понимают проблемы боевого планирования, которые сами могут решить, что важно для Генерального штаба, а что нет. Генеральный штаб не имеет времени просить об информации — он п р и к а з ы в а е т своей собственной разведывательной службе, ч т о нужно добывать в первую очередь. Для успешной работы Генеральный штаб должен иметь право поощрять своих лучших разведывательных офицеров и жестоко карать нерадивых. И он имеет такие права. И он имеет свою собственную разведывательную службу. И он видит мир не через призму КГБ, а своими собственными глазами. Генеральный штаб собирает информацию не усилиями полицейских, а усилиями офицеров Генерального штаба, нашими усилиями.

Мы должны стать офицерами разведки и офицерами Генерального штаба одновременно. На это нам отводится очень короткий срок — пять лет. А если так, то программа нашей подготовки насыщена выше всяких возможностей. Вы офицеры Генштаба! И если эти нагрузки вы не способны перенести, мы опустим вас на нижние этажи.

Мы стараемся. Мы выдерживаем нагрузки. Не все.

По ночам мне снятся только грандиозные наступательные операции. Глубокие танковые клинья. Воздушные десанты. Бригады Спецназ в тылу противника. Нелегальные резидентуры и потом информации в Генеральный штаб. Мне снится грохот сражений и огонь. Я открываю глаза. Я слышу отвратительный звон будильника, и холодный свет режет глаза. Я долго сижу на кровати и тру щеки ладонями. Наверное, я не выдержу.

3

Время летит. Зимняя сессия. Восемь экзаменов. Летняя сессия. Восемь экзаменов. Зимний отпуск пятнадцать суток. Летний отпуск тридцать суток. Я в отпуск не поеду. Я сдал сессию, но мне нужно сделать очень многое. Снова зимний отпуск, и я снова не поеду. Почти никто из наших ребят не едет. Надо работать. Надо работать больше. Кто хочет остаться наверху, должен работать много. До зеленых кругов в глазах, до черных пятен. Нам не препятствуют. Можно ночами сидеть. Можно спать по три часа в сутки.

Наша группа тает. Подполковник — моральное разложение, сексуальная распущенность. Изгнан на космодром в Плесецк. Это тоже ГРУ, но только ссылка для провинившихся. Майор артиллерийской разведки: пьянство. Возвращен в Спецназ в Забайкалье. Тает группа. Нас было двадцать три. Теперь только семнадцать. Изгоняют тех, у кого от усиленной работы мозга начинаются обмороки. Изгоняют тех, кто не может выявлять слежку, кто ошибается или горячится при приеме решений. Изгоняют тех, кто не может изучить два иностранных языка, усвоить историю дипломатии и разведки, всю структуру, тактику, стратегию, вооружение и перспективы нашей армии и армий наших противников.

Они исчезают внезапно. Они никогда больше не поднимутся вверх. Для них находят такие места, где им некому рассказать о том, где они были. Им находят места, где работают только такие же неудачники из ГРУ. Где недоверие и провокация процветают. А вообще-то — где они не процветают?

4

Волка ноги кормят. Мы чувствуем себя волками. Любой свободный момент мы отдаем поиску мест. Мы рыщем. Разведчику нужны сотни мест, таких мест, где он мог бы совершенно гарантированно оставаться один, таких мест, где он с полной уверенностью может сказать, что за ним никто не крадется по пятам, таких мест, где он смог бы спрятать секретный материал и быть уверенным, что ни уличные мальчишки, ни случайные прохожие не найдут его, что тут не будет строительства, что ни крысы, ни белки, ни снег, ни вода этот материал не повредят. Разведчик должен иметь множество таких мест про запас и не имеет права использовать одно и то же место дважды. Наши места должны быть в стороне от тюрем, вокзалов, важных военных заводов, в стороне от правительственных и дипломатических кварталов: во всех этих местах активность полиции повышена и до провала — только шаг. А где найти в Москве места, где нет тюрем и важных правительственных или военных учреждений?

Мы рыщем все наше свободное время. Мы рыщем в подмосковных рощах, в парках, на заброшенных пустырях и брошенных стройках. Мы рыщем в снегу и в грязи. Нам нужно множество удобных мест. И тот, кто научится их находить в Москве, тот сможет делать это в Хартуме, в Мельбурне, в Хельсинки.

5

Мы учимся запоминать лица людей. Эта активность мозга должна быть не аналитической, а рефлекторной. И потому передо мной мелькают на экране тысячи лиц, тысячи силуэтов людей. Мой палец на кнопке, как на спусковом крючке. Увидев одно и то же лицо дважды на экране, я должен мгновенно нажать на кнопку. Если я ошибаюсь, меня пронизывает легкий, но неприятный электрический шок. Нажал неправильно кнопку — и легкий удар. Не нажал кнопку, когда надо,— опять удар. Тренировки проводятся регулярно, и скорость показа лиц все увеличивается. Каждый раз показывают все больше и больше изображений. Тех же людей показывают в париках, в гриме, в другой одежде, в других позах. А ошибки карают легким, но неприятным шоком.

6

Разведчик должен быть внимательным к номерам машин. Один номер попался дважды, значит, возможна слежка. Значит, на операцию идти нельзя. Мне показывают тысячи номерных знаков. Они несутся по экрану, как французский электропоезд. Их не нужно запоминать. Но их нужно узнавать. Аналитический ум тут не поможет. Нужен автоматический рефлекс. И его вырабатывают, как у собаки, по методу профессора Павлова. Ошибка — и шок. Ошибка — и шок.

Но номера машин могут быстро менять, поэтому нужно узнавать машины не только по номерам, а просто по их виду. А в современном городе миллионы машин, и наш мозг не способен запомнить даже сотни машин, тем более, что столько их, одинаковых. И тут вновь разведчика выручает рефлекс. Наш мозг способен фиксировать миллионы деталей, но мы просто не можем пользоваться этой колоссальной информацией. Не беспокойтесь, Аквариум вас научит. Через пять лет у вас будут соответствующие рефлексы!

7

Мы офицеры Генерального штаба. Нас возят на Гоголевский бульвар. Нас учат принимать решения в ходе грандиозных операций. На огромных картах и на бескрайних полях Широколановского полигона мы сначала робко и неуверенно, сначала только на бумаге, а потом и на практике пробуем управлять огромными массами войск в современной войне. Возможно, это нам не придется никогда делать, но однажды, передвинув даже на карте 5-ю и 7-ю гвардейские танковые армии из Белоруссии в Польшу, вдруг понимаешь, какое количество и какой именно информации нужно Генеральному штабу, чтобы сделать это в реальной войне.

8

Мы рыщем по городу. Мы учимся безошибочно выявлять слежку. Перед операцией офицер разведки должен совершенно четко ответить самому себе: есть слежка или ее нет, да или нет. В настоящей тайной войне, к которой он готовится, ему никто не может помочь и никто не будет делить ответственности за допущенную ошибку.

Да или нет? По заранее подготовленному маршруту я петлял по Москве четыре часа. Я менял такси, автобусы, трамваи. Из огромной толпы уходил в безлюдные места и снова бросался в толпу, как в океан. КГБ тоже учится. Для КГБ очень важно знать свои собственные ошибки в слежке. Тут интересы ГРУ и КГБ совпадают. Тут осуществляется кооперация между двумя враждебными организациями. Слон знает, что сегодня я тренируюсь в городе. Что моя тренировка начинается ровно в 15.00 от отеля «Метрополь», который сейчас является как бы советским посольством во враждебной стране. Я выхожу из «посольства», а дальше дело Слона: позвонить в КГБ или нет. Итак, да или нет. Раз в неделю каждого из нас Слон гоняет по рвзным маршрутам, который каждый готовит для себя. Прошлый раз слежка была точно. В прошлый раз я был в этом совершенно уверен. А сегодня? Да или нет? Я не знаю. Я не уверен. Если так, то нужно возвратиться в «посольство» и доложить Слону, что я не уверен. И тогда он вновь пошлет меня кружить по Москве, и завтра утром я буду обязан дать окончательный ответ. Итак, да или нет?

9

Язык — оружие разведчика. Глаза — оружие разведчика. Аквариум делает все возможное, чтобы заставить своих офицеров владеть иностранными языками. За знание одного западного языка платят на 10 % больше. За каждый восточный язык — 20 %. Выучи пять восточных языков и будешь получать вдвое больше. Но не проценты меня гонят: не выучишь два языка — выгонят на космодром Плесецк. Мне на космодром совсем не хочется. Поэтому я учу. Иностранный язык для меня проблема — нет во мне музыкальности. Чувствительность слухового аппарата танковыми пушками понижена. Я стараюсь. Я тянусь. Но по языкам я самый худший в группе. Были хуже меня, но их уже выгнали. Я на очереди следующий. Сдохну, черт побери. Пусть произношение дубовое, я в других областях наверстаю.

— У меня та же проблема была,— ободряет Слон.— Учи целые страницы наизусть. Тогда беглость появится. Тогда у тебя для устной речи и для написания будут всегда в запасе стандартные обороты, фразы, целые куски.

Я учу страницами. Я их зубрю наизусть. А затем пишу их. Пишу и переписываю. Я переписываю эти страницы по памяти по тридцать раз, добиваясь, чтобы не было ошибок.

С глазами у меня хуже, чем с языком. У меня есть опыт из Спецназа смотреть в глаза собакам. Но тут этого не достаточно. Нас тренируют с зеркалом: смотри в глаза, не моргай. Не отводи взгляд. Если хочешь завербовать человека, ты должен прежде всего выдержать его взгляд. Дружба начинается с улыбки, вербовка — со взгляда. Если ты не выдержал первый тяжелый взгляд своего собеседника — то и не пытайся потом его вербовать: психически он сильнее. Он не поддастся.

Я выхожу на станции метро «Краснопресненская» и иду в зоопарк. Если у вас та же проблема, то приходите к закрытию — вам никто не помешает. Я смотрю в глаза тиграм, леопардам. Я направляю свою волю, я сжимаю челюсти. Неподвижные желтые глаза изящного хищника расплываются передо мной. Я сильнее сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Глаза нужно осторожно сощуривать и вновь медленно-медленно широко раскрывать, так можно не моргать. Глаза режет, наворачиваются слезы. Еще мгновение — и я моргнул. Огромная ленивая рыжая кошка презрительно улыбается мне и отворачивает разочарованно морду: слаб ты, Суворов, со мной состязаться.

Ничего, кошка. Я настойчивый. Я приду сюда в следующее воскресенье. И в следующее. И потом еще. Я — настойчивый.

И опять летит серое колесо дней и ночей. Наша программа вполне могла бы быть десятилетней. Но ее спрессовали в пять лет, и потому не все выдерживают. А может, это тоже испытание? Может, в этом и заключается главный смысл нашей подготовки: освободиться от слабых тут, на своей территории, чтобы не делать этого позже?

10

В разведке есть совсем простое правило: о т р ы в з а п р е щ е н! Если увидел, что за тобой следят, во-первых, не покажи виду, что ты их заметил, не нервничай и не мечись, ты дипломат, черт побери. Поболтайся по городу, покружи. На операцию сегодня идти не следует. Они могут прикинуться, что бросили тебя, а на самом деле они рядом, только больше их стало, только сменили они своих людей. В тот день, когда выявил слежку,— операция запрещена. Тут закон нерушимый. А каждая операция во многих вариантах готовится. Слежка сегодня, значит, завтра повторим операцию, или через неделю, или через месяц. Но не вздумай отрываться от них! Оторвавшись даже под очень хорошим предлогом, ты показываешь им, что ты — шпион, а не простой дипломвт, что ты можешь видеть тайную слежку, что тебе надо от нее зачем-то убегать. Если ты им это покажешь, то от тебя не отстанут. Ты покажешь им, что ты — шпион, и этого достаточно. Тогда слежка будет преследовать тебя каждый день, тогда не дадут

тебе работать. Один раз от них, конечно, оторвешься, но они тебя зачислят в разряд опасных, и больше ты никогда от них не оторвешься, за тобой их будет по тридцать человек по пятам ходить каждый день. Так что отрыв запрещен. Но не сегодня...

Сегодня у нас разрешение на отрыв. «Хрен с вашими дипломатическими карьерами,— сказал Слон,— есть ситуации, когда Аквариум приказывает проводить операцию любой ценой. Отрывайтесь!»

Двое нас, Генка да я. Отрывайтесь, твою мать. Поди, оторвись. Темно уже в Москве. Холодно. Пуста Москва. Через три дня запьет, загуляет Москва. Праздники, парады да оркестры. А сейчас перед взрывом пьяного восторга затаилась Москва. Двое нас с Генкой да тени черные за нами. Наши тени да еще чьи-то. Мечутся тени, не прячутся. Если бы мы по одному работали, то давно бы оторвались. Отрыв запрещен, но обучены мы его делать.

Первый раз мы сделали рывок в Петровском пассаже. Хорошее место. Много людей было. Мы через толпу, через очереди, расталкивая, и по лесенкам крутым, и снова в толпу, черными ходами да в метро! Но тени мечутся за нами и не отстают. На Ленинских горах в метро мы вторую попытку сделали. Тоже место хорошее. Уходит поезд, двери щелк! Так вот, за секунду до этого щелчка надо и рвануть из вагона. Но и тени хитры.

Пуств Москва. Холодно и темно. Но Генка еще какое-то место знает. На площади Марины Расковой. Уйдем, Генка? Уйдем! Уйдем...

Сколько их, Генка, за нами сегодня? Много. Много, черт побери. Жаль, разойтись нам нельзя. Операция на двоих. Может, разойдемся, Генка? Превышение полномочий, нельзя. А если операцию провалим, разве это лучше? Ведет меня Генка по пустым переулкам. Тут место у него давно подготовленное. Сейчас рванем мы переулками. Но нет, черт подери. Три больших парня за нами вплотную идут. Не прячутся. Это демонстративная слежка. Это слежка на психику. Их еще много тайно нас преследуют. Закоулками, переулками. А трое теперь открыто за нами топают. Смеются прямо в затылок. «А если побегут?» — зычный голос спрашивает. «Догоним»,— успокаивает его другой. Хохот нам в затылок. Генка меня в бок толкает — приготовься. Я-то готов, да только мелкий снежок в воздухе кружит. Первый самый снежок. Тут бы гулять по улице да воздух хрустальный пить. Но не до воздуха нам. Отрываться пора.

Рванул меня Генка за руку, и в какую-то дверь мы влетели, а тут лестницы грязные вниз да вверх, да коридоры темные во все стороны. Ах, ноги не переломать бы. Вниз, вниз по лестнице. Ведра тут какие-то, смрад. Опять дверь. Опять лестницы да коридоры. Ху-ху-ху,— Генка задыхается. Задыхается, но хорошо бежит. Большой он. Тяжело ему. Но зато в темноте он, как кот, все видит. Еще двери какие-то, тряпки, щебень да стекло битое. Вылетели мы на улицу. Я уж и не знаю где. Всю Москву исходил, а таких мест не видывал раньше. Три переулка перед нами. Генка в левый меня тянет. Хороший ты, Генка, парень. Ушли бы мы, хорошее место ты нашел. Сколько месяцев ты, Генка, по Москве топал, чтобы такое место найти? Такое место только в рамочку золотую да молодым шпионам показывать: любуйтесь, какое место великолепное. Это — образец. Будете работать в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио — каждый такое место для себя должен иметь! Чтобы в любой момент гарантированно от полиции оторваться. Но не выгорит нам сегодня. И место не поможет нам. Легкий снежок над Москвой. Первый самый. Липнет он к подошвам, и следы наши с Генкой, как следы первых астронавтов на Луне. Это законом подлости называется. Согласно этому нерушимому закону кусок хлеба с маслом всегда маслом вниз падает. Не уйдем, Генка! Уйдем! Тащит меня Генка за руку. Пустая Москва. Попрятались честные граждане в свои норы. Во всей Москве Генка да я... и большие мальчики из КГБ. Гу-ху-ху,— Генка дышит,— не побоишься, Витька, с поезда прыгнуть? Нет, Генка, не побоюсь. Ну тогда, Витька, поднажмем. Есть у меня шанс. Ты на операцию пойдешь, я тебя прикрою. Бежим мы переулками. Бежим дворами. Если выйти на большую улицу, там следов наших не будет, да зато там все их машины. От машины не уйдешь.

Перемахнули мы через заборчик, и станция, и электричка тормозами скрипит. Ху-ху-ху,— Генка дышит. А за нами трое больших тоже дышат: ху-ху-ху. Тоже через заборчик перемахнули, как кони бешеные. Генка меня к электричке тянет. Ху-ху-ху. В последнюю дверь ввалились мы и бегом по проходу. Ах, если бы дверь за нами захлопнулась! Но не захлопнулась она. И топот за нами конский. Ввалились и те трое в вагон. И по проходу за нами. Пролетели мы один тамбур, другой. Толкнул меня Генка вперед, а сам назад. Пошел он, как истребитель, в лобовую атаку. А я к двери. Теперь не закрылись бы двери! Массой своей бросился я на одну половину двери, а другая уж за моей спиной щелкает и плавно поезд пошел.

Прыгать из поезда нужно задом и назад. Но это я уж потом вспомнил. А вылетел я из двери передом и вперед. Зубы нужно сжать было, но и об этом я забыл и оттого лязгнули они как капкан, чуть не отрубив язык. Скорости было немного совсем, когда вылетел я, и высота была минимальная: платформа была вровень с вагоном. Да только подвернул ногу, падая, да руку разодрал. Ну, хрен с ней, вскочил, а последний вагон мимо меня простучал. Просвистел мимо. Быстро московские электрички скорость набирают. А тормоза уж скрипят. Это большие ребята стоп-кран сорвали. У меня учеба, но и у них учеба. Я действую, как в настоящей обстановке действовать буду, но и они учатся. У них тоже экзамены, им тоже оценки ставят. Им меня сейчас любой ценой взять надо. Ну это уж вам хрен, ребята! Рванул я к забору да через верх. Да ходу. Ху-ху-ху. Да ходу. Спасибо, Генка!

11

Уж за полночь. И электрички в метро пустые совсем. Рвал я переходами подземными да переулками темными. Теперь в метро нырнул. Тем хорошо, что машина за мной идти не может. В метро ребята из КГБ должны быть рядом со мной. Но пуст вагон. Поздно уже, да и оторвался я чисто. Теперь главное обойти телекамеры. На каждой станции метро вон их сколько понатыкано. И если меня потеряло КГБ в Москве, то центральному командному пункту давно уж мое описание передали. Давно уж все телекамеры подземную Москву обшаривают.

Но и я опытен уже. Я буду выходить на станции «Измайловский парк». Тут я только четыре телекамеры выявил и их расположение четко знаю. Если находиться в последнем вагоне, то можно быстро мимо нее прошмыгнуть, а там забор бетонный с узким проходом для пешеходов да десяток тропинок в густой лес. Ищи-свищи!

Снег под ногами первый поскрипывает. Но тут на тропинках его уж утоптали. Вечером тут пенсионеры толпами гуляют, а там дальше, в сосняке, всегда сопляки подвыпившие. Но сейчас никого нет. Я делаю огромную петлю в лесу. Останавливаюсь и долго слушаю. Нет, не скрипит снег за моей спиной. Тут я и не стесняясь уже, во все стороны смотрю. Обычно в романах это описывают термином «воровато оглядываясь». Да. Именно так. Стесняться мне больше некого. Оторвался я чисто. Слежки за мной нет. И место тайника известно только мне. Вот оно. В глухом углу к бетонной стене прилепились десятка два гаражей. А между ними и стенкой чуть заметная щель. Мочей кругом пахнет. Это хорошо. Это означает, что в щель эту загаженную не найдется любителей лазить. Они свое дело тут возле нее делают и дальше спешат. Ну, а у меня работа такая. Оглянулся еще раз для верности и втиснулся в щель. Тут сухо и чисто. Только тесно. Мне три метра пыхтеть нужно до стыка первых двух гаражей. Там, если просунуть вперед пальцы, можно нащупать оставленный кем-то пакет. Но нелегко эти метры даются. Генка ни за что в такую щель не пролез бы. Выдохнул я и еще чуть-чуть протиснулся. Чуть отдышался. Снова глубоко выдохнул и еще вперед. Ах, я дурак! Надо ж было пальто снять перед тем, как лезть. Щель эту я очень давно нашел. И тогда втиснулся в нее без особого труда. Да только это дело летом было. Еще выдохнул, и еще вперед. Теперь правую руку вперед. Еще чуть вперед. Ладонь за угол. Теперь пальцы растопырить. Вверх, вниз. О-о-о! Чья-то железная кисть стиснула мою руку и свет ослепительный в глаза. Голосов тихих вокруг меня десяток, а рука как в капкане. Больно, черт побери. Ухватили меня за ноги чьи-то сильные руки и дернули. Выдернули меня без труда. Да за ноги и тянут. Да носом я по снегу сегодняшнему, да по моче вчерашней. Тут и машина легковая откуда ни возьмись тормозами визгнула, хотя и нет им доступа вроде бы в Измайловский парк. Руки мне заломили назад до хруста. Только ойкнул я. Наручники холодные щелкнули.

— Позовите консула! — так мне орать положено в подобной ситуации.

Задняя дверь машины распахнулась. Тут мне протестовать полагается: мол, не сяду в машину! Но по ногам мне здорово кто-то дал и выбил землю из-под ног, как табуретку под виселицей. Ах, сильные ребята! До чего сильные! Щелкнули зубы мои, и уж сижу я на заднем сиденье промеж двух Геркулесов.

— Позовите консула!

— Ты что здесь, мерзавец, делаешь?

— Позовите консула!

— Все твои действия на пленку засняты!

— Наглая провокация! Я на пленку могу заснять, как вы половое сношение с Бриджит Бардо совершаете! Консула позовите!

— В твоей руке были секретные документы!

— Вы силой мне их впихнули! Не мои документы!

— Ты пробирался в тайник!

— Нахальная выдумка! Вы поймали меня в центре города и силой засунули в эту вонючую щель! Позовите консула.

Машина, дико скрипя на поворотах, мчит меня куда-то в темноту.

— Позовите консула! — ору я. Им это надоедать стало:

— Эй, парень, потренировался и будет. Кончай орать!

А эти штучки я знаю. Если бы меня вы отпустили сейчас, значит, тренировка кончилась. А если вы меня не отпускаете, значит, она продолжается. И, набрав полные легкие воздуха, я завопил диким голосом:

— Консула, гады, позовите! Я невинный дипломат! Консула!!!

— Позовите консула!

Света они не жалеют. Два прожектора в лицо. Глазам больно до слез. Они меня усадили, и большой такой угрюмый человек сзади встал. Нет, тут я сидеть не буду. Позовите консула. Я встаю. Но большой человек огромными ладонями вдавливает мои плечи в глубокое деревянное кресло. Подождав, пока давление на плечи ослабнет, я вновь делаю попытку встать с кресла. Тогда большой вновь вдавливает меня в кресло и помогает своим огромным рукам тяжелым ботинком. Он легко подсекает мне ногу, как в борьбе, так, что я падаю в кресло. Легкий удар его ботинка пришелся мне прямо по косточке. Больно. Откуда-то из-за прожекторов ко мне приплывает голос:

— Вы — шпион!

— Позовите консула. Я дипломат Союза Советских Социалистических Республик!

— Все ваши действия у тайника сняты на пленку!

— Подделка! Подлая провокация! Позовите консула!

Я делаю попытку встать. Но большой легким движением огромного ботинка слегка подсекает мне левую ногу, и я теряю равновесие. И снова мне больно. Он бьет легко, но по косточке, по той, что прямо над пяткой. Вот не думал никогда, что это может быть так больно.

— Что вы делали ночью в парке?

— Позовите консула!

Я снова встаю. И он снова бьет легко и точно. Ведь и синяков не останется, и не докажешь никому, что он меня, гад, мучал. Я снова встаю и снова он сажает меня легким ударом. Эй, ты, большой, мы же учимся. Это учения. Зачем же так больно бить? Я снова встаю, и он снова сажает меня. Я глянул через плечо — что у него за морда? Но не разглядел ничего. Круги в глазах от прожекторов, ни черта не видно. Комната вся темная и два прожектора. Даже не поймешь, большая комната или маленькая. Наверное большая, потому что от прожекторов нестерпимая жара, но иногда вроде чуть ветерок тянет прохладный. В маленькой комнате так не бывает.

— Вы нарушили закон...

— Расскажите это моему консулу.

Мне больно и мне совсем не хочется вновь получить легкий удар по косточке. Поэтому я решаю повторить попытку встать еще три раза. А после буду сидеть, не вставая. Ой, как не хочется вставать с деревянного кресла. Ну, Витя, начали. Я опираюсь ногами о кирпичный пол, осторожно переношу тяжесть тела на мышцы ног и, глубоко вздохнув, толкаюсь вверх. Его удар совпадает с моим толчком. Моя левая ступня чуть подлетает вверх, и я с легким стоном вновь падаю в кресло. Жаль, что кресло не мягкое, удобнее было бы.

— От кого вы получили материалы через тайник?

— Позовите консула!

Я знаю, что тот, который бьет по ногам, сейчас учится. В будущем у него будет такая работа: стоять позади кресла и удерживать допрашиваемого в этом глубоком деревянном кресле. Это сложная наука. Но он старательный ученик. Настойчивый. Энтузиаст. Последний его удар был сильнее предыдущих. А может быть, мне это так показалось, ведь все по одному месту. В принципе, зачем я пытаюсь встать? Мне ведь можно просто сидеть и требовать консула. А пока консула не позовут, не дать им втянуть себя в разговор. Итак, я прекращаю вставать. Попытаюсь еще три раза и все.

Следующий удар был выполнен мастерски и с большой любовью к профессии. Поэтому следующий вопрос я не понял. Знаю, что был вопрос, но не знаю какой. Несколько секунд думал, что же мне отвечать, а потом нашелся:

— Позовите консула!

Такой допрос мне начал надоедать и им тоже. И тогда большие руки вновь вдавили мои плечи в сиденье, и кто-то вставил карандаши между моих пальцев. Эти штучки я знаю. Это очень просто и очень эффективно, и вдобавок не оставляет никаких следов. Пока не сжали ладонь, я вспоминаю всю науку: первое — не закричать, второе — наслаждаться своей собственной болью и желать для себя еще большей боли. Это единственное спасение. Чья-то потная рука ощупала мою ладонь, поправила карандаши между моими пальцами и вдруг сжала, сжала ладонь, как тисками. Два прожектора дрогнули, задрожали и бешено закружились. Я поплыл куда-то из большой темной комнаты с кирпичным полом. Я желал только большей боли себе и смеялся над кем-то.

12

Над Москвой серое холодное утро. Ноябрь. Еще все спят. Проехала почтовая машина. Полусонный дворник метет улицу. Я лежу на мягком сиденье, откинутом далеко назад. Москва летит мимо меня. Боковое стекло чуть приоткрыто, и морозный ветер уносит обрывки каких-то кошмаров. Я чувствую, что щеки мои не бриты, а волосы на голове слиплись. Лицо почему-то мокрое. Но мне хорошо. Меня кто-то куда-то везет на большой черной машине. Я поворачиваю голову к водителю. Это Слон. Это он меня везет.

— Товарищ полковник, я им ничего не сказал.

— Я знаю, Витя.

— Куда мы едем?

— Домой.

— Они отпустили меня?

— Да.

Я долго молчу. И вдруг мне стало страшно. Мне показалось, что я рассказал им все, когда смеялся.

— Товарищ полковник, я... раскололся?

— Нет.

— Вы уверены?

— Уверен. Я все время рядом с тобой был, даже во время ареста.

— В чем моя ошибка?

— Ошибки не было. Ты оторвался и вышел к тайнику чистым. Но место слишком хорошее. Его московское КГБ знает. Ты использовал место, которое используют настоящие иностранные шпионы. Место очень хорошее, и потому оно под постоянным контролем. Они тебя взяли как настоящего шпиона, не зная — кто ты. Но мы вмешались тут же. Арест был настоящим, а допрос учебным.

— А Генка как?

— Генка хорошо. Его слегка помурыжили, но он тоже не раскололся. В таком деле мобилизоваться надо. Нельзя жалеть себя и нельзя мечтать о мести, тогда выдержишь что угодно. Спи. Я тебя на настоящую работу рекомендовать буду.

— А Генку?

— И Генку.

13

— Ты когда-нибудь был в Мытищах?

— Нет.

— Тем лучше.— Слон вдруг стал очень серьезным.— Слушай учебно-боевую задачу. Объект: Мытищинский ракетный завод. Задача: найти подходящего человека и завербовать его. Цель первая: получить практику настоящей вербовки. Цель вторая: выявить возможные пути, которые вражеская разведка может использовать для вербовки наших людей на объектах особой важности. Ограничения. Первое — во времени: можно использовать для вербовки только свое личное время, выходные дни и отпуска, никакого особого времени на проведение вербовки не отпускается; второе — финансовое: можно расходовать только свои личные деньги, сколько угодно, хоть все, ни копейки государственных денег не выделяется. Вопросы?

— Что знает об этом КГБ?

— КГБ знает, что с разрешения отдела административных органов Центрального Комитета мы такие операции проводим постоянно и по всей Москве. Если КГБ тебя арестует — мы тебя спасем... но за рубеж не пошлем.

— Что я могу сказать вербуемому человеку о себе и своей организации?

— Все что угодно. Кроме правды. Ты его вербуешь не от имени советского государства (это и дурак сумеет сделать), а от своего собственного имени и за свои деньги.

— Значит, если я его завербую, он будет по-настоящему считаться шпионом?

— Именно так. С той разницей, что переданная им информация не уйдет за рубеж.

— Но это никак не смягчает его вины.

— Никак.

— Что же его ждет?

— 64-я статья Уголовного кодекса. Разве ты этого не знаешь?

— Знаю, товарищ полковник.

— Тогда желаю тебе успеха. И помни, ты делаешь большое государственное дело. Ты не только учишься, но и помогаешь нашему государству избавляться от потенциальных предателей. Вся группа получает подобную задачу — только на других объектах. И вся академия делает то же самое. И каждый год. И последнее — распишись вот тут в получении задачи. Это вполне серьезная задача.

14

Теория вербовки говорит, что вначале нужно найти заданный объект. Это нетрудно. Мытищи — городок небольшой, а в нем огромный завод. Проволока колючая на роликах. Ночью завод залит морем слепящего света. Псы караульные тявкают за забором.

Тут сомнений быть не может. А еще у завода соответствующее имя должно быть. Если на воротах написано, что это завод тракторной электроаппаратуры, то это может означать, что кроме военной продукции завод выпускает что-то и для тракторов, но если название ничего не выражает: «Уралмаш», «Ленинская кузница», «Серп и молот» — то тут сомнения отбрасывайте в сторону: военный завод без всяких посторонних примесей.

Второе правило вербовки говорит, что через забор лезть не надо. Люди из завода сами выходят. Они идут в библиотеки, в спортзалы, в рестораны, в пивные. Вокруг крупного завода должен быть район, где живут многие рабочие, где есть школы для их детей и детские сады. Где-то есть поликлиника, туристическая база, зона отдыха и т. п. Все это надо найти.

Третий закон вербовки гласит, что не нужно вербовать директора или главного инженера — их секретарши вербуются легче, а знают совсем не меньше, чем их начальники. Но вот беда, условия учебно-боевой вербовки запрещают нам вербовать женщин. За рубежом пожалуйста, во время тренировок — нет. Нужно найти чертежника, оператора электронной машины, хранителя секретных документов, копировальщика и пр.

Каждый из нас получил подобное задание и каждый готовит свой план, как перед генеральным сражением. Учебная вербовка для нас ничуть не проще боевой. Если тебя арестуют за подобным занятием в любой стране Запада, то расплата только одна — выгонят в Советский Союз. Если совершишь ошибку на тренировке и арестует КГБ, то плата более высокая — никогда не выпустят на Запад. На боевой работе — тебе принадлежит все твое время и финансы ничем не ограничены, а тут экзамены проходят по стратегии, по тактике, по вооруженным силам Соединенных Штатов, по двум иностранным языкам. Крутись, как хочешь. Хочешь — к экзаменам готовься, хочешь — вербуй.

15

Прежде всего я мысленно очертил для себя невидимый круг шириной в километр вокруг всей огромной заводской стены. В этом пространстве я решил не появляться ни под каким предлогом. В этом пространстве каждый сантиметр под надзором КГБ, и там мне делать нечего.

Теперь я жду конца смены. Вот она. Через проходные устремился черный поток людей. Шум, топот, смех.

На автобусной остановке огромные толпы. Снег скрипит. Морозная мгла вокруг фонарей. Шумит людской поток. Повалил народ по кабакам да по пивным. Но это меня пока не интересует — это легкий путь, и его я приберегу на случай, если другие варианты не пройдут. Мне сейчас библиотека нужна. Как ее найти? Просто. Нужно смотреть, куда очкастые в своем большинстве валят. Я увязался за группой очкастых интеллигентного вида парней. Я не ошибся. Они шли в библиотеку. Нет, это не секретная библиотека. Секретная внутри завода. Это обычная библиотека. И вход туда всем разрешен. Вот и я с группой затесался. Девушке за прилавком подмигнул, она мне улыбнулась, и я уже у книжных полок.

Теперь я роюсь в книгах и внимательно смотрю за тем, кто чем интересуется. Мне нужен контакт. Вот рыжий очкастый перебирает научную фантастику. Хорошо. Подождем его. Вот он отошел к другой полке, к третьей...

— Извините,— шепчу я на ухо,— а где тут научная фантастика?
— Да вон там.
— Да где же?
— Идите сюда, покажу.

Хороший контакт у меня получился только на третий вечер.
— Что-нибудь про космонавтов? Про Циолковского?
— Да это вот тут.
— Где?
— Идите сюда, покажу.

16

Фильмы про шпионов показывают офицера разведки в блеске остроумия и красноречия. Доводы шпиона неотразимы, и жертва соглашается на его предложения. Это и есть брехня. В жизни все наоборот. Четвертый закон вербовки говорит, что у каждого человека в голове есть блестящие идеи и каждый человек страдает в жизни больше всего от того, что его никто не слушает. Самая большая проблема в жизни для каждого человека — найти себе слушателя. Но это невозможно сделать, так как все остальные люди заняты тем же самым — поиском слушателей для себя, и потому у них просто нет времени слушать чужие бредовые идеи. Главное в искусстве вербовать — это умение внимательно слушать собеседника. Научиться слушать, не перебивая — это гарантия успеха. Это очень тяжелая наука. Но только тот становится нашим лучшим другом, кто слушает нас, не перебивая. Я нашел себе друга. Он перечитал все книги про Цандера, Циолковского, Королева. Говоря о них, он говорил и о тех, о ком еще нельзя было писать книг: о Янгеле, Челамее, Бабакине, Стечкине. Я слушал.

В библиотеке нельзя говорить громко, да и вообще разговаривать не принято. Поэтому я слушал его на заснеженной полянке в лесу, где мы катались на лыжах. В кинотеатре, в который мы ходили смотреть «Укрощение огня», в маленьком кафе, где мы пили пиво.

Пятый закон вербовки — это закон клубники. Я люблю клубнику. Я люблю ловить рыбу. Но если рыбу я буду кормить клубникой, то не поймаю ни одной. Рыбу надо кормить тем, что она любит — червяками. Если ты хочешь стать другом кому-то,— не говори о клубнике, которую ты любишь. Говори о червяках, которых любит он.

Мой друг был помешан на системах подачи топлива от емкостей к двигателям ракеты. Подавать топливо можно, используя турбонасосы или вытеснительные системы. Я слушал его и соглашался. На первых германских ракетах использовались турбонасосы. Почему же сейчас забыт этот простой и дешевый путь? А действительно — почему? Этот способ, хотя и требует создания очень прочных и точных турбин, гарантирует нас от большой неприятности — от взрыва емкостей с топливом при повышении давления вытеснительной смеси. С этим я был полностью согласен.

На следующую встречу я имел в кармане магнитофон, выполненный в форме портсигара. Провод от магнитофона шел через рукав моего пиджака к часам, в которых был микрофон. Мы сидели в ресторане и болтали о перспективах использования четырехокиси азота в качестве окислителя и жидкого кислорода в сочетании с керосином в качестве основного топлива. Это сочетание ему казалось хотя и старым, но вполне проверенным и надежным на два десятка лет вперед.

На следующее утро я прокрутил пленку Слону. Я допустил довольно крупную техническую ошибку: микрофон нельзя иметь в часах, когда беседа идет в ресторане. Звон вилки, которая постоянно у самого микрофона, был просто оглушительным, а наши голоса звучали где-то вдали. И это страшно развеселило Слона. Насмеявшись, он серьезно спросил:

— Что он о тебе знает?
— Что меня зовут Виктор.
— А фамилия?
— Он никогда не спрашивал.
— Когда у тебя следующая встреча?
— В четверг.
— Перед встречей я организую тебе консультацию в Девятом управлении информации ГРУ. С тобой будет говорить настоящий офицер, который анализирует американские ракетные двигатели. Он, конечно, знает многое и о наших двигателях. Информатор поставит тебе настоящую задачу, такую, которая его бы интересовала, если бы ты познакомился с американским ракетным инженером. Если ты из очкарика вырвешь достаточно вразумительный ответ, то считай, что тебе повезло... а ему нет.

17

Информация ГРУ желала знать, что мой знакомый знает о бороводородном топливе.

Мы сидим в грязной пивной, и я говорю своему другу о том, что бороводородное топливо никогда применяться не будет. Не знаю почему, но он думает, что я работаю в 4-м цехе завода. Я ему этого никогда не говорил да и не мог говорить, ибо не знаю, что такое 4-й цех.

Он долго испытующе смотрит на меня:

— Это у вас там в четвертом так думают. Знаю я вас, перестраховщиков. Токсичность и взрывоопасность... Это так. Но какие энергетические возможности! Вы там об этом подумали? Токсичность можно снизить, у нас этим 2-й цех занимается. Поверь мне, будет успех, и тогда перед нами необъятные горизонты...

За соседним столиком я узнаю чью-то знакомую спину. Неужели Слон? Точно. Рядом с ним еще какие-то очень внушительные личности...

Следующим утром Слон поздравил меня с первой вербовкой.

— Это учебная. Но ничего. Котенок, если хочет стать настоящим котом, должен начинать с птенчиков, а не с настоящих воробьев. А про бороводородное топливо забудь. Это не твоего ума дело.
— Есть забыть.

— И про очкастого забудь. Его дело с твоими отчетами и магнитофонными лентами мы передадим кому следует. Чтобы держать ГБ в узде, Центральному Комитету нужен конкретный материал о плохой работе КГБ. Где взять этот материал? Вот этот материал! — Слон распахивает сейф с отчетами моих товарищей о первых учебно-боевых вербовках.

Но с вытеснительными системами и бороводородным топливом мне еще пришлось встретиться. Перед самым выпуском из академии нам дали возможность поговорить с конструкторами вооружения — для того, чтобы мы в общих чертах представляли проблемы советской военной промышленности. Нам показывали танки и артиллерию в Солнечногорске, новейшие самолеты в Монино, ракеты в Мытищах. Мы проводили по несколько суток с ведущими инженерами и конструкторами, конечно, не зная их имен. Они тоже не совсем понимали, кто мы такие (какие-то хлопцы молодые из Центрального Комитета).

И вот в Мытищах меня провезли через три проходных пункта, через массу контролеров и охранников. В высоком светлом ангаре нам показали зеленую тушу. После долгих объяснений я спросил, а почему бы не вернуться к старым испытанным турбонасосам вместо вытеснительных систем.

— Вы ракетчик? — полюбопытствовал инженер.

— В некотором роде...

Глава VIII

1

На третий день после прибытия в Вену меня вызвал резидент венской дипломатической резидентуры ГРУ генерал-майор Голицын.

— Чемоданы уже распаковал?

— Нет еще, товарищ генерал.

— И не спеши.

— ?

Его кулачище обрушился на дубовый стол, и нежная кофейная чашечка жалобно взвизгнула:

— Потому что в пятницу в Москву идет наш самолет. Я тебя, лентяя, назад отправлю. Где твои вербовки?

Из генеральского кабинета я, красный от стыда, вылетел в «забой» — большой зал резидентуры, где на мое появление решительно никто не обратил внимания. Все были слишком заняты. Трое склонились над огромной картой города. Один что-то быстро печатал на машинке. Двое безуспешно пытались уместить огромный серый электронный блок с французскими надписями в контейнер дипломатической почты. И только один старый волк разведки, видимо, поняв мое состояние, посочувствовал:

— Навигатор, конечно, тебе обещал, что выгонит следующим самолетом.

— Да,— подтвердил я в поисках поддержки.

— А ведь и выгонит. Он у нас такой.

— Что же мне делать?

— Работать.

Это был хороший совет, и лучшего ждать не приходилось. Если кто-то знает, где и как конкретно можно добыть секретную бумагу, то он сам ее и добывает. Зачем ему делиться со мной своей славой?

И я начал работать. За оставшиеся четыре дня я, конечно, не сделал вербовку. Но я сделал первые шаги в правильном направлении. Поэтому мое возвращение в Москву было отложено еще на одну неделю, а потом и еще на одну. Так я проработал у генерала Голицына четыре года. Впрочем, все остальные, включая и его первого заместителя (Младшего лидера), находились в том же положении.

2

Я — шпион.

Я окончил Военно-Дипломатическую академию и полгода работал в 9-м управлении службы информации ГРУ. Потом из обработки информации меня перевели в добывание.

Нет, добывание — это не только за рубежом.

Советский Союз посещают миллионы иностранцев, и часть из них знает такие вещи, которые интересны нам. Этих иностранцев надо выделять среди всех остальных, и вербовать их, и вырывать из них секреты силой, хитростью или деньгами.

Работа в добывании — это свирепая борьба тысяч офицеров КГБ и ГРУ за интересных иностранцев. Работа в добывании — это поистине собачья работа. Не зря нас зовут борзыми. Работа в добывании — это бездушный генерал-майор ГРУ Борис Александров, который руководит добыванием на территории Москвы, для которого любые невыполнимые нормы кажутся недостаточными, который, не задумываясь, ломает судьбы молодым разведчикам за невыполнение плана и за малейшее упущение. В управлении генерала Александрова я работал год. Это был самый тяжелый год моей жизни. Но это был год моей первой вербовки, год первого добытого самостоятельно секретного документа. Только тот, кто сумеет сделать это в Москве, где неизвестных нам секретов не так уж много, может попасть за рубеж. Кто умеет работать в Москве, тот сумеет делать это где угодно. Поэтому я сейчас сижу в маленькой венской пивной, сжимая в руке холодную, чуть запотевшую кружку ароматного, почти черного пива.

Я — добывающий офицер. В Вене у меня бурный старт. Не потому, что я очень успешно выискиваю носителей секретов. Совсем нет. Просто многие мои старшие товарищи очень успешно работают. И каждую из проводимых операций необходимо обеспечивать. Нужно отвлекать полицию, нужно контролировать работающего на маршруте проверки и охранять его во время секретной встречи, нужно принимать от него добытые материалы и, рискуя карьерой, поставлять их в резидентуру. Нужно выходить на тайники и явки, нужно контролировать сигналы, нужно делать тысячи вещей, в чьих-то интересах, часто не понимая смысла своей работы. Все это труд, все это риск.

3

Я докладываю о своих первых шагах. Навигатор слушает молча, не перебивая. Он смотрит в стол. Это мне кажется странным. Первое, чему учат шпиона,— смотреть собеседнику в глаза: учат выдерживать долгие взгляды, учат владеть своим взглядом, как боевым оружием. Отчего же этот волк матерый не выполняет элементарных требований? Тут что-то не так. Я напрягаюсь, не спуская с него взгляда и мысленно готовясь к худшему.

— Хорошо,— наконец говорит он, не отрывая глаз от своих бумаг,— впредь так и будешь работать под личным контролем моего первого заместителя, но два раза в месяц я буду слушать тебя лично. За первые недели ты сделал немало, поэтому я ставлю тебе более серьезную задачу. Пойдешь на встречу с живым человеком. Человек завербован моим первым заместителем — Младшим лидером. Но послать Младшего лидера на операцию я не рискую. Поэтому пойдешь ты. Завербованный человек имеет исключительную важность для нас. Сам товарищ Косыгин следит за нашей работой в данной области. Потерять такого человека мы не имеем права. Он работает в Западной Германии и передает нам детали американских противотанковых ракет «Тоу». Мы тайно перебросим тебя в Западную Германию. Проведешь встречу. Получишь детали ракет. Оплатишь услуги. Исколесишь много километров, путан следы. Тебя встретит помощник советского военного атташе в Бонне. Передашь груз ему, но в упаковке. Он не должен знать, что получает. Дальше груз пойдет дипломатической почтой в Аквариум. Вопросы?

— Почему не поручить проведение встречи нашим офицерам в Западной Германии?

— Потому что, во-первых, если завтра Западная Германия выгонит всех наших дипломатов, поток информации о Западной Германии ни в коем случае не уменьшится. Мы будем получать секреты через Австрию, Новую Зеландию, Японию. Выгони всех наших разведчиков из Великобритании — для КГБ катастрофа, а для нас нет. Мы продолжаем получать британские секреты через Австрию, Швейцарию, Нигерию, Кипр, Гондурас и все другие страны, где только есть офицеры Аквариума. Потому, во-вторых, что, получив добытые нами детали ракет, начальник ГРУ вызовет всех дипломатических и нелегальных резидентов ГРУ в Западной Германии и всем этим восьми генералам задаст вопрос: почему Голицын из Австрии может добывать такие вещи в Западной Германии, а вы, ...вашу мать, находясь в Западной Германии, нет? Вы можете только на подхвате работать? Только в обеспечении ... ну и соответствующие выводы последуют. Только так, Суворов, конкуренция рождается. Только от жестокой конкуренции наши успехи. Все понял?

— Все, товарищ генерал.

— Что-то хочешь спросить?

— Нет.

— Хочешь, знаю я твой вопрос! Тебя сейчас одно мучает: Младший лидер за детали ракет орден получит, а рисковать за него молодой капитан будет и ни хрена за этот риск не получит. Ты это думаешь?

Он внезапно поднимает глаза. Вот его прием! Он берег свой взгляд до самого последнего момента. У него жестокие глаза без единой искорки. У него взгляд, как удар

хлыста по ребрам. Он использует свой взгляд внезапно и стремительно. Я к этому не готов. Я выдерживаю его взгляд, но понимаю, что соврать мне не удастся.

— Да, товарищ генерал.

— Работай активно. Ищи и вербуй агентуру. Тогда и тебя будут обеспечивать. Тогда ты будешь работать только головой, а кто-то за тебя будет рисковать шкурой.

Скулы его играют, а взгляд свинцовый.

— Детали согласуешь с Младшим лидером. Иди.

Я щелкнул каблуками и, четко развернувшись, вышел из командирского кабинета. В коридоре не было никого. В большом рабочем зале — тоже никого. Кондиционер, мягко шелестя, бросает прохладную струю воздуха в полумрак рабочего зала. Я немного увеличил яркость голубого света и по густому, гасящему звук шагов ковру прошел в дальний конец зала к сейфам. Несколько секунд я тупо смотрю на бронзовый диск, вздыхаю тяжело и набираю комбинацию цифр. Тяжелая броневая дверь плавно и бесшумно поддалась, открывая двенадцать небольших массивных дверок. Ключом я открываю свою, на которой аккуратно выведена цифра 41. Внутри — мой портфель. Я закрываю сейф, кладу портфель на свой рабочий стол, осторожно тяну на себя два шелковистых шнура, нарушая четкий рисунок двух печатей — сначала гербовой, потом своей персональной. Из портфеля я достаю гладкий лист плотной белой бумаги с аккуратной колонкой надписей и, вновь глубоко вздохнув, пишу на нем:

«Вскрыл портфель № 11 13 июля в 12 часов 43 минуты, время местное». Чуть отступив, расписываюсь.

Осторожно опустив лист в портфель, я извлекаю из него тонкую блестящую зеленую папку с номером 173-В-41. Первый лист папки плотно исписан, остальные — совершенно чистые. Один из них я беру двумя пальцами и кладу перед собой. В верхнем левом углу я делаю оттиск своей личной печати, после чего вставляю лист в пишущую машинку. В правом углу привычно и быстро я выбиваю два слова: «Совершенно секретно», затем, отступив несколько строк, прямо посредине: «ПЛАН».

Сделав это, я опускаю голову на руки, тоскливо глядя в стенку. Ярость бушует во мне. Я ненавижу весь мир, я ненавижу себя, ненавижу рабочий стол, голубой свет, коричневые ковры и зеленые папки.

Постепенно из всей массы людей и предметов, на которые легла моя жгучая ненависть, выплыло одно лицо, которое я ненавидел сейчас даже больше, чем пишущую машинку. И это было лицо командира, ...твою мать! Легко приказывать! Но это же не дивизией командовать. Пойди туда, сделай то. Я же никогда не был в Западной Германии. Послать меня на такое дело через три недели практической работы. А если я завалю операцию? Черт с ним, меня в тюрьму посадят, но вы же агента своего потеряете!

Если было бы кому в этот момент по роже хряснуть, я не замедлил бы. Но никого рядом не было. Взглядом я окинул полированную поверхность стола в поисках чего-либо, на чем можно было бы сорвать зло. Под руку попадает изящный стаканчик с ручками и карандашами. Его я сжал в ладони, пристально рассматривая, а потом резко, со всего маху, швыряю его об стену. Он, жалобно взвизгнув, рассыпается на мелкие осколки.

— Ты чего психуешь?

Я оборачиваюсь. Сзади меня у сейфов — Младший лидер. Я слишком увлекся и не заметил его появления.

— Прошу прощения,— на него я глаз не поднимаю. В пол смотрю.

— В чем дело?

— Навигатор приказал выйти на встречу с вашим человеком...

— Ну и сходи. Что за проблема?

— Откровенно говоря, я не знаю, с чего начать, что делать...

— План писать! — вдруг взорвался он.— Напиши план, и тебе его подпишу и вперед...

— А если события будут развиваться не в соответствии с моим планом?

— Ч-е-г-о? — он смотрит на меня непонимающими глазами, смотрит на часы, на меня, вздыхает и с укоризной говорит:

— Забирай свои бумаги. Пошли.

Кабинет для инструктажей мне всегда напоминает каюту на большом роскошном пароходе. Когда системы защиты включены, то пол, потолок и стены мелко-мелко дрожат почти незаметной дрожью, точно палуба крейсера, когда он режет волны на полном ходу. Кроме того, где-то в толще стен за десятками слоев изоляции установлены мощные глушители. Изоляция в тысячи раз уменьшает их рев, и тут внутри вы можете слышать только приглушенный рокот, словно шум прибоя вдалеке.

Кабинет для инструктажей внутри весь белый и блестящий. Некоторые его за это называют «операционная». Я это название не люблю. Это помещение я всегда именую «каютой». В каюте только один стол и два кресла. Но и стол и кресла совершенно прозрачны, и это создает впечатление роскоши и необычности.

Младший лидер указывает мне на кресло и садится напротив.

— На кладбище слонов ничему тебя хорошему не научили. Если хочешь иметь успех, прежде всего забудь все, чему тебя учили слоны в академии. В слоны попадают те, кто не может сам работать на практике. А теперь слушай мою науку. Прежде всего надо написать план. В плане распиши всякие варианты и свои решения в этих ситуациях. Чем больше напишешь, тем лучше. План — это страховка на случай твоего провала. Под следствием Аквариума у тебя будет чем себя оправдать: мол, к подготовке я относился серьезно. Запомни, чем больше бумаги — тем чище задница. А написав план, приступай к подготовке. Главное в подготовке — подготовить себя психологически. Расслабься насколько возможно, попарься в баньке. Отмети все отрицательные эмоции. Все переживания. Все сомнения. На дело ты должен идти в полной уверенности в победе. Если такой уверенности в тебе нет, то лучше откажись сейчас. Главное, настроить себя на тон агрессивного победителя. Когда расслабишься достаточно, послушай что-нибудь Высоцкого — «Охоту на волков», например. Эта музыка в тебе должна звучать во время всей операции. Особенно, когда будешь возвращаться. Самые большие ошибки мы совершаем после успешной встречи, возвращаясь с нее. Мы ликуем и забываем чувство агрессивного победителя. Не теряй этого чувства, пока не попадешь за наши стальные двери. Повторяю, что главное не план, а психологический настрой. Ты будешь победителем только до тех пор, пока сам себя чувствуешь победителем. Когда напишешь план, я с тобой проиграю все возможные варианты. Это очень важно, но помни, что есть более важные вещи. Помни это. Будь победителем! Чувствуй себя победителем. Всегда. Успехов тебе.

4

Лес сосновый. Просека. Холмы. Тихо. Толстый ленивый шмель своей тушей сел на лесной колокольчик. Эй ты, жирный, цветок поломаешь! Шмель мне что-то обидное прогудел, но спорить не стал, а колокольчик благодарно головкою закивал.

Один я в лесу. Машина у меня старая, побитая вся, на прокат кем-то для меня взятая. Время медленно тянется. Двадцать семь минут до встречи.

По паспорту я югославский гражданин, не то турист, не то безработный. Турист из безработного социализма. Жду. Друг, или, по-нашему, особый источник,— ровно в 13.00 должен появиться с деталями ракет. Меня он по двум признакам опознает: японский транзистор в левой руке и маленький значок с изображением футбольного мяча. А я его узнаю по времени появления: 13 ровно. Он время спросит, при этом должен встать чуть правее меня.

Хитрый друг оказался. Вознаграждения принимает не в долларах, не в марках, и даже не в швейцарских франках. Он золотыми монетами берет. Если припрут: прабабушкино наследство.

Коробку с монетами я вон там, в елках, спрятал. Это на случай всяких неожиданностей. Если во время встречи обложат, как полиции объяснить, откуда у меня, бедного туриста, золотые дукаты?..

Откуда наш друг может брать детали противотанковых ракет? Кто он, генерал? Или конструктор ракет? По-другому ты кусок ракеты не утащишь. Будь ты инженер на заводе, заведующий складом или боевой офицер. Каждая деталь получает номер сразу в момент ее производства. Как ты ее украдешь? Только сам конструктор... Только генерал... Нет, черт побери, и конструктору и генералу совсем не легко красть ракетные детали. Кто-то, кто выше конструктора и генерала? Но если и просто генерал или просто генеральный конструктор, как же Младший лидер ухитрился его встретить и вербануть?

Противно роль нищего туриста играть: свитер рваный, ботинки стоптаны. Как же в таком виде я встречу американского генерала? Что он подумает о ГРУ, увидев мой мятый „фиат“?

Время. Нет его. Эх, генерал, где ж твоя дисциплина? Из-за поворота огромный грязный трактор с прицепом тащится. Старый немец-фермер, весь навозом пропах. Старый черт, тебя только тут не хватало. Я два часа в лесу просидел, ни одной души не было. И еще пять дней пройдет, ни одной живой души не появится. А тебя, старого, черти несут в самый момент встречи. Ну рули, рули скорее. А он, как назло, трактор передо мной останавливает. Чего тебе, старый дурак? Время? На тебе время! Я сую ему свои часы прямо в нос. Проезжай, старый пес. Но не собирается он уходить. Он возле меня стоит, чуть правее. Чего тебе надо? Чего, старый, злишься? Я тебе жить мешаю? Вали отсюда! Он мне на прицеп показывает. Ах, нехорошо получилось. Наверное, у него прицеп поломался. Помогать придется... а то ведь генерал сейчас подъедет. Тут меня озарило... С чего я взял, что особым источником должен быть генерал? Я вскакиваю на прицеп, срываю рваный промасленный брезент. О чудо! Под брезентом исковерканные обломки ракет «Тоу». Помните эту хищную серебристую мордочку? Я таскаю обломки стабилизаторов, грязные печатные схемы, спутанные порванные

провода, разбитый, перепачканный грязью блок наведения — в свою машину. Я руку ему трясу. Danke schön. И бегом за руль. А он палкой грозно по моей машине стучит. Ну, что тебе, дьявол, нужно. Он жестом показывает, что ему деньги нужны. А я и забыл. Бегом в ельник. Вырыл коробку. Бери. Вот теперь он заулыбался. А ты, старый хрыч, на зуб попробуй! Куда тебе, старому, столько золота? В гроб все равно с собой не возьмешь. А он улыбается. Вспомнил я инструкцию: «особых источников» уважать надо, по крайней мере демонстрировать уважение. И я ему улыбаюсь.

Он в одну сторону, я — в другую. Я быстро гоню машину от места встречи. Мне теперь понятна простая механика всей операции.

1-я американская бронетанковая дивизия уже получила ракеты «Тоу» и уже стреляет ими на полигоне. Конечно, без боеголовок. Поэтому маленькая ракета на конечном участке траектории просто разбивается о мягкий грунт.

У нас, когда стреляют «Фалангами» и «Шмелями», огромные пространства застилают брезентом, а потом батальон бросают на поиск мельчайших осколков. Американская армия этого не делает. И потому не надо вербовать генерала да главного конструктора. Достаточно вербануть пастуха, лесника, сторожа, фермера. Он вам обломков наберет хоть сто килограммов, хоть двести. Сколько в багажник поместится! Старый фермер, пропахший навозом, может стать источником особой важности, и за тридцать сребреников продаст вам все, что желаете. Боеголовок нет? Тем лучше. Без боеголовок весь блок наведения почти целым остается. А головки у нас не хуже американских. Нам блок наведения нужен. Схемы печатные нужны. Кому надо, тот их отмоет да отчистит. Если чего не хватает, в следующий раз привезем. И состав металла нужен. И композитные материалы нужны. И механизм раскрытия стабилизаторов, и остатки топлива чрезвычайно интересны, и даже нагар на поворотных турбинках. И все это в моем багажнике. И всем этим лично товарищ Косыгин интересуется.

Я гоню свою машину по прямым, как стрелы, автобанам Германии. Гитлер строил. Хорошо строил. Я жму на педаль сильнее и чуть улыбаюсь сам себе. Когда я вернусь, я буду просить прощения у Навигатора и у Младшего лидера. Я не знаю почему. Но я подойду и тихо скажу: «Товарищ генерал, простите меня». «Товарищ полковник, простите, если можете».

Они разведчики высшего класса. И только так надо действовать. Быстро, не привлекая внимания. Я готов рисковать и своей карьерой и своей жизнью ради успеха ваших простых, но ослепительных в своей простоте операций. Если можете, простите меня.

5

Я вытянул свои уставшие ноги под столом. Мне хорошо. Тут так тихо и уютно. Как бы не уснуть. Я устал. Тихая мелодия. Седой пианист. Он, несомненно, великий музыкант. Он устал, как и я. Он закрыл глаза, а его длинные гибкие пальцы виртуоза привычно танцуют по клавишам огромного рояля. Несомненно, его место в лучшем оркестре Вены. Но он почему-то играет в венском кафе «Шварценберг». Вы бывали в «Шварценберге»? Настоятельно советую. Если у вас тяжелая, изматывающая работа, если у вас красные глаза и уставшие ноги, если нервы взвинчены — приходите в «Шварценберг», закажите чашку кофе и садитесь в уголок. Можно, конечно, сидеть и на свежем воздухе, за маленьким беленьким столиком. Но это не для меня. Я всегда захожу внутрь, поворачиваю вправо и сажусь в углу у огромного окна, закрытого полупрозрачными белыми шторами. Когда в Вене жарко, все сидят, конечно, на свежем воздухе. Там хорошо, но тогда кто-то может наблюдать за мной издалека. Я не люблю, чтобы меня кто-то мог видеть издалека. Поэтому я всегда внутри. Из своего уголка я вижу любого, кто входит в зал. Из-за прозрачной занавески я иногда посматриваю и наружу, на Шварценберг-плац. Кажется, что за мной сейчас никто не смотрит. И мне хорошо быть одному в этом уюте. Зеркала. Абстрактные шедевры. Роскошные ковры. Темно-коричневые стены — полированный дуб. Тихая мелодия. Пьнящий аромат кофе: одновременно возбуждающий и успокаивающий. Если бы у меня был свой замок, я непременно заказал бы себе такие стены, на них бы развесил эти декадентские зеркала и картины, в углу поставил бы огромный рояль, пригласил бы этого старика-пианиста, а перед собой поставил бы чашку кофе и сидел, вытянув ноги и подперев щеку кулаком. Мне кажется, что эту мелодию я уже когда-то давно слышал. Мне кажется, что я видел где-то эти картины на дубовых стенах и эти маленькие столики. Конечно, все это я видел раньше. Конечно, я помню и этот нежный аромат и эту чарующую мелодию. Да. Все это я уже видел раньше. Это было давно. Несколько лет назад. Был огромный прекрасный город. Была тихая площадь с трамвайными рельсами. Огромные окна кафе. Был этот незабываемый запах и эта спокойная мелодия. Только тогда на площади у кафе, у белых столиков стояли три грязных уставших танка с широкими белыми полосами. Они стояли тихо и не мешали чудесной мелодии. Было жаркое лето. Огромные окна кафе были открыты, и прекрасная музыка тихо и спокойно, как лесной ручей, струилась через окно. Я почему-то совершенно отчетливо представил себе три грязных танка с белыми полосами на Шварценберг-плац. У танка совершенно необычный запах. Его нельзя спутать ни с чем. Вы любите запах танка? Я тоже люблю. Запах танка — это запах металла, это запах сверхмощных двигателей, это запах полевых дорог. Танк приходит в город из лесов и полей, и он хранит запах листьев и свежей травы. Запах танка — это запах простора и мощи. Этот запах пьянит, как запах вина и крови. Я чувствую этот запах в тихом венском кафе. Я совершенно отчетливо могу себе представить тысячи грязных танков на улицах Вены. Город бурлит. Город охвачен страхом и негодованием, а по его улицам гремят бесконечные колонны танков. Из узких улочек из-за поворота появляются все новые и новые бронированные динозавры. Водители переключают передачи, и в этот момент двигатель извергает из себя черный густой дым вперемешку с брызгами несгоревшего топлива и хлопьями сажи. Скрежет и гром. Искры из-под гусениц. Черные от копоти и пыли лица солдат. Танки на мостах. Танки у вокзала. Танки у роскошных дворцов. Танки на широких бульварах и в узких улочках. Танки везде. Старик с лохматой белой бородой что-то кричит и машет кулаком. Но кто его услышит? Разве можно заглушить рев танковых дизелей? Поздно, старик. Слишком поздно ты начал кричать. Нужно было раньше кричать. Когда по тротуарам загремели кованые сапоги, когда вокруг стоит рев и скрежет бесчисленных танков — кричать поздно. Нужно или стрелять или молчать. Город бурлит. Город в дыму. Где-то стреляют. Где-то кричат. Запах горелой резины. Запах кофе. Запах крови. Запах танков.

Наверное, я схожу с ума. Есть другая возможность: все давно сошли с ума, а я один — исключение. Есть и третья возможность: все давно сошли с ума. Все без исключения. Те, которые появляются на грязных танках в прекрасных мирных городах — вне всякого сомнения шизофреники. Те, которые живут в прекрасных городах, знают, что однажды, рано или поздно, эти танки появятся на Шварценберг-плац, и ничего не делают, чтобы это предотвратить — тоже шизофреники. Черт побери, а мое место где? Я уже был в числе освободителей. Это не так приятно, как может показаться со стороны. Я больше не хочу оказаться в этой роли. Что же мне делать? Убежать? Прекрасная идея. Я буду жить в этом удивительном мире наивных и беззаботных людей. Я буду сидеть в кафе, вытянув ноги и подперев щеку кулаком. Я буду слушать эту чарующую мелодию. Когда придут грязные танки с белыми полосами, я буду стоять в толпе, кричать и махать кулаком. Плохо быть гражданином страны, по дорогам которой со скрежетом и лязгом идут броневые колонны освободителей. А разве лучше быть в числе освободителей?

6

Считается, что молодой шпион, который выдает себя за дипломата, журналиста, коммерсанта — не может быть активным в первые месяцы своей работы. Ему нужно вжиться в роль: изучить город и страну, в которой он работает, законы, обычаи, порядки. Молодые разведчики многих разведок именно так себя и ведут в первые месяцы — они готовятся к ответственным операциям. В это время на них мало внимания обращает местная полиция: у местной полиции проблем хватает и с опытными шпионами.

Но ГРУ — это особая разведка. Она не похожа на другие разведки. Раз в первые месяцы за тобой не следят, так и пользуйся этим!

В первый месяц моей работы я закладывал какой-то пакет в тайник, в течение недели контролировал место, где должен был появиться сигнал от кого-то, ночью в лесу принимал какие-то ящики и доставлял их в посольство, снимал с операции наших офицеров, когда группа радиоконтроля обнаруживала высокую активность полицейских радиостанций в районах наших операций. Все, что я делаю,— это обеспечение чьих-то операций, помощь кому-то, участие в операциях, назначения и цели которых я не знаю. Из сорока добывающих офицеров ГРУ нашей резидентуры — больше половины делают ту же работу. Это называется «прикрывать хвост». Тех, кто делает это, именуют презрительно «борзой». Борзой — охотничий пес, которого не нужно много кормить, но можно гонять по полям и лесам за лисами да зайчишками. Можно и против крупных зверей пускать борзого, но не одного, а в своре. Борзой — это длинные ноги и маленькая голова.

В мире все относительно. Я — офицер Генерального штаба. По отношению к миллиону других офицеров Советской армии я — высшая элита. Внутри Генерального штаба — я офицер ГРУ, то есть высший класс по отношению к десяткам тысяч других офицеров Генерального штаба. Внутри ГРУ — я выездной офицер. Офицер, которого можно выпускать на работу за рубеж. Выездные офицеры — это гораздо более высокий класс, чем просто офицеры ГРУ, которых за рубеж не пускают. Среди выездных офицеров ГРУ я тоже отношусь к высшей касте: я добывающий офицер, это гораздо выше, чем наша охрана, механики, техники, служба радиосвязи и радиоперехвата. Но вот внутри этой самой высшей элиты — я плебей. Добывающие офицеры ГРУ делятся

на два класса — борзые и варяги. Борзые — угнетенное, бесправное большинство в высшей касте добывающих офицеров. Каждый из нас работает под полным контролем одного из заместителей резидента, почти никогда не встречая самого резидента. Мы охотимся за секретами, вернее, за людьми, которые этими секретами владеют. Это основная работа. Но, кроме того, нас беспощадно используют для обеспечения секретных операций, об истинном значении которых мы можем только догадываться.

Выше слоя борзых стоят варяги. Варяг на языке древних славян — непрошеный заморский гость. Коварный, свирепый, задиристый, веселый и дерзкий. Варяги работают под личным контролем резидента, уважая его заместителей, но работая в большинстве случаев самостоятельно. Самые успешные из варягов становятся заместителями резидента. Они работают уже не одиночно, а получают в полное распоряжение группу борзых.

Первый заместитель резидента — Младший лидер — контролирует всех. Он сам очень активный и успешный добывающий офицер, но, кроме своей работы по добыванию и руководству собственной группой борзых, он контролирует группу радиоперехвата, он отвечает за охрану резидентуры и ее безопасность, за работу всех офицеров, в том числе технических и оперативно-технических. Ему не подчинены только шифровальщики. Ими командует резидент лично. Резидент, он же командир, он же папа, он же навигатор, отвечает за все. У него практически неограниченные полномочия. Он, например, своей властью может убить любого из подчиненных ему офицеров, включая и первого заместителя — в случаях, когда под угрозу будет поставлена безопасность резидентуры, а эвакуация офицера, который эту угрозу создает, невозможна. Право убивать офицеров ГРУ, кроме резидентов, имеет только Верховный суд, да и то если на то будет воля Центрального Комитета. Так что в некоторых вопросах наш папа сильнее Верховного суда, он не нуждается ни в чьих советах и консультациях, ему не нужно голосование или поддержка прессы. Он принимает решения сам и имеет достаточно власти и сил, чтобы свои решения претворять в жизнь, вернее в смерть. Наш навигатор подчинен начальнику 5-го направления 1-го управления ГРУ. Но по ряду вопросов он подчинен только начальнику ГРУ. Кроме того, в случаях несогласия с руководством ГРУ в экстраординарных обстоятельствах он имеет право связаться с Центральным Комитетом. Необъятная мощь резидента уравновешивается только существованием такой же могущественной, независимой и враждебной резидентуры КГБ. Оба резидента не подчинены послу. Посол придуман для того, чтобы только маскировать существование двух ударных групп в составе советской колонии. Конечно, на людях оба резидента демонстрируют послу некоторое уважение, ибо оба резидента — дипломаты высокого ранга и своим непочтением к послу они бы выделялись на фоне других. На этом почтении и кончается вся зависимость от посла. Каждая резидентура имеет в посольстве свою территорию, обороняемую от чужих, как неприступная крепость.

Дверь резидентуры — как дверка хорошего сейфа. Какой-то шутник очень давно привез из Союза железную табличку с мачты линии высокого напряжения: «Не влезай! Убьет!» Ну и, соответственно, над надписью череп с косточками. Эту табличку приварили к нашей зеленой двери, и она вот уже много лет хранит нашу крепость от посторонних.

7

— Обрати внимание на то, что во время войны в нашей авиации существовало две категории летчиков: одни (меньшинство) — с десятками сбитых самолетов на счету, другие (большинство) — почти ни с чем. Первые — вся грудь в орденах, вторые — с одной-двумя медальками. Первые пережили войну в большинстве, вторые — гибли тысячами и десятками тысяч. Статистика войны суровая. Девять часов в воздухе для большинства — после этого смерть. В среднем летчик-истребитель погибал в пятом боевом вылете. А в первой категории наоборот — у них сотни боевых вылетов и тысячи часов в воздухе у каждого...— мой собеседник Герой Советского Союза генерал-майор авиации Кучумов, ас во время войны, один из самых свирепых волков советской военной разведки — после нее. Сейчас по приказу начальника ГРУ он проводит проверку заграничных отделений ГРУ, спрятанных под легальными масками. В одни страны он приезжает как член различных делегаций по разоружению, сокращению, доверию и пр., в других странах он появляется как член совета ветеранов войны. Но он к разряду ветеранов себя никак не относит, он активный боец тайного фронта. Он инспектирует нас и, говорю даю на отсечение, проводит молниеносные и головокружительные тайные операции. Сейчас мы вдвоем с ним в «каюте». Он вызывает нас по одному. Разговаривая с нами, он, конечно же, контролирует нашего командира, а заодно и помогает ему.

— Между двумя категориями летчиков на войне была пропасть. Никакого связующего звена, никакого среднего класса. Ас, герой, генерал, или убитый в первом вылете младший лейтенант. Среднего не давалось. Происходило это вот почему. Все летчики получали одинаковую подготовку и приходили в боевые подразделения, имея почти одинаковый уровень. В первом же бою командир разделял их на активных и пассивных. Тот, кто рвался в драку, кто не уходил в облака от противника, кто не боялся идти в лобовую атаку, тех немедленно ставили ведущими, а остальным приказывали активных прикрывать. Часто выделение активных бойцов происходило прямо в первом воздушном бою. Все командиры звеньев, эскадрилий, полков, дивизий, корпусов и воздушных армий бросали все свои силы, чтобы помогать активным в бою, чтобы их охранять, чтобы их беречь в самых жарких схватках. И чем больше активный имел успеха, тем больше его охраняли в бою, тем больше ему помогали. Я видел в бою Покрышкина, когда у него было на счету уже более пятидесяти германских самолетов. По личному приказу Сталина его прикрывали в бою две эскадрильи. Он идет на охоту, у него в хвосте ведомый, а две эскадрильи идут сзади: одна чуть выше, другая чуть ниже. Сейчас у него на груди три золотые звезды и бриллиантовая на шее, он маршал авиации, но не думай, что все это к нему само пришло. Совсем нет. Просто он в первом бою проявил активность, и его стали прикрывать. Он проявлял больше дерзости и умения, и ему все больше помогали и больше им дорожили. А не случилось бы этого, то в самом начале его отнесли бы к числу пассивных, поставили на неблагодарную работу защищать кому-то хвост в бою. Так бы он в хвосте у кого-то и летал младшим лейтенантом. И, по статистике, на пятом вылете его бы сбили, а то и раньше. Статистика, она кому улыбается, а кому рожи корчит.

— Все это,— продолжает Кучумов,— я говорю к тому, что наша разведывательная работа от воздушных боев почти ничем не отличается. Советская военная разведка готовит тысячи офицеров и бросает их в бой. Жизнь их быстро делит на активных и пассивных. Одни достигают сияющих высот, другие сгорают в первой же зарубежной командировке.

Я ознакомился с твоим делом, и ты мне нравишься. Но ты прикрываешь хвосты другим. Работа в обеспечении — это тяжелая, опасная и неблагодарная работа. Кто-то получает ордена, а ты рискуешь своей карьерой, выполняя самую грязную и тяжелую работу. Запомни, что от этого тебя никто не освободит. Любой командир нашей организации за рубежом, получая свежее пополнение молодых офицеров, использует их всех в обеспечивающих операциях, и они быстро сгорают. Их арестовывают, выгоняют из страны, и они потом всю жизнь прозябают в службе информации ГРУ или в наших «братских» странах. Но если же ты сам проявишь активность, сам начнешь искать людей и вербовать их, то командир немедленно сократит твою активность в обеспечении; наоборот, кто-то другой будет прикрывать тебе хвост, рисковать собой, защищая твои успехи. Такова наша философия. Несколько лет назад наш командир в Париже приказал пассивному помощнику военного атташе пожертвовать собой ради успеха нескольких других офицеров. Будь уверен, что командир жертвовал своим пассивным офицером. Активному, успешному он никогда такой неблагодарной задачи не поставит, и мы это полностью поддерживаем. Руководство ГРУ стремится как можно больше вырастить активных, дерзких, успешных асов. Не беспокойся, чтобы прикрыть таких людей, у нас всегда найдется множество пассивных, малодушных, инертных. И не думай, что все это я тебе говорю потому, что тебе отдаю предпочтение. Совсем нет. Я всем вам, молодым, это говорю. Работа у меня такая — боевую активность и боевую производительность повышать. Да вот беда, не до всех это доходит. Много у нас ребят хороших, которые так никогда и не выбираются в ведущие, чужие хвосты прикрывают и бесславно горят на песке. Желаю тебе успеха и попутного ветра. Все в твоих руках, старайся, и тебя будут две эскадрильи в бою прикрывать.

8

Советское посольство в Вене очень похоже на Лубянку. Тот же стиль, тот же цвет. Типичная чекистская безвкусица. Фальшивое величие. Лубянский классицизм. Было время, когда всю мою страну заполнило это фальшивое чекистское величие — колонны, фасады, карнизы, шпили, башенки и бутафорские балконы. Внутри посольства тоже «Лубянка» — мрачная и скучная. Фальшивый мрамор, лепные карнизы, колонны, кожаные двери, красные ковры и запах дешевых болгарских сигарет.

И все же не все посольство — филиал Лубянки. Есть тут независимый остров — суверенный и независимый филиал Ходынки, резидентура ГРУ. У нас свой стиль. У нас свои традиции и законы. Мы презираем стиль Лубянки. Наш стиль простой и строгий. Никаких украшений, ничего лишнего. Но наш стиль скрыт под землей. Его видим только мы. Все как в Москве: огромное здание КГБ в самом центре города на виду у всех. А здание ГРУ — Аквариум — спрятано от посторонних глаз. ГРУ отличается от КГБ тем, что ГРУ — это секретная организация. Тут. в Вене, тоже стиль Лубянки виден всем. Стиль ГРУ спрятан от всех.

Но есть в советском посольстве еще и третий стиль. Возле, в густом саду,— торжественно возвышается большой православный храм. Он стоит гордо и одиноко, и его

золотые кресты выше, чем красный флаг. В утренней мгле первый луч солнца падает на самый высокий золотой крест и дробится, рассыпаясь на тысячи искр. Я твердо знаю, что Бога нет. В своей жизни я никогда не был в церкви. Мне никогда не приходилось долго находиться возле какой-нибудь церкви, пусть даже разрушенной. Но тут, в Вене, мне приходится каждый день бывать рядом с ней. Не знаю, почему, но она смущает меня. В ней что-то таинственное и чарующее. Она стоит тут больше ста лет. В ее строгом облике нет ни крупицы фальши. Столько цветов и столько узоров собраио вместе, но каждый узор и каждый оттенок неотделим от других, и вместе они образуют то, что называют словом гармония. Я прохожу мимо и смотрю себе под ноги. Мне удается это с трудом, ибо церковь властно притягивает вагляд к себе...

9

«Именем Союза Советских Социалистических Республик Министр иностранных дел СССР просит правительства дружественных государств и подчиненную им военную и гражданскую администрацию пропустить беспрепятственно дипломатическую почту СССР, не подвергая ее контролю и таможенному досмотру в соответствии с Венской конвенцией 1815 года. Министр иностранных дел СССР А. Громыко».

Полицейский читает документ, отпечатанный на хрустящей денежной бумаге с узорами и гербом. Если ему не понятно, то можно прочитать тот же текст на французском или английском языке. Тут же все это и отпечатано. Коротко и ясно: дипломатическая почта СССР. Скрипит полицейский зубами и косится на огромный контейнер. Непривычно это. Через Вену советская дипломатическая почта потоком идет. Водопадом. Ниагарой. Через Вену пролегает ее маршрут. Это означает, что раз в неделю советские вооруженные курьеры останавливаютсн в Вене, следуя дальше в Берн, Женеву, Рим. Потом они возвращаются тем же маршрутом. По дороге туда они оставляют контейнеры в советских посольствах. Возвращаясь назад, они принимают в посольствах контейнеры и везут их в Москву. Из Москвы они обычно везут пять—десять контейнеров килограмм по 50 каждый. А возвращаясь, они везут по 30—40 контейнеров. Иногда случается и по 100 контейнеров. За потерю контейнера курьерам грозит смерть. За каждый контейнер головой отвечает советский посол. Он обязан организовать встречу и отправку дипломатической почты. И потому мы ее встречаем и провожаем. Гоняют нас на это дело в порядке живой очереди. Пока курьеры со своими контейнерами следуют по стране, рядом с ними всегда советский дипломат находится, чтобы в случае необходимости напомнить о том, что за попытку захвата контейнеров Советский Союз может применить санкции, включая и военные. Ну а с малыми группами желающих ознакомиться с содержанием контейнеров — курьеры имеют право расправиться своей властью. Это их привилегия. Защита контейнеров с помощью оружия — предусмотрена конвенцией и потому курьеры сильны и оружия у них достаточно.

Много везут дипломатические курьеры. Много. Все, что мы соберем, все они и везут в контейнерах: патроны и снаряды, оптику и электронику, куски брони и части от ракет, и документы, документы, документы. Всякие документы: военные планы, технические описания, проекты нового оружия, которое будет когда-нибудь производиться или никогда никем производиться не будет. Везут курьеры то, что Западом принято и то, что Западом отвергнуто. Мы посмотрим. Мы обмозгуем. Может, мы примем то, что Запад отверг; может быть, мы придумаем противоядие против того, что Запад намерен производить. Идет информация в зеленых ящиках. Скрипит полиция зубами. Много ящиков. Совершенно секретно! Именем Союза Советских Социалистических Республик! В соответствии с Венской конвенцией 1815 года!

Едут курьеры. Везут контейнеры. Скрипит полиция зубами.

Но сегодня скрип особенный. Случай необычный. Сегодня у наших курьеров не 50-килограммовые контейнеры, нет, сегодня совсем большой контейнер — 5 тонн! Именем Союза Советских Социалистических Республик! Собралось все полицейское начальство. Ругаются тихо. На наш контейнер косые взгляды мечут. Контейнер сопровождаю я. Я им уже все документы предъявил. И уж фраза у меня заготовлена: «Задержка дипломатической почты Союза ССР, а равно попытки ее захвата, контроля, досмотра влечет за собой...» ну и т. д.

Контейнер пригнали в Вену на особой платформе, продемонстрировав на таможне, что он пуст. Но теперь он загружен. Теперь он опечатан огромными красными печатями: «Дипломатическая почта СССР. Отправитель Посольство СССР. Вена». Теперь у контейнера наши курьеры. Теперь у курьеров оружие. Теперь у контейнера советский дипломат. У дипломата не очень высокий дипломатический ранг. Это всегда так делается. И все же он неприкосновенный представитель СССР. Троньте его — попробуйте. Нападение на дипломата — оскорбление государству, которое он представляет. Оскорбление дипломата может быть расценено как нападение на само государство. Скрипят полицейские чины зубами.

— Можно осмотреть правильность крепления контейнера на платформе?

— Это ваше право,— соглашаюсь я. Но трогать наш контейнер руками они права не имеют. Только попробуйте. У меня прямая связь с генеральным консулом СССР в Вене, а у него прямая связь с Министерством иностранных дел СССР. Осмотрите.

Ходят полицейские чины вокруг контейнера. Ах, как хочется им узнать, что там внутри! Но не выгорит вам, господа. Что с воза упало, то не вырубишь топором.

Когда контейнер из ворот посольства вывозили, все наши соседи из КГБ с завистью матерились: ну, прохвосты, обскакали. Не иначе, ГРУ кусок ядерного реактора сперло. У полиции местной, наверное, то же мнение. Вот один совсем рядом с контейнером трется. Не иначе, радиометр в кармане имеет. Попробовать решил, не везем ли мы атомную бомбу. Остановить того полицейского я не могу. Контейнер он руками не трогает, а просто рядом прохаживается. Ну, хрен с тобой. Прохаживайся. Твое право. Но не защелкает твой радиометр — внутри не атомная бомба и не кусок от ядерного реактора. Вот еще один полицейский у контейнера трется. День жаркий. Но он в плаще. Не иначе, под плащом у него аппаратуры электронной напихано. Не иначе, они стараются определить, металл там у нас внутри или нет. Может, мы двигатель секретного танка сперли? Но и тебе, братец, ничего не выгорит. Ни хрена ты своей электроникой не определишь. Вот и собаки рядом. Вроде как для нашей безопасности. Принюхиваются собаки. Ах, не выгорит вам, серые. И не нюхайте.

Курьеры наши на меня с уважением смотрят. Им-то ясно, что я к этому делу прямое отношение имею. Но что внутри контейнера — не положено курьерам знать. И никогда они этого не узнают. Ясно им, что контейнер не КГБ наполняло, а ГРУ. У дипломатических курьеров на этот счет особый нюх. Годами они эту работу делают. Знают, кто будет багаж принимать, а отсюда ясно, кто его отправляет. В данном случае им следует только переправить контейнер через границу, тут же их в Братиславе советский военный конвой встретит, которому контейнер и следует передать.

Ах, как бы удивились дипломатические курьеры, если бы узнали, что, попав в Братиславу, контейнер будет переправлен на первый советский военный аэродром и там все его содержимое будет сожжено в печке. А ведь так оно и будет.

Давно Навигатор наш у посла чердак посольства просил. Давно посол нашему Навигатору отказывал. Нет, говорит, и точка. Но у Навигатора нашего растет хозяйство. С каждым годом растет количество серых ящиков с лампочками да антенн разных. Нужен Навигатору чердак. Просит он посла, умоляет. Пропадает место, а мне электронику подслушивающую устанавливать некуда. Плюнул посол. Хрен с тобой, говорит. Забирай чердак. Но авгиевы конюшни там. Вычистить их надо. Сумеешь — твой чердак. Только чур, меня не подводить. И грязь с чердака убрать своими силами. Много ли грязи? — Навигатор интересуется. Все, что есть,— все твое,— посол отвечает. Как ее убрать, я не знаю. Знал бы, давно бы там все очистил. От предшественников наследие там осталось... Ударили они по рукам. Отдал посол Навигатору ключик и еще раз попросил не болтать о том, что там, наверху, лежит. Вскрыл Навигатор чердак, личную печать посла нарушил, включил фонарь и обомлел. Забит чердак книгами. Красивые книги. Бумага рисовая, обложки глянцевые. Названия у книжек разные, а автор один: Никита Сергеевич Хрущев. Сообразил Навигатор ситуацию. Много лет назад хотела партия, чтобы голос ее весь мир услышал. Оттого речи самого умного в партии человека на лучшей бумаге печатались и по всему свету рассылались. Тут посольства их всем желающим даром раздавали, во все библиотеки рассылали. А партия внимательно следила, какой посол слово партии хорошо распространяет, а какой — не очень. Между послами соревнование: кто больше книг бесплатно распространит. Рапортуют послы: я сто тысяч распространил! Я — двести тысяч! А я — триста!! Ну, хорошо, в Москве говорят, раз так легко их распространять, раз народы мира так сочинениями нашего дорогого вождя интересуются, вот тебе еще сто тысяч! Распространяй да помни — в Париже посол лучше тебя работает! А в Стокгольме необычайный интерес! А в Канаде люди так и прут валом, чтобы книги те заполучить... Как там в Париже и в Оттаве эти книжки распространяли, не знаю, но в Вене их спустя много лет на чердаке обнаружили. Пошел Навигатор к послу:

— Выкинуть их на свалку,— говорит.

— Что ты,— посол взмолился.— Узнают газеты буржуазные, скажут, что прошлого лидера нашей родной партии мы обманывали, может, и современного лидера так же обманываем. Что будет, если такая статья появится?

— Ну, сжечь их! — Навигатор предлагает. Но тут же и осекся. Сам понял, что нельзя такую уймищу книг жечь. Всякий знает, что если в посольстве несколько тонн бумаги сжигают, значит, война. Паника начнется. А кому отвечать? Сжигать их понемногу тоже нельзя — чердак и за год не очистишь.

Поматерился Навигатор, шифровку в Аквариум настрочил: получим чердак для электроники, если посла выручим без особого шума. Аквариум согласие дал. Контейнер прислал и документы соответствующие.

Две ночи мы, борзые, книги на себе с чердака в контейнер таскали. Тронешь их — чихаешь потом два часа. Пыль, жара на чердаке. Лестницы крутые. Пробежишься вверх-вниз по ступенькам, сердце прыгает. Пот льет. Ах, как же мы тебя, Никита Сергеевич, матом крыли!

Контейнер к самым дверям подогнать пришлось, и просвет между дверью и контейнером брезентом укутать да караул установить. Смотрят соседи из КГБ на охрану да на огромный контейнер, с завистью посвистывают.

Посмотрели полицейские чины еще раз на контейнер, проверили бумаги еще раз, махнули руками, черт с вами, проезжайте. Ничего не поделаешь. Ясно полиции, что сперла советская военная разведка что-то важное, и непонятно, как сумела эту штуку в посольство протащить. А уж если это удалось, то тут ничего не поделаешь. Проезжай!

Окончание следует

Екатерина ШЕВЕЛЕВА

Начало

Сбежать на время удалось
От повседневных битв,
От глоток, накопивших злость,
От мстительных обид.
Удрать на время удалось
В осенний бурый лес,
Который в твердь земную врос
И в облака залез.
Рельеф неандертальский рва —
Как след былых засад,
Как кости мамонта — дрова
На просеке лежат.

...Ведь было же на свете так —
До первой тетивы —
Оскал остервенелых драк
Из-за куска жратвы;
Размах мохнатый кулака —
Ударь и завладей!
Ведь были в давние века
Стада полулюдей!

И все же, из разгула зверств,
Мильон веков назад
Возник однажды легкий жест
И удивленный взгляд —
Еще не старт в разумный мир,
Еще намек, пустяк...
А Лев Толстой, Бальзак, Шекспир —
Мильоны лет спустя.

Так все-таки — надежда есть?..

Дятел

Знакомый дятел на балкон
К нам прилетает в полдень.
Как на показ наряден он,
Наперекор погоде.
Он все, что мы даем, клюет
И про запас уносит,
Свершая красочный полет,
Сквозь ливневую осень.
На дятле беленький жилет,
Беретик кумачовый.
...Я отстраняюсь от газет
С докладом Горбачева;
И от друзей, и от врагов,
От ора и молчанья.
Не слышу более шагов
Эпохи за плечами,—
Как будто громкие мечты,
Страстей гражданских лира
Дешевле бренной красоты
Обыденного мира.

Продавщица цветов

...А внучка моя — продавщица цветов
С лотка, возле входа в метро
на Кузнецкой.
Она — в услуженьи торговых китов,
Она — отражение жизни советской.

На бирже труда в предпочтеньи места
Профессий, сулящих немалые деньги,
К примеру, буфетчиц.
Но ей красота
Газонов мерещилась в давнем «Артеке».
И стала она продавщицей цветов.
На улице ветер по-зимнему дикий.
Но словно десятки волшебных щитов
Лоток охраняют живые гвоздики.

Куда-то спешит оголтелый народ.
Москва не смеется, Москва не судачит.
А Настя упрямо цветы продает,
Она по дешевке цветы отдает
Толпе безразличной. Эпохе горячей.

Елена
ШАЛЯПИНА



Свет удивленья, свет любви,
Свет легкий и неугасимый,
Разоблачай меня, лови
На нежности невыносимой.

Лови на вдохе, на бегу,
На слове, выпавшем из речи.
Лови на этом берегу,
А не на том, где время лечит.

Покуда я твоим лучом
Хотя б немного, да согрета,
Я не жалею ни о чем
И всем прощаю все за это.



Пожалуй, время неудачно
Создатель выбрал для меня
И место, что зовется Дачным,
Где всё теперь моя родня.

Сады, зажатые домами.
Бездомных кошек легион.
Собак уж нет. Но с нами, с нами
Их метящий дух, их жалкий стон.

И двор — не двор, лоскут планеты,
Замусоренный в пух и прах.
Я не люблю его за это.
В других я выросла дворах.

Хоть, если разобраться строго,
То разница невелика.
Двор детства — это слишком много,
И чище нет его песка,

И непролазней нету чащи,
И зелени нет зеленей
А этот двор — не настоящий.
Но это двор моих детей

Вторая родина. Вторая
Обетованная земля.
И первую не выбирают.
И эту выбрала ие я.



Много и не надо
Для пера и пира.
Этот угол сада.
Этот образ мира.

Розы дикой запах.
Свежесть от полива.
И озноб внезапный,
Как укус крапивы.

Как пирог на блюде,
Остывает воздух.
Скоро август будет...
Астры будут, звезды...



А там — вдали разнузданного быта,
Вдали размолвок, будней, суеты,—
Владения любви полузабытой,
Полузабитой нами доброты.

Там тень родная встретит у порога
И поведет к источнику потерь.
Тогда ты все припомнишь понемногу.
Каким ты был. Каким ты стал теперь.



Сошлись и разошлись. Но что-то
ведь осталось,
Над чем не властны время
и усталость.
И ничего не властно, ничего.
И смерть сама уносит эту малость,
Что совершилась или примечталась,
В другую область, только и всего.

Не потому ли я от юности беспечной
Тащу сквозь морок и надрыв
сердечный
(Упрямо — муж сказал —
как сто ослов)
То, что досталось мне от жизни
вечной,
То, что осталось в жизни
быстротечной,
И что открыто каждому без слов.



Но я горю на медленном огне,
А дети, дети тянутся ко мне...

Как их ни заслоняю от огня,
Он все равно проходит сквозь меня.

Он все равно проходит сквозь меня,
Меня сжигая, их к себе маня...

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

189

Военный министр Беляев всю эту ночь совсем не был в тягость Хабалову: не вмешался ни одним приказанием, не подал ни одного совета. Всё действовал провод в Ставку и сохранялась линия дворцового телефона — и он сидел там, около них, принимал сообщения и отправлял сообщения, и наводил справки.

А кто совсем не имел служебного касательства — отставной корпусной гвардейский командир Безобразов,— явился в комнату, где за столом томились все чины хабаловского штаба и градоначальства (при его входе все поздоровались вставанием),— и с апломбом, как всех их начальник, заявил:

— Я пришёл узнать, какие меры приняты для ограждения живущих в городе. Вчера ко мне ворвалась шайка солдат, которую еле удалось выпроводить. Завтра может появиться другая.

Хабалов сидел как чучело, даже не имея сил руки развести пошире:

— Мои приказания не исполняют, я ничего не могу.

Безобразов возмутился, вскинулся и резко:

— Виноват, я видел вчера несколько частей на площади Зимнего в полном порядке. Вы должны знать, где находится очаг беспокойства, и обязаны потушить его.

Кто-то из полицейских чинов отозвался от стены, то ли с вызовом, то ли с горечью:

— В Государственной Думе.

И Безобразов подтвердил, это была его мысль:

— Да, в Государственной Думе!

И ещё раз внушительно на Хабалова:

— Вашему превосходительству должно быть известно, как действовать в таких случаях.

И, с общим поклоном, величественно вышел.

Тут пожали плечами: общие слова все могут говорить.

Не много прошло минут, как близ полудня появился адъютант морского министра и от имени своего шефа потребовал немедленно очистить Адмиралтейство, так как в противном случае восставшие обещали через 20 минут открыть огонь с Петропавловской крепости, и над ней действительно появился красный флаг.

Вот так... И с этим известием тоже Григорович пришёл не сам. Да давно он хотел их изгнать, но не решался от своего имени, а тут рад был поводу.

И вот пришёлся тот толчок, без которого они не могли выйти из мертвительного окостенения. А ультиматум и короткий срок — толкали командование что-то решать.

А что ж было решать? Переходить ещё раз — было некуда, разве опять в градоначальство? Но вряд ли зачем. Совещание старших, как и были тут, в комнате (про Беляева забыли), да и то спешное: ведь дано всего 20 минут.

Все оказались единого мнения: что продолжать оборону невозможно. Но и уходить с оружием — тоже нельзя: если выйдем с оружием — толпа нападёт, наши станут отвечать, и так произойдёт ненужное безнадёжное кровопро-

---

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6.

литие. Значит, надо сложить оружие здесь, в Адмиралтействе, сдать его тут на хранение, выйти безоружными,— и на такие войска толпа не будет нападать.

Прямо сдаться? Некому, таких войск нет. А просто — разойтись безоружными, по казармам, по квартирам.

И по гулким длинным строгим залам Адмиралтейства и по дворам — понеслись команды. Артиллерия стаскивала в кучу орудийные замки. Пулемёты и винтовки сбрасывались в большую комнату, указанную смотрителем здания.

И все — испытывали облегчение: как-то кончилось, и кончилось без единого выстрела, хорошо.

Кроме полковника Потехина на костылях, он гневался, да может ещё двух-трёх.

Все спешили расходиться, разъезжаться. (Прошло и несколько раз по 20 минут, Петропавловка не стреляла.)

Через ворота на Дворцовую площадь выезжала батарея, к себе в Павловск. За воротами сразу налепилось к ним девиц и молодых людей, вязали красные лоскутки к орудиям, к зарядным ящикам, к упряжи лошадей.

В разных кучках на улицах раздавалось „ура" и пальба в воздух.

Измайловцы вышли налегке и пели:

Взвейтесь, соколы, орлами!

Одни стрелки не захотели сдать оружие и вышли с винтовками. Их тем более не трогал никто.

А последнюю полицию градоначальник Балк распустил ещё раньше утром, сейчас бы ей не выйти невредимой.

В суматохе не заметили, куда ж исчезли генералы Беляев и Занкевич.

А от оставшихся генералов и высших чинов смотритель здания потребовал освободить все занимаемые комнаты и перейти на 3-й этаж в чайную.

Там, с окнами на Сенатскую площадь, был большой обзор.

И обзор для размышлений, если бы кто оказался склонен к ним.

Высшие чины расселись и глушили голод папиросами.

Затем опасность случайных пуль (какие-то щёлкали то о стены, то близко о крышу) заставила их перейти в комнату с окнами во внутренний двор.

Хабалов, освобождённый от своей непомерной тяжести, теперь расхаживал и обдумывал.

Он думал так: в лицо его никто из петроградских деятелей не знает, фотография никогда не печаталась. И вот если б его задержали отдельно от штаба — можно было бы заявить себя казачьим генералом в отпуску.

190

С неотклонимостью военной привычки, раз поняв и приняв приказ, генерал Алексеев дальше честно развивал его, сколько он требовал по своей логике. Отдавший с вечера первые распоряжения об отправке войск на Петроград, Алексеев не успокоился и ночью. Проводив Государя, он лёг с досадою спать, но спать почти не мог. Мысленно соединял в голове все посылаемые войска — и увидел, что в них недостаёт артиллерии.

В два часа ночи он поднялся, оделся. Его помощники все спали, хорошо, он так и любил, сам пошёл в аппаратную. И продиктовал телеграмму на Северный фронт и на Западный о посылке каждым фронтом ещё по одной конной и по одной пешей батарее, не забыв добавить и о порядке присылки снарядов.

А начиналась каждая телеграмма: „Государь император повелел..." Момент был серьёзный, и мало ли какое противодействие возникает там при исполнении, а против Государя императора не поспоришь. Для того он и нужен был здесь, в Ставке, и обидно было, что уехал, и пока не хотелось в том признаваться даже главнокомандующим.

Тут подали Алексееву в тех же минутах пришедшую телеграмму от военного министра к дворцовому коменданту. Такая форма была, когда хотели подать прямо вниманию Государя. Такие телеграммы обычно шли мимо Алексеева, но сейчас Воейков был уже на вокзале и нельзя было телеграммы не прочесть. Она была короткая, но поразительная: мятежники заняли уже

и Мариинский дворец, а министры одни успели спастись, о других сведений нет.

Так правительства уже и не было вовсе! Пока шли переговоры, подавать ли ему в отставку или нет, а его уже не было вовсе...

Ну и ну.

А может и к лучшему. Может так установится общественное министерство, и никаких военных действий вовсе не придётся. Лучше бы.

Отправил и эту вдогонку Воейкову на вокзал. Может быть, Государь ещё одумается и вернётся.

И долго-долго больной Алексеев ещё лежал, вздрёмывал, а не спал — и что-то стало его разбирать беспокойство за Москву: трудно представить все последствия, если это перекинется ещё и на Москву. И он снова поднялся, снова оделся, снова пошёл в аппаратную — когда уже что-то задумано, то кажется и на час страшно отложить. И перед четырьмя часами утра отправил телеграмму командующему Московским округом генералу Мрозовскому, запрашивая о настроениях в Москве и предоставляя, именем Государя, полномочие объявить Москву на осадном положении в любую минуту. Особенно он обращал внимание на московский железнодорожный узел, от которого зависело движение хлеба на фронты и во многие губернии.

Это уж было последнее в ночь. Устал и заснул на несколько часов.

А на пробуждение после восьми утра пришло ему: заверение от Эверта, что назначенные полки начинают в полдень погрузку; и мрачная краткая от Хабалова, что верных почти не осталось и положение до чрезвычайности...

Тут пришёл к нему адмирал из морского штаба и показал ему две телеграммы из Адмиралтейства, одна лежала с ночи, но все спали, а вторая пришла утром. Сообщалось, какие значительные районы города взяты мятежниками ещё вечером, офицеров обезоруживают, хулиганы грабят, отобрали и автомобиль ставочного адмирала, Григорович болен, а Беляев вряд ли справится. Утром же сообщалось, что мятежники заняли уже весь город, Хабалов засел в Адмиралтействе как в последнем редуте, и это послужит только бесполезному истреблению драгоценных документов и приборов.

Совсем плохо. Стал Алексеев давать ещё новые телеграммы о подкреплении Иванова. С Северного фронта — ещё батальон выборгской крепостной артиллерии.

Если посылаемым войскам придётся вести бой против целого большого города, то не обойтись им без крепкой артиллерии.

Набрано было много. Но Иванов-то, Иванов не годился.

Однако Государь повелел так.

А сам уехал.

Иванов же — не торопился ехать, а сроки были — уже его дело. Запрашивал Хабалова — и получил от него те же ужасающие ответы: что столица вся потеряна.

Но где-то же там сидел ещё и военный министр! И Алексеев обязан был телеграфировать ему новое устное высочайшее повеление: изыскать все способы передать всем министрам (где б они ни находились и составляют ли они правительство), что они обязаны будут беспрекословно выполнять все требования главнокомандующего Петроградским округом генерал-адъютанта Иванова.

И морской же министр там! И он тоже должен быть предварён содействовать и даже подчиниться Иванову. И, думая за Григоровича, дал ему Алексеев телеграмму: по требованию Иванова, выделить ему два прочных батальона Кронштадтской крепостной артиллерии.

Так и посылал телеграммы, придумывая, чуть не каждые пять минут, пока действовал провод с Адмиралтейством.

Григорович — ничего не ответил. А Беляев — был цел и не дремал, не покидал поста! Нельзя было такого предвидеть, когда его назначали военным министром за одно знание иностранных языков. И теперь успевал отстукивать свои телеграммы. Вразмин пришла теперь от него такая: войска бросают оружие, переходят на сторону мятежников, нормальная жизнь министерств прекратилась, Покровский и Кригер-Войновский едва выбрались ночью из

Мариинского дворца. Желательно прибытие надёжной вооружённой силы, иначе мятеж будет увеличиваться...

Да-а-а... Только увеличивался сумрачный груз и сознание неполноты сделанного. Хмурый, пригорбленный, походил Алексеев между столами — и, уже после отъезда Иванова, решился на крупное добавление: как тот просил, послать на Петроград войска также и с Юго-Западного фронта. Да не какие-нибудь полки, а три гвардейских, и среди них — сам Преображенский. А быть может ещё придётся готовить и гвардейскую кавалерийскую дивизию.

Дал такую телеграмму Брусилову.

Ну, кажется теперь будет даже слишком достаточно.

Худо поступил Государь, покинув Ставку и уехав в такие часы. Но отчасти генералу Алексееву стало и свободнее: не надо бегать суетливо с каждой телеграммой, докладывать, уговаривать, можно сидеть за рабочим столом и принимать решения.

А с другой стороны, как ни мало распоряжался здесь Государь в качестве Верховного Главнокомандующего, но, по напряжению таких событий, было бы легче ощущать его сень. Как ложу винтовки нужно плотно прилегающее плечо, чтоб не так отдавать.

Да что это? Уже 9 часов как литерные поезда в пути — и не пришло ни одно подтверждение с дороги. (Их присылал только Воейков, а начальники станций не имели права сообщать.) Государь не просто уехал — но уехал без связи! Вот пришла ему важная телеграмма от членов Государственного Совета — и куда ему пересылать? Только можно приблизительным расчётом выбрать станцию. А приди ещё срочней — как снестись?

К счастью, сегодня Алексеев чувствовал себя гораздо лучше.

Между тем, частными путями притекали из Петрограда и худшие сведения: что офицеров и чинов полиции убивают, многие здания в пожарах, арестован Председатель Государственного Совета!

Но в противоречие с этим прислал телеграмму Председатель Думы, что власть перешла к временному комитету Государственной Думы. Так это совсем не плохо, и теперь можно надеяться на восстановление порядка.

Даже Ставка не успевала осваивать новости — что ж могли знать главнокомандующие фронтами? Алексеев поручил составить для них подробную сводку всех петроградских событий этих дней и после полудня отослал, сопроводив таким заключением:

„На всех нас лёг священный долг перед Государем и родиной сохранить верность присяге в войсках действующих армий".

Лишь бы не дрогнула армия и сохранились пути подвоза, петроградский мятеж не труд осилить.

Пути подвоза... Алексеев запросил телеграммой этого отчаянного Беляева, кажется единственного теперь деятеля в Петрограде: где же всё-таки находится министр путей сообщения Кригер-Войновский, которому удалось скрыться из Мариинского дворца? — может ли его министерство управлять сетью железных дорог?

И Беляев не замедлил узнать и меньше чем через час исправно ответил, что министр путей сообщения скрывается на чужой частной квартире и выполнять своих функций не может.

Но для такого случая могла пригодиться созданная Гурко при Ставке должность помощника министра путей сообщения на театре военных действий: власть надо всей железнодорожной сетью теперь может безотлагательно перейти к нему.

Таковым состоял при Ставке генерал Кисляков. До сих пор его пост был как-то мало заметен, Алексеев с ним и дела не имел. Но теперь он становился самой центральной фигурой. И Алексеев написал ему распоряжение, что немедленно принимает через него на себя управление всеми железными дорогами страны. Тем более настоятельно, что в снабжении Юго-Западного из-за мятелей последнее время значительные перебои.

Это было в половине первого дня. Кажется, к середине дня генерал Алексеев принял все возможные меры для остановки мятежа,— не мог придумать, чего он ещё не сделал.

Ещё, пожалуй, телеграмму всем командующим округами: чрезвычайно оградить железнодорожных служащих узловых станций, мастерских и депо от посягновений внести к ним смуту извне. И чтобы все они были обеспечены продовольствием.

Но тут немедленно явился с докладом генерал Кисляков, прежде видимый только в офицерской штабной столовой,— грузный, жирный, с широким бледным лицом, а молодой. Длинно и волнуясь, он стал излагать разные железнодорожные подробности, в большом объёме, а с тем смыслом, что до сих пор он руководил прифронтовыми железными дорогами лишь в техническом отношении, а никак не в хозяйственно-административном, каковое управление, будучи внезапно перенесено в Ставку, может вызвать большие затруднения в планомерной работе всей сети дорог. Сейчас, пока ещё не выявились достаточные признаки, что нарушено центральное управление железными дорогами, такой административный перенос был бы крайне неосмотрителен и вреден. Это — в том, что касается прифронтовых железных дорог. В отношении же в с е й сети Империи генерал Кисляков даже затрудняется подвергнуть такую проблему предварительному обсуждению — настолько она для него недоступна.

Он семенил, рыжий, длинными складными фразами, а взгляд его при этом был косо спущен по перекривленному лицу.

Ведь вот бывают фамилии до того оправданные, как прилепленные: Кисляков. Кисло-затхлым безнадёжным запахом так и пахнуло на Алексеева от этого рыхлого человека. И столько месяцев сидел на посту — не видели. А без него — Алексеев тем более не мог бы враз осуществлять совсем незнакомое ему управление.

Что же делать? Придётся эту меру задержать.

Посмотреть, как железные дороги будут функционировать сами, без министерства.

А ещё вспомнилось: большая доля снабжения в руках Земгора.

Так что Ставка совсем не так неуязвима.

191

Сословие инженеров путей сообщения в России гордилось талантами, знаниями, умением. Оно вбирало в себя цвет мужской молодёжи — привлекательностью своей работы и высокими приёмными конкурсами. Бездельники и революционеры туда не шли. Пять лет обучения были упорный труд, отличная научная подготовка и деятельная летняя практика. Сам характер железнодорожной службы при раскинутых русских просторах вырабатывал дельных и смелых работников, умеющих выходить из самых сложных положений, хорошо знающих жизнь, людей, цену всякого труда и имеющих возможность каждую работу подчинённого достойно оплатить. В такой системе не знали, что значит устройство по протекции, а лишь по таланту и опыту. И каждый, не гнясь о хлебе насущном, мог всё время и силы отдавать этой разнообразной работе, всё в гранях новых задач. Командировки на изыскания, постройки, железнодорожные совещания и собственный бесплатный проезд давали им широкий обзор своей страны, а также и Европы. И обычно железнодорожным подлинным инженерам никогда не оставалось времени не то что на общественные дела, но даже на семейные.

Александр же Александрович Бубликов никогда не помещался в жизненном амплуа инженера путей сообщения. Никакая работа на действующей дороге или на постройке новой никак его не насыщала. Уж он и переливался в общую экономику, был вызываем работать в разных комиссиях при министерстве, формовать общие вопросы,— нет, не то, недостаточно! Наконец он догадался баллотироваться в Государственную Думу и в 1912 был избран в неё от Пермской губернии, где занимался железнодорожными изысканиями. И уж так вознадеялся! — но и тут осталось томиться втуне его страсти к действию: в Думе состояло десятка два главных говорунов, от кадетской партии более, чем от других, и они занимали четыре пятых всего думского времени,— да и это разве было действие? А остальным полагалось молчать, голосовать,

можно работать в комиссиях. Но думские комиссии давали куда меньше разрядки к делу, чем комиссии при министерстве. Сознавал в себе Бубликов какой-то особенно мятежный талант, если не гений, а применить его не мог. А вот уже — 42 года.

Да и фамилия у него была юмористическая, мешала серьёзному политическому амплуа.

Бубликов принадлежал, конечно, к русской интеллигенции, из своего происхождения не вырвешься, но по сути глубоко отличался от её основного типа. Основной тип русского интеллигента утонул в морали, в рассуждениях, что хорошо, что плохо, способен рыдать и жертвовать,— но уже экономики дичится, а управлять государством и совсем неспособен. А Бубликов — именно силу управления в себе отчётливо чувствовал, но железные дороги были для него слишком узки, а вся Россия в целом не давалась.

Но от вчерашнего грома сразу сердце застучало, что пришёл его миг! И он кинулся воодушевлять депутатов открыть громовое же заседание Думы! Но трусливая депутатская толпа не посмела. А слушать их вялую болтовню в Полуциркульном — можно было заболеть,— когда уже тысячные массы двигались по городу и где-то зрела туча реакции! Бубликов метался туда и сюда по взбудораженному ройному Таврическому, остро приглядываясь и нервно потирая руки. События катились необычайны — и необычайно же, энергично и коротковременно должно найтись деловое решение. Но самые простые решения трудней всего приходят в голову. Вот нужное ключевое не приходило и события катились, как им вздумается.

И так Бубликов ночевал в Таврическом, как и все, и всё явней видел, что над революцией не встаёт руководящая личность, и она беззащитна против подавления. Так и есть! — с утра пришёл слух об экспедиции генерала Иванова на Петроград.

Катилось! И — задавят? Что делать? что делать? А думские вожди болтали, болтались, ничего серьёзного не предпринимая. А силы подавления — вся Действующая армия, они несравненны с петроградским гарнизоном.

А вся Россия, со всем её порохом либеральной интеллигенции и взрывоготовной учащейся молодёжи,— дремала, заметенная снегами, и ничего не знала о событиях в Петрограде.

И тут Бубликову открылась искомая гениально-простая идея! — именно только железнодорожнику она и могла открыться. Пассивная крестьянско-мещанская Россия и не имеет никакого значения, активная же Россия вся стянута к нервам железных дорог, это государство в государстве. Все железные дороги — до Владивостока, до Туркестана, имеют единую телеграфную связь, самую живую, а центр её — в министерстве путей сообщения. Эта связь, как хорошо знал Бубликов, совершенно не зависит от сети министерства внутренних дел, нигде с ней не сливается и повсюду обслуживается вольномыслящими телеграфистами. Так вот: захватить этот узел связи — и открыть себе голос на всю Россию!

И он бросился искать — не Керенского, не Чхеидзе — а сразу главного, Родзянку. Нашёл его тушу, бродящую в окружении разных искателей, пытался привлечь его внимание, отвести конфиденциально, даже начинал говорить,— но тот не внял и рассеянно закруживался дальше.

Тогда Бубликов подстерёг его на возврате с речи перед полком, дышащего кузнечной грудью. И тут вклинил ему в голову мысль о захвате министерства — но великан даже испугался, зазяб огромными плечами,— да он совсем не понимал, что вообще н а д о б р а т ь в л а с т ь! — в не ждать пассивно, как придут на нас царские войска. Родзянко всё ещё дышал законопослушностью. Бубликов стоял перед ним, вид среднего буржуа с холёной наружностью, только ртутной подвижностью и отличавшийся,— но этой подвижности не мог ему передать. И — плавно утёк Родзянко.

Но чёрт возьми! — но от кого ж другого получить разрешение действовать? Рискнуть — совсем без разрешения? Это было бы в духе Бубликова. Но — в нужный момент может не хватить опоры.

А между тем, слоняясь по Таврическому меж густящегося множества незанятых людей, Бубликов присматривался, понимая, что тут-то и сошлись все нужные ему исполнители и помощники, только требуется их разглядеть, позвать и стянуть вокруг себя. И он — разговорился с одним, другим. Из первых таких пригляделся ему симпатичный и услужливый гусарский ротмистр с пышными светлыми усами. Был он один, без своих гусаров, явно свободен, явно искал встреч и разговоров и охотно всем улыбался.

— А не хотели бы вы поучаствовать в революционной операции? — спросил его Бубликов в одну из встреч в толчее.

— К вашим услугам, ротмистр Сосновский! — с весёлой готовностью отозвался тот.

Затем нашёлся свободный молодой солдат с интеллигентным, но решительным лицом — Рулевский, бывший польский социалист, а теперь социал-демократ-циммервальдист, счетовод службы сборов Северо-западных железных дорог. Отлично! Он — тоже готов. Ещё нашёлся лохмато-кучерявый Эдуард Шмускес, то ли студент, то ли бывший, тоже искал себе горячего революционного занятия.

Силы революции складывались сами! Они томились, рвались — надо было уметь их направить!

Всё более решаясь, Бубликов раздобыл лист бумаги, перо и, примостясь в какой-то комнате, отчётливым почерком написал себе полномочия от Комитета Государственной Думы на занятие министерства путей сообщений. С этим листом пошёл искать Родзянку, нашёл, всё так же в движении, проталкивании через толпу с кем-то и куда-то, и так же в движении продолжал его уговаривать, что нельзя ничего не предпринять для защиты свободы. Родзянко рассеянно удивился: „Ну, если это так необходимо, то пойдите и займите". Оттого ли, что это была уже третья попытка, или Родзянко за минувшие часы стал мыслить смелей,— но он взял полномочия Бубликова, припластал к колонне Екатерининского зала и расписался на них. Расписался без большого интереса, скорее чтоб отмахнуться от настойчивого депутата.

Но Бубликов тут же подал ему и энергичное воззвание, тоже уже написанное им и которое он собирался распускать по телеграфу. Начиналось с того, что „я сего числа занял министерство путей сообщения и объявляю следующий приказ Председателя Государственной Думы". Итак, Родзянко читал свой собственный, ему самому ещё не известный приказ: „Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления,— пала!"

Тут Родзянко удивился:

— Так нельзя выражаться. Старая власть ещё...

Как? Он не понимал, что власть уже пала? *Он* не понимал? Кто же тогда? Поди с ними делай революцию!

А если и не пала — так надо ж её подтолкнуть.

— Но именно так надо написать! — живо настаивал Бубликов, всей своей революционной жилой чувствуя: пала! Сразу впечатление. И — падёт!

— Нет-нет,— бурчал Родзянко.— Как-нибудь осторожней.

— Хорошо: старая власть оказалась бессильной?

Согласился.

И ещё получил у Родзянки разрешение взять на экспедицию два грузовика — автомобили и солдаты скоплялись перед Думой в её распоряжение.

Сосновский и Шмускес бросились собирать команду, охотников набралось больше полусотни, примкнули и два прапорщика. А сам Бубликов с бумагами в кармане и без оружия вышел счастливым революционным шагом. Необычайная минута жизни! К двум грузовикам охотно увязался ещё и третий, тут же Бубликов прибрал себе бездействующий пассажирский мотор, ничьего разрешения и не требовалось. У всех солдат винтовки наискось за спинами, штыками вверх, так что влезая в кузов едва не кололи друг друга. Кажется, были и пьяные.

Покатили на Фонтанку и к Вознесенскому проспекту.

Оставляемый позади роящийся Таврический был только видимость. А действие вот оно: никому не известный Александр Бубликов идёт брать в собственные дерзкие руки нервный узел империи!

А что за разгульный вид был у взбудораженных улиц! Местами пусто и стрельба, местами толпы, то кучка солдат или рабочих, спешат куда-то

с винтовками уже наперевес, то едет санитарный автомобиль с ранеными и сёстрами, то громят лавку, то ведут арестованных офицеров, то такие же грузовики, как и в бубликовской колонне, и при встрече салютуют выстрелами.

Доехали до министерства — солдаты высыпались из кузовов, Шмускес и прапорщики расставляли парных часовых у ворот, у главного входа, у запасных, а Сосновский и Рулевский по правую и левую руку стремительного Бубликова, отчаянного при своей благообразной внешности, и во главе ещё двух дюжин солдат,— ринулись внутрь. Бубликов не раз тут бывал, расположение знал и указывал, где надо ставить посты — на пересечении коридоров, к залу телеграфа, к кабинетам министра, товарищей министра,— а в кабинет начальника управления железных дорог собирать всех старших чинов ведомства.

Да они уже видели, да уже там и сям испуганно убегали в двери или выглядывали, уже всюду пронёсся слух о приходе власти! Да прекрасно Бубликов чувствовал их: они конечно истомлены страхом, что с ними будет, и счастливы попасть под твёрдую власть, в определённость положения. Сейчас-сейчас, Бубликов сам объявит им грозно, что они могут продолжать работу, и они будут счастливы. А пышноусый ротмистр Сосновский тем временем становится комендантом здания, начальником охраны министерства. А гололицый солдат Рулевский — начальником телеграфной связи,— и через полчаса по паутинке проводков вдоль всех железных дорог империи телеграфисты мирных станций, далёких и заснеженных, начнут принимать, и дальше выстукивать и разносить по своей местности — слова пламенеющие, возможные только в революцию:

„Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки создание новой власти, обращается к вам от имени отечества. Страна ждёт от вас больше, чем исполнения долга,— она ждёт подвига!"

Всё так, но кто будет направлять министерство? Одного политического задора мало, надо знать и все подробности руководства. Нужно склонить или самого министра или двух его товарищей.

Донесли Бубликову, что Кригер-Войновский на казённую квартиру при министерстве не переезжал, там — только прислуга прежнего министра Трепова. А Кригер с утра не был, вот только пришёл — и у себя в кабинете.

Но не пытается вырваться, командовать? Значит, уже сдаётся.

Уже Бубликову было море по колено, он развязно пошёл к министру. Власть была — несомненно у него, полсотни штыков тут, и весь Петроград. А вот — пройдя тяжёлую дверь и пересекая долготу кабинета — к столу, за которым как ни в чём не бывало сидел невысокий, совсем лысый в пятьдесят лет Кригер-Войновский в железнодорожном сюртуке с богато размеченными петлицами,— Бубликов с каждым шагом терял свою нахватанность, а вправлялся в инженерный ранг, где, между серьёзными людьми наедине, его комиссарство выглядело как шарлатанство, а опытом, а знаньями Кригер был несомненно выше него. Бубликов выглядел как изменник вот этим самым железнодорожным петлицам, инженерному знаку.

И не получилось у него ничто громогласное комиссарское, а вежливо:

— Эдуард Брониславович. Вот я тут... назначен от Родзянки. Да может быть вы бы признали Комитет Государственной Думы, да вот и всё? И руководите.

И если бы Кригер-Войновский сейчас поднялся бы с грозной властью, что никто не смеет касаться святого железнодорожного дела,— пожалуй, к Бубликову бы и вернулось инженерное сознание, отчасти бы и струсил. И во всяком случае, много бы уступил, просто по разуму дела.

Но Кригер — Кригер сам смотрел от стола придавленно, озадаченно, на маленьком лице его отвисали нижние веки и нижняя губа. И не властно, но извинительно:

— Алексан Саныч... Вы понимаете, я — присягал Государю императору, и пока он на престоле...

И — от бубликовской головы, тщательно отделанной парикмахером, отпарялся инженерный туман, а ноги наливались горячим свинцом комиссарства.

— Тогда простите,— сказал он,— я должен подвергнуть вас аресту.— Но великодушно: — Где вы предпочитаете? Здесь? Или у себя на квартире? Или в Государственной Думе?

— Я бы, Алексан Саныч, предпочитал здесь,— без колебания выбрал Кригер.— Особенно если вы мне оставите телефон.

— Отчего же, конечно, конечно! Тогда, простите, за дверью будут часовые. А прислуга Трепова будет носить вам еду.

Бубликов спешил. Кригер был министр недавний и либеральный, и то вот. А товарищ его Устругов — старомоднейший монархист, а понадобится в работе. И ещё один товарищ министра, Борисов, этого Бубликов надеялся склонить легче. Чтобы железные дороги были руководимы, как ни в чём не бывало. А тем временем — рассылать свою огненную телеграмму!

После подписи Родзянки ещё добавить от себя:

„Член вашей семьи, я твёрдо верю, что вы сумеете оправдать надежды нашей родины. Комиссар Государственной Думы Бубликов".

Он кидал на Россию Зверя Революции, которая ещё не произошла,— но чтобы произошла!

А Кригер остался очень доволен. Бубликов застал его за отбором собственных бумаг, писем и книг, которые он хотел спасти, ожидая для себя худшего. Со вчерашнего вечера чего он только не испытал. Из Мариинского дворца после заседания правительства долго нельзя было выйти — опасно, стреляют, да и слух был, что по квартирам министров уже ходят с обысками. Но и остаться нельзя: во дворец ворвались революционеры. Кригер с Покровским поспешили через двор и калитку в Демидов переулок, но она оказалась заперта, а снаружи сообщили, что и тут опасно. Западня! Вернулись, а уже по дворцу толпа что-то била, валила, разыскивала. Тогда оба министра, хотя оба либеральные и могли бы рассчитывать, что их пощадят, по чёрной лестнице спустились в коридор жилых помещений курьеров, швейцаров и сторожей и пересидели там всю ночь в тёмном углу на дровах и бочонках, хотя и туда врывались, осматривались, спрашивали. А под утро, когда во дворце несколько успокоилось, сынишка курьера вывел их ещё через один двор и ворота. На площади толпа громила, била «Асторию», а на других улицах была пустота, но при полном освещении, оттого жутко, и нигде ни одного дворника. Перебыв несколько часов у знакомого, Кригер считал себя обязанным идти в министерство: никто его не освобождал от долга. А тут — налетел Бубликов с солдатами.

Да что ж, Кригер пробыл министром всего три месяца. Из каждого заседания совета министров он выносил ощущение безнадёжности, не чувствовал и твёрдой государевой поддержки. В первые годы войны, как ему пришлось видеть, Государь имел бодрый вид, проявлял ко всему интерес, очень разумно высказывался. Но этой осенью на всеподданнейших докладах он производил уже впечатление уставшего, всё менее чувствительного к неудачам и невзгодам. А в этом январе он был уже вовсе подломлен, ко всему равнодушен, не верил более ни в какие удачи, и всё предоставлял воле Бога. И откуда же министрам взять силу?

Зачем было так враждовать с Государственной Думой? Зачем было ставить в министры людей, не знающих России? Зачем было расставлять губернаторами и градоначальниками случайных неосвоенных людей, а города на время войны оставить без крепких частей? Ещё раньше: зачем вообще было встревать в эту войну, так без меры распинаться то за болгар, то за сербов, пренебрегая своей внутренней неустроенностью?

Если всё так текло по безволью государевому и само — почему теперь случайный Кригер должен был в министерстве путей сообщения давать бой?

192

Так сидели, пять-семь генералов и полковников, пили голый кофе — и ждали, что за ними придут. Глупый конец служебных усилий.

Удивлялись, куда делись Беляев и Занкевич.

Хотя нигде не осталось никакой охраны, никаких караулов — ещё почти час в Адмиралтейство не врывались, очевидно опасаясь засады или обороны.

Наконец, и сюда, в закрытую комнату, донёсся шум толпы, топот многих по отлогим лестницам и крики:

— Дальше!.. Выше!.. Ишь, попрятались, мать их, мать, мать...

Вот когда стало страшно — страшно вообразить этот лик разъярённой толпы, как она ворвётся. Что может сделать революционная толпа? — да разорвать на части.

И миг наступил! — дверь с шумом толкнули, и сразу вступил не один, но втискивались, торопились несколько, много. И в минуту комната была заполнена.

Военные и полицейские генералы невольно встали все, хотя этого никто не потребовал.

Из передних был — прапорщик, в форме стрелков, в новеньком походном снаряжении, пьяный, сизый, в прыщах, в руке большой маузер, который он и наводил поочерёдно каждому в лицо.

Другой — совсем юный солдатик в расстёгнутой шинели, с красными кантами погонов, с нежным цветом лица, тоже пьян. В руке у него была обнажённая офицерская шашка с анненским темляком — и он страшно размахивал ею перед головами генералов. Казалось: рука его молодая не выдержит, и сейчас шашка на кого-то опустится. Он тонко и непрерывно кричал и ругался больше всех, кажется ощущая себя здесь главным.

А между ними стояла — баба, даже смирная, молчала, из-под платка её выбивалась проседь, а поверх длинного пальто она была перепоясана офицерской шашкой на широком кожаном ремне.

Были и ещё, ещё фигуры, но они сразу не охватывались, глаза притягивал этот маузер и провороты шашки. Солдат кричал:

— А где тут промеж вас Хабалов?

Маузер целился:

— Кто Хабалов?

Но Хабалов что-то не отзывался. Генералы стали коситься друг на друга, коситься — и не увидели его. Он куда-то исчез.

И тогда маузер наметил:

— А ты кто?

— Я,— собирая остатки хладнокровия,— градоначальник Петрограда Балк. Арестуйте меня и ведите в Думу.

Арестуйте! — чтоб не вздумали выстрелить. Государственная Дума оказалась таким прибежищем, спасением, сенью интеллигентности и взаимопонятности. Страшны были — только эти, из народа. Как бы в Думу попасть!

— Ну, иди! — сказали Балку.

И он пошёл из комнаты первый. Сперва ему дали дорогу, а потом — страшный настигающий радостный крик раздался позади, так что он уже спиной ожидал вонзания, передёрнул плечами — но ничего не произошло. Оглянулся — шли за ним и сослуживцы, полицейская головка. И больной израненный Тяжельников. Да кажется и Хабалов, уже и он шёл в их группе, откуда-то присоединился.

Безоружная часть толпы растекалась по зданию, ища брошенное оружие. Вооружённые вели пленных.

Вышли через главный выход в сторону Адмиралтейского сквера, мимо атлантов, держащих земные шары. Тут стояли два грузовика с красными флагами у моторов. Балк со своим заместителем сели рядом с шофёром первого, кто-то — сзади в кузов, Хабалов с Тяжельниковым — во второй автомобиль.

Толпа кричала, ругала, поносила, гоготала — и всё покрывалось „ура!".

Шофёр первого дал с места резкий ход — и сразу же налетел на чугунную тумбу, выворотил её — и сам дальше не пошёл. Сколько ни пробовал — мотор не шёл.

Второй грузовик со скрежетом обогнал их, развернулся направо и ушёл по Невскому.

А первый шофёр всё пробовал тронуться — и ругался.

Сперва у Балка проскочило облегчение, но тут же понял, что только утяжелился их путь.

Вдруг из Гороховой от градоначальства выскочил пассажирский автомобиль и открыл стрельбу из пулемёта.

В панике все вокруг грузовика стали бросаться на снег, и шофёр соскочил, убежал,— а пленные сидели и стояли в кузове.

Рядом какой-то старик в валенках стал для ответной стрельбы по правилам на одно колено и пытался достать патрон, — но, видно, система была незнакомая, и ничего не получалось.

Кто-то и отвечал.

И так шла стрельба больше минуты, никого не раня и не убивая. Вдруг тот неизвестный автомобиль перестал стрелять, рванул в сторону Дворцовой площади — и исчез за ней.

Шофёр вернулся — но поделать с грузовиком всё так же ничего не мог.

Балк уже понял, что самое опасное — это дорога, а в Думе — спасение.

— Если не идёт автомобиль — так ведите в Думу пешим порядком,— стал требовать он.

Из главных остался тот прапорщик с маузером, и он замысловато и заплетаясь скомандовал — всем слезть и идти пешком.

В окружении добровольного густого разнохарактерного конвоя они пошли, а грузовик бросили.

Но посреди Дворцовой площади поперёк ехал какой-то частный открытый автомобиль без красного флага. Прапорщик выстрелил два раза в воздух, остановил тот мотор, высадил всех пассажиров, усадил главных пленников на продавленные сиденья, снаружи на подножках и крыльях прицепились ещё вооружённые,— и так они медленно поехали, сильно перегруженные.

Выехали на Дворцовую набережную. Слепило солнце.

Один, на подножке, всё подымал и тряс винтовкой, всё подымал и тряс, и кричал до разрыва горла „ура!". Ему в ответ с тротуаров тоже махали винтовками и револьверами, тоже кричали „ура", а некоторые стреляли в воздух.

Солдат с другой подножки кричал им:

— Да товарыщы! Да нэ стреляйтэ же! Да берегить патроны, оны еще пригодятся!

Тут Балка узнавал бы каждый дворник, но не видно было их, скрылись. У Зимнего дворца шли навстречу два английских офицера, один знакомый Балку, его необычно длинную фигуру знал каждый, кто бывал в „Астории". Тот теперь остановился, повернулся к едущим и, держа обе руки в карманах, качаясь туловищем вперёд и назад, иссильно смеялся, смеялся, хохотал над видом их автомобиля, арестованных генералов, и ещё поворачивался, поворачивался, чтоб не упустить комичное зрелище. И вытянул руку из кармана, показывая на них вослед.

Перегруженный автомобиль скрипел, лягал рессорами на снежных взгорках, два раза останавливался — и Балк обмирал, что опять испортился и, не довезя, расстреляют.

Улицы не были многолюдны, пока не стали приближаться к Думе. Тут — всё гуще, автомобиль гудел, разгоняя. В одном месте стояла без прислуги и без снарядов — отдельная пушка, жерлом навстречу им.

То — на конях показалось несколько артиллерийских офицеров, без шинелей, все с большими красными бантами на груди, публика кричала им приветствия, ура,— и они с удовольствием раскланивались.

Начиная от думских ворот густилась уже плотная масса людей, да автомобиль дальше и не пошёл, как раз отказав тут.

Толпа обступила их с ругательствами, насмешками и угрозами.

Какой-то пьяный, по виду дворник, громко мычал и при ссадке наземь всё норовил достать Балку до глаза своими пальцами, расставленными как рогатина.

Окружающие потешались и подзадоривали. В этой толчее, на последних шагах, ещё всё могло случиться — и по голове ударить и убить.

Но навстречу протиснулось несколько студентов Военно-медицинской Академии — и окружили арестованных защитным кольцом.

Вошли в Думу.

Там за столом сидела и кругом толпилась победительная молодёжь, преимущественно еврейская. Некоторые юноши с револьверами ужасающих и устаревших систем. Балка сразу узнали, стали кричать:

— Градоначальник! Это вы отдали приказание вашей полиции расстреливать народ из пулемётов?

Балк и не понял — из каких пулемётов? У полиции никогда их не было вовсе.

Один студент насмешливо возражал:

— Товарищи, товарищи! Теперь — полная свобода слов и действий, не оказывайте давления на градоначальника!

Балка вели дальше, наискось через Екатерининский заполненный зал, где другие юноши с упоением отбивали шаг вместе с солдатами — зачем-то и солдаты большим строем маршировали тут, в зале, во всём боевом снаряжении.

Всё это походило на сон или сумасшедший дом.

Кто-то крикнул:

— В министерский павильон!

Их повели светлым коридором. У входа в павильон перед часовыми сидел в кресле в белом облачении изнеможённый митрополит Питирим — и говорил, что он не может встать и не может идти.

В комнате павильона за большим столом уже сидело несколько безмолвных арестованных министров: им запрещали разговаривать.

А Хабалова — тут не было.

193

От начала войны все трое старших сыновей Кривошеиных рвались, как бы боясь опоздать умереть за Россию. Да и отец говорил: какое учение, когда надо врага бить.

Двое старших по началу войны бросили университет и ушли вольноопределяющимися в артиллерию. С тех пор оба уже получили по солдатскому георгиевскому кресту, были подпоручики.

Третий сын, Игорь, едва окончив год назад гимназию, уже ни о каком университете и не думал, но тут же поступил на последний ускоренный курс Пажеского корпуса, с минувшей осени был уже прапорщик лейб-гвардии конной артиллерии, проходил стажировку в запасной батарее в Павловске — и вот скоро счастливо успевал к главным событиям войны.

Но в короткие недели гордого отпуска перед фронтом, судьбой и сердцем уже там,— вот не привелось Игорю погулять в столице! — началась суматоха. Когда вчера благожелательный унтер предупредил его на Воскресенском, что на Кирочной убивают офицеров, Игорь испытал растерянность, стеснение, оскорбление — новые чувства и в новом положении, в котором он никогда не бывал. Год назад он был беспечный гимназист, ни для какой толпы не завидный, и минувший год в нём воспитывали офицерское достоинство — и вдруг оно же поставило его против своей русской толпы?

И тут же, воротясь домой, он услышал от Риттиха, как волнуется следующий ряд его однокашников-пажей, рвётся ещё в новый бой, уже внутренний. Что нужно делать? Смятение, неготовность. А его батарея спокойно стояла в Павловске, и не звала. И ничего важнее фронта всё равно не оставалось.

И так весь оставшийся день вчера и уже полдня сегодня Игорь унизительно сидел дома, лишь посматривая на Сергиевскую с четвёртого этажа — кто там проходит по улице, какая странная публика и в каком сочетании. Вчера там катилась и обезумелая толпа первых восставших волынцев, а потом много миновало всяких групп и одиночек, и автомобилей, со стрельбою и без стрельбы, с красными флагами и красными знаками, давая определённое представление, что же делается на улицах главных.

Унизительно было затаиваться и скрываться. Да Игорь не испытывал страха, он непременно пошёл бы по улицам, может где во что вмешаться, он не отчётливо чувствовал новизну положения. Но отец сурово осадил: сделать бы он ничего не мог, а только бы выставил себя на оплевание. (А уж о матери что

и говорить!) Пойти в штатском? Но не для того он выслуживал офицерский мундир, чтобы теперь избегать его и прятаться.

Да отвращением наполнялась душа от этой гнусности, разыгравшейся в Петрограде, когда все лучшие, вся армия — на святой войне.

Из парадных комнат Игорь уходил в свою, по дворовой стороне, откуда не виделось раздражающее уличное мелькание, и можно было бы вообразить, что ничего в Петрограде не происходит, если бы всё ещё не потягивало гарью от Окружного суда.

Вдруг он услышал, что как-то дверьми хлопают не по-семейному и переступают тяжёлыми ногами, и совсем чужие голоса, а в ответ им — оскорблённый и всё возвышающийся голос матери. И тогда Игорь вскочил как был, в кителе, с пистолетом на поясе, поспешил туда — и прежде чем разглядел всю сцену, нескольких вооружённых солдат, у кого шинель полурасстёгнута, и мать за спинкою стула против них,— его заметили и закричали:

— Да вот он!

Кровь ударила Игорю в лицо: пришли за ним? его искали?

Отец что-то не выходил. Тётя шепнула, что ушёл провожать Риттиха.

А мать выговаривала:

— У меня — два сына на фронте! И этот — едет! Как вам не стыдно? Война идёт! А вы бунтуете! Как это называется?

И тётя строго.

Но им — совсем не было стыдно, да они и не вступали в спор, они пришли по праву силы, что-то тут сделать. Игорь обежал их лица — и вдруг не почувствовал своего всегдашнего любования русским солдатом: вместо смелости, подхватистой службы, отвратительное было в этих лицах. Один твердил:

— С этого дома стреляли. У вас офицер, нам сказали. Вот он и есть.

(И это же действительно кто-то в доме указал! — из тех, кто улыбается каждый день при проходе.)

— Сдайте, ваше благородие, пистолетик!

Оружие — честь офицера. Ещё ни разу не использованное в бою! Отдать свою честь!

А иначе — надо было отстреливаться. Тут. Они стояли угрожающе, уже штыки поворачивали.

Высокий тонкий худой Игорь закинул голову, бледный.

— Отдай, Игорь,— попросила мать.

Его душило отчаяние, горе, он сам не помнил, как это сделал, во тьме.

А они — ходили грязными сапогами по коврам, один попёрся в будуар к матери, в кабинет отца, тётя за ним. Другой, штатский, ходил тут, по гостиной, между креслами, по два-по три окружавшими столики с безделушками, посмотрел на барельеф „Вознесение Господне" и сказал насмешливо:

— А квартира у вас — что дворец!

А третий схватил графин с водой, ототкнул и понюхал, проверяя, не водка ли.

Хотя Игорь отдал пистолет, но не стало лучше: заговорили, что они его увезут с собой.

— Нет! — закричала мать и загородила проход руками.— Вы его убьёте.

Тот штатский сказал с кривой улыбкой:

— Не беспокойтесь, мадам, не убьём.

Штатский был из полуобразованных, ядовитая порода. Уверял, что отведут только на проверку. Игорь надел шинель, без шашки, и, успокаивая мать, пошёл за ними на лестницу.

А на солнечной улице весь наряд сразу его и покинул. Штатский велел одному солдату, простоватому парню, вести арестованного в Думу и сдать коменданту. А сам с остальной компанией отправился дальше по Сергиевской. Весь этот заход в дом, отнятие пистолета, арест — были для них, очевидно, попутным эпизодом.

Отвести и сдать коменданту! — это и значило арест, никакая не проверка.

Как же мгновенно изменилась судьба Игоря! — из гордого офицера, едущего на фронт, он превратился в арестанта, униженно идущего по мосто-

вой в двух шагах перед штыком своего конвоира, под любопытные взгляды публики.

Он старался выправкой своей, закинутой головой и гордым лицом показать всем, что он — нисколько не преступник и презирает этот арест.

Как, наверно, дико должно казаться: арестованный офицер, ведомый по мостовой!

И все прохожие останавливались, смотрели. С удивлением, страхом,— но никто не проклинал. Даже скорей с сочувствием:

— Наверно, с чердака стрелял.

— Наверно, у него фамилия немецкая.

Вот положение! — даже от этих сочувственных догадок Игорь не мог оборониться, оправдаться, рассказать этим людям по-человечески, как всё случайно и несчастно произошло. Невидимая перегородка ареста уже оторвала его от простого человеческого рассказа.

А как мама там страдает? А что скажет отец, вернувшись? Но он скажет что-нибудь спокойное.

Хорошо, что Риттих ушёл, не схватили бы его.

Перед Думой и особенно в сквере была ужасная толчея, почти пробивались, отходили грузовики, мотоциклы. Тут арестованному офицеру совсем не удивлялись, но сам он не мог рассмотреть толпы.

И — разве первую толпу в жизни он видел? но никогда не замечал подобного: проступающей жестокости на многих лицах, и не в особый момент их возбуждения, а в этом будничном полувесёлом стоянии в солнечный день подле Таврического. Как будто с известного антропологического, психологического, национального, сословного типа — сдёрнули верхнюю кожицу, и у всех сразу проступила жестокость.

И — жутко становилось, будто ты попал не в свой народ и на другую планету, и здесь можно ждать всего.

В самом дворце была неразберишная толчея ещё горше, и солдат-конвоир совсем растерялся: где тут, какого коменданта искать. Уж арестованный сам расспрашивал и направлял.

Наконец, пробились — не к коменданту, но в переполненную комнату, где люди разного вида стояли и сидели, ожидали, тоже, очевидно, приведённые, ещё со своими конвоирами или уже без них,— а за столом, стеснённая или обстоенная, сидела как бы комиссия, несколько штатских думских, опрашивали и записывали — на каких-то клочках бумаги, которые тут же в беспорядке валялись и падали со стола.

У этих у всех лица были человеческие, со вниманием, с улыбкой, только усталые.

Один такой симпатичный спросил Игоря:

— За что вас арестовали?

Но теперь сам Игорь не размягчился, так набрался обиды за всю арестную дорогу, и вся обида выдавилась в горло. Сухим тонким голосом он ответил:

— Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.

— А какая именно фамилия?

— Кривошеин.

— Позвольте, какая ж это немецкая? — улыбался тот.

— Такая же, как стрельба с чердака.

— Вы не родственник Александра Васильевича?

— Сын.

— Бож-же мой!

Тут же, на клочке, написано было ему, что он прошёл проверку в Государственной Думе и не может быть арестован.

И уже без конвоира (тот с порога и потерялся) Игорь снова пробивался через людской хаос — наружу.

Но короткий арест как будто дал ему новое зрение: на множестве лиц он видел эту новорожденную обнажённую жестокость — и не мог перестать видеть её.

Что-то явилось новое в наш мир.

194

Кто из членов Исполнительного Комитета и уходил ночевать из дворца, а тем более кто перебыл тут,— не имел ощущения, что и ночь сегодня была: одна непрерывная лихорадка, захватившая их вчера к склону дня, продолжалась и в темноте и с позднего рассвета. А уж к 11 часам утра она всех их стянула снова в комнату № 13 (и хорошо, что была у них эта комната, отдельная от своего же сбродного Совета,— и удерживать её собственными телами, и никого сюда не пускать). А как только собрались тут, так ещё властней затрясли их: изумление ото всего происшедшего — и страх идущей расплаты — и разрывное переполнение политическими задачами, которые нельзя было откладывать. Ещё позавчера, в воскресенье, они жили каждый своею малой обывательской жизнью, ни к чему быстрому не готовясь, при поблекшей и забытой революционной перспективе, а вот сотряслось, изверглось, вынесло их на вершину,— и шагали, и катили 8, нето 16 полков генерала Иванова — а членам И-Ка надо было именно в этих часах всё и решать: за рабочих, за солдат, за обывателей, за Петроград, за Армию, за всю Россию, решать сразу сто вопросов, и каждый из них главный и первоочерёдный, а все вместе их можно было назвать — Судьба Революции!

Даже только разобрать, разделить эти вопросы, установить для них порядок — уже не могло вместиться в один день, не то чтоб их решить. И может всего-то одни сутки и оставались у них до наката грозной карательной силы Иванова, эта нависающая угроза ужасно мешала деловому обсуждению. Но у членов ИК оставался — всего один единственный может быть час до открытия в соседней комнате № 12 общего собрания Совета рабочих депутатов, куда должно было явиться сегодня гораздо больше людей, чем вчера: вчера приходили случайные, никем не избранные, а сегодня могли по заводам навыбирать и несколько сот человек — а в ту комнату помещается битком двести. И что ж теперь: через час прерывать заседание ИК — и всем толпиться на собрание того Совета, которого они и были ИК? Но это абсолютно бессмысленно! Совет сделал своё дело вчера, утвердив Исполнительный Комитет, а больше ничего путёвого он сделать не мог.

— А как, товарищи, быть с солдатами? Солдат — что же, тоже включаем в Совет рабочих депутатов?

— Ни в коем случае, товарищи! В пролетарский орган не должны войти мелкобуржуазные элементы!

— А иначе, товарищи, мы рискуем изолироваться от масс.

Ясно, что солдатских депутатов тоже выбирают по ротам, и ясно, что они уже прут в Таврический и будут переть и дальше. О, чёрт!

На собрание Совета послать кого-то нескольких, и тем отмазаться. Да ясно кого: Чхеидзе. Он подходил для этого и как председатель Совета, а ещё и тем, что осоловел от происходящего, как будто крепко выпил, растеплился, расплылся,— и здесь, в ИК, совсем был не полезен для делового обсуждения.

Но ещё же кого-то? Взгляды обращались друг на друга, кого бы послать, только не меня, мало приятная задача. Да собственно, члены ИК, только теперь впервые рассевшись вокруг стола председателя бюджетной думской комиссии,— только теперь впервые и осмотрелись, и то не до конца. Они хотели бы увидеть тут, помимо лично себя, более прославленных и несомненных лиц,— но вот во всём Петрограде более прославленных не наскреблось. Кого-то из них вчера, кажется, избрали голосованием в соседней комнате, кто-то был кооптирован как „авторитетные лица левого направления", кто-то, кажется, сел и сам,— во всяком случае они все теперь должны были считаться надёжными членами Исполнительного Комитета. (А „Исполнительный Комитет" для публики должен звучать страшно: как т о т таинственный Исполнительный Комитет, который, убив Александра II, писал ультиматум Александру III. И вот он снова выплыл и командовал!) Но хотя каждый присутствующий занимал точно один стул, и стулья можно было пересчитать,— а членов ИК всё равно пересчитать было невозможно: одни сидели, другие выскакивали по срочному вызову или без него, третьи помнилось, что уже введены в ИК, но почему-то не присутствовали, а четвёртые, как

Канторович и Заславский, выдающиеся перья, очень хотели бы состоять и присутствовать, но не находилось возможности их кооптировать — так что предстояло им перейти в соседнюю комнату и направлять Совет рабочих депутатов. (Канторович пошёл туда и, найдя отсутствие кворума, задержал то собрание.) Итак, даже твёрдо сосчитаться не могли члены ИК: то ли их было ещё 15, то ли уже 25, то ли уже произведена, то ли ещё только началась кооптация видных лиц партийных направлений,— во всяком случае Шляпников уже привёл никем не избранных большевиков — Молотова, какого-то Шутко с дурацкой мордой, и от трудовиков уже уверенно засел Брамсон, а от межрайонцев — юркий Кротовский-Юренев, вчера опоздавший к дележу мест.

То-то и оно, что они тут были многие юркие, умные, но все щупло-непредставительные, а кого же посылать на Совет? И многие с надеждой взирали на рослого крупноплечего Нахамкиса — вот он и пойдёт проголосовать на Совете уже принятые постановления ИК?..

Чхеидзе пошёл открывать Совет.

Комната 13 имела два выхода: через 12-ю и непосредственно в коридор. И ещё тут была портьера, делящая саму 13-ю пополам. За портьерой, вокруг стола, теперь и уселся ИК. А перед портьерой собрались как бы привратники, недопускатели, даже один рослый лейб-гренадер,— останавливать напор из коридора. И появились первые секретарши — из своих, членов ИК, семей.

Но и в осаждённости, но и в неясном составе, но и в постоянном перемещении — а призван был сейчас ИК решить оборону революции! И в это входило — всё сразу, нераспутанным клубком. И призвать население не тратить патроны даром. И призвать сдавать оружие в районные комиссариаты (вместо бывших полицейских участков). И создавать вместо прежней полиции новую милицию,— значит, напротив, и раздавать оружие. (Самим не упуская, что может быть этой милиции придётся воевать против вооружённых сил думского Комитета.) И — создавать автомобильные отряды революции (пусть районные комиссары нареквизируют побольше частных автомобилей). А что делать со всей Армией? Как и кто защитит от карательных войск Иванова, идущих неумолимо? И что делать солдатам относительно офицеров? А не поискать ли офицеров-социалистов — такие могут быть! обратиться к ним? А железнодорожное сообщение с Москвой? — надо восстанавливать, это уязвимое место столицы. А трамвайное движение в Петрограде? — напротив не восстанавливать, чтобы не вызвать недовольство забастовщиков. А почта и телеграф? — за ними надо же наблюдать, да взять их в руки! (С кем сносится царь? царица? Ставка? да и сам думский Комитет? тоже не вредно нам знать.)

— Товарищи! Товарищи! Но всякая деятельность требует денег! Кто будет нас финансировать?

Со вчерашнего дня они почти не ели, не амортизировали своей одежды, помещения брали бесплатно, и себе не требовали заработной платы, так что не нуждались ни в каком финансировании. Но вот — им принесли и расставили по столу кружки со сладким крепким чаем и бутерброды с маслом и сыром. Стало рассуждаться легче.

Финансирование? Пусть думский Комитет и финансирует деятельность Совета!

Великолепная идея! Воспитанные на экономике мозги сразу разворачивают её: все государственные финансовые средства должны быть немедленно изъяты из распоряжения старой власти! Для этого немедленно революционными караулами должны быть заняты в целях охраны: Государственный банк! казначейство! монетный двор! экспедиция государственных бумаг! Арестовать все денежные средства! (Гигантская идея Парвуса в Пятом году, Финансовый манифест.)

— Нет, товарищи, мы пока сами не в силах. А давайте: пусть Совет *поручит* думскому Комитету это всё произвести!

— Нет, товарищи, надо помягче,— возразил забредший Пешехонов.— Пусть кредитные и денежные операции текут нормально, а Совет с думским Комитетом изберут наблюдающий финансовый комитет...

— Мало! мало! Не таким языком разговаривать с думцами! Они, вон, издают воззвания, а нас не спрашивают.

— Поручить Чхеидзе и Керенскому потребовать, чтобы тексты воззваний согласовывали с нами!

И вообще: выяснить формальные отношения с думским Комитетом!

И — ограничить их!

Да, но солдаты, солдаты! Если будут выбирать по одному от роты, то они тут захлестнут рабочих. А если создать отдельный солдатский Совет — то это будет конкуренция! Да и вовлекать армию в политическую борьбу?

А есть ли у нас ещё выбор? Они уже, наверно, поизбирали?

Сходил Нахамкис на Совет, сказал: и рабочих и солдат пока ещё мало, лучшие силы — отсутствуют: ходят, стреляют, обыскивают. А присутствующие — сейчас согласно проголосовали за все решения ИК.

Да не это имело значение, а сам морально-политический факт, что Совет — заседал.

Но самому-то ИК было работать всё невозможнее! За столом вопросы и так раскалывались между соседями. А каждые 5—10 минут кто-нибудь прорывался сквозь дверь, сквозь задержки, иногда и за занавески: курьеры и просители, делегаты учреждений, общественных групп или просто чёрт знает кто. И каждый врывался — со внеочередным заявлением! экстренным сообщением!! делом исключительной важности!! не терпящим отлагательства!! связанным с Судьбой Революции!!!

И каждый раз опасно было бы не выслушать, раз именно от этого сообщения зависела Судьба Революции! И каждый раз оказывался вздор или мелкий эпизод. (Тут были и сообщения о грабежах, пожарах, погромах — и Исполнительный Комитет отдавал распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылал охранительные отряды, без уверенности, что они сформируются.)

А когда Чхеидзе возвращался сюда отдохнуть — то врывались и вслед за ним, с Совета и из коридора, требуя его к народу, к войскам, с речью,— а иначе толпа сама ворвётся сюда.

И отдельно требовали за дверь одного-другого-третьего члена ИК — и какие-то представители каких-то организаций или общественных групп,— адвокатов, врачей, фармацевтов, торговых служащих, земско-городских, учителей, почтово-телеграфных чиновников, эстрадных артистов,— требовали мандатов в Совет Рабочих Депутатов. И была только одна возможность — уступать и давать.

За всей этой кутерьмой, дёрганьем, выбеганьем — какая была работа? Но кто понимал — самая важная незримая работа пробивалась выше всего: партийная группировка в ИК. Она — и была ключ ко всей будущей политике: кто захватит тут большинство — правые? или левые? От каждого кооптирования, или входа, или ухода — большинство чутко менялось. И несколько глаз больше всего и следили за этим балансом.

Собственно, когда все оглянулись и рассмотрелись, то безнадёжно правым тут оказался единственный только Гвоздев, хотя до вчера сидел в тюрьме за левость, а большинство левых — не сидело. Ещё, пожалуй, Богданов был слишком оборонец, и Эрлих, хотя непоследовательно. А все остальные меньшевики хоть чем-нибудь да левые — или интернационалисты, или инициативники, или всё вместе. А уж Александрович — кто из эсеров его левей?

Но, как считал Шляпников, достойно-левыми являются одни только большевики. А таких хотя он уже и насчитывал тут пяток, включая уклончивого Красикова-Павловича, а шестым присчитать межрайонца Кротовского,— но это не перевешивало сплотки меньшевиков. И теперь, пощипывая себя, чтоб не размаривал сон, он старался зорко следить за возникающими комбинациями. В этом и был смысл всех обсуждений: при каждом вопросе: какое решение *за нас* и какое *за них*. Солдат? — допустить в один Совет с рабочими (они будут за нас, и перевесят благоразумных меньшевиков)! В конце концов доспорились: включить солдат в общий Совет, но отдельной секцией. (И это успех.)

Гвоздев — тосковал на заседании, чувствуя себя одиноким, не находя

прямой работы и не надеясь ничего управить. А Гиммер, хотя и чаще всех выбегал, но просто изводился — от своей счастливо-несчастной особенности засматривать всегда на сто ходов вперёд. Ах, не то было важно, о чём они тут все толковали! Если не говорить об угрозе генерала Иванова, то сейчас не было более важного вопроса, чем составить общую политическую формулу: *как построить власть*, чтоб она соответствовала интересам демократии? и содействовала бы правильному развитию революции? и успеху международного социалистического движения? И вместе с тем — не обжечься и не свалиться с достигнутой высоты. Вчера — он послабил товарищам, не требовал от них такой формулировки,— а они не догадывались. Но прежде чем власть сама построится — надо этот процесс опередить активно! А значит: активно строить отношения с думским Комитетом, одновременно и заставляя его продвигаться против царизма, одновременно и ограничивая его во всём. И тут ключевой вопрос — о захвате армии. Думский Комитет конечно захочет перенять армию в свои цепкие плутократические лапы — а значит отнять реальную силу от народа. И вот, надо так сманеврировать, чтобы солдаты не попали в прежние офицерские ежовые рукавицы — но создать внутри армии совершенно новые революционные отношения. Нельзя ни минуты верить Милюкову и Родзянке, это та же протопоповская компания. Надо решительно вырвать армию из их рук — но как это сделать??

Ах, он сам был несчастный, что такой умный! Он сам был несчастный, что всегда соображал раньше всех, точнее всех — но его не слушали. И здесь, на ИК, его не слушали, хотя в общем у них собиралось довольно хорошее циммервальдское ядро: Капелинский, Соколовский, Ерманский, Шехтер, Панков — это были всё мартовцы, интернационалисты. И трое их, внефракционных,— сам Гиммер с Нахамкисом и Соколовым, это уже основа левого большинства, если б увлечь за собой и болото. И если бы Шляпников не дурил, не вталкивал в ИК своих тупых, неразумных...— можно было бы какие политические комбинации проводить!

А сегодня — ни о чём нельзя было договориться, даже составить редакцию „Известий Совета рабочих депутатов". Большевики потребовали: 100 % большевиков! Тогда и меньшевики: 100 % меньшевиков! Вот и пытайся с ними работать, независимый умница-социалист!

Тут — опять Гиммера вызвали, и как раз по делу „Известий". Вызывал его Бонч-Бруевич, из-за занавески.

195

Пешехонов не поленился и не побоялся сходить пешком на Петербургскую сторону и назад, зато выспался. И теперь, часам к 12, свежим пришагал к Таврическому назад.

От вчерашнего вечера здесь осталось у него ощущение большой неразберихи и не-то-делания, чего стоила одна их вымученная многочасовая литературная комиссия. Ни за что б он не хотел вчерашних промахов повторять и тревожно чувствовал необходимость что-то исправить в общем ходе. Так неуправляемо и слепо не могли дальше идти дела, при большой внешней угрозе.

Но уже войти во дворец было не так просто: приходил в полном составе, чтоб заявить о своём переходе на сторону революции, лейб-гренадерский батальон — тот самый, с Петербургской стороны, через который Пешехонов вчера прорывался смело в одиночку, а потом освобождал у них арестованного. И неужели это было только вчера вечером? Как всё изменилось! Вот уже они пришли присягать революции! А теперь лейб-гренадеры выходили из дворца и залили собой весь сквер перед Таврическим. Они б не уходили и ещё б охотно слушали тут, неблизко они шли, и им в новинку было послушать речи — да солнце, лёгкий морозец, праздник! Но слышались звуки нового оркестра, подходящего по Шпалерной,— не одни гренадеры догадались сюда идти.

Пока гренадеры нехотя вытекали из сквера, Пешехонов мог продвинуться к дверям, и вошёл бы внутрь, если б не объяснили ему, что вот подходит Михайловское артиллерийское училище! А там — учился его сын! И хотя, по

близорукости, Алексей Васильич не надеялся увидеть сына в строю, но хотя бы послушать церемонию, чтобы потом обменяться с сыном. И он остался на крыльце.

Теперь, рядом с ним, выступал громкий тучный Родзянко, кажется, однако, потерявший долю самоуверенности. И Керенский, взбудораженный, в своей новой роли.

Между их речами был заметный угол. Родзянко говорил о верности России, о военной дисциплине, о победе над врагами, Керенский — ничего о том, будто войны нет, а — о торжестве революционного народа и о наступившей долгожданной свободе,— но противоречий этих никто не замечал, или представлялось, что они друг другу не противоречат,— и с равным восторгом юнкера кричали „ура" тому и другому.

А всё остальное свободное место внутри двора было забито любопытствующей публикой. А ещё через неё должны были протискиваться конвои, ведущие арестованных. Долго белел в толпе, медленно двигался клобук митрополита, которого тоже арестовали и вели — уж эта крайность зачем? возмутительно.

А уж внутри дворца народу было несравненно со вчерашним, вчера только гости, сегодня наводнение. Но не было в Купольном и в коридорах этого наружного радостного солнечного света, оттого темно и неуютно.

Пошёл направо, в ту комнату, где вчера заседал Совет. Сегодня, да уже сейчас, должно было снова открыться его заседание; но сегодня пытались проверять мандаты — бумажки с корявыми записями, работа шла медленно.

Втиснулся в 13-ю комнату на заседание ИК. Тут к Пешехонову подскочил меньшевик Соколовский и объявил ему, что на ночном заседании Исполнительного Комитета он назначен комиссаром Петербургской стороны, то есть полным её властителем и губернатором,— и ему надлежит отправляться туда и вершить власть.

Пешехонов заколебался. Должность, по сути, прежнего полицейского пристава? Постановление ИК никак не было для него обязательным — хотя если все будут уклоняться от постановлений, то что же тогда получится? И он понимал так, что должен представлять здесь, в Таврическом, интересы и точку зрения своей народно-социалистической партии. А с другой стороны, не произойдёт добра, если каждая партия будет ставить свои партийные интересы выше интересов общих,— теперь-то и наступила та мечтаемая пора, когда все должны проявлять дружность и самоотверженность.

И он решил: еду! Живое дело! В гуще народа! (К этому и всегда стремился.)

Но для этого нужен был какой-то же с собой штат сотрудников. Во-первых, несколько рабочих с Петербургской стороны — таких он легко нашёл близ мандатной комиссии: все заводы присылали больше, чем им полагалось, одного человека от тысячи,— и теперь избыточные, уже разохоченные к политическому действию, не хотели уходить. Вот их Пешехонов и подхватил.

Потом нужно было несколько интеллигентов — но эти нашлись совсем легко.

Затем как-то надо было законно разграничиться или соотнестись с районными властями, поставляемыми Комитетом Государственной Думы,— и Пешехонов отправился на думскую половину. Тут, в кабинете рядом с родзянковским, он увидел Милюкова, рассказывавшего Некрасову, Шульгину и ещё кому-то о своей поездке в пехотный полк на Охту, необычное для него выступление. Твёрдо поблескивали за очками его глаза, которые Пешехонов всегда находил страшноватыми, другие этого не видели.

Вопрос Пешехонова о власти на местах тот встретил с тяжёлым подъёмом бровей, как какой-то несвоевременный вздор.

— Ну что ж,— сказал почти с презрением,— если вы находите это для себя подходящим — отправляйтесь.

И понял Пешехонов, что думский Комитет даже и задуматься не успел, что нужна ему своя власть на местах,— а значит, парил он в воздухе и ещё не держался ни на чём. Нельзя было не заметить, насколько Совет опережает. Ведь вот вчера в полночь, когда думский Комитет только обсуждал, принимать или не принимать власть, Совет уже распоряжался и уже имел

комиссии. За ночь он успел снестись с фабриками и заводами, вызвать делегатов. Прокламации Совета уже с вечера разбрасывались и читались на улицах. Население начинает понимать Таврический как место выборного Совета — а о думском Комитете ещё все ли знают? Эта деловитость Совета Пешехонову нравилась, она была к несомненной пользе революции.

Пешехонов нацепил на себя огромный красный бант, чтобы все видели издали.

Тут кто-то его надоумил, что надо же ему иметь свою военную силу для начала. Солдат сколько угодно он мог себе набрать перед дворцом на Шпалерной — но где взять хорошего офицера, который бы согласился пойти и которого бы солдаты слушались? Пешехонов направился в комнату Военной комиссии.

Не так просто его туда допустили, охрана была многолюдна, и все с большим удовольствием проверяли. Пришлось назваться комиссаром Петербургской стороны. Внутри было несколько полковников, и создавалась обстановка штаба. Пешехонов не мог, конечно, разделять солдатского недоверия к офицерам — а что-то и его царапнуло, недоверием и опасением, что вот царские офицеры больших чинов берут на себя охрану революции от царя же. Но тут он заметил эсера Масловского в военном мундире и без погонов, и сказал ему о своей нужде. Тот сразу с ним вышел, провёл ещё в соседнюю комнату, где сидело несколько офицеров, и тут представил обаятельного молодого прапорщика, неприкрытый смелый взор, Ленартовича.

Кажется, тот ждал другого назначения, пробежала тень по лбу, но тряхнул головой и согласился. И самый этот трях головы был очень симпатичный, устанавливал с прапорщиком сразу простоту.

Ещё оставалось взять два автомобиля — эти в готовности нашлись. И мгновенно прапорщик скликал десяток солдат — то ли известных ему, то ли совсем новых.

Поехали.

Однако, по набережной не доезжая Троицкого моста, их остановили какие-то самозванные распорядители, не отличенные и повязками на рукавах, а только красные розетки, как у всех. Оказалось: выезжать на мост нельзя, его откуда-то обстреливают. С той стороны? Нет, кажется, из Инженерного замка.

Ленартович, выпрыгнувший из второго автомобиля, был тут как тут, рядом с Пешехоновым — и, даже не советуясь, с избытком военной решимости, тотчас скомандовал своим солдатам соскочить, вывел из-за укрытия последнего дома, рассыпал в цепь, скомандовал ружья на изготовку — и повёл в наступление черезо всё Марсово поле на Инженерный замок! Сам он, на фланге, выхватил шашку и, стройный, затянутый, картинно нёс её над головой. Пешехонов залюбовался им — и растерялся, ничего не возразил.

И они пошли, пошли.

Однако неблизок же был путь, атаковать черезо всё Марсово поле и через Мойку! И что же можно было сделать с десятком солдат против целого замка? Да ещё — оттуда ли стреляли? Не может быть, чтоб Инженерный замок был до сих пор против революции, его б уже атаковали. А комиссару Петербургской стороны? Стоять с автомобилями у моста? Или ехать на место, растеряв свою вооружённую силу?

Сообразя это всё, Пешехонов сам выскочил из автомобиля и штатски заковылял вослед своим вооружённым силам. А они уже порядочно продвинулись — и солдаты не выражали колебаний или заминки. Впрочем, и никаких пуль не было слышно.

И на левом фланге так же картинно, красиво, с шашкою над головой, легко ступал прапорщик Ленартович.

Пешехонов окликал его — тот не оборачивался. Тогда нагнал его вплотную — тот обернулся, вздрогнув.

Сказал ему, что не надо наступать, а надо ехать на место.

Но Ленартович весь пламенел подвигом, и не мог спуститься к мелочным соображениям.

— Да поймите же, что глупо получается,— убеждал Пешехонов.— Это что ж мне тут, полчаса или час стоять у моста?..

Не внимал — шагал дальше, чтоб не отстать от своих солдат.

И Пешехонов за ним:

— Голубчик, но вы же согласились быть при мне, а я — комиссар Петербургской стороны, Инженерный замок к нам не входит, тут кто-нибудь другой...

Ленартович, не полностью остановясь, обернул лицо изумлённое:

— Как вы можете так рассуждать! — с упрёком воскликнул он.— Разве Революцию можно разделить, где своё, где чужое! Теперь — всё наше.

И — уходил дальше.

И Пешехонов, рассердясь, прикрикнул на него:

— Молодой человек! Извольте повиноваться! Я — комиссар!

Раненый стон, как а-а-ах, вырвался из груди Ленартовича. Он замедлил шаг — и медленно, медленно стал опускать шашку к ножнам. И раненым голосом крикнул солдатам горько, разочарованно:

— Сто-о-о-о-ой... Отставить атаку...

196

В Государственную Думу попали братья Некрасовы с маленьким Греве ещё совсем не просто. Красноповязочники с Эриксона повели их троих по Сампсоньевскому в их офицерских шинелях — и с тротуаров, и даже из оконных форточек кричали рабочие женщины: „бей кровопийц!".

Знавшие, в чём дело, вели их только человек семь — а вокруг стягивалась и сопровождала новая толпа, и все были возбуждены ненавистно.

— Чего с ними возиться? — кричали.— Кончай их к такой матери здесь!

Толпа замкнулась, и эриксоновцы дальше идти не могли. Они спорили с толпой, но их не слушали. От самых казарм привязался какой-то бородатый пьяный солдат, и всё совал штык, пытаясь кого-нибудь из офицеров пырнуть. Он ли, или ещё другой штык — но Сергея и подкололо сзади. А то мелькал замахнутый приклад, не дошедший до головы. Оттого что конвоирующие рабочие не отдавали пленных и что-то объясняли — ярость толпы только увеличивалась,— крики, ругань, размахивание руками,— да какая же ненависть? да почему к офицерам?

В любую минуту могли дотянуться и забить. И опять всё потемнело, и опять эта обида — от своего же народа! Всё снова казалось конченным! — второй раз за короткий час. Конвой рабочих не мог ни продвигаться, ни защитить их.

И вдруг, вдогонку, опять врезалось несколько московцев — тех самых, что уже раз их спасли! Ах, ребята! Они резко отталкивали приклады, кулаки, отводили штыки и враз громко кричали, что это — их верные офицеры, с ними вместе воевали, и один из них — калека войны.

Не так это тронуло толпу или дослышалось здесь, как у двери причетника,— но всё ж наседающие остывали.

Тут подъехал крытый брезентом грузовик. Московцы и эриксоновцы стали проталкивать офицеров через толпу — к грузовику. Втолкнули их туда — и рабочих пятеро взлезли как конвой.

Так и не успели поблагодарить московцев или хоть узнать, из какой они роты.

Если б не автомобиль — нипочём бы не прорваться до Думы, десять раз бы ещё остановили и растерзали. Даже и автомобиль не раз останавливался в толпе, так переполнены были улицы ярмарочно-возбуждённым народом. Иногда конвой кричал через задний борт или из кабинки шофёра:

— Арестованных офицеров везём! —

и поднимался радостный рёв и крики „ура" с поднятыми руками.

А под брезентом конвойные рабочие мирно и с любопытством беседовали с офицерами:

— Как же так, господа офицеры, вот солдаты ваши говорят, что вы хорошие,— а почему же вы с народом не идёте?

Всё в один час: жить или умереть — и тут же находиться спорить. Объясняли офицеры:

— Устраивать революцию во время войны — преступление и гибель России. Вы просто не ведаете, что делаете.

Съехали с Литейного моста — стояла трёхдюймовая пушка, дулом по набережной, и вокруг вертелись несколько солдат с красными бантами — но непохоже, чтоб умели они из неё выстрелить.

Ближе к Таврическому толпа была такая же густая, но меньше простонародья, а больше интеллигентов. С чего-то подставленного, с парапетов и со ступенек — в разных местах горячо говорили ораторы своему ближайшему кругу. И очень много было солдат — свободных от строя, самых разных частей, как вольная публика. Улица и сквер перед дворцом были уже так плотно забиты, что грузовик совсем не мог ехать. Арестованных ссадили и, протискиваясь, повели. Тут легко было достать их и прикладом, и штыком, но уже не было той чёрной ненависти, как на Выборгской стороне, не требовали их убить и не матюгали. Даже полудружелюбно окликали:

— Господа офицеры! Зачем же вы против народа?

Вот не предполагали побывать в Государственной Думе. Но при входе во дворец и в его залах оказалось не просторней, а ещё тесней, арестованные и сопровождавшие были сжаты в малую кучку, а уж внимания на них и вовсе никто не обращал. Конвоиры допытывались, куда и кому сдать арестованных. Вместе пробивались коридором крыла.

В большой комнате изгибался в несколько линий хвост, хуже хлебного,— арестованных, ожидающих обыска. Это всё была полиция — приставы, околоточные, жандармы. Впереди, у столиков, несколько студентов, гимназистов и рабочих с повязками опрашивали, записывали, и потом в углу, отгороженном скамейками, раздевали до подштанников. Несколько солдат и рабочих, учась тюремному ремеслу, прощупывали, переминали снятые мундиры, брюки, обувь. Туда, к скамейкам, набралось много и зрителей, и все с интересом ждали, что найдут. И эриксоновцы, теперь покинув свои конвойные заботы, тоже пошли смотреть.

Офицеры стали в хвост, ожидая своей очереди позора. Конечно, и полиции эта процедура была нестерпимо унизительна, но их офицерская строевая гордость ломилась с болью: ах, зачем же они не сопротивлялись до конца? Ещё вчера бы сразу и умереть.

Тут появился какой-то быстрый молодой худощавый штатский господин, причёска ёжиком, в сюртуке, крахмальном воротнике со сбившимся галстуком,— а за ним пожилая сестра милосердия с подносом. Они пробирались к регистрирующим, сестра стала выдавать им,— только им, не арестованным,— хлеб и мясо, а господин что-то говорил, жестикулируя. И вдруг прекратили обыск, и уже раздетые ожидающие стали снова одеваться.

Офицеры вздохнули облегчённо. Возвращалась сестра — спросили её, кто это такой. Ответила:

— Член Думы Керенский.

Тут возвращался и он сам. Лицо его было утомлённое — но и повышенно живое, быстрый взгляд и даже мальчишество. Всеволод Некрасов, наступая на палку, продвинулся к нему, задержал за рукав:

— Господин депутат! Мы вот здесь трое — офицеры лейб-гвардии Московского полка. Среди арестованных, как видим, мы только трое — строевые офицеры. Мы хотели бы знать: что, нас тоже будут раздевать? Что вообще нас ожидает?

С быстрым вниманием молодой депутат осмотрел их, увидел палку Всеволода:

— Вы раненый?

— Да. Ампутирована нога.

— А вы — георгиевский кавалер? — это к Сергею, заметив крестик под расстёгнутой шинелью.

Хотя депутат не был выше окружающих, но используя небольшой расступ вокруг себя — уверенно обратился с речью ко всей гудящей комнате, да так, будто эту речь готовил всё время. И жужжание смолкло, все слушали.

— Товарищи! Что за стыд?! — взносчивым лёгким голосом кинул он.— Революционный народ — и арестовывает офицеров-инвалидов, и георгиевских кавалеров? Офицеры — необходимы армии! Идёт война. Никаких эксцессов к офицерам быть не может!

Он чуть выждал возражений — те не раздались. Приведшие конвоиры не высунулись из толпы, как пропали. В колеблющемся море мятежа один уверенный звонкий голос сразу заменил весь закон.

— Идёмте! — уже не сомневаясь, властно сказал Керенский офицерам и повёл всех троих.

А выведши, в коридоре,— с оттенком даже царственного дарения:

— Вы — совершенно свободны, господа! Пойдите, получите охранные удостоверения. Но не советую вам сегодня выходить из дворца.

И пока ещё рядом проходил с ними через толкотню, смешенье одежд и лиц, объясняя нужную комнату:

— Господа! Ведь вы любите нашу родину! Присоединяйтесь к народному движению.

Велик был соблазн поддакнуть спасителю от камеры и позора. Но Сергей ответил:

— Вот именно потому, что любим родину, господин депутат, мы и не можем делать революцию во время войны.

197

Что же случилось? Ай-ай-ай! Обрушилось именно то ужасное, что он измысливал избежать государственным переворотом,— то самое страшное, стихийное, то есть бунт черни.

Гучковский заговор — не успел. А теперь, когда революция всё равно уже взорвалась и всё сметалось прочь великанскою рукой,— теперь Гучкову второй день казалось, что трудности заговора были совсем незначительны, и в марте вероятно бы успели, надо было успеть.

Вчера началось — и Гучков заметался: что делать? Началось — при нём, он — тут, в Петрограде,— и что же делать? Надо было одновременно — и както остановить народное движение, и мгновенно вырвать уступки у царя. Гучков (ощущая себя военным человеком) кинулся в Главный штаб и добивался от Занкевича, ни по какому праву,— подавления! (Странная двойственность внутри: и ясно, что надо давить, и хочется успеха движенью.) Потом кинулся в свой дремлющий и перепуганный Государственный Совет. Кое-какие члены слонялись по Мариинскому, ни на что не способные,— Гучков стал сплачивать их и звонить по телефонам, и так послали телеграмму царю. Тут Гучков со злорадством наблюдал последние беспомощные метания министров.

И вот — всё, что он успел вчера.

А сегодня с утра отправился в Думу. (Если бы и хотел дома посидеть, то не мог бы: Марья Ильинична изощрилась и сегодня утром устроить ему сцену — удивительная способность женщин никак не чувствовать общей обстановки, ничего не видеть за гребнями своих чувств,— выжгла из дому и сегодня. С тем большим порывом поспешил в Думу.)

Из утреннего телефона он уже знал — и что образован Комитет Государственной Думы, и что там же в Таврическом загнездился, закурил Совет рабочих депутатов, собезьянничанный с Пятого года (а в Пятом придуманный революционными полуинтеллигентами же). Надо было спешить к событиям и активно вмешаться! (Ещё не понимая, как именно.)

Ему идти было тут от Воскресенского всего два квартала — и даже при необычном оживлении и хаосе нетрудно пройти.

Хотя уже четыре года Гучков не принадлежал к Думе — но место его сейчас было несомненно там. Сохранялось за ним негласное, неофициальное право состоять в одном ряду с думскими лидерами. Он спешил туда не по притяжению любопытства, но по этому негласному праву. Он был — из самых заслуженных в процессе обновления, и главный враг императорской четы, и теперь, когда всё зазыбилось,— естественно ему стать на рулевое место, без лицемерия и ужимок. Не метил он себя премьер-министром (хотя отлично справился бы), к этому месту уже тянулась череда из Родзянки, Милюкова, Львова, но вторым-третьим лицом в государстве во всяком случае. По посто-

янной близости к военному делу, он назначал себя — военным министром.

Но что за тупая толпа! — тут надо ещё отстоять своё право на каждый следующий шаг. Привык считать Гучков, что его знает вся Россия, вся Россия слала телеграммы при его болезни,— однако вот здесь, перед решёткой Таврического и в сквере, его не узнал в лицо решительно никто, разве один-два студента. Его пропускали, но просто по солидному меховому воротнику, нахохленному виду и золотому пенсне догадываясь, что у этого барина важное дело в Думе. Однако сами-то они зачем здесь толпились в таком избыточном, глупом количестве? Кто б это предвидел: что от революции все кинутся к Думе и будут толпиться тут как бараны, даже в изрядный мороз.

Но это что по сравнению с тем, что внутри: в дверях стискивали, в Купольном зале от входа сразу заворачивался круговорот, так что надо было с силой выбиваться локтями. Бюст Александра II, поставленный депутатами-крестьянами к 50-летию отмены крепостного права,— и к тому пристроили красный бант. Красные бантики, ленты, приколки торчали почти на всех прихожих. По всему Екатерининскому густо толпились, и в нескольких местах мельтешили митинги, другим неслышно.

Всё же Гучков быстро нашёл и главных думских, и дознался о Военной комиссии, и понял свою задачу: взять её в твёрдые руки, сделать регулярным штабом и полностью перехватить к думскому Комитету. Для этого надо было быстро насажать сюда если не генералов, то расторопных полковников. При знакомствах и военном авторитете Гучкова это было недолго.

Тут он застал подозрительных социалистов — жёлчного библиотекаря Академии, нервного лейтенанта — и, обдавая их презрением, потеснил. Потеснил собою и Энгельгардта, совсем неухватистого. Там же вдруг нашёл незаменимого Ободовского, обрадовался и поставил его фактическим старшим до прихода своих полковников. Тут же сел и без труда написал приказ командирам всех частей петроградского гарнизона ежедневно доносить ему о наличном составе. Представить списки офицеров, вернувшихся к исполнению своих обязанностей. (Кто ж у нас есть?) Ни в коем случае не допускать отбирания у офицеров оружия, нужного им для несения службы. С четверга 2 марта восстановить правильные занятия во всех военных учреждениях и заведениях. (С завтра было бы нереально.)

А когда потом Гучков пошёл и пробивался к Родзянке, то увидел над толпой его возвышенную полукуполом голову без шапки, как она передвигалась к выходу. Пробивался к нему наискось, вдогонку. За Родзянкой двигался безумноватый черноглазый Владимир Львов.

Снова через водоворот и скопление Купольного зала — выбрались на крыльцо.

И увидели перед собой настоящее чудо: строгий строй юнкеров Михайловского училища в четыре шеренги, протянувшийся в сквере, лицом ко двору, а остальные оттеснились.

На чистых юнкерских лицах сверкала готовность, преданность, не то распущенно-боязливо-блудливое выражение, как на солдатских. Вот кто и будет опорой в ближайшие дни!

И не только все офицеры были на местах (радостно видеть настоящий строй), но и генерал, начальник училища, и вот скомандовал гулко перед Председателем Думы:

— Смир-р-рна! На караул! Господа офицеры!

И лихим движением нескольких сот рук винтовки были перекинуты от „к ноге" „на плечо" — и глухие перехваты рук об ложа слились в единый выразительный звук.

И Родзянко, вспоминая молодость, выпрямился сам, с обнажённой головой, выслушал рапорт, отдал нужное „вольно", винтовки опустились снова к ноге,— и голосом, созданным для смотров, вынес навстречу юнкерской верности:

— Я вас приветствую, господа офицеры и господа юнкера! Я приветствую вас, пришедших сюда и тем доказавших ваше желание помочь усилиям Государственной Думы водворить порядок в том разбушевавшемся море беспорядка, к которому нас привело несовершенство управления.

Да слова научился выбирать дипломатически — и шагнуто сколько надо и недошагнуто. Всё-таки, много он образовался с тех пор, как заменил Гучкова на председательской кафедре.

— Я приветствую вас ещё и потому, что вы, молодёжь,— основа и будущее счастье великой России. Я твёрдо верю, что если вам угодно таким образом поддержать усилия Государственной Думы, то мы достигнем той цели, которая даст счастье нашей родине.

Он говорил как ни в чём не бывало, уж во всяком случае не как мятежник, да как будто революции никакой не произошло, он не слыхал. Такую речь он мог произнести и в присутствии Государя императора, да он вполне непридуманно и говорил, от сердца:

— Я твёрдо верю, что в ваших сердцах горит горячая любовь к родине и что в вашей дальнейшей деятельности вы поведёте на ратные подвиги наши славные войска! И победа наша будет обеспечена. Да здравствует Михайловское артиллерийское училище!

Всё — несомненно, и последний лозунг тем более. Шумное „ура"!

Вдруг кто-то крикнул пронзительно, напоминающе, но не из юнкерского строя:

— Будь другом народа, Родзянко!

Но не унизился Председатель до такого подтверждения, а всё ломил своё:

— Помните родину и её счастье! За неё надо постоять! Не будем тратить время на долгие разговоры. Ждите приказов Временного Комитета Государственной Думы! Это единственный способ победить!

Раздались молодые обещающие возгласы.

Так-то всё так, но и на ступню не продвинулся Родзянко по революционному полю, уж совсем не помянул ничто происшедшее, это тоже ложный путь.

Нетерпеливо топтался и вперёд выдвигался очень возбуждённый, с блистающими глазами Владимир Львов — и полез держать следующую речь. Да одни пустые слова:

— Да здравствует среди нас единство, братство, равенство, свобода!

А приличнее было бы Гучкову, да и сказал бы он умное и соответствующее моменту. Он уже примерно сообразил, что скажет, и чуть заволновался, как бывает перед необычным выступлением.

Но не пришлось ему отстраняться от глупого Львова и не пришлось делать шага вперёд: по другую сторону Львова вдруг вышагнул вперёд Керенский — вытянутый, с лёгкой вскинутой рукой, как артисты приветствуют публику, но не с войсками разговаривают:

— Товарищи рабочие, солдаты, офицеры и граждане! — взрывчато воскликнул он, юнкеров и вовсе пропустив, да и обращаясь, кажется, больше к толпе, чем к строю.— То, что вы пришли сюда в этот великий знаменательный день, даёт мне веру, что старый варварский строй погиб безвозвратно.

И так — сразу шагнул через всё постепенное, промежуточное, спорное,— уже и весь государственный строй погиб, для него несомненно. Камня на камне!

Прошёл гул одобрения — опять-таки не по строю юнкеров, да и не громче, чем кричали „ура" Родзянке. Кажется, толпе всё ра́вно было к одобрению, лишь бы что-нибудь произносили. А Керенский, между тем, влёк дальше:

— Я думаю, что то, что мы делаем здесь, есть дело не только петроградское,— это дело всей великой страны, дело, за которое уже погиб в бесплодной борьбе ряд поколений!

Какой опасный человек! что он нёс! — и это же не останется без последствий, уши людей привыкают слышать такое.

И уже нельзя было его перед всеми оборвать и заткнуть.

— Товарищи! В жизни каждого государства, как и в жизни отдельного человека, бывают моменты, когда вопрос идёт уже не о том, как лучше жить, а о том, будет ли оно вообще жить. Мы переживаем такой момент, когда должны спросить себя, будет ли Россия жить, если старый порядок будет существовать! Чувствуете ли вы это? — вскрикнул он, сам сильно вздрагивая.

Что-то передалось, и откуда-то крикнули:

— Чувствуем!

И получив этот отклик, он понёс дальше:

— Мы собрались сюда дать клятвенное заверение, что Россия будет свободна!

Откуда этот вертун всё брал? Из своей плоско-стиснутой головы. Разве для этого собрались? На самом же деле задача была: те солдаты, которые, выйдя из казарм, совершили революцию — как бы теперь вернулись в них обратно и сдали бы оружие.

— Поклянёмся же! — разговаривал Керенский, как с детьми.

И кто-то готовно поднимал руки, да кажется и среди юнкеров:

— Клянёмся!

— Товарищи! — не насытился левый адвокат.— Первейшей нашей задачей сейчас является организация. Мы должны в три дня создать полное спокойствие в городе, полный порядок в наших рядах. Надо достигнуть полного единения между солдатами и офицерами! — Наконец-то очнулся.— Офицеры должны быть старшими товарищами солдат! — (И тут выворот.) — Весь народ сейчас заключил один прочный союз против самого страшного нашего врага, более страшного, чем враг внешний! — против старого режима!

Что наделал! что наделал! Безумец перерубливал все сдерживающие канаты — и Гучков потерял желание выступать: он не знал, как это исправлять. В нём самом внутри как обваливалось.

А Керенский нёс:

— И этот союз должен сохраниться до тех пор, пока мы не достигнем своей цели! Да здравствует свободный гражданин свободной России! Ура-а! — тонким голосом.

Но покрыто было дружным и долгим „ура-а-а!".

Гучков возвращался с Родзянкой с этого митинга — в чувствах его всё перекосилось. События не только прыжком обогнали всё представимое, но они продолжали опасно расползаться — и он не видел, как их скрепить.

198

Что за рок? Принципиально не военный человек и даже ненавидящий армию, Ободовский стал всё время попадать на военные должности, то по снабжению, а вот уже и прямо — чуть ли не организовывать военную власть.

Да придя в Таврический — не заниматься же болтовнёй политики. А кроме политики было одно практическое дело — вот тут в Военной комиссии. В несколько вечерних часов вчера самолично отстояв Главное Артиллерийское Управление (кричал на солдат-грабителей и разгонял их), Ободовский ночью пришёл сюда, чтобы добыть караул для ГАУ, и послал такой, а тут спросили, чем обеспечить броневики, выходят из строя, что надо затребовать из Михайловского манежа, он сел писать — магнето, инструменты,— а дальше следующее, следующее, достать смазочный материал и пакли, то пушечные горфорды, то осмотреть прибывшую пушку, так и остался. А потом уже и дерзкие воинские распоряжения, какие начинал делать всякий, находящийся в этой комнате, подписывая: „за председателя Военной Комиссии".

Да и где ж ему было быть в эти часы внезапно наступившей революции? Какое дело было главней и умней? А никакое переживание не имеет цены, если оно не превращается в дело. Сильно втягивало. Тут и провёл ночь.

Сегодня в раннеутренние часы главный вопрос был: переговоры с комендантом Петропавловки, проявившим большую готовность к сдаче,— а это был ключ ко взятию всей столицы. Штурмовать Адмиралтейство не было сил, и решено брать его измором и разложением. После того как восстановили работу телефонной станции, следующая забота Ободовского была — постепенно занять и охранить все электрические станции города: от перерыва света страдала бы революция и выиграли бы внешние враждебные войска. Затем, применив большую настойчивость и долго проспорив, Ободовский настоял послать солидную охрану к зданию Химического комитета и к химической лаборатории военного ведомства, иначе могли быть несчастные случаи от газов, а кроме того — потеря секретных сведений, если проникнут немецкие шпионы.

А пока он со всем этим хлопотал — пропустил, что тут же, на одном из соседних столов, выписали распоряжение какому-то наезднику, чуть не цирковому, взять 50 человек — и пойти арестовать контрразведочное отделение штаба Округа, не разберясь, что оно не с революционерами борется, а со шпионами. Это было, кажется, состроено из неразборчивой ненависти исподлобным Масловским, который тут расхаживал крадучись, истекая злобой.

И как во множестве мест — на рудниках, в геологических комитетах, перед высокими бюрократами,— Ободовскому и тут пришлось нервно кричать, надрывать голос и сердце, требовать отмены распоряжения. И уж теперь, предварительно, настоять послать охрану к секретному отделению штаба Округа.

Ещё надо было занять телеграф и охранить на нём порядок. Ещё надо было собрать автомобили из автомобильной колонны, а в военно-автомобильной школе организовать ремонт машин.

Если из какой-нибудь части являлся добровольно офицер или грамотный человек, он тотчас же к себе в часть получал какое-нибудь поручение. Важно было — возвращать офицеров с удостоверением от Думы, чтоб их там признали,— и так снова насыщать части офицерами, без них же это был сброд.

Но, конечно, такими случайностями было не перебиться, массового возврата офицеров не вызвать, и Ободовский набрасывал, какое бы издать публичное обращение к офицерам — куда-то назначить им приходить для получения удостоверений, дающих им всюду пропуск и доверие солдат. Военная комиссия не могла приказать офицерам так сделать, но для их же пользы надо было их убедить, воззвать к офицерскому престижу и к военной опасности.

А тем временем надо было какими-то несобираемыми силами прекратить в городе грабежи, погромы и стрельбу с чердаков. Жалобы на эту стрельбу были такие общие, единодушные, что сперва Ободовский и все тут поверили в неё, и посылали рекогносцировочные группы — обнаружить эти стреляющие пулемёты, уже точно указанные, и снять их с крыш. Но шли часы — и ни одна группа не обнаружила ни одного пулемёта ни на указанной крыше, ни на какой-либо другой.

Так как много было болтающихся штатских и студентов — придумали ещё такую меру: надевать им на рукав белые повязки, давать винтовки, и рассылать патрулями и постовыми в назначенные пункты. А автомобили под белым флагом объезжали бы их. Может быть так остановятся грабежи, пьянство и стрельба.

Достигло думских стен предположительное объяснение, что полки из Ораниенбаума и Стрельны движутся сюда не против революции, а одобрительно, на поддержку.

И будто бы царскосельский гарнизон тоже переходит на сторону революции!

А издали на Петроград грозно катили войска Иванова.

Стрелка революции трепетно качалась, как и полагается ей вздрагивать и метаться.

То казалось: сил обороны нет совсем, ничего не стянуть, не собрать.

То казалось: у противника ещё меньше того, совсем нет, всё разлагается.

Вдруг в 11 часов дня поступило донесение, что на Николаевском вокзале уже высаживаются войска Иванова!

Быстро же!! Вот уже!! послать заслон абсолютно не из кого.

Осталось положиться на первый революционный батальон — Волынский, тем более что казармы его были как раз по пути. Послали приказ Волынскому: двум ротам с пулемётами выступить навстречу.

Опять возобновилась ночная нервность, все дёргались по комнате, а кто курит — курили.

Тут в несчастную для себя минуту явился стройный, отчётливый морской офицер от одного из флотских экипажей — с кортиком, револьвером, ничего по пути никому не отдав, в блеске формы и весь в крестах и орденах. Он делегирован своим офицерским собранием выяснить цели и намерения переворота прежде, чем выполнять распоряжения Таврического дворца. Политические

цели переворота остаются неясными, и господа офицеры экипажа хотели бы иметь формальные гарантии, что события не направлены против монарха.

И стоял в стойке „смирно".

В самую нервную минуту! — когда ждали боя между Николаевским вокзалом и волынскими казармами, и может быть через полчаса нужно будет самим отсюда улизывать!

Под негодующими взглядами советских Масловского и Филипповского, Энгельгардт залился краской по всему лицу и шее — как бы его не заподозрили в измене! — и распорядился арестовать этого морского офицера: „задержать до выяснения полномочий".

И сразу вскочил дежурный унтер и несколько развязных солдат, теперь отобрали у офицера оружие и повели его на хоры дворца, где арестные камеры.

А Ободовский, по своей непоследовательности, залюбовался этим моряком, как когда-то иркутским комендантом Ласточкиным: всегда восхищает верность долгу, хотя бы и противному! Уж во всяком случае больше вызывал этот моряк уважения, чем болтавшиеся тут капитаны царской службы Иванов и Чиколини.

Цели же переворота — Ободовскому-то были ясны, а тому же и Энгельгардту совсем не ясны, оттого он и краснел. И сам Родзянко ещё не понимал: что же будет с царём? Эти мысли не так легко вступают в голову, к ним надо привыкать десятилетиями. Что же требовать от морских офицеров?

Но что ж под Николаевским вокзалом? Хоть разорвись, ничего об этом нельзя было узнать, прямых донесений не поступало. А в половине первого пополудни точно узналось, что волынцы даже и не подумали выступить на защиту революции, даже и не пошевелились. В Военной комиссии раздались проклятья: за полтора часа, если б тот высадившийся полк не робел, он бы уже мог походным порядком дойти до Таврического или соединиться с Хабаловым и выручить его.

Но и в этом была особенность революции, что полки реакции должны были робеть и разлагаться!

Повторно приказали волынцам: выступить немедленно!

Но они и в этот раз не пошли.

И тогда, уже во втором часу дня, решили послать приказ на охрану Николаевского вокзала — 1-му запасному пехотному полку с Охты. Он хотя стоял очень далеко, идти ему долго, но именно из-за этого ещё сохранил офицеров и ещё пока производил впечатление единственной неразложившейся части,— это было впечатление Милюкова, ездившего туда утром.

Да может, никто на Николаевском и не высаживался? Похоже, что так.

Тем временем выслали квартирьеров для войск, подходивших из Ораниенбаума,— установить с ними, таким образом, обеспечивающий контакт.

Тем временем надо было формировать отряды для охраны нескольких крупных интендантских складов: тамошних караулов было совершенно недостаточно, и вот-вот толпа могла до них добраться.

И что-то ж надо было думать об охране военных заводов?

Тем временем: что же делать с военными училищами? Вчера они были нейтральны,— но училища не могли состоять в неопределённости, они должны были вести учебные занятия для войны, хотя бы и в дни революции. И кто ж должен был приказать им продолжать занятия? Очевидно, Военная же комиссия, просто некому другому. (А впрочем — что в Главном Штабе? Ещё огромный Главный Штаб с сотнями офицеров, раскинув крылья свои на обширную Дворцовую площадь,— молчал нейтрально.)

Написали такие распоряжения начальнику Михайловского училища, начальнику Владимирского. А с Павловским было похуже: там произошли какие-то внутренние столкновения, обнаружились какие-то контрреволюционные настроения? — никто точно не знал. Но если училища станут против революции — это страшная сила: они все с офицерами, вооружены, сплочены,— это единственная сила в городе. Их надо нейтрализовать!

Опыт с офицером из экипажа возбуждал вопрос и о Гвардейском экипаже в его казармах на Крюковом канале. Ведь им командует великий князь Кирилл — и до чего доброго докомандует?

Революция питается и укрепляется только дерзостью, так было испоконь. И старший лейтенант Филипповский, тряхнув боковым начёсом, подписал и выдал бумагу поручику Грекову: по приказанию Временного правительства (которого не существовало) — стать во главе Гвардейского экипажа, а заодно и 2-го Балтийского — то есть, сразу в две генеральские должности. (Но потом генерал-майор из 2-го Балтийского запротестовал — и должность ему вернули. Тем лучше, будет свой генерал. А как воспринял оскорбление великий князь Кирилл?..)

Затем появился Гучков, Ободовский очень ему обрадовался, и тот Ободовскому: после работ в Военно-промышленном комитете они были уже как бы в постоянном сотрудничестве.

Гучков обладал неизменной представительной выдержкой — постоянно помнил, что он известен всей России, все его видят, и вид имеет значение. Но сейчас и через это пробивалось, что он в растерянности; что таких взлохмаченных обстоятельств он не предполагал.

Никем сюда не введенный, Гучков однако уже своим появлением предполагал стать тут центром. Энгельгардт невольно перед ним тянулся, и после короткого между ними разговора, а потом сходили к Родзянке, объявлено было на всю комнату, что теперь Энгельгардт будет заместителем, а председателем Военной комиссии — Александр Иваныч.

Советская часть комиссии зашипела, но почти немо — уж они привыкали, что их тут ссаживают и ссаживают дальше. Библиотекаря Масловского, как тот ни пытался вставиться с замечаниями, Гучков игнорировал принципиально.

Он сел, и в общем разговоре ему представили распоряжения последних часов. Чему посмеялся, чему поразился. Впрочем, смеху было мало.

При Гучкове прошло ещё несколько донесений и принято распоряжений: занять Аничков дворец; занять Собрание Армии и Флота — вот ещё что могла разнести солдатня; назначить коменданта в разграбленную гостиницу „Астория" — не нашли никого подходней, чем профессор Военно-медицинской Академии, сидевший тут. Ещё кого-то надо было назначить командовать 9-м запасным кавалерийским полком. Назначили и отправили ротмистра — но ровно через 15 минут явился возмущённый сам командир полка, и пришлось тут же выдать другое приказание — чтобы тот ротмистр поступил в распоряжение командира полка. (Тем лучше, будет и полковник.)

Принесли приказание от Родзянки, и теперь только письменно надо было подтвердить, что некоему Эдуарду Шмускесу, который и офицером-то не был, а кажется студент,— принять команду в 50 человек и занять министерство путей сообщения.

Гучков сидел не грудью за столом, а с торца его боком, облокотясь, и только успевал следить, как в суетне Военной комиссии каждые пять минут рождались, выписывались и выскакивали эти приказания.

Тут принесли такое потрясающее донесение:

„Караул, стоящий на углу Кирочной и Шпалерной, сообщил, что по сведениям, доставляемым частными лицами, в Академии Генерального Штаба собралось около трёхсот офицеров, вооружённых пулемётами, с целью нападения на Таврический дворец".

Масловский сразу же всунулся, что это вполне вероятно, что офицеры Академии настроены очень реакционно, только преподаватели слишком дряхлы, чтобы браться за пулемёты, а вот некоторые слушатели — вполне, хотя их числом не триста и даже не двести... И кое-кого из них надо бы арестовать.

Но Ободовский захохотал нервно и почти закричал, что никакого *угла* Кирочной и Шпалерной не существует, они параллельны и даже не смежны, так что и квартала общего между ними нет. Да ещё „доставляемые частными лицами"...

После этого донесения Гучков уже кажется всё для себя решил, он отсел в угол с Ободовским и сказал ему тихо:

— Пётр Акимович! Я — счастлив, что вы здесь, и на ближайшие часы только на вас и надеюсь. Это здесь...— он употребил неприличное слово,— а не военный штаб. Тут один военный человек — это вы. Энгельгардт не вино-

ват, что на него такое свалилось, но он... Эту советскую шайку мы вообще вытесним. Продержитесь тут, прошу вас, только несколько часов до вечера. К вечеру я соберу сюда самых настоящих офицеров генерального штаба, устроим и военную канцелярию,— уже вечером тут будет штаб.

Ободовский принял всё как должное. Но и поспешил предъявить Гучкову набросок обращения к офицерам.

— Александр Иваныч, один штаб ничего не спасёт. И общего вашего приказа мало. Ничего мы не сделаем, если не вернём офицерского положения и доверия к ним.

Глаза Гучкова были желты, нездоровы. Он прочёл, кое-где поправляя,— и понёс показывать Родзянке.

199

Командир Дагестанского полка барон Раден, возвращаясь из отпуска из Эстляндии в Действующую армию, утром 28 февраля прибыл на Балтийский вокзал. О беспорядках в Петрограде он уже был предварён слухами. А на перроне, едва выйдя из вагона, был окружён толпой, смешанной солдатско-штатской и вооружённой револьверами, шашками, ружьями,— такие кучки по всему перрону ожидали подхода поезда и бросились ко всем дверям.

Полковник Раден побледнел, выпрямился и ответил, что едет на фронт и оружия не отдаст. (Он не представлял, как мог бы тут сопротивляться, но думал рубиться.)

Толпа заразноголосила. Одни стали кричать: „На фронт? Оставить шашку, ему нужно!" Другие требовали — отдать. Стали спрашивать: когда едет, как? Полковник ответил, что переезжает на Виндавский вокзал и лишнего часа пробыть в Петрограде не намерен. Тем временем передвигались в здание вокзала, и там окружавшие согласились: сдать оружие на хранение вместе в вещами, иначе они не ручаются за его жизнь.

Но кому было сдавать на хранение? Обычные вокзальные службы отсутствовали, и весь вокзал был — проходное возбуждённое разношерстное многолюдье. Согласились так: глубоко под стол поставил полковник свой чемодан, а на чемодан положил шашку и револьвер.

Эта толпа разошлась.

Оставив вещи, полковник пошёл по вокзалу. Встретились ему несколько офицеров — и у всех было насильно отобрано оружие. На площади перед вокзалом стреляли из пулемётов и ружей, лежал убитый городовой. Не видно было, каким способом отправляться на Виндавский.

Тут на Балтийский вокзал прибыла новая большая толпа вооружённых распущенных и частью пьяных солдат — и во главе прапорщик якобы Выборгского полка, но похоже, что переодетый. От полковника Радена эти тоже потребовали оружие, один же из вокзальных лакеев указал им, что лежит под столом на чемодане. Тогда схватили это оружие и схватили самого полковника, выворачивая руки, приставляли револьверы к его голове и кричали, что он против народа.

Когда сразу несколько дул приставлено к твоей голове, трудно разговаривать с живыми как ещё живой. Но ещё громким голосом ответил им барон, что едет на фронт. И опять распались мнения толпы, опять одна часть заступилась — а другая требовала убить его. В конце концов, помятого, полковника Радена отпустили.

Но за это время утащены были и шашка его и револьвер. Однако чемодан остался.

И что ж было делать? Надежды на извозчика не было. Но как ни смяты были все жизненные отношения в городе, а всё же не мог полковник нарушать устав и сам понести свой большой чемодан — он должен был кого-то для этого найти, тут обрывалась независимость всякого офицера. Какой-то человек назвался посыльным, взялся нести.

Пошли пешком, через Измайловские роты. По дороге солдаты отдавали честь, но не все, а чернь угрожала, поносила бранью и, стараясь напугать полковника, стреляла мимо его головы в воздух. Около казарм Измайловского

полка вся улица была полна солдатами-измайловцами, но без оружия и в большом возбуждении, что-то у них происходило непонятное.

И такое же потом — около казарм Семёновского полка.

Всюду шла стрельба, уже как обычное уличное явление. Разъезжали автомобили с красными флагами, пулемётами, вооружёнными то солдатами, то матросами из флотских экипажей. Разъезжали и конные солдаты, с красными лентами, вплетенными в гриву. Штурмовали подъезды — будто засела полиция.

На Виндавском вокзале так же не было никакой охраны, железнодорожных жандармов. Так же всё связанный невозможностью переносить свои вещи, полковник Раден был оттёрт от них новой нахлынувшей толпою. А когда толпа поредела — оказалось, что исчезло его имущество, и остались на нём только шинель да папаха.

Так и он стал, наконец, независимым и свободным.

По такой анархии искать украденные вещи было бы бесполезно.

Какие-то несколько обезоруженных офицеров подошли к полковнику и предложили ему вместе отправиться в Государственную Думу, где заседает новое правительство. Полковник ответил, что это могут быть только узурпаторы, он не желает иметь с ними дело и не советует, это низость.

Пока он ждал поезда на Могилёв, он видел, что офицеры отправляются в Думу многие.

Одного из них полковник горячо убеждал не ехать — это слышали солдаты и чуть не убили его опять.

200

Поездные переезды имели свою поэзию: особый убаюкивающий отдых, недоступность для докладов, министров и генералов, сменные виды за окном, чтение какой-нибудь книги. Чтобы не было резких толчков, предельная скорость императорских поездов была установлена лишь 40 вёрст в час. Спокоен был тогда сон.

Поездки делились на грустные (от Аликс) и радостные (в сторону Аликс). Сейчас была бы такая, если б не тревога за милых, и не болезни их.

Спал долго. Проснулся около полудня. И какое же яркое весёлое солнце светило! — это ли не доброе предзнаменование? С удовольствием смотрел в окно. Под сугробами, под застругами нанесенного снега — цельная, никак не мятежная Россия. Родные пейзажи — холмы, перелески, под глубокими покровами ждущие весны. На станциях полнейшее спокойствие и порядок. Перед станционными зданиями — рослые дежурные жандармы.

И в этом ослепительно-снежном безмятежьи все городские беспорядки казались если не придуманными, то мелкими и преодолимыми. Чтó беспорядки на нескольких улицах против великой державы?

И вереница непотревоженных мыслей, а частью воспоминаний, неторопливо проходила в голове.

На сколько бы дней Николай ни отъезжал от семьи — каждый раз он возвращался к ней с такой обновлённой полной радостью, как будто разлука была годовая. Прежде всего — к Аликс. Только прижав её к сердцу, всё рассказав и всё узнав за дни разлуки, он становился самим собою вполне. Но не намного меньше — и сын, в котором ощущал Николай загадочное физическое повторение самого себя, только перешибленное страшной болезнью, когда отец завидно здоров,— но оттого ещё настойчивей отцовский долг и связь с сыном. И четыре, четыре дочери! — из них уже три невесты с туманной судьбой, уже две взрослых, переросших своё детство,— как бы в темнице из-за царского состояния отца. Вот кончится война — выйдут замуж. Но при том не меньше же любил он и 16-летнюю *Швыбзик* Анастасию. Ко всем к ним рвался Николай, и не знал бы большего счастья как жить с ними постоянно вместе и видеть каждый день.

Но было и ещё одно женское существо, органически включённое в них во всех,— Аня Танеева. Для Аликс Аня была единственной доверенной подругой за много лет. Но постоянно здесь, постоянно рядом, постоянно третья при

них,— она неизбежно срослась нежной связью со всеми, и с Николаем тоже. Отношения её с Николаем были неназываемые, им не было места в людских классификациях. Не восторженной подданной к своему Государю (хотя именно так писалось в письмах), не старшей дочери к отцу, конечно (хотя шестнадцать лет было между ними),— и вне возлюбленной, потому что не могла бы в сердце Николая вместиться вторая любовь при пылкости его к Аликс. И вместе с тем это было нечто нежное, неотъемлемое, только им двоим принадлежащее, в полноте выразимое лишь во встречах наедине.

Был опасный момент, когда это могло перейти и всякие границы,— весной Четырнадцатого года в Крыму. Как всегда, Аликс была прикована многими болезнями то к постели, то к креслу, все заботы — о наследнике, а Николай, как всегда, много нуждался в движении, в теннисной игре, и в его дальних прогулках — автомобильных, конных и пеших, его неизбежно сопровождала эта небесноглазая красавица. Они — теряли голову,— но вовремя твёрдо вмешалась Аликс. В тот момент (и после бурных сцен между женщинами) это кончилось изгнанием Ани из Ливадии и из семьи. Но и Аликс почувствовала, что так — жестоко и непереносимо для неё самой, Аня была возвращена в семейную и дружественную близость, однако за режимом её отношений с Николаем теперь следила Аликс сама.

И — все трое приняли этот порядок отношений. Маленький домик Ани был увешан увеличенными фотографиями Государя. Она приносила свои объёмистые письма Аликс и предлагала сжечь, если государыне покажется, что письмо рассердит Государя. Аликс передавала, разумеется, все, а уж он, прочтя, по обещанию жене, уничтожал их. А если телеграмма от Ани прямая — сообщал Аликс. И освобождал Аликс от необходимости исполнять все анины капризы. И если Аликс высказывала, что привезёт Аню с собой в Ставку,— возражал, что было бы спокойнее им быть вдвоём, но, конечно, можно и привезти.

И в этих определившихся рамках, а во всяких других было бы и недостойно,— продолжало что-то нежно существовать и нежно отзываться между ними. Писал Николай: „целую вас",— это значило с детьми, или „целую вас всех",— это значило и Аню. Или отдельно дописывал :„и её также". (В письмах чаще не называли её по имени.) Дописывал — и было приятно: передай Ане мой привет и скажи, что я часто о ней думаю. Тут ещё навалилась вся ужасная история железнодорожной катастрофы, Аня месяцами лежала больная и особенно нуждалась в ласке, и Николай навещал её, потом она стала ходить, но с костылём (но даже и костыль не мог обезобразить её бело-голубого обаяния). Иногда встречались коротко и наедине. (И она хотела — чаще!) И всё это было окружено каким-то беззвучным звуком, неумолкающим тоном, доходящим до сердца, неаримый цветок, постоянно цветущий. И всё это делало ещё нежней и дороже возвраты в Царское. И сегодня тоже этот мотив примешивался к остальным, бежал, бежал, как телеграфные провода вдоль поезда,— непрерываемый и недогонный.

Провода тянулись, тянулись, свисая в серединах и подкидываясь к столбам, переливало солнце и полутени по сугробам,— какая же Божья красота, и как хорошо можно было бы жить нашей стране и всему человечеству, если б не было стольких злых помыслов и нетерпений.

И провода эти — хорошо — ничего сегодня не приносили, никаких новостей.

Да может, в столице всё уже и успокоилось? Дал бы Бог.

А нет, оказалось, что Воейков просто заспался, а все телеграммы всегда идут через него. Теперь он пришёл — и разрушил такое успокаивающее, ласковое отъединение.

Во-первых, оказывается, ещё ночью, когда стояли в Могилёве, переслал Алексеев в поезд телеграмму Беляева из нескольких фраз. Но фраз — ужасных: мятежники заняли Мариинский дворец, министры частью разбежались, а частью, может быть, арестованы.

О-го-го. Это серьёзно.

С мягким укором — голубым, почти и не укором, посмотрел Государь на дворцового коменданта: всё же как было не передать это ночью, до отъезда?

Но тот и не покраснел. Его каменотёсное лицо и вообще не краснело.

Что-нибудь ещё?

Да, вот ещё — нагнала пересланная из Ставки телеграмма Государю от 15 членов Государственного Совета.

Государь читал её и недоумевал. Эти люди затверженно повторяли, что народные массы доведены до отчаяния. Что глубоко в народную душу (они её знали и видели!) запала ненависть к правительству и подозрения против власти. Что пребывание нынешнего правительства грозит не меньше как неизбежным поражением в войне и даже гибелью династии.

Николай читал это всё как бред сумасшедших. Он не встречал тут ни единого соответствия действительности, ни одного трезвого слова. Просто понять было нельзя, как серьёзные образованные люди могут писать и подписывать такой вздор. Впрочем, кто там и подписал — всё тот же ненавистник Гучков, да Гримм, да Крым, да Шмурло, да Вайнштейн,— всё тот же почти Прогрессивный блок, к ним качнулся и Меллер-Закомельский, кто бы мог подумать.

Как-то незаметно дали подменить себе и Государственный Совет: от общества выбирали туда ненавистников правительства, от Государя назначали туда всякую почтенную беспомощную рухлядь — разных, кого надо было утешить при отставке. И левые легко главенствовали там над правыми.

И прямо требовали эти пятнадцать: чтобы Его Императорское Величество решительно изменил направление внутренней политики, нынешнее правительство отставил бы и поручил формирование нового... которое управляло бы в согласии с народными представителями... То есть, с Думой.

Да кого же и мог иметь в виду упорный честолюбивый Гучков, если не себя самого? С настороженной ненавистью он не пропускал из своего угла ни одного движения императора. А когда-то казался таким милым. А разгласил в Думе задушевный разговор с Государем. Это было предательство.

В отчаяние приводило Николая, что в одной и той же стране на одном и том же языке — такая невозможность объясниться.

А в народной душе — никак, нигде не видел Николай ни этой ненависти, ни этих подозрений.

И — снова шла непрерываемая езда между солнцем и снегами. Только теперь глодала тревога: Мариинский дворец? Что же там делается? Выйдя к завтраку со свитой, ощутил Государь, что они затемнены и тревожны. И правда, ведь он ничего не объявил им вчера за вечерним чаем о решении ехать в ту же ночь, и вообще не принято было объяснять свите мотивировки действий. Вот и сейчас за завтраком Государь не мог рассеять недоумений на их лбах, это было бы шокирующе необычно, неприлично. Разговаривали о погоде, поездке, разных мелких событиях.

А на станциях всё по-прежнему не было ни растерянности, никакого беспорядка, всё тот же аккуратный железнодорожный персонал и поставленные власти. В Смоленске вышел встречать губернатор. Все по линии знали о проходе императорских поездов и были подготовлены к бесперебойному пропуску.

На какой-то малой станции стоял встречный эшелон пехоты, и тоже знали: часть уже выстроена была на платформе, впереди оркестр, остальные выскакивали из теплушек и пристраивались,— и все страстно заглядывали в окна, сопровождая поезд глазами, никто не знал, в каком из двух синих поездов, и в каком из десяти вагонов и у какого окна может находиться император,— но оркестр непрерывно играл „Боже, царя храни", и кричали непрерывно „ура". А тут Николай сжалился над ними, подошёл к окну — его увидели — и „ура" взмыло невероятной силы! Все лица солдат были одушевлены, восторженны — вид царя придавал им высший размах радости и самопожертвования.

И — что могли значить петроградские беспорядки, безумство Думы и безумство членов Государственного Совета?

Неподвижно и глядя светло Николай простоял у широкого окна до конца платформы, пока скрылся из виду ликующий полк.

Из Вязьмы дал в Царское ласковую телеграмму:

„Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, вы себя хорошо чувствуете и спокойны. Много войск послано с фронта. Сердечнейший привет. Ники".

201

Собственно, было крайне обидно и никаких оправданий тому быть не могло, почему Владимира Бонч-Бруевича не зачислили в Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Если он не был представителем никаких рабочих, так и кто там заседал — тоже не были представителями никаких рабочих. А „видным деятелем левого направления" он был может быть меньше Суханова или Стеклова, но никак не меньше Капелинского или Панкова. Или чем издатель хуже журналиста для революционного управления? Тут сильно виноват и Шляпников, он-то мог бы выдвинуть видного большевика. Но последнее время отношения Бонча с Центральным Комитетом большевиков были неважные, оттого и произошло.

Обидно было ему, ещё пятнадцати лет отроду определившему себя как марксиста (а брат пошёл лакействовать на царскую службу), и с тех пор столько революционных заслуг, и научная операция с Распутиным, как он прикрыл его сектантство, и даже в последние дни заслуга: убедил казачьих сектантов не стрелять, и чтоб те передавали другим казакам,— а теперь, в день торжества, оказаться не у дела?

Вчера Бонч перепоясался армейским ремнём, нацепил огромный револьвер, ходил тут среди них, толкался — но избраться в Исполнительный Комитет так и не удалось. Хорошо, он стал комиссаром по типографиям. Пошёл захватил типографию „Копейки" на Лиговке — это оказалось очень просто, никто ему не сопротивлялся — и ночью выпустил первый номер „Известий" Совета.

Начало было простое, но потом создался ряд осложнений и воздвигся ряд опасностей, из-за которых Бонч уже посылал в Таврический две самых решительных записки, наконец явился вот и сам и вызвал Гиммера с заседания ИК.

Гиммер действительно уже получил одну записку Бонча, но такое напряжённое было заседание, что не дошли мозги и руки что-нибудь сделать. Понадеялся он, что как-нибудь обойдётся, и Бонч больше требовать не будет. Однако Бонч вот явился сам, с выпяченным животом.

Собственно, Гиммеру не была поручена опека над „Известиями", и он мог бы этим вопросом не заниматься. Но как самый дальновидный член ИК он не мог от себя этой обязанности отклонить. Когда Бонч стал грубо нападать, что всё их заседание тут и все разговоры ничего не стоят без выпуска „Известий", что только то реально существует, что напечатано в газете,— Гиммер не мог не признать в этом большую правду.

Бонч бурчал как из бочки, и Гиммер увёл его за дверь в коридор, где была ещё бо́льшая толкотня и штурм добивающихся на ИК, но там Бонч стал разговаривать тише.

Он жаловался на такие обнаруженные трудности: хозяева не сопротивлялись захвату, но типографские рабочие несмотря на революцию хотят получать за свой труд оплату, и значит, нужны деньги. Потом: ввиду непрерывности работы, он не может отпускать рабочих из типографии — а значит, нужно их чем-то кормить. Потом: раз весь город знает теперь, где печатаются „Известия",— возникает большая опасность нападения чёрной сотни. А поэтому — ему нужна охрана, не меньше сорока человек, и с пулемётами, расставить их по всему кварталу. Одновременно это будет и железная диктатура против типографов. Но охрану тоже надо постоянно содержать и значит кормить. И вот это всё Бонч просит Совет Депутатов ему обеспечить — всего 100 человек.

У Гиммера мелькнула эпиграмма, ходившая про Бонча:

С своей бончихою голодной
Выходит на дорогу Бонч.

Ещё проверить надо — шестьдесят ли у него рабочих. Но так или иначе — проблему неизбежно решать.

А уже почувствовал себя Гиммер представителем революционной власти. И как имеющий власть отвечал решительно:

— Хорошо, Владимир Дмитрич. Денег — у Совета тоже пока нет, но и платить их не сию минуту. Поэтому можете обещать рабочим любые условия, лишь бы печатали. А продукты — будем доставать, сейчас я этим займусь. И охрану — тоже будем добиваться.

Но над маленьким юрким Гиммером Бонч-Бруевич возвышался пузатой бочкой:

— Не добиваться — а охрану надо прислать немедленно! Уже скоро стемнеет, а на тёмное время мы остаться так не можем! Нас чёрная сотня разгромит.

Хорошо. Пообещал Бончу. Расстались.

Действительно, что-то надо было делать. Но что? Трудность действовать, когда тебя никто не знает, ни по имени, ни в лицо. Гвоздева — многие знают, а тебя — никто.

Где-то в дальнем углу Таврического дворца создаётся продовольственный склад революции. Но просто выписать наряд и послать — не могло помочь: там и читать его не станут, там и подписей членов ИК не знают. И на каком бланке? И кому именно писать? Значит, надо было идти на склад самому.

А идти — это значило теперь в Таврическом: пробиваться локтями. И что за безумная бессмысленная толпа? Что они все сюда согнались? чего они хотят? на что они тут рассчитывают? Нельзя было не озлобиться, когда пробиваешься по делу — а эти глупые спины и рожи всё тебе перегородили. Через сквозняки, по скользкой жиже, набравшейся на полах,— искать эту дверь, искать эту камнату.

Так у Гиммера много ушло времени — добиться до склада. И там какой-то неизвестный распределял продукты по своему усмотрению, а все его дёргали. Ещё надо было вниманье его привлечь к себе, ещё надо было увещать. Наконец выписал ордер. Но забирать продукты не на чем. Теперь искать автомобиль, и кто будет сопровождать. И охрану к автомобилю, чтобы не разграбили по дороге. И подгонять его к складу.

А само собой надо же было хлопотать главную охрану. Это уже надо добиваться до Военной комиссии. И Гиммер отправился туда.

Который раз за эти дни он пробивался в Военную комиссию, но никто его не запоминал, всё были новые часовые, новые недопускатели — и надо было снова и снова всех уговаривать да при таком невоенном щуплом виде. Но и проникнув — внутри нельзя было обрадоваться: не было у комиссии головы, порядка, единства. Каждый член комиссии (он же и заместитель председателя) действовал, как мог, как успевал, окружённый каждый десятком претендентов и жалобщиков, получал донесения, отправлял распоряжения, велел создавать команды и ни в чём не мог быть уверен.

Гиммер добился внимания Филипповского, эсера, самого тут близкого к Совету человека. Но и энергичный Филипповский уже измотался и отощал. Он согласился, что „Известия" надо охранять, но не только не было у него сорока человек с пулемётами, а даже начальника такой команды он не мог назначить. Какие-то офицеры толпились тут, как будто спрашивая назначения, но когда Филипповский стал им предлагать начальствование над типографской командой — никто не повиновался, ссылаясь на другие более важные миссии или отсутствие людей.

Гиммер отчаялся и пошёл сам толкаться меж праздных офицеров, ища добровольца. Какой-то хорунжий зрелых лет согласился, но только чтоб команду ему представили, у него никого не было. Назначение хорунжему подписал инженер Ободовский — но отряда так и не было.

Что ж Гиммеру самому надо было найти и отряд? выйти сейчас к солдатам и агитировать? Вот к этому он не был готов. Выйти и говорить перед толпой он никак не мог, он заранее знал, что будет неуспех, предчувствовал, что несолидность фигуры и совсем уж не военная манера сразу подорвут его речь.

Но был же человек, как раз для этого и созданный,— Керенский! Вот и решение задачи: во многотысячьи Таврического дворца разыскать теперь Керенского — и его убедить собрать отряд. Никого другого, пожалуй, найти

было в этой массе невозможно — но Керенского можно, потому что он был самый броский, самый популярный, и к нему вели следы.

Он нашелся в глубине думского крыла. В той комнате по крайней мере двадцать человек одновременно требовали, осаждали и достигали его, и Керенский, быстро поворачиваясь, перебегая и обрывая собственные фразы, старался не только понять и удовлетворить этих двадцать, но — понять и обнять, насытить и обслужить всю необъятную Великую Революцию, которая разрывала ему грудь! Он — один был на это способен! Он — чувствовал так. Он был — в струне и на месте! Зложелатель со стороны мог бы придумать, что его худое вдохновленное горящее лицо несколько загнанно,— на самом же деле он переживал неисчерпаемый подъём и имел силы совершить ещё тысячекратно.

Гиммер оценил и пожалел, что в таком состоянии Керенский вряд ли может охватить все основные пружины стратегической и политической ситуации,— но свой конкретный вопрос он ринулся протолкнуть через него и для этого цепко схватил его за пуговицу сюртука и уже не отпускал.

Не только риск несвоевременно потерять видную пуговицу, но и отзывчивость Керенского услышать каждого из двадцати и ухватить проблему — помогли Гиммеру. Да он и воспользовался самыми грозными словами о Судьбе Революции — и острое сознание прорезало воспалённые глаза Керенского.

Едва вслушавшись — он немедленно согласился и сорвался с места, и вырвался ото всех остальных девятнадцати — и помчался вон, так что и Гиммер едва за ним успевал. Странно, Керенскому не приходилось расталкивать толпы, как всем остальным. Подобно метеору, он прожигал себе трассу — и Гиммер пристроился в его огненном хвосте и по пути прихватил своего заарендованного хорунжего.

Керенский влетел в переполненный Екатерининский зал, взлетел, не подверженный силе тяжести, на какой-то стол или подмост — и над морем голов, повёрнутых в разные стороны, без всякой подготовки понеслась его пламенная речь, что вся судьба революции на лезвии и зависит от сорока добровольцев, согласных на караульную службу, которых он должен сформировать здесь, сейчас, сию минуту!

Такова ли была сила его красноречия или сравнительная безопасность караульной службы — но ещё прежде, чем в дальних концах зала сумели его услышать и повернуться сюда,— уже с разных сторон проталпливались добровольцы, и пожилой хорунжий начал их строить.

Продолжение следует

Сергей СКВЕРСКИЙ



Легко ли под Иваном да Петром
Всем остальным Петрам или Иванам?
Грозили нам веревкой, топором,
Махали перед лицами наганом...

Ну что ж, Господь терпел
и нам велел,
Так издревле — там баре,
здесь холопья —
Кто красные размазывает сопли,
Под кем снежок январский заалел.

«Мы не рабы!» — писали мы, рабы.
«На выборы!» — где выбор —
не за нами.
«Мы — красные!» — вот правда,
наше знамя —
Кровавый знак, пророчество судьбы.

Ори, горластый, ты вооружен,
Он безоружен, оттого — молчальник,
Но ты не чуешь, гражданин начальник,
Когда молчанье пахнет мятежом,
Кровавой баней и кровавой кашей —
Бедою общей — нашею и вашей.



Тебе бы пользы всё...
Пушкин

Уроки Пушкина почто забыли мы?
Радение о «социальной пользе»
Не свойственно поэзии. И вовсе
Нет пользы для затворника тюрьмы
От наших громовых словес и плача,
Куда ценней посылка, передача —
Одежда, хлеб, табак — в район Перми.

Но боль, но гнев наш... Лучшие умы,
Листки стихов храня от псов легавых
На обысках, неужто для забавы
Зажгли такой костер среди зимы!
И вот теперь, выходит, мы не правы.

Что ж, правые оттачивали стиль
В заботах о погоде и природе
(Забыв и о стране, и о народе) —
Нет разницы, о чем. А кто просил,
Кто надоумил нас? Какая польза?
Все то, что было — рано,
стало — поздно.

1987

Крещенский мороз

Сколько ни стой одинокой загробною тенью,
Сколько ни думай о радостном пышном цветенье —
Напрочь ослеп и оглох замороженный сад.
Все наши музы и нимфы, богини, герои
Не отзовутся ни жестом, ни света игрою —
В будках своих деревянных схоронены — спят.

Ты ли, всесильный мой идол, ручищею медной
С кручи своей этот сон утверждаешь победно,
Так, что до самого дна промерзает вода
Стиснутой камнем Невы, так, что свисту и вою
Ветра (а может, и ветер ниспослан тобою?)
Веришь и вторишь ему: «Навсегда, навсегда».

Этим бесстрастным «Замри!» остановлена скачка
Жуткой квадриги; гранитно-чугунная спячка
Улиц, мостов — не избыть ее, не побороть.
Не норданской водою — январским морозом
Крестится Русь, глубочайшим летейским наркозом —
Долгим суровым постом — умерщвляется плоть.

1985

✦ ✦ ✦

Не так притягивает смысл стиха, как звук,
Шероховатости его, синкопы, сбои,
Все, что не вяжется со строгостью наук
Филологических, как синтаксис со строем
Полка пехотного. Александрийский стих,
И вправду, видится нам регулярным парком —
Ряды квадратиков, уныл, размерен, тих,
Такая ненависть к соринкам и помаркам:
Вон, ветка вылезла — стриги ее долой!
Вон, сучья громоздятся — скрип и скрежет,
Слух оскорбляющие — мигом за пилой
И топором, и колют, рубят, режут.
Хотя деревья те — не шведы, не враги,
А стали коренным российским лесом —
Шумят, колышутся — попробуй, остриги
Вот этот ствол толстенный — до небес он.
Ну что ж, игрушечный пейзажик рококо
Прелестен, сказочно изыскан, но наивен.
А здесь деревьям так свободно, так легко,
И воздух так прозрачен, дивен.

✦ ✦ ✦

Ну что же, старые цепные псы
Зубасты и натасканы прекрасно,
Не спят и получают не напрасно
Свой килограмм копченой колбасы,

И помнят те счастливые часы,
В том мире, в той божественной
квартире,
Где, жил Хозяин — е трубкою, в мундире,
С усмешкою, упрятанной в усы.

Да больно уж ворчливы старики.
Мол, этот сучий выводок, щенки
Быстры, хитры, но суетны не в меру,
Всё меньше уважают силу, власть —
Нажраться б всласть да что-нибудь
украсть,
Забыв свой долг, и преданность,
и веру.

1983

Памяти
Глеба Сергеевича
Семенова

Тень этой смерти на меня легла,
Как будто перед образом пречистым
Пожалован и к воинству причислен,
Как груз на неокрепшие крыла.

Не тень, вы скажете,
посмертный горний свет —
Все так и есть на нашем негативе,
Где сами мы черны необратимо,
Где мудрым ликам причащает смерть.

Шел черный снег. И черным, похоронным
Был этот день. И смерзшимся мирком
Мы жались, словно черные вороны,
А кто-то белый каркал в микрофон.

1982

Юрий
СЛЕПУХИН

ЧАС МУЖЕСТВА

Роман

Глава 9

«Виллис» катил по накатанной ледяной дороге, глянцево отсвечивающей в лучах низкого утреннего солнца. Шофер вел лихо, беспрерывно сигналя, крутыми виражами обходя попутные и увертываясь от встречных машин. Оборванные перепутанные провода свисали с телеграфных столбов, в кюветах тут и там валялись неубранные еще остовы немецких грузовиков и легковушек, впереди показались бесформенные очертания взорванных цехов завода оптических приборов.

— Обком теперь аж на том конце, товарищ генерал, может, знаете — где раньше был сельхозтехникум,— сказал шофер.— Через центр поедем или вкругаля?

— Через центр,— сказал Николаев.— По бульвару Котовского, если есть проезд.

Шофер понимающе кивнул.

Они проехали через центр, по бульвару Котовского, мимо Дома комсостава, мимо руин обкома, через площадь, где когда-то стоял памятник легендарному комбригу. Николаев смотрел на развалины и думал о том, что — как это ни странно — вид разрушений действует иной раз сильнее, чем вид трупов. Уж он-то достаточно видел и того, и другого. Может быть, это потому, что в конечном счете даже смерть человека менее противоестественна, чем такое вот неистовое, слепое уничтожение плодов человеческого труда.

И еще он думал о том, что не на полях сражений, а в таких вот растерзанных городах «мирного» тыла можно увидеть истинное лицо этой войны. Что ж, солдаты на передовой умирали всегда; но вот только здесь, в так называемом тылу, начинаешь понимать весь ужас случившегося...

Шебеко встретил его на пороге кабинета, обнял, похлопал по спине.

— Ну, как вы тут? — поинтересовался Николаев, непослушными пальцами расстегивая полушубок.

— Не спрашивай. Не знаешь, с какого конца за что браться... Долетел благополучно?

— Странный вопрос, ты ведь меня тискал, мог убедиться в материальности... С того света я бы в несколько ином качестве явился. Ты капитана Сарояна не помнишь? Служил тут со мной, и воевать вместе начали; сгорел у меня на глазах, летом сорок первого. В том самом бою, когда и мне вот физиономию подпалили,— генерал тронул пальцами щеку, стянутую страшными сине-багровыми узлами шрамов.— Так вот, понимаешь, приснился недавно да живо так, прямо как наяву. Будто просыпаюсь, еще фонарик включил — на часы посмотреть,— а он входит, недовольный такой, и начинает жаловаться, что начфин ему полевые не выписал. А сам весь обгорелый, комбинезон хлопьями отваливается. Что же касается меня, то я вполне реален, только замерз как собака — что они там, в «дугласах» этих, не могут отопление какое-то приспособить...

Шебеко позвонил, в кабинет вошла пожилая секретарша.

— Насчет чайку попросите — пусть прямо чайник несут, надо вот товарища генерала отогреть, ну и закусить там чего-нибудь. Я, кстати, и не поздравил еще тебя,— продолжал он, снова оборачиваясь к Николаеву,— ты ведь теперь персона — шутка сказать, командарм, генерал-лейтенант! Этак ты, брат, войну маршалом закончишь.

Буфетчица принесла чай, Шебеко сам налил гостю покрепче, придвинул тарелку с бутербродами.

— Давай заправляйся, грейся, и сразу поговорим о деле. Хотя, боюсь, Александр, не могу пока сказать тебе ничего нового... и ничего утешительного. Я выяснил, где мог и что мог, но все это чертовски запутано. Конечно, рано или поздно прояснится и все станет на свои места, люди в этом направлении работают... Но пока многое еще неясно.

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6.

Ты же сам понимаешь, какая в городе обстановка и как трудно во всем разобраться...

Николаев посмотрел на него, подняв левую бровь.

— В чем именно? — спросил он негромко.— Была ли Татьяна связана с местным подпольем или пошла служить к немцам просто так? Это, что ли, тебе неясно?

— Не обо мне речь,— досадливо возразил Шебеко.— Мое личное мнение в данном случае мало что значит. Требуется истина, основанная на фактах, а фактов пока нет. Вернее, факты есть, но они складываются в картину скорее неблагоприятную. В городе осталось несколько человек из той группы, но все они называют одни и те же имена — Глушко, Кривошеина, Лисиченко — ну, и друг друга. Глушко погиб, Кривошеин погиб, Лисиченко был арестован и исчез, гестаповские архивы не сохранились. Ты понимаешь, как все складывается? Глушко проживал вместе с твоей племянницей — это может служить подтверждением того, что они были единомышленниками, но можно увидеть в этом простой конспиративный прием: парень поселился в доме у своей бывшей одноклассницы, работающей у немцев и, следовательно, надежно застрахованной от всякого рода подозрений...

Николаев молча допил остывший чай. Шебеко подвинул к нему тарелку с бутербродами.

— Ты закуси, позавтракать-то небось не успел...

Николаев сделал отрицательный жест и потянулся за папиросой.

— Вся беда в том, Александр, что они тут слишком уж законспирировались. Организация состояла из маленьких групп, связанных между собою только через центр, члены разных групп друг друга не знали... А Татьяна, очевидно, по характеру своей работы вообще не была связана ни с кем... кроме, может быть, Глушко, Кривошеина. Если допустить, что ее туда внедрили, то это, понятно, держалось в строжайшем секрете от всех рядовых членов организации...

Зазвонил телефон. Шебеко сорвал трубку, послушал, потом, распаляясь, стал кричать о каких-то фондах, лимитах, о желательности думать головой, а не задним местом. Николаев курил, опустив голову, по-солдатски держа папиросу кончиками большого и указательного пальцев — огнем к ладони. «Если допустить»! Что с ними делается, что с ними сделали... Два солидных человека — партийный руководитель области, командующий армией — сидят и всерьез обсуждают, была ли девочка послана работать у немцев по заданию подполья или пошла сама — да, да, сама, по собственному желанию, по нужде, по необходимости, чтобы не попасть в Германию, или, наконец, просто чтобы не помирать с голоду! Даже если так? Задать бы вот сейчас Петру этот вопрос. Даже если? С кого же в таком случае спрос: с этой несчастной девчонки — одной из восьмидесяти миллионов, отданных нами в руки врага! — или с нас, которые все это допустили, позволили, сделали возможным? Интересно, что бы он сказал... что-нибудь в том же роде, наверное, как говорят теперь иные немцы: «Позвольте, а что мы могли, неужели вы всерьез допускаете, герр генераль, что кто-то из нас мог протестовать или что чей-то протест мог бы возыметь действие...»

Да нет, он бы и этого не сказал! Сделал бы вид, что не понял вопроса, или воспринял его не всерьез, как чистой воды риторику. Или — в лучшем случае — сказал бы, понизив голос: «Ты мне этого не говорил, я этого не слышал» — по-дружески разделяя таким образом ответственность за высказанную вслух крамолу. И ведь самое забавное, что и он — генерал-лейтенант Николаев — в аналогичной ситуации на месте секретаря обкома Шебеко поступил бы точно так же. Оба — коммунисты с двадцатипятилетним партийным стажем. Что с нами стало? В любой войне, во время любого вражеского нашествия во власти врага оказывается известная часть гражданского населения, и население это — совершенно естественно — продолжает как-то жить, работать, заниматься своим делом; это никогда и нигде не считалось преступлением, изменой своей стране и своей власти. Преступлением считалось — и было — активное пособничество врагу, тут двух мнений быть не может. Но просто работа?

— Извини,— сказал Шебеко, закончив наконец телефонный разговор.— Так что, понимаешь, какая со всем этим петрушка... Но ты не падай духом, я уверен, что все разъяснится.

— Будем надеяться,— Николаев раздавил окурок в пепельнице и встал.— Ладно, не буду отрывать тебя от дел.

— Да брось ты. Когда вылетаешь обратно?

— Вечером, если погода не подведет.

— Ты вот что — ты поезжай-ка сейчас ко мне, домработница тебя накормит, и отдыхай пока. Я, если смогу, постараюсь вырваться пораньше. Ну, а если не увидимся — обещаю сделать все возможное и держать в курсе дела. Машина до вечера в твоем распоряжении.

— Спасибо. Днем не понадобится, только вот на аэродром.

— Ну, может, решишь съездить посмотреть город.

— Посмотрел уже,— Николаев дернул сожженной щекой.— Что здесь получилось тогда с эвакуацией? — спросил он, надевая полушубок.

— То же, что и всюду.

— «Не паниковать»? — усмехнулся Николаев.

Шебеко снял телефонную трубку.

— Вызовите машину,— сказал он и, не дожидаясь ответа, опустил ее на место.

Тот же «виллис» с фанерной будкой доставил генерала на квартиру секретаря обкома. Квартира была пустая, холодная, по-холостяцки неуютная. Пожилая домработница сказала, что обед будет часа через полтора — раньше не управиться,— и предложила пока помыться и отдохнуть. Николаев надеялся вздремнуть часок, но сон так и не пришел, он лежал на холодном клеенчатом диване, курил, разглядывал трещины и сырые пятна на потолке и старался не думать. Ни о служебных делах, ни о личных. Впрочем, служебные-то сейчас его не беспокоили — потрепанная в последних боях армия стояла во фронтовом тылу, доукомплектовывалась, ремонтировалась, получала новую технику; уж один день там обойдутся без него. Думать же о личном было просто нельзя, относительно возможной судьбы племянницы лучше было не строить никаких предположений. Но «не думать вообще» не получалось, в голову лезли все те же нелепые мысли. Они, впрочем, не сегодня родились, посещали иной раз и раньше. Просто он раньше не давал им воли, словно понимая, что ни до чего хорошего тут не додумаешься. Да и времени не было думать о разных отвлеченностях...

Время появилось только в госпитале. Не в том, первом, куда его привезли полусгоревшим (тогда тоже было не до мыслей), а вот уже теперь, прошлой осенью. После Курска его зацепило легонько осколком, вполне можно было подлатать на месте, но — генерал, ничего не попишешь! — отправили в роскошный тыловой санаторий, не столько на лечение, в сущности, сколько на отдых. Там он много читал, наверстывал недочитанное за два года. И странное дело — классику не мог совершенно, не шла, даже «Война и мир», а периодика тянула — толстые журналы, даже газеты — хотелось понять, как прожила страна все эти бесконечные месяцы войны, хотя и понимал, насколько условно, приблизительно все это может быть сейчас отражено и показано.

И вот тогда, помнится, его очень скоро стало раздражать то, что он называл «тыловой кровожадностью»,— неумеренность в изображении зверств, чинимых немцами, и актов справедливого возмездия, творимых нашими людьми. Поначалу он и сам не понимал, почему это раздражает. Что ж, идет война, патриотические чувства положено разжигать, а если это делается слишком грубо, так не зря же есть старая поговорка: «Когда говорят пушки, молчат музы». Или, скажем так, у войны есть какая-то своя особая, десятая муза — с голосом нарочито грубым и зычным, чтобы его можно было услышать сквозь гром пушек. А что особым рвением в разжигании патриотических чувств спокон веку отличалась именно тыловая пишущая публика, это тоже известно. И в первую мировую войну так было, даже Игорь Северянин порывался вести «на Берлин» своих поклонниц...

Но тогда все это были плоды индивидуального вдохновения, кустарщина, глупая и потому в конечном счете безвредная. А теперь работает огромный государственный аппарат пропаганды — работает координированно, продуманно, по единому плану. Для чего? Чтобы убедить народ, что немца надо разбить? Народ и сам это понимает. На фронте, кто хочет драться — дерется без понуканий, а кто не хочет, тот все равно сдастся или перебежит при первой возможности, его не переубедить корреспонденциями про изнасилованных школьниц и разорванных танками председателей колхозов. Не нуждается в таком психологическом подхлестывании и тыл, там люди работают на пределе возможностей — и не потому, что немцы зверствуют, а потому, что у каждой женщины и у каждого вставшего к станку мальчишки (сколько он их навидался на Урале!) — у всех работающих в тылу есть на фронте отец, или муж, или сын, и этого вполне достаточно, чтобы они работали с полной отдачей, на последнем пределе сил...

Так что поначалу все эти истеричные призывы к ненависти и мщению казались ему просто ненужным, пустым словоизвержением, не делающим чести авторам. Он не мог понять, как здоровый мужчина призывного возраста может, оставаясь в тылу, кричать во всю глотку «Убей немца!». Да если ты всерьез считаешь, что его надо убивать, так не гастролируй по фронту с блокнотиком в руках, а бери автомат или садись в танк и убивай своего немца сам — как это давно уже делают твои читатели... У фронтовиков, кстати сказать, он такую экзальтированную озлобленность встречал редко; попадаются, конечно, отдельные «психованные» — их так и называют; как правило же, на фронте относятся к врагу как к врагу, этого достаточно. Среди прочитанного им в госпитале была одна повесть о танкистах (чем и заинтересовала) — об экипаже оказавшейся в тылу «тридцатьчетверки», о его последнем бое. Написано это было сильно и с некоторым даже знанием дела, но местами вещь вызывала чувство, близкое к отвращению. Запомнился эпизод, когда танк, расстреляв весь боезапас, вырывается на шоссе, забитое немецким транспортом; вот уж где автор дал себе волю! Ни один танкист, которому хоть раз пришлось выполнять приказ «огнем и гусеницами», не станет

с таким наслаждением рассказывать о том, как это происходило; надо сидеть в тылу, и сидеть прочно, чтобы позволить себе смаковать убийство — даже самое необходимое, самое справедливое...

То, что эта кампания искусственного разжигания ненависти во всенародном масштабе не просто неразумна (поскольку лишена смысла), но еще и опасна своими побочными и неизбежными последствиями, открылось ему во время той уральской поездки. Его однажды попросили выступить перед рабочими завода, освоившего выпуск модернизированной серии Т-34/85; он выступил прямо в цеху, поблагодарил за отличные машины, сказал, что с такой техникой армии легче будет выгнать врага с родной земли, освободить наших людей, томящихся в оккупации под фашистским игом, и тут вдруг какая-то работница, из стоявших в первом ряду — она хорошо запомнилась ему, высокая, в замасленном ватнике, с изможденным серым лицом — закричала кликушеским голосом: «Да вы, товарищ генерал, иродов немецких побыстрее изничтожайте, а с теми в оккупации мы сами разберемся — давно наслышаны, как они там томятся, вон сколько полицаев да разных предателей среди ихнего брата расплодилось!» Слова ее были встречены одобрительным шумом, кое-кто даже захлопал...

Нет, тут не просто недомыслие. Атмосфера ненависти нагнетается нарочито, искусственно, с одной целью — ужесточить войну еще больше, довести накал всенародного ожесточения до какой-то сверхразумной величины. Но для чего? Должен же быть за этим какой-то смысл, резон?

Генерал открыл глаза и снова увидел над собой сырой, в пятнах и трещинах, потолок. В соседней комнате негромко звякала посудой домработница, накрывая на стол. Он посмотрел на часы — времени оставалось еще много. Скорее бы улететь обратно, из этого незнакомого, изуродованного войной города...

...А что, если и тут был некий замысел — тогда, в самом начале? Пропустить врага поглубже внутрь страны, не «заманивая» из стратегических соображений, как думали тогда некоторые оптимисты, а просто, чтобы побольше разрушений, побольше крови, побольше озлобления? Дико себе представить, но ведь факты, факты, куда от них денешься... Когда Кирпонос за две недели до войны отдал приказ выдвинуть войска в предполье пограничного укрепрайона, занять гарнизонами хотя бы недостроенные доты,— ведь немедленно последовал окрик из Москвы, войска отвели обратно, обнажили границу [1]... А почему бросали неэвакуированное население — времени не было? Угонять скот, заблаговременно увозить комбайны — на это время нашлось! — а людей оставляли, оставляли женщин, оставляли детей...

Глава 10

Весна настигла их уже за Прутом и помчала дальше бурным грохочущим половодьем — на запад, на юг, незнакомыми чужими дорогами, убегающими в синие дали Карпат к Бухаресту, Софии, Белграду. Солнечный пар над просыхающей землей, залитые водой балки, села с подслеповатыми мазанками, бурые виноградники по склонам холмов, кипящие вешним цветом сады, крестьяне в высоких бараньих шапках, безлюдные улочки провинциальных городков с опущенными шторами витрин под вывесками на чужом языке — незабываемая весна сорок четвертого...

Одно лишь омрачало для капитана Дежнева радость этой победной весны: здесь, в Румынии, не было земляков, угнанных немцами из родных мест, и соответственно не предвиделось шансов разузнать что-либо о Тане.

После поездки в Энск он хотел сразу написать Николаеву, у того возможностей узнать правду было куда больше; но не написал — вовремя сообразил, что полевой почте такое письмо не доверишь, а оказии не предвиделось. К тому же он подумал, что генерал и сам не преминет там побывать и, если что узнает, то уж, верно, найдет способ поделиться сведениями.

И не ошибся, от Николаева действительно пришла весточка: в Энске побывал, кое с кем разговаривал, но выяснить удалось только то, что арестована Таня не была. В частично сохранившихся бумагах энского гестапо не обнаружено никаких указаний на то, что она проходила по делу Глушко—Кривошеина.

Письмо это, пересланное через какого-то желторотого лейтенантика из бронетанкового училища, он получил под Уманью во время февральских боев. Обстановка там была тяжелая, немцы подкинули свежих частей и жали изо всех сил, пытаясь деблокировать Корсунь-Шевченковский котел. Батальон был в активной обороне и нес большие потери, а пополнение шло необстрелянное, плохо обученное — из молодежи, спешно мобилизованной тут же, в только что освобожденных областях. Словом, было трудно.

К тому моменту, когда лейтенант-танкист разыскал штаб батальона, Дежнев не спал уже больше суток и едва держался на ногах от усталости. Они наспех перекусили,

[1] См. воспоминания И. Х. Баграмяна в «Литературной газете» от 14.04.65.

выпили по стопарю, потом лейтенант уехал, а он стал читать письмо. Дочитал до половины, заснул, а потом перечитывал еще дважды на своем КП — когда позволяла обстановка.

И всякий раз, читая, не мог избавиться от странного ощущения отстраненности — как если бы речь шла не о его друзьях, не о его любимой девушке, а о совсем чужих и малознакомых ему людях, об одной из тех полумифических подпольных групп, которые (если верить газетам) геройствовали в каждом оккупированном фашистами городе. Полумифических, потому что из всех тех городов, где капитану Дежневу довелось побывать сразу после освобождения и говорить с людьми, пережившими оккупацию, он только в Энске смог лично убедиться в одном хотя бы конкретном эпизоде такой подпольной борьбы.

Энских подпольщиков он знал по именам, помнил их лица и голоса, и все-таки сейчас они оказывались для него незнакомцами. Володьку Глушко, скажем, он как-то не принимал всерьез, странный это был парень — чудак, фантазер, вечно что-то напутает, забудет по рассеянности. Трусом он не был, мог безрассудно ввязаться в опасную драку — но это сгоряча, не подумав; точно так же он мог бы на фронте шарахнуться со связкой гранат под гусеницы. Но ведь подвиг свой Глушко совершил не в горячке боя, у него было время спокойно все обдумать, а потом пойти и застрелить гитлеровского наместника. Днем, на главной улице, прекрасно зная, что о попытке скрыться нечего и думать. «Подорвал себя последней гранатой»,— писал Николаев. Нет, так хладнокровно не мог действовать тот, прежний Володька-«романтик», это действовал совсем другой Глушко...

А Таня? Подпольщица, научившая говорить и улыбаться по заданию,— это ведь тоже была совсем не та девушка, которую он знал и любил. И чувство, которое он теперь к ней испытывал, тоже становилось каким-то другим. Прежняя Таня была понятнее, ближе, любить ее было проще. Дежнев иногда пытался представить себе их встречу — после того, как все кончится,— и раньше это всегда удавалось, в мечтах он очень ясно видел, что Таня скажет, как она засмеется, какое у нее при этом будет выражение лица. Раньше это удавалось. А однажды — уже после Энска, после письма — он снова попытался увидеть ее и не смог.

Было и еще одно обстоятельство, неизбежно царапавшее всякий раз, когда он думал о Тане. Бывают мелкие занозы — не разглядеть и не вытащить, а отзывается легкой болью, стоит лишь тронуть невзначай это место. Такой занозой стала навязчивая память о том, что где-то в дивизионных тылах существует и стучит на своей машинке сержант Сорокина.

После той ночи в Энске Елена не давала о себе знать, а спросить было не у кого. Игнатьев был в госпитале, а Сеня Лившиц уже после Умани наехал своим «виллисом» на противотанковую мину, которую проморгали саперы. Справляться же у посторонних не хотелось. Иногда ему вообще не хотелось о ней вспоминать. Что-то во всей этой истории было не так, и косвенным образом это неопределимое «что-то» затрагивало Таню.

Возможно, он за время войны стал циником или стал проще смотреть на некоторые вещи. Так или иначе свои редкие связи с женщинами Дежнев никогда не воспринимал как предательство по отношению к Тане. Слишком это было в разных планах, непересекающихся и далеких один от другого: по одну сторону Таня, чистая и недосягаемая, а по другую — те очень досягаемые боевые подруги, с которыми от случая к случаю сводила его фронтовая жизнь («ППЖ одноразового употребления», как называл их покойный Сеня). Инициативу проявляли обычно они; все, начиная от той первой, сестрички в ярославском госпитале, были на удивление предприимчивы. Потом, конечно, удивлять это перестало, но росту особо возвышенных чувств к прекрасному полу не способствовало. Поэтому нелепой казалась сама мысль, что в этих эпизодах можно усмотреть измену их с Таней отношениям...

Так было со всеми — до Елены Сорокиной. А с ней вышло совсем по-другому. Хотя инициативу тоже проявила она, но все, решительно все было другим. И ведь не скажешь, что он с ходу почувствовал к ней что-то особое,— напротив, поначалу была неприязнь: это же надо, уйти на фронт, бросив беспомощного годовалого пацаненка! Ему даже особенно жалко ее не было. Кого было жалко, так это стариков, оставленных с внуком на руках в осажденном Ленинграде.

Но это вначале. А потом как-то подумалось: да ее ли тут вина, не всех ли нас так воспитывали? Забудь обо всем «личном»; дом, семья, близкие — все побоку, если «Родина зовет». А куда только она порой не звала, чего только не требовала... Павлик Морозов, к примеру, так этими высокими требованиями проникся, что взял да на родного батю и стукнул куда надо. Юный герой хотя и пострадал через несознательных дядьев, но зато сделался всенародным образцом для подражания, потом небось сколько октябрят на пап и мам поглядывали оценивающе, примеряясь к славной роли...

И мало-помалу, исподволь пришла жалость — обычная простая жалость, нерассуждающая, нелогичная, лишенная каких бы то ни было разумных оснований.

Сорокина, понятно, виновата по всем статьям, и вина на ней действительно страшная — три погубленные жизни; но ведь ее предвоенные мытарства, они тоже многое объясняют! А он поспешил осудить. Теперь ему было за это стыдно — как мог, не разобравшись, ничего толком не узнав...

Словом, он же еще и виноват оказался. С этого чувства собственной вины все и началось. Но что *началось*? Этого капитан Дежнев и сам не знал. Он просто чувствовал, что Елена (мысленно он все чаще называл ее просто по имени) вошла в его судьбу, где ей совершенно нечего делать, и более того — каким-то необъяснимым образом вмешалась в его отношения с Таней. Это уж и вовсе была полная нелепость.

Раньше, бывало, позволял себе помечтать: вот наступит мирное время, вернется он домой, и Таня будет на месте, и мать с Зинкой, и все снова станет, как раньше, до войны, только еще лучше. Сам понимал смехотворную наивность подобных мечтаний и все-таки иногда позволял себе тешиться. Должна же быть хоть какая-то отдушина!

А теперь и ее не стало, ничего не получалось с мечтаниями, даже заведомо наивными. Что-то их останавливало с некоторой поры. Если себя не обманывать — с той самой, когда появилась Елена. Идиллии послевоенные больше не рисовались воображению, может, и к лучшему.

Местечко, когда его захватили, оказалось не таким уж разбитым, каким выглядело вчера в стереотрубу. Выходящая к реке окраина пострадала сильнее, а центр уцелел — маленькая площадь, как во всех здешних городках, лавчонки, церковь, «примария» — все это было не тронуто, если не считать побитых стекол да кое-где осыпавшейся с крыш черепицы. Сейчас на площади разоружали пленных парашютистов.

Капитан смотрел на них с церковной паперти опустошенно-усталый, но в приподнятом настроении. Местечком удалось овладеть почти с ходу, и это тем более радовало, что оборонявшиеся принадлежали, очевидно, к какой-то отборной части. Одетые в пятнистые маскировочные куртки-комбинезоны, в особой формы круглых — котелками — касках парашютисты не выглядели измотанными, да и возраста были самого боеспособного — лет по двадцать пять. Почти его ровесники! В ту далекую весну, когда он готовился к выпускным, они, наверное, уже Крит захватывали. Странно, что до сих пор уцелели.

Он встретился глазами с красивым, чисто выбритым блондином — тот надменно вскинул подбородок, глядя с вызовом. Дежнев поманил его пальцем, сошел навстречу по истертым каменным плитам.

— Bist auf Kreta gewesen? — спросил капитан, и уточнил: — Im Mai einundvierzig? [1]

По утвердительной интонации ответа можно было понять: да, был и на Крите. Продолжая глядеть так же вызывающе, немец добавил еще что-то, где явственно послышались слова «Холланд, Роттердам».

— Ясненько,— кивнул Дежнев,— с сорокового, значит, подвиги совершаешь. Доброволец еще, небось, Freiwilliger?

— Jawohl! — отчеканил парашютист.— Die deutsche Fallschirmjäger sind alle nur Freiwillige! [2]

— Нашел чем хвастать, бестия белокурая,— сказал капитан, и сделал прогоняющий жест: катись, мол, ná фиг.

Вместе с незнакомым офицером подошел ротный Митó Барабадзе, чье подразделение первым прорвалось к немецкому штабу.

— Корреспондент к вам, товарищ гвардии капитан,— объявил лейтенант, белозубо улыбаясь и похлопывая по ноге свернутым в трубку иллюстрированным журналом.

— А чего ко мне? Ты сегодня именинник, вот и информируй!

— Хорошо бы для затравки сказать что-то о батальоне в целом,— газетчик вытащил из полевой сумки блокнот, прицелился карандашом в гвардейский значок на гимнастерке Дежнева.— Как вы оцениваете настроение личного состава?

— Ну, как оцениваю,— со скукой в голосе сказал комбат,— настроение хорошее, я думаю. Потерь почти не понесли — это главное. А вообще личный состав неуклонно повышает уровень боевой и политической подготовки. Солдаты и офицеры полны, так сказать, решимости поскорее изгнать немецко-фашистских оккупантов с родной земли.

— Так ведь вроде бы изгнали уже,— заметил корреспондент и черкнул в блокноте.

— Что? А-а, да, да. Виноват, оговорился. Я хотел сказать: вообще стереть с лица земли. Не только родной. Чтобы, ну... и на развод не осталось.

— Понятно... Персонально с кем из лучших бойцов советуете побеседовать?

— А вы лучше так, без моих советов. В самом деле, подойдите к любому и спрашивайте. Со взводными можно поговорить, вот хотя бы в роте товарища Барабадзе, а если

[1] На Крите был? В мае сорок первого? *(нем.)*

[2] Так точно! Германскве парашютисты все только добровольцы! *(нем.)*

еще вопросы останутся — я отвечу, на какие смогу... Вы из дивизионки нашей? От вас обычно Сеня приезжал, Лившиц. Знали его?

— Еще бы. Отличный был журналист, а погиб как-то глупо...

— Вы, если узнаете, что кто-то умно погиб, непременно в газете своей опишите такой случай — во будет материальчик. Кстати, у вас там машинистка одна служит — Сорокина Елена...

— Была такая, но давно уже убыла — вообще на другой фронт, говорили, вроде бы на Ленинградский.

— Ну правильно, она же из тех краев,— рассеянно сказал комбат, высматривая кого-то среди бойцов.— Решила, видно, к дому поближе... Вон, возле «доджа» — высокий такой, в кубанке,— видите? Поговорите с ним, парень интересный — разведчик, из приблатненных, сюда прямо из лагеря попал...

— Чего ты его ко мне привел? — напустился комбат на ротного, когда газетчик отошел.— Козловского нашел бы, у него язык подвешен как на кардане, а я всегда дураком себя чувствую, когда приходится такие вот разговоры вести... Спрашивает всякую фигню — «настроение личного состава» его, видите ли, интересует! Да пойди, пообщайся с этим составом, вот сам и узнаешь настроение... А тут еще ты с фашистской пропагандой разгуливаешь на виду у бойцов! Сколько раз говорил не подбирать трофейные журналы! Опять похабель какую-нибудь нашел?

— Товарищ капитан,— возмущенно закричал Мито.— Ни одной голой девочки — даже обидно, клянусь честью,— специально нес вам показать, тут статья насчет воздушных налетов, со снимками! Похоже, англичане решили наконец повоевать всерьез — смотрите, это репортаж из Рура. Эссен, Дуйзбург — видите, написано: «Liegen in Schutt und Asche» — в пепле и развалинах...

— Да хрен с ним, с Эссеном,— отозвался Дежнев,— нам-то от этого, как говорится, ни жарко ни холодно. Хотя, конечно, что бомбят — это хорошо, с доблестных союзничков хоть шерсти клок... Не в службу, а в дружбу — поищи адъютанта, и чтоб он от газетчика ни на шаг, покуда не умотает из батальона. А я, скажи, писаниной тогда сейчас займусь, сводки составлю...

Заниматься батальонной отчетностью всегда было для него худшим из наказаний (вообще это входило в обязанности старшего лейтенанта Козловского — адъютанта или, как он предпочитал себя называть, начальника штаба). А тут еще, как назло, у двух ротных писарей почерк оказался — поди разбери, что они тут накорябали в сводках расхода боеприпасов. Не иначе, к трофейному рому успели приложиться, обормоты. Впрочем, все равно цифры наполовину из пальца высосаны, кто там проверит... Нет, но Елена-то, а? Надо же — хоть бы записку передала, что ли, не могли же ее откомандировать так срочно, что минутки не нашлось. Да и вряд ли дело в откомандировании — с чего бы вдруг, кому могла так срочно понадобиться обыкновенная машинистка, их при каждом штабе хватает... Нет, скорее это по собственной инициативе, только вот — зачем? Почему?

Она сама задавала себе этот вопрос — почему все так получилось, зачем ей это,— задавала и не находила ответа; немедленного, впрочем, ответа в подобных случаях быть не может; жизнь если и отвечает, то лишь по прошествии долгого времени, когда вопрос, оставшись в далеком прошлом, выглядит оттуда вовсе уж наивным — до глупости. Что толку спрашивать? Получилось, потому что так было надо.

Впрочем, недоумение пришло потом; вначале, когда окончательно подтвердилась так испугавшая ее (и именно поэтому показавшаяся такой невозможной, немыслимой) догадка, было просто отчаяние — Господи, неужто еще мало, неужто нет пределов этой слепой, не выбирающей целей жестокости, бьющей наугад по правым и виноватым... Да нет, не о ней самой речь — как раз она-то заслужила все и сполна, не ей жаловаться; но ведь в том и ужас, что речь теперь уже не о ней самой, сама она безропотно примет любой вариант судьбы, и чем хуже, наверное, тем лучше,— но только чтобы одной, одной, не разделяя больше ничьей боли, ничьих страданий, хватит с нее собственных...

Выросшая в семье, традиционно равнодушной к вопросам религии, она давно уже ловила себя порой на странной двойственной зависти — почти одинаковой — к убежденным атеистам и к тем, кто верит глубоко и смиренно, как верили простые крестьянки. О такой вере можно в наше время только мечтать, но коли уж ее нет — насколько легче, наверное, было бы жить в совершенной уверенности, что *там* действительно ничего не будет: ни воспоминаний, ни сожалений, ни — главное! — опасности того, что когда-нибудь тебя снова, уже в другой комбинации молекул, ввергнет обратно в этот чудовищный мир «реальности».

Будь она в этом действительно и до конца уверенной, насколько легче было бы жить — зная, что всегда есть возможность уйти, никому не причинив этим никакого урона. Но для нее и этот выход был закрыт, потому что уверенности не было, была неуверенность, тайная (и смешанная с надеждой) боязнь — а вдруг... Все-таки в то,

что *там* что-то есть, миллионы людей верили тысячелетиями, какие-то, значит, основания у них были, и ведь не только дикари, не только примитивные и необразованные, если уже тогда сумели заложить основы сегодняшних точных наук, рассчитать ход планет, создать целые философские системы... Пусть даже один шанс на тысячу! Категоричность церкви в вопросе самоубийства была непонятна, но не считаться с этим нельзя — а вдруг? Оставалось смириться, уповая на то, что, может, не такой уж долгой окажется ее никому не нужная жизнь. Все-таки война, мало ли что может случиться. Да и без войны люди, бывает, умирают в самом цветущем возрасте; к сожалению, правда, это чаще случается именно с теми, кому жить надо — есть ради кого и ради чего...

...Бежать, пока он ничего не знает. Ей была невыносима мысль, что у него — если узнает — может хоть на секунду мелькнуть подозрение, что она все подстроила нарочно, многие женщины прибегают к этому способу, чтобы привязать к себе мужчину. И бежать надо было немедля, пока даже сотрудницы ни о чем не догадываются, потому что, когда догадаются, будет поздно, новость рано или поздно дойдет и до него. Редактор относился к ней хорошо, всегда помогал чем мог, и у него были связи в политуправлении фронта, поэтому устроить перевод труда не составило: все поверили, что ей действительно хочется быть «поближе к дому». Господи, знали бы они, какой ужас вызывала в ней одна мысль о том, чтобы очутиться в Ленинграде!

В апреле сержант Сорокина прибыла к новому месту службы в Невель, в одно из тыловых управлений 2-го Прибалтийского фронта, ведавшее какими-то хозяйственными делами. Здесь весна была запоздалая, по-северному неспешная, ночами еще крепко подмораживало, а днем за окошком звенела капель, радужно сверкало солнце в неупавших еще сосульках. Не вникая в смысл, Елена печатала бумаги, которые клали на ее стол, какие-то акты, ведомости, сводки, и думала о том, как будет жить дальше. Она нарочно ограничивала эти мысли кругом чисто практических вопросов — работа, жилье и тому подобное — избегая думать о главном. Уехать бы куда-нибудь за Волгу, к Уралу, где вообще не было войны... Да и с жильем, наверное, там полегче, эвакуированные уже разъезжаются кто куда. А на работу хорошо бы устроиться в какое-нибудь детское учреждение — ясли, детдом, их ведь много сейчас, а персонала скорее всего не хватает. С ребенком ее возьмут, не могут не взять, полагаются же какие-то льготы одиноким матерям? А может быть, и война к тому времени уже кончится. Ничего, проживем, думала она, прислушиваясь к тому таинственному, что — пока еще неслышно и неощутимо — уже совершалось в ее теле.

Глава 11

Цепляясь за вделанные в стенку колодца скобы, Таня вскарабкалась наверх и наполовину высунулась из люка, снаружи все было тихо. Впереди, метрах в пяти от нее, жаркий солнечный луч лежал на битых кирпичах, бросая отблеск сюда, в темную и сырую щель.

Она выползла наружу и, быстро осмотревшись, уселась тут же на солнцепеке, устроив из обломка доски подобие скамеечки. Сидела, обхватив руками поднятые к подбородку колени, и поглядывала по сторонам, готовая юркнуть обратно в нору при малейшей опасности.

Пока все было спокойно в окружающем ее безмолвном мире. Она зажмурилась и подняла лицо к солнцу. Какое наслаждение — живое солнечное тепло и свежий воздух! Конечно, он был не таким уж свежим на этой свалке; за стеной с байеровской рекламой что-то продолжало дымиться уже который день, так что в воздухе была и гарь, и тот неистребимый химический запах, который долго не выветривается в разбомбленных кварталах, а временами даже явственно и жутко тянуло падалью. Но все равно это был воздух, а не затхлая, спертая атмосфера подземелий.

Таня встала, потягиваясь, сделала несколько гимнастических упражнений, потом достала из кармана пакетик обезвоженного хлеба и принялась лениво жевать, отламывая по кусочку. Гул самолетов заставил ее поднять голову — они шли с востока, очень быстро. Очевидно, возвращаются американские истребители сопровождения. Этих можно не бояться, по ним не стреляют; вот если этим же маршрутом пойдут назад и «крепости», тогда придется убраться под крышу, с зенитными осколками лучше не шутить. Бывает, что и неразорвавшийся снаряд падает.

— Эй, ты!

Таня вздрогнула и оглянулась. В пустом оконном проеме стоял мальчишка лет тринадцати, в потрепанной форме «Гитлер-Югенд».

— Что ты тут делаешь? — крикнул мальчишка.

Таня пожала плечами и ничего не ответила. Вытащив из хрусткого пергаментного пакетика еще один сухарь, она разломила его и продолжала жевать. Мальчишка спрыгнул с подоконника и приблизился к ней, перескакивая с обломка на обломок.

— Тебя разбомбили? — спросил он.

Таня молча кивнула.

— И нас тоже,— сообщил мальчишка.— Ничего, скоро Германия получит новое оружие, тогда они нам за все заплатят. Мутти говорит, что каждая разбомбленная семья получит после войны полное возмещение убытков. А это все нам тоже отстроют, пленные.— Он отшвырнул ногой кирпич и самоуверенно шмыгнул носом.— Сдохнут, а отстроют все до последнего. Ты где жила, в каком доме?

Таня неопределенно мотнула головой вправо.

— Вон там.

— Я тоже там,— мальчишка посмотрел на нее подозрительно.— Что-то я тебя никогда не видел. На каком этаже?

— Отстань от меня,— сказала Таня хрипло. Она почти потеряла голос от холода и сырости в подземельях.— Какое тебе дело, где я жила! Проваливай отсюда, ну?

— Ты не немка,— сказал мальчишка угрожающе.— Иностранка, да? А почему без опознавательного знака? Ты сбежала из лагеря!

— Я тебе сказала: проваливай к свиньям собачьим! — крикнула Таня.— Пошел вон, дерьмо!

Она нагнулась и подхватила обломок кирпича. Мальчишка, вооружившись таким же образом, стал отступать, не спуская с нее глаз. С безопасного расстояния он швырнул в нее камнем — она едва успела увернуться — и пустился наутек. В эту же минуту откуда-то издалека послышались резкие, словно рвущие воздух, частые удары зениток. Таня нырнула в щель и поползла к люку.

Их было здесь человек тридцать — несколько русских, югославы, поляки, венгры и даже двое или трое французов, оказавшихся вместе совершенно случайно. Около десяти дней назад, после жестокого ночного налета, несколько сотен иностранцев были привезены в центр города для расчистных и спасательных работ; едва приступили к делу, как снова взвыли сирены и охваченная паникой толпа стала разбегаться, не обращая внимания на выстрелы охранников. Никто не думал о побеге, люди просто спасались от бомб.

Группе, в которой оказалась Таня, удалось укрыться в бункере, откуда ушли те, кто спасался там ночью. Перекрытие бункера было в плохом состоянии, треснуло и просело, держась теперь только на деревянных крепежных столбах. Снаружи уже бомбили, и людей, сгрудившихся в углу убежища, то и дело окатывало волнами грохота и обдавало едким сухим жаром и пылью, летевшей через вентиляционную шахту. А потом все эти привычные звуки бомбежки словно сложились в один чудовищный громовой раскат, рухнувший прямо им на головы, бункер качнулся, как трюм корабля во время шторма,— и стало совсем тихо. И в этой могильной тишине было только слышно, как, не выдерживая страшной нагрузки, трещат балки креплений.

Люди бросились к двери, ведущей к выходу, но за дверью оказался косо упавший потолок, битый кирпич и клубящаяся известковая пыль. К счастью, нашелся аварийный набор — кирки, ломы, лопаты. Обстучав стены, нашли место и через час проломились в узкий бетонный коридор, который вел неизвестно куда.

Бункер обрушился у них за спиной, они это слышали; дороги назад уже не было. Оставалось пробиваться вперед. Их спасло обилие подземных коммуникаций в этой части города и еще то, что в группе оказался специалист по такого рода сооружениям. Впрочем, часть группы погибла на второй день от взрыва светильного газа, скопившегося в одном из неосторожно вскрытых подвалов, а остальные добрались сюда.

Это было райское место. Здесь была вода, оставшаяся в трубах котлов, ржавая и затхлая, но все же пригодная для питья. Здесь был относительно чистый воздух. И здесь был даже выход наружу.

Нашли его не сразу, а когда нашли, никто им не воспользовался. Наверху бомбили свирепо и непрерывно, каждый день и каждую ночь, как будто американцы затеяли соревноваться с англичанами. Кроме того, оставался факт побега: пусть невольно, но получилось, что все они сбежали. Теперь, пожалуй, поздновато являться с повинной.

Так и остались они вести эту пещерную жизнь. Дневные бомбежки скоро прекратились, голод пока не грозил — по пути сюда попался подвал с большим запасом консервов, очевидно, принадлежавший владельцу какой-нибудь бакалейной лавки. Продукты перетаскали в котельную, при экономном расходовании их могло хватить надолго.

Ночью опять был налет, и довольно сильный, продолжавшийся около двух часов. Утром Таня едва дождалась раздачи пищи, чтобы удрать наверх. Во время бомбежек ее мучил страх, что плита над колодцем сдвинулась и выход теперь закрыт. Получив наконец свою дневную порцию — банку каких-то консервов без этикетки и пакетик обезвоженного хлеба, она рассовала еду по карманам и ящерицей юркнула в туннель, ведущий к коммутационной камере.

Плита, слава Богу, не сдвинулась, и наверху было слепящее майское солнце. То и дело заслоняя его, из-за обломка стены с рекламой Байера медленно ползли черные клубы дыма — что-то еще догорало после ночного налета. Сильнее, чем обычно, пахло

гарью, развалинами и падалью. Этот трупный запах стал в последнее время прямо наваждением — Тане начинало казаться, что иногда слышит его даже там, в котельной. Ничего удивительного, он вполне мог просачиваться из какого-нибудь нераскопанного бункера по соседству.

Она погрелась на солнце, расстегнув куртку и запрокинув лицо с блаженно зажмуренными глазами, потом достала алюминиевую гребенку и принялась расчесывать волосы. С волосами беда — отросли до плеч, а о том, чтобы хоть раз вымыть голову, можно только мечтать. Хорошо еще, что долгое и тщательное расчесывание в какой-то мере заменяет мытье; надо только делать это как можно чаще, и волосы остаются относительно чистыми. Что ж, тоже занятие!

Когда устала рука, она продула гребенку, почистила о рукав и бережно спрятала. Другой не купить, потеряешь эту — и пиши пропало, за неделю превратишься в чудище обло.

Вот теперь можно было и закусить. Она достала банку, обшарила карманы в поисках ножа, не нашла его и вдруг почувствовала, что на нее смотрят.

Это был тот самый мальчишка в форме «гитлеровской молодежи», с которым она вчера переругивалась. Но сейчас он явился не один, еще двое таких же белобрысых выглядывали из-за обломка стены.

Потом она увидела, что их не трое, а четверо. Показался и пятый. Не сводя с них настороженного взгляда, она стала медленно отступать к стене. На всякий случай лучше от них подальше, что-то слишком уж явно они ею интересуются. Но куда — подальше? К входу в колодец нельзя, а где еще можно спрятаться... Но, может быть, и незачем? Откуда она взяла, что у них враждебные намерения, может, они просто играют здесь в какую-нибудь свою игру, вроде «казаки-разбойники»... Мальчишки тем временем окружили ее и подбирались все ближе.

— Слушайте, вы! — крикнула Таня.— Вам что здесь надо? А ну-ка убирайтесь!

Теперь она хорошо разглядела их всех. Самому младшему было лет двенадцать, старшему — около пятнадцати. Этот играл, по-видимому, роль вожака, его униформа — короткие черные штаны и рубашка песочного цвета — была заметно опрятнее, чем у остальных, и разукрашена какими-то значками и нашивками. Он носил даже узкий ремешок вроде портупеи, пропущенный под правый погон. Четверо других, с бледными худыми лицами трущобных подростков, выглядели почти оборванцами, их форменные штаны и рубашки были грязны и местами зашиты кое-как, через край. Впрочем, нарукавные повязки со свастикой, поясные ремни и кинжалы имелись у всех. У младшего, кроме того, висел на плече — наподобие аксельбантов — небольшой моток тонкой бельевой веревки.

Они обступили ее со всех сторон.

— Что это у тебя в руках? — резким мальчишеским голосом спросил вожак.

— Консервы, не видишь, что ли?! Можете проверить, если есть чем открыть.

— Положи банку на землю и подними руки,— приказал вожак.— Да поживее!

Таня подчинилась. Она чувствовала себя очень глупо, стоя с поднятыми руками в кольце разглядывающих ее мальчишек. В других обстоятельствах почему бы и не поиграть, но не здесь же, да и возраст не совсем тот...

— Обыскать задержанную! — снова скомандовал вожак.

Ее обыскали — и очень тщательно. Таня с трудом подавила желание заехать кому-нибудь из сопляков по физиономии. Ничего себе, игра! Вся добыча — карманный фонарик, гребенка, пакетик хлеба и несколько алюминиевых пфеннигов — была разложена перед вожаком на плоском обломке бетона, где уже стояла банка консервов, которые ей так и не удалось попробовать. Глупость какая, ндо было съесть раньше. Теперь отберут за милую душу.

— Продовольствие конфисковано,— объявил вожак, словно угадав ее мысли.— Фонарь тоже. Гребенку и деньги можешь взять. Где документы?

— Пропали,— сердито ответила Таня, пряча гребенку обратно.— Какие документы? У меня все сгорело.

Вожак смотрел на нее, широко расставив ноги и держа руки за спиной, явно подражая кому-то этой позой.

— Иностранка?

— Да. Русская!

— Из какого лагеря?

— «Шарнхорст», в Штееле...

Вожак шагнул вперед и ударил ее по щеке.

— На допросе говорить правду,— сказал он.— Понятно?

— Не распускай руки, болван! — крикнула Таня.— Я вот тебе сейчас как дам — ты у меня узнаешь «допрос»!

— Свяжите ее,— сказал вожак.

Таня не успела шевельнуться, как на нее накинулись сзади, заламывая локти за спину. Пытаясь вырваться, она метнулась в сторону, но кто-то подставил ей ножку, и она со всего размаха упала на груду битого кирпича, увлекая за собой нападающих. Теперь, наверное, на нее навалились все сразу, потому что она уже не могла пошевелиться и даже не могла поднять головы — кто-то держал ее за волосы, прижимая лицом к колючим обломкам кирпича, а другие тем временем быстро вязали вывернутые назад руки.

Потом ее подняли на ноги и снова подвели к вожаку, который с невозмутимым видом стоял в той же позе.

— Из какого ты лагеря? — снова спросил он.— «Шарнхорст» сгорел еще в марте. Где ты была все это время? Только говорить правду!

Она, наверное, разбила себе лицо при падении, потому что левую скулу жгло и саднило, а на губах чувствовался сладковатый привкус крови. Еще мучительнее была боль в вывернутых за спину руках — их связали так туго, что локти почти соприкасались.

— Я говорю правду,— с трудом выговорила Таня, кривясь от боли.— В «Шарнхорсте» никто не погиб, нас перевели в другой лагерь...

— В какой?

— «Принц-Ойген Казерне»... Потом его тоже разбомбили. Развяжите руки, мне же больно!

— Будет еще больнее,— успокоил вожак.— Так или иначе, ты сбежала из лагеря. Знаешь, что полагается за побег?

— Я не сбежала, просто нас разбомбили!

— Ты должна была явиться на сборный пункт в установленный срок. Где твой опознавательный знак?

— «Ост» отменили этой весной, а новых национальных знаков мы еще не успели получить... Ну что вам от меня нужно — отпустите меня, я же вам ничего не сделала!

— Ты сбежала из лагеря, этого достаточно. Побег из трудового лагеря в военное время приравнивается к дезертирству. Ты этого не знала?

Вожак отвернулся от нее и обвел взглядом своих соратников.

— Что думают господа?

«Господа» разглядывали свою пленницу с жадным и безжалостным любопытством, как дети смотрят на пойманного зверька, придумывая, как бы с ним позабавиться.

— Повесить,— сказал вчерашний Танин знакомец.

— Мне обещали, что следующего буду вешать я,— торопливо заявил младший.

— Она все-таки не оказала сопротивления,— нерешительно заметил третий, шмыгнув носом.

— Ну и что? Она сбежала, а беглецов вешают. Вспомни того поляка!

— У поляка был нож, и он сопротивлялся! А эта не сопротивлялась, выпороть ее, и конец.

— Выпороть, а потом повесить,— снова вмешался младший.— Так делают в штрафлагерях, мне рассказывал дядя Гельмут. Когда поймают беглеца, его вешают, а перед этим он еще получает хорошую порку.

— Заткнись, кошачье дерьмо, много ты понимаешь со своим вшивым дядей Гельмутом! Эта же не из штрафлагеря, верно? Молчал бы уж, недоносок.

— Когда вешали поляка, мне пообещали, что следующий будет мой,— упрямо заныл «недоносок».

— Тише! — крикнул вожак.— Вилли совершенно прав — она не оказала сопротивления, поэтому повешение на этот раз не состоится. Я бы просто отправил ее на сборный пункт для иностранцев, Германии нужны рабочие руки. Но окончательно судьбу задержанной решит тайное судилище. Короче говоря, сейчас в главную квартиру, там ее допросят по-настоящему. Вилли — ты отвечаешь за доставку задержанной, ясно?

— Так точно, штаммфюрер! — отчеканил Вилли и дернул за конец веревки, которой были связаны Танины руки.— Марш, быстро!

Они пустились в путь, перебираясь с завала на завал. Тани до сих пор не представляла себе, какой неловкой становишься, когда у тебя связаны за спиной руки; два или три раза она падала, оступившись на каком-нибудь неустойчиво лежащем обломке, и тогда конвоиры накидывались на нее с веселым гамом, ставили на ноги и снова тащили вперед.

Она еще не совсем понимала, что с нею произошло, и находилась в каком-то странном состоянии, словно мозг отказывался работать, а чувства были, напротив, обострены до предела. С какой-то особой, лихорадочной ясностью воспринимала она сейчас все окружающее: завалы руин, и закопченные обломки стен, торчащие в синее небо, и солнце, и мертвую тишину пустыни, пахнущую гарью и трупами. Ветер утих, было почти жарко и запах чувствовался еще сильнее.

Они только что перебрались через пролом в какой-то покосившейся бетонной ограде и оказались наконец на асфальте; улицу, очевидно, расчистили незадолго перед последним налетом, и проезжая часть оставалась почти свободной, хотя и была замусоре-

на битым стеклом и головешками. Валялась оторванная крышка чемодана, какое-то тряпье и бумаги, чуть подальше стояла скособочившись обгорелая детская коляска. Один из мальчишек забежал перед Таней и, заглядывая ей в лицо с тем же выражением жестокого любопытства, весело сказал:

— Ну, теперь уже почти пришли! — и добавил восхищенно: — Ох тебе же сейчас и достанется!

Таня увидела его светлые, без мысли, глаза волчонка и испугалась так, как еще никогда не пугалась, даже стоя перед шарфюрером Хакке; тот был все-таки человек — а в этих не осталось уже ничего человеческого, это были просто волчата.

Она остановилась и попятилась. Конвоир, шедший сзади, от неожиданности налетел на нее, выругался и поддал коленом.

— Марш! — крикнул он.

— Не пойду,— сказала Таня, затравленно озираясь.— Пустите меня, слышите! Я не пойду!

— Тащите ее,— скомандовал вожак.— Надо спешить, в этом квартале утром были шупо[1]. Быстро!

Они схватили ее, но Таня вывернулась рывком и села на асфальт — вернее, повалилась набок, потому что сесть на землю со скрученными за спиной руками тоже не так просто. Началась возня, мальчишки тащили ее волоком, как куль.

— Помогите! — крикнула она в отчаянии, хотя помощи ждать было неоткуда.— Помогите!

Они волокли ее, дергали за волосы и пинали ногами, она продолжала кричать и вырываться, а потом вдруг бросили — она упала лицом на асфальт, громко плача от бессилия и унижения.

Полицейские свистки она услышала не сразу. Вокруг уже никого не было, она перевернулась набок и подняла голову — мальчишки удирали, карабкаясь по завалам, а трели свистков доносились откуда-то справа и слева. Потом совсем рядом захрустели тяжелые шаги — кто-то, спотыкаясь, пробирался сюда в подкованных сапогах — и одышливый голос, сердито бормочущий ругательства. Шуцман возник перед ней внезапно, немолодой, тощий, в зеленой суконной каске, похожей на маленький перевернутый вверх дном унитаз.

— А-а! — крикнул он и бросился на Таню, как бросаются на убегающую курицу.— Попалась, дочь сатаны! Эй, Герберт, сюда — одну поймал! Куда они побежали, твои друзья? — он схватил Таню за волосы.— Отвечай живо, дрянь ты такая!

— Не друзья, нет,— закричала Таня,— они хотели меня повесить, у меня же руки связаны, посмотрите!

Она извернулась, показывая шуцману связанные за спиной руки; тот озадаченно хмыкнул, отпустил ее, потом разрезал веревку.

— А ты кто такая, и за что они тебя собирались вешать?

— Я иностранка, господин офицер, русская!

— Русская? — он опять схватил ее за волосы.— И сбежала из лагеря! Что ты делала в развалинах — грабила?

— Обыщите меня! — завопила она еще громче, и тут же подумала, что, если бы не произведенная бандой конфискация, она сейчас могла бы и в самом деле здорово влипнуть; возможно, банки консервов было бы достаточно, чтобы и в самом деле пришить ей мародерство, а так что с нее взять? — Мы тут работали несколько дней назад, а во время налета нас завалило, я и сама не знаю, как выбралась!

Подошел второй шуцман, Таня попыталась встать, но первый положил резиновую дубинку ей на плечо и нажал, велев не двигаться. Так, сидя между ними на земле и поглядывая то на одного, то на другого, она повторила то же, о чем рассказала ха-йотам — про гибель обоих лагерей, про последний дневной налет, заставивший их во время работ по расчистке. О подвале с его населением умолчала, сказав, что была с ней еще одна женщина, но, наверное, где-то заблудилась или пропала.

— В келлере, где нас завалило, было немного еды,— добавила она, чтобы рассказ выглядел правдоподобнее,— поэтому я и уцелела, раскопала дверь, а потом вылезла...

— Где, в каком месте?

— Не знаю, господин офицер, клянусь вам, не знаю, уже была ночь, а потом эти гады меня схватили и приволокли сюда — разве я могла запомнить дорогу? Посмотрите, что они со мной сделали, я вся в синяках!

— Синяков у тебя значительно прибавится, это я тебе обещаю, моя милая, если ты не выложишь все как есть,— объявил второй шуцман,— не очень-то в твоей истории сходятся концы с концами! Ну ничего, сейчас мы тебя отведем в ревир[2], там сразу все вспомнишь. После хорошей лупцовки, а?

[1] Сокр. от Schutzpolizei *(нем.)* — охранная полиция.

[2] Revier *(нем.)* — околоток, полицейский участок.

Таня опять разревелась в голос — не столько даже от страха, сколько чтобы произвести благоприятное впечатление.

— Да за что же меня лупцевать,— вопила она,— я и так все рассказала, проверьте, когда сгорели казармы «Принц-Ойген», когда сгорел «Шарихорст» в Штееле; там я вообще была переводчицей, меня высоко ценил лагерфюрер господин Хакке!

— Мол-чать! — рявкнул первый.— Ну-ка вставай! Марш! И не вздумай опять сбежать, существо из болота!

— Куда мне бежать, сами подумайте — опять к этим бандитам?

В ревире, как ни странно, все обошлось благополучно, если не считать того, что ее до вечера продержали голодной, а потом, дав миску жуткой — куда хуже лагерной — гемюзы, заперли в камеру к так называемым «асо» — разного рода воровкам, шлюхам и тому подобной публике. Хорошо еще, их там было много и новенькую они проигнорировали.

На другой день ее снова посадили в «зеленую Минну» и повезли куда-то. Ехали довольно долго, а когда открыли дверцу, рядом была стена барака и кусок ограды с колючей проволокой. В барак она вошла со страхом, ожидая увидеть полосатые платья с номерами, но оказался обычный рабочий лагерь — сюда собрали остарбайтеров из разных мест: из Эссена, из Ботропа, из Гельзенкирхена. Все сплошь погорельцы, выжившие после налетов.

В этом лагере Таня прожила еще два дня, а на третий попала в очередную партию, предназначенную к отправке. После обеда их — с полсотни девушек — вывезли за ворота, они долго шли колонной мимо развалин какого-то большого завода, потом оказались на железнодорожной станции — тоже совершенно разрушенной, от нее остались лишь закопченные стены сгоревших пакгаузов и целое кладбище искореженных скелетов товарных вагонов, которые так и остались стоять на рельсах. Вечером пришел товарный состав с прицепленным в хвосте пассажирским вагоном-«сороконожкой» без единого целого стекла в дверях. Некоторые сиденья внутри были сломаны, но места хватило — вагон подали пустым, наверное, специально для них.

Все гадали — в какую же сторону тронется состав. Тронулся он в ту сторону, где только что село солнце.

— Вот вам и «до дому»,— сказала Таня,— теперь вообще за Рейн увезут!

Поезд шел по сырой зеленой равнине, еще окутанной предутренним туманом, вид был мирный — ни одной дымящей трубы; она втиснулась подальше в угол, где не так дуло из окна, и снова задремала, а проснулась, когда поезд уже стоял, ярко светило солнце, и кто-то шел вдоль вагона, стуча кулаком в каждую дверь и покрикивая: «Alle raus, schnell, schnell, los!» Заспанные, продрогшие, они столпились на перроне, недоверчиво оглядываясь — чистенькая маленькая станция, все стекла целы и до блеска вымыты, на асфальте ни соринки, даже цветы растут в прямоугольной клумбочке за цементным бордюром. «Ну, уже Голландия»,— решила Таня, услышав непонятный говор двух прошедших мимо железнодорожников.

Пришел сопровождающий, велел построиться попарно, пересчитал пальцем и сделал знак следовать за ним. Оказалось, что это все-таки еще Германия: расписание на щите, разные указатели и рекламы — все было по-немецки, но говорили люди непонятно, видимо здесь уже было какое-то смешанное население, полуголландское. Называлась станция — Клеве, Таня никогда и не слышала о таком городке.

Их привели в пустой пакгауз, опять велели ждать, потом пришел пожилой толстый немец и обратился к ним почти по-русски:

— Ви ест направлены тут работáть,— сказал он,— в разнообразны крестьянски и также домашни хозяйство. Это ест для вас болшой глюк, в эти места попасть, ибо здесь нет воздушны война, и для того ви должны всегда прилежны и послушáтельны быть. Десять персон,— он, растопырив, поднял пальцы обеих рук,— могут здесь, в Клеве, оставаться как горнишны в отель и санаториум, кто понимает немецки, остальные едут к бауэрам. Также здесь близко. Альзо, кто желает быть горнишны, идите сюда.

Желающих стать горничными, к Танину глубокому возмущению, оказалось больше, чем было нужно, и толстяк отобрал десятерых лучше знающих язык и более привлекательных. Остальных разобрали быстро — приходили, оглядывали и уводили по одной, по двое. Немолодой бауэр — кряжистый, в высоких сапогах и с кнутом в руке (другой не было),— отобрав уже троих девушек, поманил пальцем и Таню. Подписав бумаги, он вывел их на улицу, где стояла запряженная могучим першероном одноосная телега на высоких, в человеческий рост колесах, ловко взобрался сам и, протянув сверху руку, помог вскарабкаться девушкам.

— Ну, поехали,— сказал он, когда все устроились, трое рядом с ним на служившей козлами поперечной доске впереди, а Таня с еще одной девушкой — сзади, на бумажных мешках с какой-то химией. Першерон мотнул головой и без усилия стронул с места тяжелую телегу, пошел не спеша, вальяжно перекатывая массивным лоснящимся крупом.

— Куда вы нас везете? — спросила Таня.— Далеко отсюда?

— Не-е, километров двадцать,— отозвался однорукий.— Аппельдорн называется, такая деревня...

Глава 12

Когда знакомые из эмигрантской среды спрашивали его, как он чувствовал себя в Совдепии, не было ли и там ощущения собственной чужеродности, ненужности,— всего того, что каждый эмигрант постоянно ощущает в стране своего вынужденного пребывания,— Болховитинов отчасти кривил душой, заверяя в обратном. Было, было ощущение чужеродности, особенно при общении с простыми советскими людьми — такими вот, как эти. И тогда, как и теперь, ему иногда казалось, что отчужденность вызывается даже не фактом его службы у немцев (это было бы понятнее), а просто тем, что он — не свой, пришлый, из «беляков». Такая стойкая неприязнь к бывшим противникам по гражданской войне выглядела как-то противоестественно.

Да, обманывать себя было глупо: идеализированные представления о России, о русском народе, которые он с детства воспринимал как некий абсолютный догмат, во многом не совпали с тем, что довелось увидеть воочию. Откуда взялась эта идеализация — выросла из унаследованной и потому наивной ностальгии? Впрочем, склонностью идеализировать прошлое грешили и эмигранты старшего поколения, всякого навидавшиеся за годы российской смуты. Отец, скажем, вообще не был расположен к идиллическим представлениям о чем бы то ни было и часто подтрунивал над дореволюционными мужиковствовавшими интеллигентами: пятьдесят лет поклонялись лаптю, а потом первыми же стали вопить о «пришествии хама» — как только этим вожделенным лаптем получили хорошего пинка под неудобосказуемое место. И все-таки, утраченное отечество чем дальше, тем явственнее становилось для полковника Болховитинова этаким градом Китежем, канувшим в большевистский омут, но предназначенным рано или поздно вознестись обновленно во всей славе...

В одном из писем — за год до смерти — он по поводу чистки высшего советского командования высказывал убежденность в том, что дыма без огня не бывает, и у Тухачевского, скорее всего, действительно были какие-то далеко идущие планы; честолюбие плюс незаурядные способности вполне могли убедить маршала, что он годится на роль нового Бонапарта. «Сталин,— писал отец (письмо это было единственным, сохранившимся у Кирилла),— доказал свою государственную мудрость уже тем, что отправил в изгнание мерзавца Троцкого, и трудно поэтому предположить, что в столь опасной международной обстановке такой умный человек рискнул бы обезглавить армию без достаточных на то оснований. Если же сопоставить эту операцию с предшествовавшим ей истреблением зиновьевых, пятаковых и прочей нечисти из сонма ближайших подручных г-на Ульянова, то общая картина дает основания для оптимизма: Россия несомненно вступает в полосу политического и морального оздоровления, хотя процесс этот может оказаться долгим и болезненным...»

Да, чего-то отец не понимал. Увидеть признаки «оздоровления» в грызне между кремлевскими главарями — для этого, конечно, надо было быть эмигрантом. Хотя многие тогда (особенно после книги Фейхтвангера) восприняли события в Москве именно так. Отец ведь не случайно назвал имена особенно ненавистные для всякого участника белого движения: Зиновьев, красный диктатор Петрограда, прославился массовыми бессудными казнями офицеров, сдавшихся после поражения Юденича, а Пятаков осенью 1920 года явился в Крым как особоуполномоченный ВЧК — этакий комиссар Конвента, Фуше в Лионе — с заданием ликвидировать всех, кто поверил объявленной амнистии и не эвакуировался с Врангелем. Так что московские казни 1936 и 1937 годов можно было рассматривать как запоздалое возмездие — кровь за кровь. Но палачей-то вчерашних судили теперь за другое и судили неправедным судом, это очевидно. В Энске он специально интересовался мнением советских людей о тех процессах: у молодежи виновность «врагов народа» сомнений не вызывала, но многие люди постарше считали, что обвинения были ложными, а признания из подсудимых просто выбили. Не очень-то это укладывалось в утешительную концепцию «политического и морального оздоровления».

В письмах двух последних лет отец вообще часто высказывал свои соображения о будущем России, интересно было бы сейчас перечитать. К сожалению, письма пропали в Париже. Не все предсказания, похоже, сбудутся, но в главном отец оказался прав: всегда утверждал, что неминуемую войну против Германии Россия выиграет.

Именно этим — верой в несокрушимость русской армии — и определялся оптимизм полковника Болховитинова относительно грядущих судеб отечества. Главное, считал он, это чтобы страна была неуязвима извне, а все остальное рано или поздно устроится, сгладится, войдет в колею.

В конечном счете, возможно, так оно и есть. Но только в самом-самом конечном, только издали — из такой дали, откуда «все остальное» уже неразличимо. А ведь жизнь складывается из мелочей, и определяют они очень многое — в частности и сознание, тут марксисты не так уж не правы, вероятно. Не этим ли воздействием устроившихся, не вошедших еще в колею «мелочей» и сформирован новый характер русского (советского) человека?

Вопрос, конечно, насколько он нов. Сравнить уже невозможно, отец еще мог бы сравнивать по памяти, а ему самому никакие сравнения недоступны — кроме самых общих. Его, скажем, поражала там какая-то странная общественная инертность людей. Вопрос хотя бы того же террора! Никто не отрицал, что да, действительно, явление было массовым, люди исчезали каждую ночь, но рассказывалось об этом с каким-то странным безразличием... Однажды он спросил Таню, не затронуло ли «дело Тухачевского» ее дядюшку, она почти весело ответила, что нет, совсем не затронуло, хотя многих соседей тогда посадили. А его вопрос, что́ по поводу этих казней говорил сам дядюшка — не мог же он всерьез считать, что все казненные офицеры были германскими или японскими шпионами,— Таню очень удивил: они с дядей никогда об этом не говорили, с чего бы он стал обсуждать с ней такие дела!

Хорошо, если это был просто страх. Тот же Танин дядюшка мог, естественно, опасаться того, что племянница потом примется «обсуждать такие дела» в школе или на улице с подружками. А если страх постепенно перешел в равнодушие? В прежней России студенты бунтовали из солидарности с несправедливо исключенным коллегой, какие-то писатели в знак протеста вышли из академии, когда в нее не приняли Горького. Как же понимать эту странную ситуацию накануне войны, что это было — терпение? Или в самом деле безразличие? Тогда это страшно...

Странный, непонятный народ... Ведь вот сейчас с Тимофеем Кузьмичом — просто стена какая-то, ни понять, ни договориться...

Печально, сказал себе Болховитинов. Весьма печально. И самое печальное то, что жить без этого непостижимого, такого чуждого родного народа он уже никогда не сможет. Раньше — не побывав *там* — вероятно смог бы, как жили и живут тысячи других эмигрантов. А теперь уже не сможет.

Глава 13

Транспорты десантного флота медленно приближались к берегам Нормандии. Отсчитывая последние мили крутились лаги, в тишине штурманских рубок стрекотали самописцы эхолотов, вычерчивая на бумажных лентах постепенно повышающийся профиль дна Английского канала. Десятки тысяч вооруженных людей, которые стояли на залитых водой палубах, торопливо затягиваясь последними сигаретками, еще не видели берега; но его темная неровная линия, растушеванная непогодой, уже различалась с ходовых мостиков, сквозь оптику морских биноклей и дальномеров. Где-то за тучами по левому борту вставал туманный рассвет — над Европой поднимался новый день — вторник, шестого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года.

На боевых кораблях, сопровождавших армаду транспортов, в пять часов тридцать минут загремели колокола громкого боя. Побежали к своим постам артиллеристы, зарокотали механизмы элеваторов, поднимая заряды из бомбовых погребов. В пять сорок пять огромное багровое пламя окровавило вспененные волны, выхватив из темноты грузные очертания надстроек и башен со вздыбленными орудийными стволами. Чудовищный грохот залпа главных калибров прокатился над транспортами и обрушился на нормандский берег, протаптывая дорогу десанту.

В шесть часов тридцать минут обстрел побережья был прекращен. Суда начали стопорить машины. Тысячи механиков, мотористов и кочегаров, лихорадочно работающих у своих рычагов и пультов, прислушивались к резким звонкам машинных телеграфов, посматривали на часы и обменивались быстрыми взглядами. Спрятанные глубоко в недрах судов, они ничего не видели, но уже знали: наступил «час Эйч».

Надежда на скорое открытие второго фронта появилась у нас двумя годами ранее, когда были опубликованы два коммюнике об итогах переговоров, проведенных Молотовым в Вашингтоне и Лондоне. В обоих документах говорилось о «договоренности в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году» — формулировка весьма неопределенная, дающая повод к самым широким толкованиям и главным образом рассчитанная на дезинформацию противника.

Людям в отчаянном положении свойственно верить всему, что дает надежду. А наше положение тем летом было самым отчаянным с начала войны — тяжелее даже, чем в сорок первом, потому что тогда можно было еще говорить о внезапности, о неподготовленности, можно было надеяться на то, что немцы вот-вот выдохнутся; в сорок втором дух армии и народа подвергся еще более жестокому испытанию на прочность. Надо ли удивляться, что вся страна поверила — захотела поверить! — в скорую помощь со стороны союзников...

Ни армия, ни народ не знали того, что на самом деле ни о каком открытии второго фронта в то время не могло быть и речи, и этого никто не обещал ранее сорок третьего года. В памятной записке, врученной Черчиллем Молотову 10 июня (то есть когда переговоры фактически уже закончились — итоговое коммюнике было опубликовано в Москве через два дня), говорилось ясно и недвусмысленно: «Мы концентрируем наши усилия на организации и подготовке вторжения на континент Европы английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году». На текущий же год была обещана лишь высадка десанта в августе или сентябре (речь шла о готовившейся тогда десантной операции в Дьеппе, которая и была осуществлена в намеченный срок).

Что касается позиции американцев, то Рузвельт в беседах с Молотовым, хотя и выразил надежду создать второй фронт в текущем году, но сказал, что этому есть пока много препятствий — в частности, нехватка судов для переброски большого числа войск через кишащую вражескими субмаринами Атлантику. Никакого твердого обещания, стало быть, не было дано и в Вашингтоне.

В Советском же Союзе росла всеобщая уверенность в том, что относительно сроков открытия второго фронта союзники договорились и вторжение на континент произойдет самое позднее этой осенью. Это широко распространившееся заблуждение дало Сталину один из главных козырей в международной политической игре — не только на все время войны, но и на послевоенный период.

Козырная карта разыгрывается сразу, без промедления. В двух документах на протяжении одного месяца — в послании Черчиллю от 23 июля и в меморандуме, врученном британскому премьеру 13 августа — на следующий день после прибытия англичан в Москву,— Сталин прямо обвиняет его в нарушении якобы имевшей место договоренности о том, что вторжение в Европу будет осуществлено в 1942 году. Обвиняет, отлично зная, что такой договоренности не было.

Мало того, в меморандуме высказывается и еще более странная претензия к союзникам: советское командование, мол, строило план летних операций именно в расчете на то, что второй фронт будет открыт в 1942 году, и отказ правительства Великобритании выполнить свои союзнические обязательства «осложняет положение Красной Армии на фронте».

Этот аргумент настолько нелеп, что на первый взгляд вообще непонятно, как он мог быть высказан в серьезной дипломатической переписке на высшем уровне. Советское командование не могло планировать летнюю кампанию в расчете на открытие второго фронта хотя бы по той простой причине, что стратегия этой кампании была разработана в марте, а переговоры с союзниками о втором фронте начались уже летом — Молотов вылетел в Лондон только в конце мая.

Но это нелепость кажущаяся. Адресоаанный британскому премьеру меморандум от 13 августа написан для будущих историков. Вспомним: накануне, 12-го, состоялась первая встреча Сталина с Черчиллем, они долго обсуждали положение на фронтах, гость рассказал хозяину о планах готовящейся на осень операции «Торч», Сталин выслушал с интересом и согласился, что высадка в Северной Африке — дело нужное (так, по крайней мере, утверждает Черчилль в своих мемуарах — другими свидетельствами об этой встрече мы не располагаем). Казалось бы, тогда-то и был самый подходящий момент выразить недовольство: а почему, собственно, Африка, а не Франция? Но нет, упрек будет сделан лишь на другой день и именно в письменном виде, чтобы через много лет приобрести незыблемость документального свидетельства о подлинных причинах катастрофы, разразившейся тем летом на Южном фронте.

Едва ли Сталин дал себе труд прочитать ответ Черчилля. Это было ни к чему, он заранее знал все, что там могло быть сказано: что союзники никакого обещания не нарушили, поскольку не давали его, и что переговоры с Молотовым никак не могли повлиять на стратегические планы русского Верховного командования; все это он знал, и это действительно было так, кому же не понятно, что план кампании всегда разрабатывается за несколько месяцев вперед...

Конечно, и план летней кампании 1942 года был разработан заранее. Но план этот оказался ошибочным: опять, как и год назад, Сталин не поверил разведданным, опять отверг их как дезинформацию и попытался сам определить замысел противника. И опять просчитался — ошибся грубо, постыдно; в результате были потеряны Донецкий бассейн, Крым, Северный Кавказ, враг прорвался до самой Волги.

Просчет сорок первого года можно было еще объяснить внезапностью «вероломного нападения», но чем оправдать изюм-барвенковскую мясорубку, падение Севастополя, немецкий прорыв за Дон? Оправдать не перед современниками — их мнение Сталина не беспокоило,— а перед потомками, перед будущими историками? Ведь уже в марте, планируя летнюю кампанию, Ставка располагала сведениями о готовящемся ударе противника на Юге, да и предвидеть его было логично: Германия с ее иссякающими сырьевыми ресурсами остро нуждалась в донецком угле, кубанской пшенице, грозненской и майкопской нефти. Сталин же упрямо считал, что генерального наступления надо ждать между Тулой и Воронежем — в обход Москвы,— и именно там приказал

сосредоточить основную массу войск. Силы, выделенные им для защиты Северного Кавказа, почти не превышали тех, что действовали на самом спокойном участке всего театра военных действий — в Карелии.

Немцы, к счастью, не смогли успешно использовать этот грубейший просчет советского командования — мощь вермахта была на исходе, поэтому кавказский поход оказался безрезультатным, а рывок к Волге окончился гибелью 6-й армии. Но это выяснилось позже, а в августе — когда Черчялль прилетел в Москву — положение было отчаянным, противник вел бои на подступах к Сталинграду, рвался к Тереку, к перевалам Большого Кавказского хребта. Все, казалось, висело на волоске — не помог и свирепый приказ № 227, войска продолжали отступать...

Именно в те дни, оказавшись под угрозой нового военного поражения — уже не оперативного, а почти стратегического масштаба — поражения, личную свою вину за которое он не мог не осознавать, Сталин, вероятно, и ухватился за мысль переложить хотя бы часть этой вины на других. Конечно, в первую очередь, виновата армия — в приказе об этом было сказано недвусмысленно: «Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток... Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях...», но с кого же в конечном счете спрос за порядок и дисциплину в армии, если не с Верховного командования; следовательно, требовались и другие виновники создавшегося катастрофического положения.

Всенародная наивная уверенность в том, что второй фронт может быть открыт в ближайшее время, оказалась для Сталина подарком судьбы. Он-то знал, что вторжения в Европу не будет еще по меньшей мере год; как было не сыграть на напрасных надеждах всей страны? Когда народ увидит, что союзники нас обманули, никто уже не задаст вопроса — а почему же все-таки нам пришлось отступить до самой Волги, кто в этом виноват? Виновник будет у всех на виду, разоблаченный и заклейменный перед историей. Аристократ, консерватор по убеждениям, давний недруг страны Советов — сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль как никто подходил на роль злого гения антигитлеровской коалиции.

Разумеется, пока шла война, ни о каких прямых обвинениях в адрес премьер-министра союзной Великобритании не могло быть и речи, но упрек, высказанный келейно, в тайной дипломатической переписке,— дело другое; тем более упрек столь нелепый, что и сам адресат наверняка не примет его всерьез, отмахнется — помилуйте, тут недоразумение, в этом году мы вторжения крупными силами не планировали — и инцидент будет исчерпан. Зато для историков останется меморандум, документальное свидетельство прямой вины союзников в том, что тяжелейшая обстановка сложилась летом 1942 года на советско-германском фронте...

Часто и грубо ошибавшийся в военных вопросах, как мастер политической игры Сталин не имел себе равных. Насколько безошибочной и дальновидной была импровизация от 13 августа — выявилось лишь много позднее, когда союзники действительно нарушили уговор и вместо обещанного вторжения во Францию занялись очисткой бассейна Средиземного моря; после войны же, в условиях нарастающего международного кризиса, двоякое — оправдательно-обличительное — значение меморандума 1942 года стало просто бесценным: оказывается, фултонский поджигатель предавал нас уже тогда, оставив без обещанной помощи во время Сталинградской битвы! Это, естественно, не могло не сказаться как на отношении ко вчерашним союзникам вообще, так и на оценке их вклада в победу над Гитлером. Направленные в нужном направлении эмоции взяли верх, и в советской военной историографии прочно утвердилось мнение, что открытие второго фронта было злонамеренно задержано на два года, и что запоздалый «Оверлорд» не оказал уже никакого влияния на ход войны.

Скажем еще раз: крайние точки зрения всегда искажают перспективу. Второй фронт действительно был задержан, хотя и не на два года, а на год (тоже немалый срок по тем временам); среди причин задержки был и циничный расчет политиков, надеявшихся как можно больше ослабить нас в единоборстве с врагом, но были и вполне разумные соображения штабных специалистов, считавших стратегически опасным вторгаться в Северную Францию, оставляя Средиземное море под контролем противника.

Что касается чисто военного значения «Оверлорда», то его не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать. С Восточного фронта англо-американцам не удалось оттянуть на себя ни одной немецкой дивизии, но группу армий «Запад» они перемололи, лишив вермахт главного стратегического резерва; основной же эффект высадки союзных экспедиционных сил был скорее психологическим. Этого тоже нельзя списывать со счета.

Пожалуй, как ни странно, лишь в середине сорок четвертого года перед большинством немцев раскрылась перспектива неизбежного поражения. До тех пор страна верила в победу, верила иступленно, вопреки здравому смыслу и очевидности; пресловутый «дух тыла», о котором так любили писать берлинские журналисты, держался

довольно прочно. Если британский маршал Гаррис, собиравшийся выбомбить Германию из войны с помощью четырех тысяч «ланкастеров», надеялся деморализовать немцев воздушным террором, то в целом его расчет не оправдался. Жестокость ночных налетов с применением бесчеловечной тактики неприцельного бомбометания «по площадям» действовала скорее обратным образом, подтверждая ключевой тезис нацистской пропаганды: что союзники поставили перед собою цель истребить весь немецкий народ, и что для немцев есть теперь только один путь, один способ выжить — теснее сплотиться вокруг фюрера и стоять до конца. Можно было не читать газет, не верить ни одному слову по радио, но верить своим глазам приходилось. То, что спасательные команды ежедневно извлекали из-под развалин, выглядело более убедительным аргументом, чем все речи и статьи доктора Геббельса.

Поэтому тыл держался. Страхом ли, привычкой ли к повиновению, фанатизмом или мужеством отчаяния — немецкий тыл держался сам и поддерживал мораль фронта, делая для войны все, что было в его силах, продолжая надеяться и верить вопреки всему. Пока впереди маячил мираж победы, можно было работать стиснув зубы, не обращая внимания на бомбы и голод, привыкнув к повседневной смерти так же, как привыкают к ней в окопах...

Так продолжалось до лета сорок четвертого года. А потом — внезапно и как-то сразу — наступил перелом. Внезапность его была, разумеется, чисто внешней; в металле, который «устает», изменения кристаллической структуры происходят медленно и постепенно — незаметный снаружи, процесс этот проявляется лишь в момент катастрофического своего завершения, когда материал больше не выдерживает.

Два последовавших в июне удара сокрушили дух немецкого тыла — разгром группы армий «Центр» на Востоке и, двумя неделями ранее, успешная высадка англо-американцев на Западе. С первых лет войны немцы привыкли рассматривать Францию как самый спокойный и комфортабельный Hinterland, неиссякаемый источник выдержанных вин, парфюмерии, шелкового белья и прочего люкса. Какая бы угроза ни нависала над Германией с Востока, немцы считали себя надежно застрахованными на Западе.

А шестого июня им сообщили, что армия вторжения высадилась на нормандском побережье. Бои за предмостные укрепления продолжались и на следующий день, и через неделю, и через две; и заштрихованное пятно захваченного англо-американцами плацдарма расползалось на газетных картах все шире и шире. Теперь уже не было сомнений: Атлантический вал оказался таким же блефом, как «молниеносный разгром Красной Армии», как обещанная Герингом «неуязвимость с воздуха». Блефом оказывалось все решительно.

На Восточном же фронте стояло пока затишье — зловещее затишье перед бурей, сокрушительную ярость которой трудно даже было представить себе во всей ее мощи. Что буря накапливается, понимали все; впервые с начала войны радио и газеты готовили немецкий народ к тому, что предстоящая летняя кампания будет носить оборонительный характер. Это было непривычно и страшно. Предчувствие неминуемого поражения все глубже овладевало немецким обществом, парализуя волю большинства, озлобляя фанатиков и побуждая действовать тех немногих, кто еще надеялся спасти страну от военного разгрома, покончив с режимом своими силами. Именно тогда, в частности, окончательно оформился план государственного переворота, давно уже задуманного группой высших офицеров в штабе сухопутных сил при поддержке некоторых промышленно-финансовых кругов.

Буря разразилась в третью годовщину начала «Восточного похода». В четверг 22 июня русские провели разведку боем в районе Витебска, а на следующий день ударили по всей группе армий «Центр», силами четырех фронтов перейдя в генеральное наступление на пятисоткилометровой дуге от Полоцка до Мозыря.

У немцев был уже солидный опыт того, что сводки тактично называют «выравниванием линии фронта»; но выравниваться такими темпами им еще не приходилось. Двадцать шестого июня, на третий день русского наступления, пал Витебск, двадцать седьмого — Орша, двадцать восьмого — Могилев, двадцать девятого — Бобруйск, тридцатого — Слуцк. Третьего июля, одновременно с двух сторон, русские танки ворвались на южную и восточную окраины Минска.

Весь средний участок Восточного фронта начал разваливаться на куски, и неудержимая лавина сметала обломки все дальше на запад — к близким уже границам Восточной Пруссии.

Глава 14

Солдат Алоиз Фишер, бывший учитель, бывший комендант лагеря для восточных рабочих «Шарнхорст-Шуле», никогда не помышлял о том, чтобы сдаться в плен. Не то чтобы он считал это изменой своим идеалам или своей родине; идеалов, за которые он

мог бы сейчас драться, уже давно не осталось, а родина была загублена так или иначе. Просто он считал, что плен — это не выход. Для него лично, по крайней мере.

Собственно, он и не нуждался в каком бы то ни было «выходе». Из той кровавой клоаки, в которую на его глазах погружалась Германия, выхода не было ни для кого. Фишер давно с этим смирился. Еще дома, в Эссене, когда начались первые массированные налеты, он понял, что все кончено. Это было в мае прошлого года, все тогда ожидали летнего наступления на Восточном фронте, и многие еще верили Геббельсу, обещавшему немцам новые победы, от которых содрогнется мир. А он, Фишер, уже не верил.

И мир, действительно, не содрогнулся. Содрогнулась Германия, когда в ответ на провозглашение тотальной войны на земле получила тотальную войну с неба. Через год после террористического налета на Кельн настал черед Рура, англичане разбомбили плотины, вызвав затопление огромной территории, потом за одну неделю сожгли Гамбург — город горел так, что зарево было видно из Бремена и Ганновера...

Вот тогда Фишер и понял, что все кончено. Его страна была обречена на гибель собственным безумием, и он был обречен вместе с нею. Жена и дети потерялись в эвакуации этой весной, глупо было надеяться, что они живы. Зачем же ему искать для себя какой-то персональный выход? Разве на нем, как на члене НСДАП, не лежит вина за все случившееся?

Обо всем этом он думал ночью, сидя в стрелковой ячейке и осторожно — в кулак — покуривая болгарские сигареты. Табак был хороший, он давно не пробовал такого отличного табака. Сигареты явно предназначались для офицерского довольствия, и только поспешностью отступления и невозможностью вывезти склады объяснялось то, что это роскошное курево досталось солдатам.

Фишер вспоминал тридцать второй год, выборы в рейхстаг — июльские, триумфальные для нацистов, потом ноябрьские, когда НСДАП потеряла около двух миллионов голосов, но все же сохранила за собой парламентское большинство. Сам он голосовал тогда за социал-демократов — к «Движению» примкнул позже, уже когда оно победило. Но не из оппортунизма, нет. Действительно поверил, искренне. Да ведь и многие тогда поверили...

Когда на митингах коричневорубашечники Рема орали о пресловутых республиканских «свободах» — для одних свобода обжираться у Кемпинского и катать в лимузинах холеных шлюх, а для других свобода обивать пороги еврейских фирм и выстаивать в очередях за миской благотворительной похлебки — эти парни были не так уж не правы, тут у них не было разногласий с тельмановцами. Разногласия возникали по поводу того, чем же это непотребство заменить, какой должна стать новая Германия — когда терпеливому немецкому народу надоест наконец подставлять шею под ярмо капитала.

Коммунисты решали этот вопрос просто: всех капиталистов к стенке, как в России, или пусть катятся на все четыре стороны; но Фишер опять-таки не представлял себе, как можно обойтись совсем без капиталистов — без их опыта, деловой сметки, уменья организовать производство. Ему все чаще думалось, что нацисты подходят к вопросу разумнее: бесклассовое общество, говорили они, это утопия, классы будут всегда, потому что всегда одна часть общества будет эксплуатировать другую, надо только ограничить эту эксплуатацию, чтобы закон защищал права трудящихся, и надо принцип классовой борьбы заменить принципом классовой солидарности.

Окончательно же Фишер склонился на сторону нацистской программы, когда из России вернулся шурин, в свое время завербовавшийся туда на строительство тракторного завода. По его словам, дела в России шли из рук вон плохо — завод-то построили, и не один, и будут строить еще, за это русские взялись всерьез,— но вообще плохо. Нищета, голод, иностранные специалисты на стройках живут, как англичане в Индии — отдельные коттеджи, отдельное от русских питание,— а в городах только-только отменили карточную систему, стали хоть свободно продавать черный хлеб (ничего больше нет). Но хуже всего то, что происходит в деревне, этого вообще не понять — всех богатых крестьян теперь арестовывают и целыми семьями ссылают в Сибирь или куда-то на берег Ледовитого океана, а бедных заставляют объединяться в коллективные хозяйства. Но что такое бедный крестьянин в стране, где уже давно нет ни помещиков, ни лавочников, а земля принадлежит трудовому народу? Очевидно, это просто лодырь или пьяница, и что эти согнанные вместе лодыри будут теперь делать в своих «коллективных хозяйствах» — одному Сталину ведомо.

Нет, Пауль явно не выдумывал, рассказывал без злорадства, с недоумением и болью — в России у него осталось много друзей, он полюбил эту страну. Да Фишер обо всем этом слышал и раньше, поначалу даже не верил, думал — пропаганда, так что Пауль лишь подтвердил уже известное. Выходит, не зря все эти теории классовой борьбы вызывали в нем сомнение — если они таким вот образом воплощаются на практике, то о чем вообще можно говорить? Тогда уж действительно лучше прислушаться к нацистам с их «классовым миром».

В том-то и беда, что так рассуждал не он один. Опыт Веймарской республики показал бессилие правой социал-демократии, русский опыт отпугнул многих, ранее склонявшихся влево. А Гитлер обещал все, чего хотела тогдашняя Германия. Голодным — хлеб, безработным — гарантированный заработок, промышленникам — высокие прибыли. Националистически настроенную молодежь, больно переживавшую бесславное поражение в войне, Гитлер увлек посулами реванша, небывалого расцвета Германии и выхода ее в первые ряды мировых держав.

...Вероятно, и в самом деле каждый народ достоин своего правительства. Немцы не могут жаловаться на то, что их обманули; после тридцать третьего года страна действительно не знала ни кризисов, ни безработицы, промышленность работала полным ходом, был наконец смыт и позор Версаля. Кроме господства над миром, Гитлер все свои обещания выполнил. Он не дал немцам лишь одного — свободы. Но разве он ее обещал?

Впрочем, когда-то — в самом начале — о свободе говорилось, лозунг «Свобода и хлеб» до сих пор, по старой памяти, красуется над изображением имперского орла в заголовке «Фёлькишер Беобахтер». Но набран он мелким шрифтом, да и кто обращает на него внимание. Такой же бессмысленный анахронизм, как «С нами Бог» на солдатских пряжках.

Да, на обман жаловаться не приходится. К тридцать третьему году ни Гитлер, ни Геббельс, ни Геринг уже не упоминали о свободе в своих речах, это слово вообще как-то исчезло из программы НСДАП, и никто из голосовавших за список № 1 этого не заметил. Не заметили, не обратили внимания на такую мелочь — обещанная чечевичная похлебка заставила забыть обо всем остальном. О том, в частности, что человек жив не хлебом единым, что сытый раб все равно остается рабом. Не обратили внимание на главное, поверив второстепенному.

Так неужели за свою доверчивость расплачиваемся мы сейчас такой страшной ценой? Нет! Мы платим за то, что, когда перед нами встал выбор — свобода или сытость, мы выбрали последнее. Мы платим за измену принципу индивидуальной свободы. Государство сказало нам: «Свобода личности — это выдумка евреев и либералов, это псевдогуманистическое слюнтяйство, обветшалый хлам, мешающий нам строить будущее. И вы построите его, это будущее, только откажитесь от бесполезного бремени свободы, доверьтесь фюреру, который поведет вас по единственно верному пути». Так сказало государство, и мы согласились на его условия.

Мы — сами, без принуждения — отказались от «бесполезного бремени». Потому что, когда принуждения еще не было, каждый мог выбирать между сытостью и свободой. Мы выбрали, и теперь за это платим. Именно за это. Кого же нам винить? Ведь другие уже тогда понимали всю опасность сделки, предложенной нацистами; уже тогда были люди, которые спорили, убеждали, напоминали старую истину: тот, кто продает свободу за кусок хлеба, лишится потом и черствой корки.

Так оно и вышло в конечном счете. Призрачное «процветание» национал-социалистической эры обернулось золотом дьявола, которое рано или поздно превращается в золу. И такая трансмутация неизбежна, это действительно старая истина, старая как мир, в фольклоре мотив сделки с нечистой силой кочует из страны в страну, из века в век народная мудрость остерегает: не садись играть с лукавым, не продавай ему душу — чем щедрее посулы, тем горше будет расплата...

Бывший учитель сидел, привалившись спиной к стенке окопа, чувствуя сквозь ткань кителя приятный после дневного зноя холодок не успевшей прогреться земли. Завтра к полудню она прогреется, начнет понемногу осыпаться. Но он, скорее всего, этого уже не увидит. Русские были в леске километрах в полутора отсюда и, похоже, что-то назавтра готовили — оттуда весь вечер слышался шум моторов.

Сейчас там было тихо. Непривычная тишина стояла над передним краем, под звездным безлунным небом теплой июльской ночи хорошо пахло травами, свежеразрытой землей. Фишер подумал, что единственное преимущество этой войны — в сравнении с первой мировой — это ее маневренность: войска все время перемещаются, не задерживаясь в одном месте, и солдатам удается дышать относительно чистым воздухом. Прошлая война была еще и чудовищно зловонна — огромные армии, скученные на относительно небольших пространствах, месяцами не меняли позиций, сотни тысяч людей жили в грязи и тесноте, ели, испражнялись, умирали и гнили тут же по соседству, в наспех отрытых похоронными командами братских могилах, а то и просто едва присыпанные землей в воронках и развороченных снарядами траншеях; вся Западная Фландрия смердела от Шельды до побережья...

Тогда, после перемирия, ему казалось, что судьба вытянула для него неправдоподобно счастливый билет. Никто ведь и представить себе не мог, каким оно окажется — долгожданное мирное время...

Фишер знал, что завтра умрет, и это не вызывало ни страха, ни горечи. Ему незачем было продолжать жить, он часто ловил себя на мысли, что хорошо бы они все — он и такие же «солдаты» преклонного возраста — оказались своего рода искупительной жертвой Беллоне, чтобы она, насытившись, пощадила молодых. Тех, кто сможет построить другую, послевоенную Германию — во что бы ее ни решили превратить победители. Немцев, понятно, не спросят, но строить-то придется все равно немцам. Этого за них никто не сделает. Вот тогда и понадобятся молодые — у кого хватит сил и способности во что-то верить.

Странно, что такие еще находятся среди старших. Сегодня вечером, когда после необычно долгой задержки подвезли наконец ужин и патроны, кто-то шепнул, что в Берлине заварушка — было неудачное покушение на фюрера, и одновременно несколько генералов пытались захватить штаб сухопутных сил. Никто, впрочем, толком ничего не знал, а Пфаффендорф, когда его спросили, рявкнул «не наше это свинячье дело». В этом, подумал Фишер, гауптфельдфебель несомненно прав — господа из верховного командования пусть хоть глотки друг другу перегрызут, армии и народу на них плевать. Спохватились, красноподкладочные идиоты, решили под занавес поиграть в тираноборцев! Раньше надо было думать — а не орать «хайль», с увлечением разрабатывая для параноика план за планом и захватывая страну за страной. Если бы не русские, до сих пор бы орали как попугаи...

Фишер вытянул шею, прислушался — нет, *там* все было тихо. Утром, наверное, начнут. Хорошо бы его убило сразу, еще при артподготовке. Боже в небесах, подумал Фишер давно забытыми словами, награди меня завтра скорой и легкой смертью — чтобы не страдать самому и не причинить страданий другому. Пусть бы сразу, потому что, когда русские пойдут в атаку,— мне придется стрелять, я не смогу сидеть опустив руки, когда рядом будут убивать моих товарищей. Или по крайней мере сделай так, чтобы ни одна моя пуля не попала в цель, не заставила плакать женщину или ребенка...

Глава 15

Здесь, в Аппельдорне, Таня стала впадать в идеализм, почти уверовав в существование высших сил. Не то, чтобы она наделяла их способностью управлять всей жизнью человека от рождения и до смерти, но некоторые коррективы в нашу судьбу они, похоже, время от времени вносят, что-то подправляя уже, так сказать, по ходу дела.

Теперь высшие силы решили, похоже, дать ей передышку. Полгода назад она и поверить не могла бы, что в Германии есть еще такие мирные уголки, как этот нижнерейнский округ. В самом Клеве она не была ни разу со дня прибытия, но в другой городок — Калькар — ездила довольно часто, когда надо было привезти что-нибудь с железнодорожной станции. До Калькара было недалеко — полчаса в один конец, но со всякими задержками на складе или в товарной конторе время набегало, потом еще хозяин заглядывал в пивную, наказав ей далеко не отлучаться, так что почти треть рабочего дня уходила на такую поездку. А брали обычно ее, потому что она лучше других говорила по-немецки — даже научилась немного понимать здешний Plattdeutsch, приводивший девчонок в полное недоумение.

Клеве в тот день всем очень понравился. Вряд ли хозяин повез их через центр, но все равно — городок нарядный, чистенький, много зелени, а главное — все стекла целы, видно, ни разу не бомбили. Калькар был поменьше и победнее, смотреть тут было не на что — несколько магазинчиков, памятник солдатам 1914—1918, кирха, маленькая гостиница «Zum Ritter». В гостинице работали две сестры; старшая приблизительно Таниного возраста, обе с Кубани. Они однажды сами заговорили с ней, когда она сидела на своей телеге, поджидая застрявшего в пивной Клооса,— увидели бело-синий знак и окликнули, проходя мимо. Сама она не узнала бы в них соотечественниц — одеты были как немки, с модными прическами и без опознавательных знаков. «Осты», впрочем, мало кто теперь носил, это вот только однорукий требовал неукоснительно — придерживался еще старой инструкции. Девушки рассказали о себе (немцы прихватили их прошлой зимой, во время сталинградского отступления), звали в гости, жилось им здесь вольготно: хозяйка, бестолковая старая дева, свалила на них все дела и ни во что не вмешивалась. «Мы и постояльцев сами регистрируем,— похвастала одна,— и в полицию сведения подаем, нас уже там знают...»

Таня нисколько им не позавидовала, самой ей жилось тоже вполне сносно. Работать в поле было, конечно, тяжело — особенно поначалу,— но в остальном грех жаловаться: тишина, свежий воздух, хорошее питание. Они подоспели к посадке свеклы, это и привычному человеку не так-то легко, а с непривычки и вовсе каторга — к концу рабочего дня Таня едва могла разогнуться. Потом стало полегче, а когда со свекловичного поля перешли на луг, где пора было косить сено, крестьянская работа начала вообще казаться ей синекурой. Она теперь боялась одного: какой-нибудь очередной перетасовки, чтобы не спохватились и не отправили на завод. Опасность, кстати говоря, была не такой уж и надуманной — Клоос потому и взял себе новых девушек, что у него, оказывается, забрали работавших ранее четырех поляков из военнопленных. А куда забрали и зачем — никто не знал. На завод, скорее всего.

О других опасностях как-то не думалось. Ни о бомбежках, хотя армады бомбардировщиков пролетали здесь почти ежедневно, ни о том главном, чего так боялась еще в «Шарнхорсте». Уж теперь-то гестапо до нее не доберется — если и можно было иащупать какой-то след в Эссене, то едва ли он сохранился в тех бомбежках и пожарах. Тут немцы теперь месяцами разыскивают своих родных, разбросанных по стране всякими эвакуациями, что же говорить о какой-то иностранке!

Да, как ни странно,— здесь перед нею забрезжила вполне реальная возможность как-то дожить, уцелеть, даже вернуться домой. О последнем, впрочем, она думать себе запрещала — это было бы уже слишком. Снова оказаться в Энске, увидеть Дядюсашу, Сережу? Нет, нет, это... этого даже вообразить себе нельзя. Ни к чему, не надо, такое воображение до добра не доводит. Довольствоваться надо тем, что имеешь.

Как хозяин однорукий был не из худших — без дела не придирался, хотя за небрежную работу мог наорать, а приставленная к коровам Светка однажды схлопотала и кнутовищем по заду (Клоос увидел, как она валит в бункер корморезки немытую свеклу). Воскресенья были свободны, он не препятствовал ходить в гости и принимать гостей у себя; почти в каждом крестьянском хозяйстве Аппельдорна жили и работали девушки с Украины, были и ребята — хотя и в меньшем числе. У местного помещика, барона Хюльгера, русскими вообще был заселен целый дом на окраине поместья, их там было человек десять. У них обычно и собирались.

Долгожданное открытие второго фронта хюльгеровские хлопцы отметили с размахом — нагнали самогонки, зажарили двух зайцев, изловленных силками в баронском лесу. Их самогонка славилась среди соотечественников на всю округу, ее гнали из баронской же сахарной свеклы, и поставлено было дело широко. Аппарат впечатлял своими размерами — основой его был кормозапарочный котел вместимостью литров на полтораста, холодильный змеевик изготовили из останков английского «ланкастера». Подбитый ночным истребителем, бомбардировщик пытался, видно, дотянуть до голландской территории, но не дотянул и сгорел на картофельном поле Хюльгера. Последний километр он уже шел над самым парком, круша деревья и разваливаясь на куски; так что сгорела только носовая часть фюзеляжа и два средних двигателя, а остальное — крылья с уцелевшими моторами, хвост, вырванные из своих гнезд пулеметные турели — оказалось разбросанным где что.

— ...А мы, понимаешь, сразу сориентировались,— рассказывал Тане один из организаторов самогонного производства,— утром пришли — барон бегает, убытки подсчитывает, «ферфлюхта, кричит, сколько одной картошки пропало», и липы эти дескать еще его дед сажал в наполеоновские времена — ну, чистый дурак, сказал бы спасибо, что томми на обратном пути гробанулся, без бомб, а то ведь тут пол-Аппельдорна вылетело бы к едреной фене вместе с его картошкой. Ну ладно, после приехал этот ас, который сбил англичанина, сняли его рядом с обломками, и барон нам говорит — берите лошадей и стаскивайте все это к шоссе, пусть сами забирают. А это в прошлом сентябре было, мы аккурат сахарную свеклу копать начали; Вася и сообразил — хлопцы, говорит, где какую трубочку увидите, прячьте — самогонный аппарат сделаем, а то больно хороша свекла уродилась, не пропадать же добру. Ну, а трубок этих там оказалось — страшное дело, всюду сплошь гидравлика, мы ее всю и раскурочили. А после натаскали свеклы центнеров десять, за домом в яму закопали, теперь до конца войны хватит...

Дело, похоже, и впрямь шло к концу — недели через три хюльгеровские опять прислали приглашение, отметить уже наши успехи в Белоруссии. Таня не пошла — прошлый раз некоторые ребята перепили, стали охальничать, один норовил затащить ее на чердак. Да и не только поэтому. Никто, понятно, не виноват, что одни попали на фронт, а другие — сюда; не по своей же воле ехали; а все-таки выглядит это как-то не очень хорошо. Там люди жизнь отдают, а здесь — «пейте, девчата, чтоб дома не журились!» Нашли повод для веселья...

Взяв велосипед, она поехала в Калькар — навестить тех в гостинице. Сестры с Кубани встретили ее как родную, обрадовались соотечественнице — у них мало кто бывает, видно, не решаются заходить в гостиницу, да и вообще советских девушек в городке почти нет. Тех, кого привозили, сразу распределяли по окрестным бауэрам.

— А нам отсюда не отлучиться, ну поверишь — ни днем ни ночью нет покою,— жаловалась Анна, старшая.— Вроде и гастхауз малюсенький, а работы полно — всегда все комнаты заняты, и куда их черти носят, ездят и ездят. Больше, правда, военные.

— От них больше всего и хлопот,— добавила младшая.— Гражданские по железной дороге приезжают, тут три поезда всего в день, а эти на машинах когда хотят. Только заснешь — опять кто-то в двери колотится... Они там во Франции привыкли, только ночью и ездят, днем ни одна машина на дорогу не сунется...

— Из-за партизан? — спросила Таня.

— Не-е, какие партизаны, самолетов боятся.

— А что вообще рассказывают? Или не говорят ничего?

— Да кто как, больше, конечно, помалкивают. А другой, как выпьет, разговорится — всё, мол, капут, шайзе, у них теперь разговор один. А у вас там чего слыхать?

— Мы-то и вовсе ничего не знаем,— сказала Таня.— Так, слухи всякие. Ну и сводки, конечно, все-таки из них тоже можно что-то понять. Говорят, в Белоруссии большое наступление.

— Наше?

— Ну не немецкое же!

— А черт их знает, раньше-то они каждое лето наступали. Может, действительно капут им приходит?

— Это давно видно,— Таня пожала плечами.— Здесь вам, наверное, просто не так заметно, потому что не бомбят. А посмотрели бы, что делается а том же Руре.

— Раньше каждую ночь на чердак вылазили и смотрели, окошки как раз на ту сторону выходят.

— Это не с чердака надо видеть, и не за пятьдесят километров,— Таня помолчала.— Нас когда первый раз разбомбило... в Штееле еще, ну там никто не погиб — на работе все были... перевели потом в Эссен, в казармы Принца Евгения. Вот там... никогда не забуду, наверное, до конца жизни... На третью ночь — объявили только «форалярм», никто даже с верхних этажей спуститься не успел — да, а там еще до нас из других лагерей было много народу, и раненые тоже, все вместе — так вот, неожиданно вдруг начали сбрасывать, одна из первых бомб попала в здание, с угла. Те, кто был там, хоть погибли сразу, все левое крыло обрушилось — говорят, это была «люфт-торпеда», от нее такая ударная волна, что целый квартал может снести. В общем, света нет, паника, мы раненых этих начали как-то вниз перетаскивать — в убежище не протолкаться с ними, стали их прямо во дворе укладывать — думаем, на открытом месте не завалит, а от зенитных осколков можно соломенными тюфяками прикрыть, хоть какая-то, а защита. Они там все во дворе и сгорели.

— Как так — сгорели? — оторопело спросила Анна.

— Очень просто, как обычно горят. От фосфора. Вы с чердака никогда не видели? — огонь вдруг так вот загорается в ширину, цепочкой, и медленно идет вниз, струйками такими — ну, вот дети дожди рисуют, только не косо, а прямо вниз...

— Видели, а как же! Я еще думаю — чего это, вроде горящее что течет...

— Правильно. Это и есть желтый фосфор, его сбрасывают в таких канистрах, на определенной высоте канистра взрывается и фосфор летит во все стороны. Его еще в зажигалках применяют, но бомба это ладно, ее хоть можно щипцами и в воду, а вот когда сверху, дождиком... Там ведь даже не чистый фосфор, а смесь какая-то, вроде клея, его — если на кожу попадет — и не счистить ничем, и не погасить. Если попало на руку, надо только в воду опустить, тогда гаснет, а вынешь — снова загорается.

— Ой, ну тебя, Танька, рассказываешь такое, что спать не буду сегодня! Не думай ты про это, вырвалась оттуда и ладно — здесь хоть дожить можно до конца. Думаешь, побьют их в этом году?

— Запросто,— Таня пожала плечами.— Второй фронт открыли, куда им теперь деваться.

— Да-а-а...— Анна покачала головой, задумалась, потом спросила, спохватившись: — Может, пива хочешь? Сходи, Надь, принеси там похолоднее. А я вот теперь все думаю,— продолжала Анна, когда младшая вышла,— война кончится — с нами-то что будет? По головке-то нас, скажи, не погладят, а? Они ведь как смотрят — был у нас такой в Краснодаре, я его как-то встречаю под ноябрьские, ну как обычно — с наступающим вас, говорю, а он мне — ты-то уж не поздравляла бы, ты у немцев работаешь, другие небось праздники справляешь, ихние! А потом еще ехидно так — ничего, говорит, наши скоро вернутся, вот тогда придется ответ держать...

— А вы у немцев работали?

— Ну работали — посуду мыли на кухне! А чего было делать? Папусю нашего еще в сорок первом убило, только взяли, и через месяц похоронка пришла, мамуся все болела, мы с Надькой и крутились как могли. А даром и советская власть никого не кормила, неужто немцы бы стали? Но напугал он меня тогда, паразит, я прямо не в себе была... Мы ведь через это и в отступление с немцами поехали,— добавила она, поколебавшись.— Сдуру, наверное. А теперь и вовсе!

— Так вы что — добровольно сюда?

— Да нет, сюда-то забрали. С Украины уже, с Первомайска, мы там мамусю нашу похоронили, прошлой весной, а вскорости нас через арбайтзамт замели. Нет, я про то говорю, что мы из дому с ними уехали. Может, они и заставили бы, там не понять было — кого заставляли ехать, а кого нет, по-разному случалось. А с нами как вышло? Они после Нового года засобирались, мне шеф и говорит: давай, мол, решай, с нами поедешь или будешь ждать красных. Смеется: Сталин, дескать, вам капут сделает, он тех не любит, кто в оккупации был, всех за это дело в Сибирь... Я сразу того вспомнила, который мне грозился. Может, если б не мамуся, мы с Надькой и остались бы — вины-то за нами и в самом деле не было, ну потаскали бы да отпустили, что с нас взять!

А как подумала, что если нас заберут, то она — больная — одна останется... Тебя, Надька, только за смертью и посылать,— прикрикнула она на вернувшуюся с бутылками сестру.— Ты бы еще час провозилась!

— Да там этот длинный уезжает, счет сказал выписать.

— Какой еще длинный?

— Да с Дрездена который, Ридель по фамилии.

— А, этот кобель! Уехал? Ну и ладно, надоел он мне... Давай, Тань, пиво хорошее, свежее. Еще бы сюда пару-другую градусов, совсем бы было тип-топ.

— Не напоминай мне про градусы, меня тут недавно самогоном угощали, бр-р-р,— Таня поежилась от омерзения.

— Откуда самогонку-то взяли?

— Варят у нас ребята, там такое производство! Упал английский самолет, а они сделали из него самогонный аппарат.

— Ну, мастера,— Анна рассмеялась.— Я тебе точно говорю: советский человек нигде не пропадет. И мы с тобой, Надь, в Сибири бы не пропали, зря все-таки сдрейфили.

— Что теперь говорить...

Ридель, подумала Таня, маленькими глотками отпивая холодное пиво. Ридель, Ридель... Где она могла слышать эту фамилию? Но девчонки бедные влипли. Как их угораздило уехать с отступающими немцами? Теперь действительно могут обвинить в чем угодно. На нее ведь тоже косо все смотрели, соседи в таких случаях всегда первые обвинители... Хорошо хоть, про нее многие знают, что она работала по заданию,— Володя, сам Кривошип, Лисиченко, Сергей Митрофанович тоже наверняка догадывался — после того случая, когда Володя застрелил полицая. А то ведь тоже могли бы потом приписать все, вплоть до измены родине. И поди доказывай, что ты не верблюдица. Но что за Ридель, почему...

— У вас ведь немцы недолго были? — спросила она.

— Не, недолго. Они в середине августа пришли, а в январе уже драпать начали. Нас в конце января и вывезли.

— Вообще, я думаю, вам бояться нечего — ну, объясните, как получилось, растерялись просто, чего же тут не понять? В крайнем случае можно сказать, что немцы заставили ехать. А что работали — естественно, а что было делать? Не в полицию же пошли служить.

— Да Господь с тобой, какая полиция! При кухне вкалывали, уж это-то все знали.

— Тогда тем более, если еще есть свидетели.

— Свидетели-то есть,— Анна вздохнула.— Да что толку? Верно у нас до войны говорили — был бы человек, а статья найдется. А теперь-то и вовсе! Кормила, скажут, фашистских оккупантов, а их надо было крысиным ядом травить.

— По-моему, вы сами себе какие-то страхи придумываете...

На обратном пути — она уже доехала до развилки с указателями на Ксантен и Гох — Таню вдруг ужалило: Ридель, ну конечно же! Господи, да уж не тот ли это, что передал тогда письмо от Кирилла Андреевича, или просто совпадение? Но Надя ведь, кажется, сказала: Ридель из Дрездена, если только ей не послышалось... Догадка была так внезапна и ошеломительна, что Таня чуть не свалилась с велосипеда — едва удержалась, завиляв передним колесом.

Съехав на обочину, она постояла минуту, упираясь ногой. Ну, допустим, это действительно тот самый, и что тогда? Да не все ли ей равно! Смешно, в самом деле — так из-за этого разволноваться... Нет, но все-таки интересно, вдруг это действительно *тот* Ридель! Развернувшись, она погнала громыхающий и подпрыгивающий велосипед обратно в сторону Калькара.

Анна вышла ей навстречу — наверное, увидела в окно.

— Забыла чего? — спросила она.— Или техника отказывает?

— Да нет, нет... Сейчас скажу, дай отдышаться,— Таня перевела дыхание, обмахиваясь растопыренными пальцами.— Слушай, у вас тут — ты сказала — человек один останавливался, сегодня уехал. Просто мне фамилия показалась знакомой — как его, Ридель?

— Ну, был, кобель этот длинный с Дрездена.

— Из Дрездена — это точно? Ты не ошиблась?

— Ну пойдем в книге посмотришь, чего я тебе — врать буду?

В прохладном полутемном вестибюле, пахнущем паркетной мастикой и старым сухим деревом, Анна включила свет над конторкой, раскрыла регистрационную книгу и стала водить пальцем по странице.

— А, вот он, гляди,— подозвала она Таню. Та подошла, затаив дыхание. В указанной строчке было написано четким аккуратным почерком человека, привыкшего иметь дело с чертежами: Dr Ing. Ludwig Riedel, «Wernicke S/Bau», Dresden.

— Дринг,— фыркнула Анна,— это уж точно — выпивоха еще тот! А ты что, знаешь его?

— Сама не пойму... Слушай, а что он говорил?

— А не говорил ничего, руки только распускал, паразит. Сперва ко мне начал подкатываться, ну я ему живо мозги вправила, так на другой день смотрю — он уже Надьку за титьки лапает...

— Я понимаю. Но если ты говоришь, что подкатывался, значит, какие-то разговоры все-таки были. Что-то же он о себе должен был сказать? Ну, хотя бы — зачем приехал, в отпуск, или по делам? Дрезден ведь далеко, это не то что из какого-нибудь Крефельда сюда заглянуть...

— Погоди,— Анна подумала.— Да, чего-то рассказывал такое... не то, мол, строим тут у вас, не то — будем строить. Насчет американцев еще говорил — там, дескать, одни юды и потом эти, как их, ну... плутократы. И надо, мол, крепить против них оборону, чтобы наш могучий райх простоял еще тысячу лет. Ну это он, по-моему, дурочку валял — как-то все так, с подковыркой...

— Не говорил, что собирается еще приехать?

— Да не помню уже, вроде не слыхала про это. А вообще-то, если они и всамделе тут стройку задумали, так будет еще бывать. Если приедет, я скажу, фрейлена тут, мол, одна вами интересовалась, сразу стойку сделает, будь уверена.

— Нет, нет, ты что! Я вот просто думаю... Если приедет — на всякий случай — как бы это устроить, чтобы вы мне дали знать...

— Да чего тут устраивать, Надька прибежит, скажет.

— Да, пожалуй. А ему, смотрите, не проговоритесь, и Надю предупреди, чтобы не сболтнула...

Снова оседлав велосипед, Таня всю дорогу до Аппельдорна раздумывала над тем, что будет делать, если Ридель и впрямь появится во второй раз. Конечно, другой такой возможности не будет — узнать что-то о Кирилле Андреевиче, о том, что же в конце концов произошло там в тот день, когда ее привезли в гестапо,— что за стрельба была возле комиссариата, и правда ли, что тогда застрелили Кранца... Но это ведь значит — раскрыть себя! Кто знает, что он за человек, этот Ридель... Кирилл Андреевич, помнится, отзывался о нем хорошо — или это он о ком-то другом говорил? Да нет, вроде о Риделе; это когда она рассказала ему потом, как он позвонил насчет письма, а фрау Дитрих возмутилась — почему это ей звонят на службу по личным делам... Да, и он тогда сказал, что этот Ридель... не немец, кстати, а австриец... что он порядочный человек и не питает к нацистам симпатии.

А все-таки страшновато! Был порядочным, но мало ли что могло произойти с тех пор. Страшно еще и потому, что вдруг узнает от него плохое. Что? Да что угодно может узнать! Ведь самый главный вопрос: почему ее тогда вообще арестовали? В Энске должно было что-то случиться, если ночью позвонили Ренатусу; то есть понятно, что она провалилась — Ренатус же назвал ее «неудавшейся Мата Хари»; но если узнали о ней, значит, провалился и кто-то еще... Господи, а что, если бедный «марсианин» тоже влип! Все они, в конце концов, знали, на что шли; может, не представляя до конца, она-то сама — это уж точно! — не представляла совершенно; но все же, все же... А Кириллу-то Андреевичу и вовсе на чужом пиру похмелье. И втравила его она. Нет, она должна будет спросить у Риделя. Если, конечно, хватит смелости. Может и не хватить. Никогда не была героиней, даже дома. А здесь и подавно! Дома, говорят, стены защищают. Кто и что защитит ее здесь?

На подворье Клооса было по-воскресному тихо, ушедшие в «Бутцлар» (так называлось поместье Хюльгера) еще не вернулись. Таня без аппетита поела в пустой кухне, помогла Светке накачать воды для коров и неожиданно для самой себя решила тоже пойти в гости к баронским хлопцам. Сегодня она просто не могла оставаться наедине со всем тем, что нахлынуло на нее при известии о Риделе.

Старый крестьянский домишко, где барон поселил своих «остарбайтеров», стоял на отшибе, поблизости никто не жил, и воскресные гульбища не привлекали внимания — поэтому сюда так охотно и приходили. В усадьбах поменьше работницы жили под одной крышей с хозяевами, как правило — где-нибудь над хлевом или конюшней, поэтому если посещения посторонними лицами и разрешались от случая к случаю, то всегда с кучей запретов и оговорок: не шуметь, не засиживаться позже определенного часа, и уж конечно — Боже упаси! — не курить. Курение запрещалось всюду самым строжайшим образом, щелястые чердачные помещения в этих столетних постройках были и в самом деле крайне огнеопасны.

А в «общежитии» и пили, и курили — огородик за домом был засажен сплошь самосадом, к нему привыкли даже некоторые немцы победнее, и за две-три связки хорошо провяленных на чердаке листьев всегда можно было выменять старые рабочие штаны или пару деревянных башмаков-сабо — «клёмпов», как их называли в здешних местах. Сегодня здесь было накурено так, что у Тани защипало глаза, едва она вошла.

— Хоть бы окошки пораскрывали,— сказала она,— а то закупорились и сидят, как пауки,

— Да мы тут наши песни пели,— объяснил Вася,— все-таки шоссейка рядом проходит, вдруг какие фанатики будут ехать, услышат.

— Нету у них других забот — слушать, что вы тут горланите,— Таня распахнула одно окошко, другое, протиснулась на предложенное место за столом и опять оказалась рядом с давешним своим ухажером Колькой. Тот сразу налил полкружки, она храбро зажмурилась и отхлебнула сколько могла.

— Ты закусывай, закусывай,— заторопился Колька, всовывая ей в руку большой теплый огурец,— а то с непривычки...

— Ой, да отстань ты,— едва выговорила она, когда вернулось дыхание,— неужели нельзя эту гадость чем-то разбавить, это же с ума сойти — пить такое... Девочки, передайте там луку!

Лук перебил мерзкий вкус свекольного самогона, и Таня вдруг почувствовала себя совсем неплохо. Если бы питье не было связано с такими отвратными вкусовыми ощущениями, можно было бы, пожалуй, понять пьющих. В известные моменты, конечно. Когда не хочется думать, это действительно помогает. Или когда думать страшно. А ей было страшно с того момента, когда она — после рассказа Анны — подумала, как хорошо, что есть люди, знающие обстоятельства ее поступления в энский гебитскомиссариат. Иначе ее положение могло бы оказаться куда хуже, чем у этих двух дурочек.

Глава 16

События 20 июля не нарушили жизнь Дрездена ни в малейшей степени, даже об арестах ие было слышно — хоти, конечно, кого-то наверняка посадили. Старый Вернике пригласил к себе ведущих сотрудников фирмы и, стоя навытяжку за письменным столом, произнес приличествующую случаю речь, выразив чувство той глубокой радости, которая не могла не вспыхнуть в каждом истинно германском сердце при известии о чудесном спасении фюрера, едва не ставшего жертвой преступного замысла кучки предателей и авантюристов.

— Авантюристы — точное определение,— сказал Ридель, выходя из кабинета шефа,— тут я со стариком полностью согласен.

Болховитинов промолчал — сам не мог еще разобраться в своем отношении к случившемуся. На первый взгляд — да, героический поступок, особенно того полковника, который осуществил покушение. Вопрос лишь, зачем все это было затеяно? Где эти «тираноборцы» были раньше, почему только теперь — проиграв войну на всех фронтах — сообразили они, что от Гитлера надо избавляться?

Так или иначе, заговор был затеей более чем сомнительной. Сомнительно даже, привело ли бы это к окончанию войны. У Риделя был недавно странный разговор с одним случайным собутыльником, майором инженерной службы; они крепко поддали, вылакав вдвоем литровую бутылку «болса», и майор, узнав, что фирма получила заказ-контракт ОТ на строительство оборонительных сооружений в междуречье Ваал — Маас, заявил с таинственным видом, что сооружения эти им, скорее всего, придется строить совсем с другой стороны — где-нибудь по Висле или Одеру. Очень может быть, сказал он, война в самом скором времени примет совершенно новый оборот — Западный фронт вообще перестанет существовать, и все будет решаться на Востоке...

С майором этим они пьянствовали где-то в Голландии, куда Ридель ездил по поводу нового контракта, и он не придал словам собутыльника никакого значения — мало ли что болтают за рюмкой. Но после двадцатого вдруг вспомнил и рассказал Болховитинову — оба они согласились, что майор, видимо, был к чему-то причастен, и отчасти знал, что говорил.

— Но ведь тогда это значит,— сказал Ридель,— что их превосходительства просто собирались заключить сепаратное перемирие с англо-американцами, и все силы бросить на Восточный фронт! Представляешь, к чему это привело бы? Во-первых, распад коалиции — золотая мечта Адольфа! — а во-вторых, один на один с русскими мы могли бы драться еще и два года, и три, и вообще конца не было бы этому бардаку! Теперь-то хоть дело явно идет к финалу.

Да, дело шло к финалу, события в Берлине показали это особенно наглядно. Думая о приближающемся конце войны, Болховитинов снова и снова задавал себе вопрос, что же теперь будет с ним самим. Продолжать жить как ни в чем не бывало, где-нибудь в Праге или Париже, представлялось уже немыслимым. Что же тогда — проситься в Советский Союз? Пустят ли, вот вопрос... Участникам Сопротивления (их немало и во Франции, и в Бельгии) советское подданство, скорее всего, предоставят. А другим? Сомнительно, очень сомнительно. Уж ему-то, работающему у немцев, на что вообще можно рассчитывать?

Начался август. Газеты скупо сообщили о «спровоцированных безответственными элементами» беспорядках в Варшаве, которые успешно подавляются имперскими силами безопасности, опубликовали смертный приговор по делу первой группы заговорщиков; в их числе был один фельдмаршал, а также генерал-танкист Гёпнер — тот самый, осенью сорок первого пообещавший фюреру с ходу взять Москву фронтальным ударом. Придя однажды на работу, Болховитинов услышал, что шеф о нем справлялся и ждет у себя.

— Мой дорогой Больхофитинхоф,— сказал старик, усадив его в кресло и предложив сигару.— У меня для вас прекрасная новость! Голландский вариант стал, увы, реальностью. Как вы насчет того, чтобы поработать в новой обстановке?

— Почему именно я?

— О! Вы человек молодой, энергичный, не обремененный семьей... И, так сказать, в силу обстоятельств вашей биографии, насколько я понимаю, склонный к перемене мест. Чего не скажешь о других наших сотрудниках — тех немногих, которым фирма могла бы поручить эту работу. Действуя методом исключения, перст судьбы указывает на вас и господина Риделя — он, хотя и не молод, еще бодр и активен. Вы сможете выехать через неделю?

— Когда угодно. А какой рабочей силой мы будем располагать?

— Это уж забота тодтовцев! Иностранцы, вероятно, ну и часть местного населения — по краткосрочной трудовой мобилизации. Да это неважно, дорогой мой, в квалифицированных строителях там нужды не будет, за это я вам ручаюсь...

После утомительной двухсуточной поездки через всю Германию Арнем поразил его чистотой, покоем, какой-то неправдоподобной, почти довоенной ухоженностью. Правда, при более близком знакомстве с городом благополучие оказалось чисто внешним — в лавках было пусто, по карточкам продавалось самое необходимое в микроскопических дозах. Хотя, надо сказать, горожанки и дети (мужчин на улицах было мало) выглядели не слишком истощенными. Но главное — это чистота. Болховитинова каждый день интриговало неукоснительное утреннее мытье тротуаров горячей водой с мылом. Может быть, при этом использовалось какое-нибудь особое техническое мыло, непригодное для обычного употребления?

Представившись своему новому тодтовскому начальству, он под расписку получил на руки тоненькую папку технической документации и принялся изучать ее в ожидании Риделя — тот из Дрездена отправился в Берлин и должен был приехать сюда несколькими днями позже. Сооружаемый вдоль границы оборонительный пояс громко именовался «Западным валом», но состоял из самых простых сооружений полевой фортификации: траншей, орудийных ложементов (судя по габаритам — для противотанковой артиллерии), разного рода укрытий. Самым трудоемким элементом были противотанковые рвы, один по линии Вестерфоорт — Эльст — Беммель, а другой — его продолжение на левобережье Ваала — через Краненберг до Геннепа. Около пятидесяти километров; противотанковый ров полного профиля, это в среднем 10 тысяч кубометров грунта на километр; здесь, стало быть, придется перелопатить полмиллиона кубов. Как говорят в России, мартышкин труд, противотанковые рвы нигде еще никого не останавливали, а здесь и подавно не остановят. Инженерно-технические средства преодоления были разработаны уже в сороковом году — самоходные аппарели, танки-мостоукладчики, уж, наверное, у союзников теперь всего этого хватает. Да и без них можно обойтись, достаточно прицельно пробомбить эту нелепую канаву с воздуха, чтобы сделать ее вполне преодолимой...

Скорее всего, и не успеют здесь ничего соорудить. События ускорялись с каждым днем, наши войска вышли уже к границе Восточной Пруссии, в вашингтонском пригороде Думбартон-Окс открылась конференция четырех держав по вопросу создания после войны международной организации — похоже, задумано было нечто вроде новой Лиги Наций; в Румынии неожиданно пал режим Антонеску и новое правительство объявило войну Германии; двадцать пятого, через два дня после приезда Болховитинова в Голландию, он вечером настроился на волну Би-Би-Си и узнал о вступлении в Париж танковых авангардов генерала Леклерка. Он порадовался за французов — молодцы, не стали дожидаться американцев...

Приехал, наконец, Ридель — еще более исхудавший, небритый и изрыгающий хулу на мироздание, англо-американских воздушных убийц и великий тысячелетний рейх германской нации. В пути, оказывается, он трижды побывал под бомбежками и где-то — не то в Магдебурге, не то в Касселе — ухитрился потерять чемодан с вещами.

Выпив, Ридель подобрел, забыл о своей утрате и стал рассказывать берлинские новости. Там, сказал он, все до сих пор трясутся от страха — после двадцатого хватали направо и налево, в тюрьму угодили многие вообще не причастные, как говорится, ни сном ни духом. Прихватили даже третьего брата Штауффенберга — тот, кажется, историк, вообще никогда не имел дела ни с какой политикой; через неделю, правда, выпустили, но ведь могли сгоряча и прихлопнуть, как Клауса и Бертольда!

Работы на трассе уже начались, но люди продолжали прибывать, и реквизированных помещений для них уже не хватало. Голландская фирма, которая по субкон-

тракту с «Вернике» должна была обеспечить южный участок шанцевым инструментом, прислала три тысячи совковых лопат, но ни одного заступа, а кирки были доставлены без рукоятей; позже рукояти обнаружились на другом конце трассы, где их — не найдя лучшего применения — стали уже использовать в качестве маркировочных кольев при разметке.

Народ был сюда согнан самый разный: подростки из «гитлеровской молодежи», мобилизованные голландцы, «восточники», набранные по трудовой разверстке в крестьянских хозяйствах, беженцы из разрушенных городов и немцы-батраки постарше, до сих пор ухитрявшиеся ускользать от разных мобилизаций и призывов. Все это бестолково топталось туда-сюда, переругивалось, пыталось объясняться на разных языках и диалектах и кое-как расковыривало лопатами сочные луговые пастбища.

Первое время, пока все налаживалось, Болховитинову с Риделем тоже пришлось побегать, но потом ежедневное их присутствие на трассе стало излишним. Начальство перебазировалось из Арнема в Неймеген, но Риделя этот город не устраивал с того дня, когда у него на глазах в самом центре — на Амстельграахт — ехавший на велосипеде парень вдруг свернул к тротуару, остановился, упершись ногой в поребрик, и в упор застрелил поравнявшегося с ним прохожего — вполне респектабельного господина с портфелем. Застрелил, снова вскочил в седло и скрылся за углом — только его и видели. Ридель после этого решил, что хватит с него голландцев, и стал пропадать на немецкой территории — в Клеве, где успешно склонял к прелюбодеянию жену какого-то крупного бонзы, защищающего интересы рейха то ли в Греции, то ли на Балканах.

Болховитинов снял комнату в Краненберге, очень удобно — как раз на полпути между Неймегеном, где иногда надо было все-таки появляться, и Клеве, куда он ездил за русскими книгами. Дело в том, что Ридель случайно познакомился там с бывшим чиновником министерства иностранных дел, давно вышедшим в отставку, который когда-то служил в Петербурге, знал язык, и — узнав, что с Риделем здесь русский коллега — выразил готовность познакомиться и показать свою библиотеку. Болховитинов поехал — читать было действительно нечего; экс-дипломат оказался любезным, довольно чопорным старым господином. Пользоваться библиотекой Гейслер предложил Болховитинову сам, но с условием: не брать более двух книг за раз и — «уж не обессудьте, порядок есть порядок» — обязательно записывать взятое в особом журнале.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 17

Елена приехала в Ленинград в конце августа. До последнего момента не помышляла о возвращении в этот город, но потом вдруг все стали в один голос твердить, что она сошла с ума, как можно терять ленинградскую прописку,— многие из эвакуированных месяцами тщетно добиваются вызова, а она ведь имеет право как демобилизованная, и подумала ли она о ребенке — что же, легче ей будет растить его где-нибудь в глуши?

Насчет того, где будет «легче», она как раз и не думала; но трезвая мысль о ленинградской прописке (для *него,* потом) в конце концов перевесила страх перед возвращением.

Родной город она увидела безлюдным, непривычно тихим — и чистым. Это была какая-то странная чистота. Ленинград жутковато напоминал квартиру, только что прибранную после похорон, когда уже все разошлись, и выметены затоптанные лепестки цветов и еловые веточки, и комнаты стоят светлые, проветренные и опустевшие. Такой была площадь Восстания, такими были Невский и Адмиралтейский проспекты, площадь Труда. Трамвай шел полупустым, она сидела боком на длинной продольной скамье, вплотную приблизив лицо к стеклу, и смотрела, смотрела — жадно, не отрываясь, не замечая текущих по щекам слез. Разрушений было мало, гораздо меньше, чем она ожидала увидеть, город начинал возвращаться к жизни, но каким он стал... другим, не похожим на себя!

Трудно было, впрочем, сказать, действительно ли Ленинград так изменился, или это ей только казалось от того, что на зрительные впечатления накладывалось все, что она знала о его недавнем прошлом. Сейчас, глядя из окна идущей привычным маршрутом «четверки» на безлюдные, чисто выметенные тротуары, на пустые витрины под уцелевшими еще кое-где довоенными вывесками «Галантерея», «Канцелярские товары», «Соки-воды», она видела город таким, как он был тогда, два с половиной года назад — тропки между сугробами, заметенные по крышу троллейбусы, вмерзшие в лед трупы, оцепенелые очереди у булочных, мрак, холод — и мертвый стук метронома, днем и ночью оглашающий все это гигантское кладбище живых и мертвых — от Гавани до Пороховых, от Удельной до Автова... И они, они — чье отсутствие так страшно населяет сейчас эти пустые чистые улицы — дети, старики, женщины, умиравшие

тогда за каждым из этих потускневших окон, до сих пор перекрещенных белыми бумажными крестами, погибавшие во мраке и беспредельном отчаянии... Неужели никто так и не ответит за этот город?

Самым непостижимым казалось Елене именно то, что ни один из ленинградцев, с кем ей довелось говорить о блокаде, не задавал себе этого вопроса. Когда она допытывалась — но как, как могло получиться, что не прошло и полугода после начала войны, а Ленинград уже остался без продовольствия и угля? — они отвечали недоуменными взглядами — странный, мол, вопрос, фашисты же перерезали дорогу, хотели нас уморить. Единственными виновниками оказывались фашисты, поскольку они начали войну, пришли, окружили, установили блокаду. И никто другой!

Может быть, так и надо было думать, если так думают все? Но Елена ничего не могла с собой поделать, она думала по-другому. Иногда ей даже казалось, что блокадники просто выработали в себе способность закрывать на что-то глаза, избегать — даже в мыслях,— касаться каких-то запретных тем. Возможно, и с нею было бы то же, проведи она блокаду здесь, в Ленинграде; возможно, она и сама оказалась бы во власти «блокадного психоза». Но судьба распорядилась иначе, и Елена — напротив — не могла заставить себя не видеть того очевидного, чего умели не видеть другие. Хотя уметь не видеть было бы, вероятно, куда проще. Единственным из ленинградцев, кто ее понимал, был Игнатьев — тоже, кстати, не бывший здесь во время блокады.

Трамвай между тем уже съезжал с моста Лейтенанта Шмидта, Елена посмотрела направо, налево — Академия художеств была на месте, купола церкви за памятником Крузенштерну — тоже; разрушений не было видно и здесь. Все-таки, видно, не так уж сильно пострадал Ленинград от бомбежек и артобстрелов, и если бы не голод, не морозы первой зимы, блокада не обернулась бы таким кошмаром. Если бы, если бы... Если бы хоть кто-то подумал о том, о чем надо было думать тогда, в самом начале!

Елена взяла свои вещи и, пошатываясь — трамвай дергало из стороны в сторону,— направилась к площадке. Ее уже начало трясти от мысли, что вот сейчас она увидит свой перекресток, и дом, заметный среди других домов линии полукруглыми эркерами, и скамейку на бульварчике вдоль Большого, куда она обычно вывозила Мишеньку на прогулку, катала от угла до угла, а когда засыпал, садилась здесь и читала, время от времени слегка покачивая коляску — от долгой неподвижности он почему-то начинал беспокоиться, кряхтеть, мог проснуться. Как будто уже тогда жил в его не успевшем пробудиться младенческом сознании страх перед неизбежной и еще никому, кроме него, не ведомой разлукой. Покачивание было сигналом благополучия — все в порядке, мама здесь, рядом, никуда не ушла...

Господи, смятенно подумала она, когда трамвай заскрежетал тормозами, пусть не окажется этого дома, пусть я ничего не увижу на его месте — я ведь все равно не смогу, не вынесу, мне туда не войти,— пусть лучше пустырь, ровное место, чтобы ни стен, ни напоминаний, ничего!

Но дом оказался на месте, она увидела его, как только отошел трамвай; стоял, как ни в чем не бывало, серый, с полукруглыми эркерами и извивающейся стеблями кувшинки, лепниной в стиле модерн, которая всегда напоминала ей тиснение на переплетах Гамсуна из отцовской библиотеки. На месте была и скамейка — неизвестно, правда, та ли самая, скорее всего, нет, ту, наверное, сожгли, истопили во времянке — тогда ведь жгли все: мебель, книги. Елена перешла проспект, села, бросив рядом вещмешок и поставив чемодан у ног. Может быть, в ней действительно есть что-то не совсем нормальное, не такое, как у всех; или так бывает со всеми? Как объяснить эту странную, извращенную какую-то шкалу привязанностей: казалось бы, она должна была сейчас больше горевать по мужу, любимому и любившему ее, но с той утратой она давно смирилась, хотя и понимала, что такого в ее жизни никогда больше не будет. Смирилась и с утратой собственных родителей. Или тогда так бывало со всеми — смирилась, чтобы выжить, словно срабатывал какой-то предохранительный механизм?

С чем она смириться не могла (и чувствовала, что никогда, наверное, не сможет) — это со смертью сына и со смертью свекра и свекрови — людей, которые заменили ей родителей и которых она предала в самый тяжкий час. Предав, таким образом, и память мужа, хотя убеждала себя, что уходит на фронт именно ради его памяти. Страшно себе представить, что она сделала: из любви к мужу обрекла на смерть его родителей и его ребенка, главное — ребенка (старикам, в конце концов, может быть, и не так уж много оставалось жить), своего Мишеньку — такого беззащитного, смотревшего на нее по утрам с таким радостным ожиданием...

Что ж, теперь ей оставалось одно — пытаться искупить все сделанное. Хоть в этом судьба оказалась к ней милосердной, хоть это послала: возможность искупления. Сейчас она пока совершенно не представляла себе, как будет жить, на что, как теперь — с ребенком на руках — сумеет освоить какую-то специальность. На зарплату машинистки вдвоем не прожить, хотя глупости, что значит — не прожить, стыдно так думать в этом городе, где еще недавно человеческая жизнь не перевешивала ста двадцати пяти граммов целлюлозного хлеба. Теперь-то проживешь, сказала она себе, и сама прожи-

вешь, и *его* выкормишь... Она сунула руку под шинель и осторожно положила на заметно уже выпуклый и отвердевший живот. Если будет мальчик, я назову его Богданом, сказала себе Елена.

Только на следующий день, сдав в милицию документы для прописки и до усталости находившись по улицам, она за ужином спросила наконец, как это все было.

— Ну что тебе сказать, Ленуся,— Вера Панкратьевна вздохнула.— Мишенька умер в стационаре, как мне потом сказала сестра — от воспаления легких. Застудили, видно, это еще перед Новым годом было... а много ли маленькому надо, они ведь там все были такие ослабленные, ну да ты и сама понимаешь, что такое дистрофия в младенческом возрасте. Хотя за ними и уход там был, какой возможно, и как-то питание ухитрялись — соевое молоко, киселики разные...

Елена встала, прошлась по кухне, зябко обхватив себя за плечи.

— А... Алексей Сергеевич, Анна Дмитриевна — они когда?

— Сергеича не стало в январе. Он долго не сдавался, все ходил, ходил, то досочку откуда-то принесет, раз ветку притащил — большой такой сук, в руку толщиной, чтоб не соврать. Осколком, видно, срубило там, на Большом, ночью была бомбежка, а он утром пошел и притащил. Мы его распилили, высушили, много получилось дров... Да, а потом вдруг слег. Опухать уже стал, так что я сразу поняла — не жилец. Да он и сам понимал. Я накануне шрота немного выменяла...

— Чего выменяли?

— Шрот, это жмыхи такие соевые, тоже варить можно было. Ну, сварила, принесла ему, а он мне тихо-тихо так: не надо, говорит, поделите лучше с Аней, мне уж ни к чему, финис. Все-таки поел немного, уговорили, а утром смотрю — он уже окоченевший. А вот как с Митревной получилось, этого я, Ленуся, не знаю. Пропала она просто, недели через три, наверное, точно и не припомнить, сама я уже плоха была, почти и не вставала. Она за хлебом пошла, и не вернулась. Может, отдохнуть присела да замерзла, а может, карточки выхватили, а у нее ведь сердце слабое было, ты же помнишь. Едва отходили, когда на Мишу похоронная пришла. Господи, ну что это за народ такой, немцы эти — ведь всю семью, подумай, всю семью!

— При чем тут немцы,— сказала Елена.— Немцы убили Мишу, достаточно и этого. За остальное своих надо благодарить.

— Бог с тобой, Ленуся,— испугалась Вера Панкратьевна,— что ты говоришь такое...

— Говорю то, что есть! Мужа у меня убили немцы. А сына...— голос у нее прервался, она поднесла руку к горлу и продолжала с усилием: — Сына убили те мерзавцы, которые за месяц до войны гнали в Германию эшелоны с хлебом, вместо того чтобы сделать запасы в Ленинграде!

— Да ведь кто знал...

— Кому надо — знали! У нас заводы когда начали вывозить? Уже в конце июня на Пролетарском демонтировали станки — вспомните, Коля приходил, рассказывал. Понимали, значит, что Ленинград не сегодня-завтра может оказаться в кольце! А позаботились хотя бы запасы сделать?

— С этим, конечно, промашка вышла, кто не ошибается? Нет, Ленусь, ты таких разговоров не слушай и Боже тебя упаси их пересказывать — сейчас, знаешь, как с этим строго...

— Что, опять? — Елена усмехнулась.— До войны, значит, план не выполнили, не успели. Ничего, теперь наверстают! Вера Панкратьевна... я все-таки схожу, посмотрю, а?

Вчера она так и не смогла заставить себя войти в те комнаты, переночевала на раскладушке у Веры Панкратьевны. Но надо было решиться.

— Зайди, конечно, Ленуся, когда-то ж все равно... Может, хочешь вместе?

— Я сама, нет...

Вера Панкратьевна с трудом встала и, тяжело опираясь на палку, подошла к Елене, положила руку на плечо.

— Ленуся, я... кроватку Мишенькину убрала оттуда, и коляску тоже — подумала, тебе тяжело будет. Или не надо было? Уж и сама не знаю.

Елена, зажмурившись, часто-часто закивала.

— Нет, хорошо, правильно, что убрали. Спасибо,— прошептала она и, поцеловав руку на своем плече, быстро вышла.

Хорошо, что она не пришла сюда вчера, а осваивалась с квартирой мало-помалу, перебарывая одну боль за другой. Теперь вошла бестрепетно, не испытывая ни страха, ни боли — ничего, кроме бесконечной печали. Господи, почему так безжалостно долговечны вещи, зачем суждено им переживать своих хозяев? Вот и велосипеды обнаружились тут же, Вера Панкратьевна просто убрала их из коридора, оба целы и невредимы — допотопный дамский «Дукс», старомодно-элегантный в своей местами чуть облупившейся вишневой эмали и с шелковой сеточкой на заднем колесе и новый мужской, черный, марки «Украина» — Мишина премия не вспомнить уже за что, когда он еще был студентом...

В то незабываемое лето тридцать девятого года они почти каждый выходной уезжали на велосипедах на целый день — куда-нибудь по Приморскому шоссе, или за Стрельну по Петергофскому, в Мартышкино, в Ораниенбаум — Меншиковский дворец, Катальная горка... Неужели всего одно лето? Да, конечно, одно, в сороковом уже родился Мишенька, значит, это было только в тридцать девятом, но почему оно осталось в памяти таким бесконечно долгим, таким нескончавшимся — черемуха в Верхнем парке, пруд возле Китайского дворца, и белые ночи, возвращение последним поездом на Балтийский вокзал, а потом наперегонки по пустынным набережным, чтобы успеть до развода мостов...

Как все же странно мы устроены, подумала она, утирая слезы, я ведь была совершенно счастлива тогда, уже весной тридцать девятого — каких-то полтора года спустя... Так скоро утешиться после потери родителей? И ведь не просто «потери», они ведь не умерли вместе от какой-нибудь заразной болезни, не попали в крушение, их участь оказалась страшнее, а я смогла так скоро утешиться, только потому, что вдруг устроилась моя личная судьба, еще недавно казавшаяся беспросветной. Что это — эгоизм молодости, инстинкт самосохранения?

Елена прошлась по комнатам — две да еще такие большие, зачем ей столько, может, обменять? Но жалко расставаться с Верой Панкратьевной, да и потом, когда *оно* вырастет, лишняя площадь пригодится, для зятя ли, для невестки... Ладно, рано об этом думать. Мебели осталось больше, чем можно было предполагать, сожгли только стол, несколько стульев, что еще? Да, секретер здесь стоял — тоже исчез. И уж совсем удивительно, что сохранилась даже часть книг. Немного, правда, а все же! Уж книги-то можно было сжечь в первую очередь, но бедный старик предпочитал ходить разыскивать какие-то досочки, сучья... Этого я забыть не смогу, сказала она себе, ни забыть, ни простить себе этого — во веки веков. Господи, если Ты есть, если Ты видишь все, что здесь делается, пошли мне возможность самой искупить свою вину, не перекладывая хотя бы частицы на невиновных...

— Тебе когда рожать-то? — поинтересовалась Вера Панкратьевна, когда Елена вернулась в кухню.

— В ноябре, если доношу.

— Да ну, типун тебе на язык! Чего же не доносить, скажи на милость — молодая, здоровая, придумаешь тоже... Ленуся, ты меня извини, я из письма твоего как-то не поняла — ты что же там, замуж вышла?

— Нет, конечно. Как я могла бы не написать вам, если бы вышла замуж?

— А-а, ну, ну... Да оно, может, и к лучшему. После войны семью начать ладить, это как-то... надежнее. А дитя — это хорошо, Ленуся, это ты хорошо придумала, легче тебе с ним будет. То есть, конечно, оно и тяжелее, кто же спорит, но в главном — легче, это тебе такую даст... силу! — Вера Панкратьевна сжала кулачок и потрясла над столом, показывая, какую силу дает материнство.— Ты вот сама почувствуешь!

— Да, я... пожалуй, уже сейчас чувствую,— согласилась Елена.— Без этого не было бы ради чего... Вера Панкратьевна, это правда, что Мишенька умер в стационаре?

— Господь с тобой, Ленуся,— испуганно ахнула соседка,— да неужто я в таком бы тебе солгала!

— Да, простите, я просто...— Она присела к столу, запрокинув голову, закрыв глаза.— Понимаете, у меня это все время стояло перед глазами, как он остался здесь после... после них и... умирал один совершенно, брошенный, забытый, понимаете...

— Что ты, что ты, опомнись, не могло такого быть, да если бы нам всем вовсе уж худо стало, неужто не позаботились бы, да хоть дружинниц бы кликнули, чтобы забрали,— деток-то подбирали, ходили нарочно по квартирам — девчушки вот вроде той, что тебя встретила. Деток многих так спасли. А Мишеньку в декабре еще в стационар забрали, там все ж таки хоть чуть, а протапливали как-то, а здесь ведь вовсе был холод... Хорошо, у нас управдом еще до холодов воду из отопления догадался спустить, а то и батареи бы все полопались, как в других домах. Хороший человек был, царствие ему небесное, тоже не пережил первой зимы...

Елена долго молчала, потом спросила:

— Вера Панкратьевна, вы в Бога верите?

— В Бога? Да нет, Ленуся, пожалуй что и не верую больше. В молодости вроде веровала... давно, когда жизнь была благополучная. А потом ушла моя вера. Не могла я этого понять, если Он такой всевидящий и милосердный, как батюшки говорили, как же Он терпит и позволяет то, что люди с собой делают...

— Ну да, это... труднее всего понять. И все-таки... Мне кажется, не верить ни во что можно как раз наоборот — только если живешь совершенно благополучно. А так — вообще полная бессмыслица, да что я говорю «бессмыслица», это уже безумие запредельное — допустить, что всему этому нет какого-то высшего оправдания... Я тоже —

не знаю совершенно, но этого допустить не могу, это ни в какие ворота, понимаете, нас ведь учили, что все в мире разумно, даже в природе все разумно устроено, но тогда и человеческая жизнь — жизнь общества — тоже должна быть устроена разумно. А что получается? Ну где эта «разумность», где этот «мировой порядок»? Я, когда родителей забрали, жила одно время за городом... из квартиры выселили, из института отчислили, спасибо, нашлась бывшая домработница — приютила. Так вот, она — а она была верующая, мне тогда тоже странным это казалось — она очень как-то спокойно на все смотрела, не то чтобы равнодушно, нет, равнодушная не взяла бы к себе дочь «врага народа»... от меня ведь знакомые на улице шарахались, проходили мимо, не узнавая... У нее действительно покой и мир были в душе, понимаете, она говорила, что все это одна видимость, надо лишь перетерпеть, а потом каждому воздастся — и за то зло, что он причинил другим, и за страдания, которые сам принял. Конечно, я не могла тогда этого понять, я и сейчас не могу сказать, что... ну, поняла, приняла до конца! Но вы понимаете, это действительно придает смысл всему, смысл, оправдание, разумность. А иначе...

— Ох, Ленуся,— Вера Панкратьевна покачала головой.— Ох, страшно мне за тебя. Ну что вот ты говоришь? Ведь это, если кому другому так сболтнешь, если, не дай Бог, кто услышит — да еще и отец с матерью у тебя репрессированные,— ну ты хоть дите пожалела бы, если на себя махнула рукой!

— Вовсе я не махнула на себя рукой, и за *него* не беспокойтесь, не такая уж я дура, чтобы не понимать... с кем можно, а с кем нельзя.

— Да лучше вообще ни с кем, в привычку надо себе взять — никогда и никому! И самой лучше про такое не думать.

— Лучше, наверное,— согласилась Елена.— Вера Панкратьевна, а почта здесь как теперь работает — нормально уже?

— Да нормально вроде, не жалуемся. А что?

— Съезжу завтра на Кирочную, узнаю... Я тогда оставляла заявление на переадресовку, но вдруг оно за это время потерялось? Наверняка потерялось, а письма могли приходить...

— У матери-то когда срок кончался?

— В прошлом году еще кончился, но мне говорили, что на время войны их все равно там оставляют, уже как вольнонаемных. Будь мама жива, давно бы уж написала...

Поход на Кирочную, как и следовало ожидать, ничего не дал. Поговорив с дворничихой — новой, не знающей ничего о довоенных жильцах,— Елена вышла на асфальтированный пятачок двора, где когда-то прыгала «классики», посмотрела на окна четвертого этажа. Спокойно, не испытывая уже ничего, кроме отрешенной печали. Этот пласт ее жизни погрузился уже в такие глубины прошлого, что воспринимался не как личное воспоминание — так можно припоминать давно читанную книгу, полузабытый фильм. На всякий случай она зашла на почту, написала еще одно заявление.

Обратно шла пешком по улице Чернышевского, по набережным — Робеспьера, Кутузова. Дойдя до Летнего сада, почувствовала вдруг, что устала, и села на первую же скамейку лицом к решетке. День был теплый, почти безветренный, солнце неярко просвечивало сквозь редкую кисею облаков, а в северной стороне небо было и вовсе чистым. Она вспомнила, как Сергей однажды расспрашивал ее про эту решетку, что в ней такого особенного. На снимках я видел, сказал он, красиво, конечно, но ничего выдающегося — наверное, надо самому увидеть, тут же размер играет роль, пропорции... Елена не часто вспоминала о капитане Дежневе, но всегда с благодарностью, с теплым чувством — у *него* хороший отец, что-то в этом мальчике есть чистое и надежное. Мысленно она почему-то его так и называла — мальчиком, хотя не такой уж он для нее «мальчик», моложе — да, но он из тех юношей, которые на войне сразу стали зрелыми мужчинами...

Она подумала, что не исключено, что когда-нибудь они здесь встретятся, он ведь говорил, что собирался учиться в Ленинграде. Забавно может получиться: вдруг нос к носу — а она с ребенком. Встреча фронтовых друзей. Неужели мужчина может смотреть на собственное дитя — и не догадаться, не узнать? Дитя, словно услышало, что о нем думают,— шевельнулось в ответ, теперь уже совершенно ощутимо. Елена положила руку, оно тут же затихло, затаившись. Улыбаясь, она смотрела на решетку, четко врезанную в яркую эмалевую синеву неба над крепостью и думала, что все-таки правильно распорядилась судьба, против воли вернув ее в этот не похожий ни на какие другие, страшный и пленительный город...

Глава 18

Из очередной поездки в Арнем Ридель вернулся в коричнево-черной форме тодтовца — и, ввалившись к Болховитинову, бросил ему на кровать перевязанный шпагатом тючок той же расцветки.

— А это тебе,— заявил он,— переодевайся и цени мою заботу.

— Ты что, совсем спятил? — спросил Болховитинов.— Нам сейчас только мундиры напялить не хватает!

— Это ты спятил. Именно сейчас нам и следует напялить мундир, потому что не пройдет и месяца, как тут вообще начнут хватать за шиворот любого мужчину в штатском. Примерь, и, если окажется не впору, можно поехать обменять.

Болховитинов, пожав плечами, развязал сверток, от которого затхло разило цейхгаузом, надел слежавшийся по складкам китель, прикинул по длине брюки.

— Ну! — восхитился Ридель.— Что значит — глазомер! Услуга за услугу — раз уж я организовал тебе эту роскошную униформу, съезди вместо меня в Вагенинген, там надо получить цемент.

— Цемент? Зачем нам цемент?

— Да не нам, тут сложная операция. Одна местная фирма — нет, бесполезно, ты все равно не поймешь. Словом, они закрывают нам наряд за якобы выполненные для них — опять-таки по субконтракту с той же ОТ — земляные работы, мы за это получаем от них известный бонус в денежном выражении, а они от нас — в натуре — якобы использованный нами цемент..

— Эту «операцию» раскроет любой дурак,— усомнился Болховитинов.— Людей для погрузки взять отсюда?

— Разумеется, откуда же еще! Возьми человек шесть, машина будет завтра с утра...

Это поручение решало неожиданно возникшую проблему. Риделю он не мог сейчас о ней сказать, решил, что скажет позже, если все сойдет удачно. Не из недоверия, а просто на всякий случай: береженого, как говорится, Бог бережет. Два дня назад к нему на работе подошел молодой голландец и по-немецки, явно волнуясь, негромко спросил разрешения задать вопрос. Вопрос оказался неожиданным: правда ли, что он, господин инженер, не немец, а русский.

— Да, я русский,— подтвердил Болховитинов удивленно.— А что?

— Да просто я к немцу обратиться с такой просьбой не могу. Мне, видите ли, надо отсюда исчезнуть, как можно скорее,— юноша помолчал, потом добавил: — Конечно, я вас не знаю, но... Другого выхода все равно нет.

— Исчезайте, кто вам мешает? Рабочий лагерь практически не охраняется.

— А документы? Когда нас взяли сюда, у нас отобрали удостоверения личности, взамен выдали эти справки. А куда с ней?

— Канцелярия, к сожалению, не в моем ведении.

— Нет, я понимаю... Проблема в том, чтобы выбраться отсюда, из этой зоны. Здесь на дорогах усиленная охрана — патрули с собаками, рядом граница. А в... ну, собственно, в любом городе там,— он указал в сторону запада,— дело другое. Там мне сделают документы.

Болховитинов хотел уже спросить, связан ли парень с Сопротивлением (в конце концов, откровенность предполагала быть откровенным до конца), но не спросил, это было понятно и так. Ясно, что не уголовник. Но действительно, что он мог для него сделать?

— Вот если бы вы могли меня куда-то послать,— с каким-то поручением, не знаю... А там я просто бы не вернулся,— предложил юноша.

— Не совсем представляю себе, куда можно вас послать,— сказал Болховитинов.— Куда и зачем. Во всяком случае, подумаю...

Подумав, он так ничего и не нашел, и решил посоветоваться с Риделем, когда тот вернется. А теперь эта поездка оказывалась как нельзя более кстати — Болховитинову хотелось помочь молодому голландцу, хотя он ничего ровно о нем не знал, это могло быть даже провокацией. Ладно, увидим.

Утром все сошло гладко. Наблюдая за раздачей инструмента, Болховитинов высмотрел своего парнишку и сделал ему знак подойти.

— Вагенинген вас устроит? — спросил он тихо, когда тот подошел.— Будьте у меня на виду, сейчас подойдет машина, я отберу шестерых...

Парнишка был прав: дороги в этой части Голландии охранялись усиленно, их останавливали несколько раз. Протягивая патрульным путевой лист, Болховитинов поначалу нервничал — вдруг что-то не так, но бумага была выписана по всем правилам, а имена рабочих вообще не проставили, написали просто — «грузчики — 6 (шесть) чел.». Патрульные пересчитывали их и давали знак проезжать.

Ехали долго, мотор допотопного французского «берлье» с уродливо присобаченным за кабиной газогенератором несколько раз принимался барахлить, чихал, переставал тянуть. На окраине Вагенингена Болховитинов велел остановиться у ресторанчика, сказав, что зайдет купить сигарет.

— А вы пока разомните ноги,— сказал он сидевшим в кузове.— Или, может, кому клозет надо навестить?

Рабочие попрыгали через борт, парнишка незаметно сунул Болховитинову в руку сложенную бумажку.

— Адрес моей матери,— шепнул он, идя рядом с ним к дверям ресторанчика.— Это там рядом — под Неймегеном, я сейчас туда не могу, но если потом вам что-нибудь понадобится...

Болховитинов, не оборачиваясь, молча кивнул.

Немецкие талоны на табак здесь не принимали, пришлось выложить десять марок за пачку какой-то местной дряни. Чтобы протянуть время, Болховитинов спросил еще пива, украдкой развернул на стойке полученный от парнишки обрывок бумаги — почерк, как и следовало ожидать, принадлежал человеку явно культурному, привыкшему иметь дело с пером. Студент, наверное. Скатав бумажку в тугой стерженек, он уже нацелился щелчком отправить его в плевательницу, но что-то остановило; подумав, он пожал плечами и сунул скрученную записку в нагрудный карман кителя.

Вернувшись к машине, он сказал рабочим поторопить еще не вернувшихся, забрался в кабину и закурил.

— Виллема еще нет, господин инженер!

— Понос, что ли, его схватил? А ну-ка сбегайте, позовите!

— Да нету его там, звали уже.

— Ладно, поехали, может, на обратном пути подберем...

Погрузив цемент, они вернулись к этому же ресторанчику, Болховитинов послал одного из рабочих спросить, не видели ли где отставшего, и со спокойной совестью велел трогаться.

Когда вернулись на трассу (по пути свалив мешки цемента в риге какой-то крестьянской усадьбы), рабочий день уже кончился. Протягивая дежурному охраннику путевой лист, Болховитинов сказал, что в пути случилась неприятность: пропал один из рабочих.

— Ну и черт с ним,— ответил дежурный.— Одним бездельником меньше, вон их сколько нагнали — только мешают друг другу. Это не работа, а невообразимое свинство, господин инженер, такое можно увидеть только в Польше!

Риделю он рассказал обо всем этом лишь несколькими днями позже. Как и следовало ожидать, тот его не одобрил.

— Если парня поймают, они из него все выколотят: как бежал, с чьей помощью. Зачем тебе это?

— Он явно участник Сопротивления.

— Да тебе-то что? Любой из этих участников, встретив тебя или меня в темном переулке, застрелит не задумываясь! Я тебе рассказывал? В Арнеме, на моих глазах...

— Рассказывал, рассказывал. Так что же они, по-твоему, не правы?

— Правы, наверное, со своей точки зрения. Но мне какое дело до их правоты? Вообще я голландцев не люблю — колонизаторы были из самых свирепых. Лучше своим соотечественникам помогай, это хоть логично было бы.

— Соотечественников моих здесь нет, ты это знаешь.

— Да, верно, что-то их здесь не видно. Между прочим, в Калькаре — городишко такой, туда, в сторону Ксантена,— там я познакомился с двумя сестрами-черкешенками...

— С кем?

— Во всяком случае, они сами говорят, что с Кавказа. Черт их там разберет, черкешенки, грузинки, поди узнай! Возможно, врут, набивают себе цену. Давай съездим, а? Раз уж ты так тоскуешь по соотечественникам.

— Спасибо, восточные женщины не в моем вкусе,— отшутился Болховитинов.

Новость об устроившихся где-то неподалеку черкешенках Болховитинова не заинтересовала, и он скоро вообще про них забыл. Но потом среди работающих на трассе он все-таки встретил несколько русских ребят — их, оказалось, забрали от бауэров тут неподалеку. Организованную Риделем униформу тодтовца он носить избегал, обычно ходил в штатском, и ребята общались с ним по-свойски, даже не стали особенно интересоваться, почему он тут вроде как бы руководит. Не вдаваясь в объяснения, сам он сказал просто, что сюда его тоже направили по трудповинности.

Так вот, название этого городка — Калькар — снова всплыло однажды в разговоре, когда он поинтересовался, много ли наших было там, где они работали раньше, и были ли среди них девушки. Девчат, сказали ему, тут вагон и маленькая тележка — работают во всех кулацких дворах, где по три-четыре, а где и побольше.

— С дому-то брали всех одинаково, не разбирали,— добавил один хлопец,— а тут, конечно, распределять стали по-разному. Нас больше гнали на производство, ну а девчат все-таки куда полегче — в прислуги многих взяли, а других по бауэрам.

— На производстве они бы сразу концы поотдавали,— подтвердил другой.— Я в литейном цеху работал — чуть не сдох, хорошо, разбомбить успели, а иначе...

— Возле Калькара, во где этих девок навалом! Ходили мы туда раз в выходной, не помню, как село называется.

— Калькар? — переспросил Болховитинов.— Там, мне говорили, в гостинице какие-то две грузинки — сестры, что ли. Не знаете?

— Это которая возле железной дороги? Ну, знаю, «Цум Риттер», там эти — как их — Анька и как же младшую-то...

— Только не грузинки они вовсе,— перебил другой,— с Краснодара обе, ну точно тебе говорю!

Тут разговор прервался — в нескольких местах вдоль трассы одновременно начали завывать маленькие ручные сирены, люди побежали, прыгая кто в канаву, кто в достаточно уже заглубленные участки рва. Расчет установленного рядом четырехствольного 20-миллиметрового автомата, мальчишки в серых мундирах зенитчиков с повязками «Гитлер-Югенд» на рукаве засуетились вокруг своей пушчонки, разворачивая ее навстречу стремительно, над самой землей приближающемуся самолету. Но не успели — тот проревел над головами, показав сине-белую звезду на одном крыле и большие черные буквы «USAF» на другом, и круто пошел вверх. Мальчишек-зенитчиков рабочие боялись больше, чем американских «мустангов»; те наведывались каждый день, но пока мирно, а что будет, если по ним откроют огонь, предсказать было трудно. К счастью, «флакхельферы» никогда не успевали изготовиться к бою (а может, и они тоже были не такие дураки).

А в Калькар все-таки надо будет съездить, подумал Болховитинов. Почем знать? Если там в округе много девушек работает у крестьян, наверняка все уже друг друга знают, может быть, что-то слышали... Бывают ведь самые невероятные случайности!

Но выкроить время на поездку все не удавалось. С ухудшением общей обстановки в этом секторе Западного фронта оборонительные работы приказано было вести форсированными темпами, чуть ли не каждый день приезжало какое-то начальство: то военное, то партийные «золотые фазаны», и, хотя толку от этих посещений не было никакого, оказаться не на месте во время очередной инспекции было бы, конечно, нежелательно. Риделю намекнули, что не исключен визит самого гаулейтера Тербовена, причем явиться он может даже инкогнито.

А обстановка на фронте действительно становилась для немцев все более угрожающей. Почти вся Бельгия была уже в руках союзников; англичане без единого выстрела освободили Брюссель, подступали к Антверпену и кое-где — по слухам — вклинились уже на территорию Нидерландов.

Немцы в ответ усилили «атаки возмездия» по Лондону. Пусковые установки были размещены за Рейном, и косые столбы белого дыма то и дело вырастали на горизонте — по одному, по два, иногда по нескольку сразу. «Фау» взлетали под углом градусов в сорок пять, потом, разогнавшись, переставали дымить и, если удавалось проследить взглядом, становились похожими на обычный самолет. Как-то одна из них, разладившись сразу после запуска, стала быстро терять высоту, пролетела довольно низко над трассой работ — остроносая сигара с короткими прямыми крыльями и какой-то горизонтальной трубой на хвостовом стабилизаторе, она издавала громкий пульсирующий звук, напоминающий работу двухтактного мотора без глушителя. Километрах в полутора «чудо-оружие» приземлилось на открытом пастбище, пропахав фюзеляжем длинную темную борозду; кое-кто из любопытных собрался было бежать туда — смотреть, но там вдруг рвануло так, что земля ощутимо качнулась под ногами. Пожилой немец, стоявший рядом с Болховитиновым, уважительно поднял палец.

— О! — сказал он.— Не меньше тонны! Теперь томми сами получают на голову такие подарки, жаль, что не долетел этот. Но сейчас есть еще и более мощные, «фау-2», это нечто совсем другое!

В субботу шестнадцатого сентября опять была очередная инспекция, народу понаехало много — ходили, разглядывали груды разрытой глины с таким сосредоточенным видом, будто здесь возводилась по меньшей мере еще одна Линия Зигфрида. Непонятно было, действительно ли они верят, что англичан можно будет задержать с помощью подобных «укреплений», или все это уже превращалось в блеф, имитацию некой полезной деятельности. Ридель был убежден, что именно так дело и обстоит.

— В чем главная слабость нацистов? — рассуждал он.— Их мнимое «единомыслие» порождено страхом, что твоя мысль — если ты ее выскажешь — может не понравиться наверху; вначале они избегали высказывать свои мысли, потом нашли, что проще и безопаснее совсем не мыслить. Поэтому сейчас они действительно не думают. Война давно проиграна, но кто из фельдмаршалов отважится заявить об этом прямо и открыто? Так и с нашим этим землеройством ни у кого не хватает духу сказать, что все это чушь собачья и напрасная затрата труда. Напротив, все делают вид, что они усердно участвуют в полезных оборонных мероприятиях! Кстати, если ты хотел навестить черкесских красоток, советую сделать это завтра. В воскресенье да еще после сегодняшней генеральной инспекции, точно уж никто не явится.

На следующий день он отправился в Калькар. Поезд пришел туда около полудня, он без труда отыскал двухэтажное здание гостиницы и в вестибюле сразу увидел одну из сестер; одетая и причесанная вполне по-немецки, она бойко болтала с двумя военны-

ми, почти без акцента, но с некоторой неточностью произношения, характерной для людей, не изучавших чужой язык, а освоивших его на слух. Проводив военных до двери, она вопросительно глянула на Болховитинова и с профессиональной улыбкой прощебетала нечто вроде «битташон».

— Здравствуйте,— сказал он по-русски.— Аня, я не ошибся?

— Ой,— отозвалась она нараспев,— а я вас за немца посчитала, ну надо же! Земляк, что ль?

— Соотечественник, так будет точнее.

— А тут где работаете? Чего-то я вас вроде и не видала!

— Я, Аня, недавно здесь — на окопы прислали, работаем в Голландии, по ту сторону границы. А про вас мне знакомый немец рассказывал — Ридель такой, не помните? Инженер из Дрездена.

— Тю, да хто ж его, кобелину, не знает! — воскликнула Анна. И, когда Болховитинов кончил смеяться, добавила: — Подружка моя тоже тут недавно как услыхала про него, так прям вся и сполохнулась: неужто, говорит, Ридель из Дрездена, ты, говорит, не путаешь? А чего мне путать, говорю, вон он у меня в книгу записанный, возьми да проверь...

— Ваша подруга спрашивала о Риделе из Дрездена? Именно в таких словах?

— Да уж не скажу точно, в каких таких словах, но только я раз говорю ей: вот мол какие постояльцы бывают — а он тут руки стал распускать, ну я ему мозги с ходу вправила,— и назвала его, Риделем, дескать, зовут, она вдруг и спрашивает: а он случáем не с Дрездена? Я-то сама и не запомнила, откудова он; а поглядели в книге — точно, «Дрезден» написано...

— Кто она, эта ваша подруга?

— Ну, Танька такая, у бауэра работает тут недалеко. Не так чтобы давно, с мая месяца, их тогда несколько девчат с Эссена привезли, может, помните, налеты были сильные, так вот после налетов. А так-то она с Украины откуда-то, только разговор у ней не наш, не южный, это я сразу подметила...

Они разговаривали, стоя возле конторки, за которой висел на столе телефон. Телефон вдруг залился оглушительным звонком, Аня, не оборачиваясь, протянула руку и, приподняв рычаг с трубкой, снова опустила его.

— Так что, может, это она только говорит, что с Украины,— продолжала она,— ну мне какое дело...

Болховитинов, все еще не смея поверить, достал бумажник — руки у него дрожали — и, вынув обернутую целлофаном карточку, показал Ане. Снимок этот он сделал прошлой весной, получилось немного не в фокусе, а потом он еще попросил отпечатать только ее лицо, в при большем увеличении портрет получился совсем как бы размытым, словно сквозь туман; но так, пожалуй, было даже лучше.

— Посмотрите внимательно — это не она?

— А и смотреть нечего — Танька, ясно. Только у ней волос сейчас подлиннее. А так — точно, она, ну курносая...

— Где, вы сказали, она работает? Адрес у вас есть?

— Работает в Аппельдорне, хозяина ее все знают, однорукий такой...

Телефон опять залился, и Аня досадливым жестом оборвала звонок, приподняв и снова нацепив трубку на рычаг.

— ...Только сегодня вы ее не застанете,— продолжала она,— они с девчатами с утра в Клеве поехали, кино смотреть. Я ее на неделе видела, говорит — в воскресенье культпоход у нас, сто лет в кино не была. Сейчас-то с этим проще, «осты» носить не надо, а раньше еще и не всюду пустят... Да что они там сбесились сегодня, чтоб им повылазило!

Сорвав трубку снова зазвеневшего телефона, она на этот раз приложила ее к уху и стала слушать. Лицо ее приняло недоуменное выражение, она вопросительно покосилась на Болховитинова.

— Ферштей нихьт, вер воллен зи шпрехен? Руссише инженер? — она опять обернулась к нему и прикрыла микрофон ладонью.— Какого-то русского инженера спрашивают, не вас ли?

Болховитинов, пожав плечами, взял трубку.

— Да,— сказал он.— Ты, Людвиг? Что случилось?

— Что случилось, что случилось! — заорал Ридель на другом конце провода.— У вас ничего не сообщили? Здесь идет высадка! Над Арнемом все небо в парашютах, в стороне Неймегена та же картина, их не сосчитать — тысячи! Немедленно возвращайся, надо организовать вывод людей, если начнут бомбить, сам представляешь, что тут будет!

— Хорошо, хорошо, я только не знаю, когда поезд...

— Какой поезд, идиот, уже объявлена боевая тревога! Добирайся чем сможешь! У Анны там есть знакомый в полиции, немедленно к нему, и пусть реквизирует транспорт у кого угодно, понял?

Болховитинов совершенно растерялся. Нашедшаяся вдруг Таня — он все еще не мог поверить в это, не мог до конца осознать — отправилась в какой-то нелепый «культпоход», в Клеве ее не разыскать, там не одно синемá, по всем что ли бегать? А с другой стороны, если только Ридель не допился до белой горячки и англичане действительно высаживаются в Арнеме, ему надо быть на трассе, помочь организовать эвакуацию, вывезти людей в безопасное место...

По дороге в полицию ему снова пришло в голову, что если и в самом деле старому алкоголику прибредилось это «небо в парашютах», то его, Болховитинова, сейчас схватят за распространение панических слухов — последнее время газеты и радио особенно ретиво призывали население разоблачать паникеров. Но опасения не оправдались — шупо уже были в курсе и даже успели вооружиться карабинами и сменить свои нелепые высокие кепи на армейские стальные шлемы; видимо, так им полагалось по боевой тревоге.

Представив Болховитинова толстому вахмистру, Анна убежала, сказав, что не может отлучаться из отеля надолго. Вахмистр долго читал его бумаги, потом подумал и сказал, что транспорта у них действительно нет, так что он совершенно не представляет, чем может помочь господину инженеру.

— Нам рекомендуется в подобных случаях обращаться к местному партийному руководству,— сказал Болховитинов.— Считаю, что это во всех отношениях удобнее сделать вам... ну, хотя бы для того, чтобы ваша пассивность не была потом истолкована как-нибудь превратно.

Вахмистр подумал еще и согласился, что да, пожалуй, есть смысл обратиться к партайгеноссе Хуземану. Он вышел, забрав с собой предписание на бланке ОТ. Болховитинов остался сидеть в помещении полицейского ревира. В то, что Таня где-то здесь, до сих пор не верилось, он запрещал себе думать об этом, потому что невыносимо было сидеть здесь и ждать возвращения толстого вахмистра вместо того, чтобы ехать сейчас же в Клеве и попытаться разыскать ее там, или хотя бы в этот Апфельдорн или Апельдорф, чтобы дождаться ее возвращения, и еще невыносимее было сознавать, что все-таки можно было найти время и раньше, чтобы побывать в Калькаре, но кто же мог предполагать, как можно было всерьез допустить такое невероятное, фантастическое совпадение...

Вахмистр наконец вернулся, запыхавшийся и довольный собой.

— Партайгеноссе все устроил,— объявил он, сняв каску и утирая лоб клетчатым платком.— Он позвонил жене колбасника, тот должен вернуться с минуты на минуту, и сказал, чтобы ее муж доставил вас куда нужно.

— На чем?

— О, у него есть машина и даже,— вахмистр подмигнул,— есть бензин, да-да! Что вы хотите,— он понизил голос,— большой человек по нынешним временам. Вы понимаете, что я хочу сказать; пару кило колбас — тому, пол-окорока — другому, и у вас все в полном порядке, все бумаги оформлены, и к вам не подступиться ни с какими реквизициями. Но, разумеется, подобные отношения предполагают определенную зависимость человека, получающего незаконные льготы, от тех, кто эти льготы предоставляет. Вот почему я не думаю, чтобы колбасник отказался выполнить просьбу партайгеноссе Хуземана. Рюккерт!

— Слушаю, господин вахмайстер!

— Сходи узнай, вернулся ли Клауверт. Если нет, пусть пришлют мальчишку, как только вернется. Из округа не звонили?

— Телефонограмму я положил на ваш стол, господин вахмайстер.

— Что там еще?

— Это насчет иностранных рабочих, господин вахмайстер: в течение сорока восьми часов подготовить их отправку на тот берег.

— За Рейн, что ли? Всех?

— Насчет голландцев и французов ничего не говорится, господин вахмайстер. Иностранцы с Востока: поляки, югославы, русские — в общем, все недочеловеки.

— Этой еще заботы не хватало,— проворчал вахмистр.— Ладно, ступай!

Дьявольщина, подумал Болховитинов, вот дьявольщина! Час от часу не легче — как нарочно, все сразу... Впрочем, спокойно, не надо впадать в панику, сорок восемь часов — это не так мало, можно что-то придумать. Но что придумаешь? Что? Если бы на трассе работали не одни мужчины, не было бы никаких проблем, Таню спрятали бы там и попробуй найди. А впрочем, глупость, всех работающих тоже наверняка отправят на правый берег, разве что оставят какую-то часть... Как он сказал, всех, кроме голландцев и французов? Да, но она же не говорит по-французски, этот номер тоже не пройдет...

Посланный к колбаснику полицейский вернулся с известием, что господин Клауверт уже вернулся. Вахмистр вылез из-за стола и нацепил стальной шлем с таким воинственным видом, будто ему предстояло сейчас выйти из блиндажа под обстрел.

— Идемте,— сказал он Болховитинову.— А где ваши вещи?

— Никаких вещей у меня нет, все там — я ведь и отлучился ненадолго, сегодня воскресенье...

Колбасник обманул ожидания обоих. Болховитинов почему-то ожидал увидеть благодушного толстяка-фламандца, а увидел тощего желчного человечка со злобной мордочкой хорька; и хорек этот, вопреки ожиданиям вахмистра, вовсе не изъявил готовности выполнить просьбу партайгеноссе Хуземана.

— Вы шутите! — завизжал он.— Ехать через границу сейчас, когда там такое творится! И не подумаю!

Болховитинов усмехнулся, похоже, хитрец успел сообразить, что время всех этих партайгеноссен уже на исходе. Так же, по-видимому, понял кобласника и вахмистр.

— Господин Клауверт,— сказал он угрожающе,— не стоит опережать события. Если томми высадились в Голландии, то здесь мы еще находимся на территории рейха, к тому же — в зоне, где на данный момент действует состояние боевой тревоги...

— Здесь не действует! Боевая тревога объявлена только в приграничной полосе, я сам слушал радио!

— Вы не радио слушайте, умник вы этакий,— вахмистр начал багроветь,— а слушайте, что вам говорит представитель власти! Вы сейчас отвезете господина инженера куда он вам скажет. Это приказ, если вы не понимаете другого языка! Да, да, знаю, формально вы имеете право не подчиниться, но у меня есть формальное право заинтересоваться, откуда это на вашем «адлере» новая резина,— он пнул переднее колесо маленького открытого автомобиля.— И не рассчитывайте на помощь партайгеноссе Хуземана теперь, когда мы убедились, что он не может рассчитывать на вашу!

Хорек, видно, сообразил, что зашел слишком далеко. Присмирев, он заверил, что господин вахмайстер не так его понял, что он не отказывается, просто это оказалось настолько неожиданным, а у него сегодня столько дел...

— Успеете,— заверил вахмистр, и посмотрел на Болховитинова: — Сколько до вас езды?

— Час, полтора — не знаю, ни разу не ездил сюда машиной. Около этого, я думаю.

— Чепуха, Клауверт, до вечера успеете.

— Ну хорошо,— сдался хорек,— садитесь, я сейчас...

Вахмистр ушел. Болховитинов сидел в машине, нетерпеливо посматривая на часы. Хорек наконец появился, с недовольным видом сел за руль. Тут же оказалось, что мотор не хочет заводиться. Нажав на стартер раз и другой, Клауверт озабоченно хмыкнул и распахнул дверцу. Болховитинов негромко, сквозь зубы выругался по-русски, колбасник глянул на него недоуменно, подняв брови.

— Нет, нет, это и не вам,— пробормотал Болховитинов.— Помочь?

— Не надо, там, наверное, контакт, сейчас посмотрю...

Покопавшись в моторе, он опустил створку капота и вернулся за руль; на этот раз мотор завелся.

До Клеве доехали за двадцать минут. В городе было спокойно, никаких признаков тревоги; Болховитинов вглядывался в немногочисленных по-воскресному прохожих — а вдруг еще одно совпадение! — но безрезультатно. На выезде промелькнул указатель — «Краненберг — 18 км».

— Видите, это не так далеко,— сказал он примирительно,— от Краненберга там уже совсем ерунда, через пару часов будете дома...

Клауверт не ответил, опять покосился на него со странным выражением.

Военный патруль остановил их уже за Краненбергом, когда подъезжали к границе. Солдат в пятнистом комбинезоне сделал отмашку красным диском, показал на обочину. Болховитинов спокойно полез в карман за документами и вдруг чуть не расшиб себе голову о ветровое стекло, Клауверт рывком затормозил прямо на проезжей части, вырвал ключ зажигания и, выскочив из едва успевшей остановиться машины, сломя голову бросился к перегородившим шоссе автоматчикам.

— На помощь!! — орал он благим матом.— Хватайте его — это русский разведчик! Он при мне ругался по-русски!

— Послушайте,— сказал Болховитинов, тоже выйдя,— я...

— Молчать! — крикнул один из пятнистых, подходя с наставленным в живот автоматом.— Руки за голову!

Хорек все говорил и говорил, визжа и жестикулируя, потом, получив разрешение ехать, залез в машину, торопливо развернул ее и умчался обратно.

Болховитинову позволили сесть на обочине и опустить руки, но велели не двигаться с места. Один из патрульных зашел в фанерную будку, было слышно, как он крутил ручку полевого телефона, потом долго что-то объяснял. Прошло не меньше часа, потом со стороны Краненберга послышался шум мотора, подкатил пятнистый «кюбель» с номерными знаками войск СС. Вышли двое, третий оставался за рулем.

— Ну, так что это у вас тут за птица попалась,— спросил приезжий и, не дожидаясь ответа, взял у патрульного бумаги Болховитинова.— В машину его, чего ждете...

Ему приказали встать, указали на заднее сиденье вездехода. Он забрался, сел. Второй из приехавших взял его правую руку, щелкнул стальным браслетом, цепочка оказалась приклепана к железной скобе под сиденьем. Сопровождающий устроился рядом, Болховитинов покосился и увидел на рукаве мундира черный ромб службы безопасности. Да, вот это влип, подумал он снова, и в первый раз испугался по-настоящему.

Глава 19

План захвата стратегических мостов в бассейне Маас — Нижний Рейн, разработанный ШЭЙФом [1] под кодовым наименованием «Маркет — Гарден», был задуман как самая крупная за всю войну операция подобного рода, и она же оказалась самой неудачной.

Полторы тысячи бомбардировщиков должны были подавить наземную оборону в полосе выброса, около двух тысяч транспортных самолетов и планеров доставили к цели две американские воздушно-десантные дивизии и одну английскую, усиленную польской парашютной бригадой,— всего 35 000 бойцов.

Первую часть своей задачи парашютисты выполнили, из одиннадцати мостов десять попало в их руки неповрежденными. Но дальше начались неудачи. В районе десантирования оказалось больше немецких войск, чем доносила разведка; особенно тяжелая обстановка сложилась в районе Арнема, где «красные береты» — поляки и англичане — сразу попали под огонь немецких танков, которых, согласно разведданным, там не было.

В конце концов южный район выброски, который удерживали американцы, удалось деблокировать; северная же группа была уничтожена почти полностью, Арнем снова попал в руки немцев, и лишь малой части англичан и поляков (около двух тысяч человек) удалось прорваться к своим через Маас.

Единственным выигрышем в результате столь дорого обошедшейся операции было некоторое расширение освобожденной части голландской территории: и исходу сентября, когда бои в этом секторе утихли, фронт установился по Маасу — правый берег был в немецких руках, на левом закрепились англичане. Так ему и суждено было простоять до самой весны.

На окраине Клеве машина остановилась у ворот неприметного двухэтажного дома, посигналила. Ворота медленно раскрылись, аа ними был маленький асфальтированный дворик, зарешеченные окна. С Болховитинова сняли наручник, велели выходить из машины, подтолкнули к двери. Потом он долго ждал, пока его наконец не привели в другую комнату, где за столом сидел немолодой толстяк в штатском. На столе перед толстяком лежали отобранные у Болховитинова бумаги, он глянул на него мельком и указал на привинченный к полу стул.

— Ну, рассказывайте,— буркнул он, когда Болховитинов сел.

— О чем рассказывать?

— Все, все без утайки. Кто такой, что здесь делаете, откуда появились. Ну, живее.

— Вы все можете прочитать в моих бумагах, они перед вами.

— Не указывайте, что я могу и чего я не могу. В этом разберусь я сам. Сейчас я хочу услышать, что скажете вы.

— Как угодно, но только я не очень свободно говорю по-немецки.

— Вы что же, действительно русский? — толстяк глянул на него исподлобья.

— Так точно.

— Но ведь не *тот* русский?

— Не тот,— согласился Болховитинов.

— Рассказывайте, я жду.

Пока Болховитинов рассказывал, гестаповец слушал молча, курил, сопел все более недовольно. Потом махнул рукой.

— Ладно, хватит! Или вы наглый лгун, и тогда вам не поздоровится, или здесь, в управлении, собралась самая безмозглая банда идиотов, которая когда-либо собиралась под одной крышей...

Болховитинов рассчитывал, что его могут выпустить уже к вечеру, но лишь во вторник утром, когда он совсем уже решил, что о нем забыли, дверь камеры распахнулась и ему велено было выходить; в комнатке с барьером, похожей на полицейский участок, он расписался в получении документов, часов и денег, после чего оказался на улице.

Первым, что он увидел, был знакомый бежевый «адлер», за рулем которого сидел Ридель.

[1] SHAEF *(англ. сокр.)* — Верховное командование союзных экспедиционных сил.

— Да-а,— сказал Ридель,— тебе сейчас только в кино сниматься, Пабст обожал такие бандитские типажи. Поразительное дело, бывают люди, которые умеют выйти невредимыми из любой переделки... Таков я, скажу без ложной скромности. Но бывают и такие, черт бы их побрал, которые ухитряются извлечь самые катастрофические последствия из любого пустяка. Ты ничего умнее не мог придумать, как обратиться к этой вонючке Клауверту?

— Меня к нему полицейский привел,— огрызнулся Болховитинов.— Ты же сам орал по телефону: «Беги в полицию, они все устроят!» Вот и устроили. Что там делается, на трассе? А что с десантом?

— Десант, похоже, накрылся, людей мы вывели, шанцевый инструмент побросали... тодтовское начальство грозится снять за это голову, только не знает с кого.

— Ты был в Калькаре, в отеле?

— О да, и пухленькая черкешенка рассказала мне про твою находку. Но вообще следует поторопиться, их ведь сегодня угоняют.

— Как, уже?!

— Уже, уже. Сейчас заедем в Калькар, прихватим с собой Анхен... Дело в том, что если мы не увидим твою Татиану, то могут найтись какие-то ее знакомые, знающие, где она. Анхен поможет нам сориентироваться в море славянских лиц, я не берусь. Да, ты спрашивал насчет машины — ты прав, это та самая. Часть репарации, взятой мною с господина Клауверта... а остальное там,— он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на заднее сиденье.— Два кило шпига и право пользоваться машиной в случаях крайней военной необходимости. С его бензином, естественно.

— Пожалуйста, давай побыстрее. Их же действительно могут угнать на правый берег!

— Думаю, что нет. Я утром побывал в Аппельдорне, местный шупо сказал, что раньше трех-четырех часов всех не соберут...

Болховитинов поглядывал на небо — не хватало только, чтобы какой-нибудь ковбой решил за ними поохотиться. Самолеты раза два пролетели, но довольно высоко, не обратив внимания на одинокую машину; до Калькара доехали без приключений.

— Ой, Кирилл Андреич! — Анна, вышедшая из дверей им навстречу, замерла на месте.— Да что ж это с вами такое?

Ридель, догадавшись по интонации о смысле сказанного, закивал головой.

— Вот-вот, скажи ему сама! Можно ли ему ехать с нами в таком похабном виде? Небритый, немытый, костюм, словно корова жевала,— ты хоть подумай о том, что мне, возможно, придется иметь дело с полицией, чтобы вытащить твою подружку.

— Верно он говорит, Кирилл Андреич,— поддержала Анна.— Вы сейчас помойтесь, побрейтесь, Надька пиджак вам погладит, рубашку даст чистую, а мы съездим. Найдем, не переживайте вы, куда денется?

Болховитинов нехотя согласился. Пожалуй, его присутствие и впрямь ничему там не поможет, Ридель справится лучше. Только бы успели...

Они успели. Как потом рассказывала Анна, все оказалось проще простого. Когда приехали в Аппельдорн, колонна уже была в пути; они догнали ее на реесском шоссе, несколько сот человек с чемоданами и перевязанными веревкой картонными коробками брели не спеша, позади шли с велосипедами в руках двое полицейских. Ридель повел машину совсем медленно, Анна с заднего сиденья высматривала знакомых. Увидев аппельдорнских, она окликнула их, спросила, не видали ли где Таньку, те махнули куда-то вперед. Там она и оказалась. Забрав ее в машину, развернулись и поехали обратно. Вот и все. Когда проезжали мимо замыкающих, те даже не посмотрели.

Вернулись они в Калькар гораздо скорее, чем ожидали, не прошло и часа. Болховитинов, едва успевший привести себя в приличный вид, высматривал машину из окна второго этажа и уже издали увидел, что в ней трое; когда подъехали ближе и он безошибочно узнал Таню — у кого еще мог быть этот медно-рыжий оттенок волос? — у него вдруг так сжало грудь, что он даже испугался, сжало совершенно явственной физической болью, как будто куда-то туда, за солнечное сплетение, вдвинули тупую давящую тяжесть. Уже бросившись к двери, он вынужден был остановиться, осторожно перевести дыхание; потом спустился вниз, в полутемный вестибюль, как раз в тот момент, когда она входила, четким силуэтом обрисовавшись в солнечном прямоугольнике распахнутой на улицу двери.

— Татьяна Викторовна,— сказал он дрогнувшим голосом,— Танечка...

Она шагнула к нему, всматриваясь, словно не веря своим глазам.

— Кирилл Андреевич,— шепнула она едва слышно,— вы? Боже мой...

Он поймал ее руки, стал целовать пальцы, ладони — совсем не знакомые, крепкие и шершавые, с затвердениями мозолей, совсем не такие, какими были ее руки год назад в Энске; неужели действительно всего год, ну полтора — а ведь, кажется, будто несколько лет прошло с того весеннего вечера...

Они не могли наговориться, он не мог насмотреться, Татьяна смотреть на него — ему показалось — избегала, только иногда он ловил на себе быстрый, короткий взгляд; она словно присматривалась к нему, изучала, боясь делать это открыто. После обеда они остались одни, Анна с Надей занялись своим хозяйством, Ридель поехал в Краненберг за вещами Болховитинова. Им столько надо было рассказать друг другу! О событиях в Энске Таня уже знала — недавно встретила девушек, которых забрали позже нее, уже осенью, они и рассказали обо всем: как погиб Леша Кривошеин, как потом по городу были расклеены плакаты с увеличенным паспортным снимком Володи Глущко и обещанием награды в тысячу марок тому, кто укажет родственников или друзей «красного террориста»...

— Знаете, Татьяна Викторовна, что меня мучило все это время,— сказал Болховитинов.— Я, кстати, верил, что вы спаслись... не мог совершенно представить себе — как, но был уверен. Так вот, меня все время преследовала мысль, что вы могли связать со мной провал группы...

— Ну что вы, и ни на секунду...

— Нет, ну какая-то тень хотя бы сомнения не могла не появиться — я ведь прекрасно знаю, что друзья ваши относились ко мне настороженно, да это и понятно, на их месте я тоже, наверное, не мог бы не опасаться — действительно, что они обо мне знали? — мало того, что эмигрант, то есть человек, по советским представлениям, отказавшийся от родины, так еще и у немцев служит...

— Ну,— Таня улыбнулась,— ваша служба у немцев поначалу и меня насторожила! А потом — помните — вы меня встретили в комиссариате, я шла с какими-то бумагами, так что вы сразу должны были догадаться, что и там работаю; вот я тогда и подумала: да ведь я в таком же положении, что и он, мне ли осуждать?

— Вы другое дело, вы по заданию пошли.

— А вы что — ради заработка? Или чтобы выслужиться перед ними? Вы тоже пошли потому, что совесть подсказывала... если считали, что другого пути нет. Я не знаю, правы ли вы были, наверное, нет, были и другие какие-то... возможности, но это уж... Господи, кто из нас не ошибался, не делал что-то не так! Я к чему — честное слово, у меня и в мыслях никогда не было! Я никогда не искала ответа на этот вопрос — почему провалились; я знала, что мы провалимся, чувствовала это еще с весны, когда начались аресты...

— А разве были аресты? Я ничего не знал.

— Вам просто не говорили. Сначала попался один из горуправы, он нам доставал бланки для пропусков — просто жулик, делал это за деньги, а потом схватили одного нашего мальчика, который листовки расклеивал. Видимо, они его все-таки раскололи. А мог, конечно, и Завада выдать — тот, из горуправы... Он хотя и не знал ничего, но Кривошеина-то он знал, он же Кривошину передавал бланки, и деньги от него получал, так что... Да нет, для меня это никогда не было загадкой! А о вас я совсем другое думала: я как раз боялась, что они и вас взяли, меня совесть ужасно мучила, это ведь я вас втравила в эту историю, все время думала: «Это из-за меня, это из-за меня...»

В дверь постучали, вошел Ридель с чемоданом и перекинутой через руку коричневой шинелью.

— Вот твое добро,— сказал он,— китель я затолкал в чемодан, так что попроси молодую даму его погладить.

— Меня уже отутюжили,— Болховитинов оттянул лацкан пиджака.

— Я говорю про китель! Китель, форменные брюки — словом, всю амуницию. Тебе надо переодеться, в полицию лучше идти в форме — это на них действует. Помнишь «Капитана из Кёпеника»?

— Зачем мне в полицию?

— Тебе-то, может, и не нужно. А ей? — он бесцеремонно показал пальцем на Таню.— Как ты представляешь себе ее статус? При первой же проверке спросят, кто она такая, что здесь делает и вообще откуда взялась? Ну? Что она ответит? Как «восточная работница» она уже не существует, ее здесь нет, она эвакуирована за Рейн — согласно приказу гауляйтера. Мадам, не смотрите на меня разинув рот, как овца на Деву Марию, а принесите утюг и делайте, что вам сказано! Есть у вас при себе хоть одна бумажка, удостоверяющая вашу личность?

— Нет, мы ведь тогда все сдали хозяину...

— Ну вот, пожалуйста! Человек без удостоверения личности — это вообще ничто, пустое место, математическая точка в пространстве. Ступайте за утюгом, я сказал! Или забирайте все это и погладьте там...

Когда Таня ушла с вещами, Болховитинов спросил:

— И чем же тут поможет полиция — выдаст новое удостоверение? А на каком основании?

— Просто так выдать удостоверение личности полиция не может — даже по знакомству, и даже если господин вахмайстер пользовался благосклонностью нашей Анхен. Но полиция — внимание! — Ридель поднял палец,— полиция может удостове-

рить, что к ней обратилась личность, утратившая документы в силу чрезвычайных обстоятельств военного времени. Конечно, тут желательны свидетели. Но свидетели есть — это я, хороший знакомый потерпевшей, и ты — ее муж.

— Кто? — спросил Болховитинов.

— Муж, говорю. Муж! Легенда такова: вы недавно поженились — по доверенности, теперь это делается — жена ехала к тебе, не доезжая Везеля машину обстреляли с бреющего, все сгорело. Осталась вот как есть — без денег, без документов, без ничего; сюда добралась попутными. Правдоподобно?

— Ну... в общем, да. Если ничего не проверять...

— Проверять ничего не станут! Я не случайно сказал — «не доезжая Везеля», то есть на той стороне Рейна, в другом административном округе. А машины горят каждый день — поди проверь, где какая. Ну, что? Чем еще недоволен?

— Нет-нет, я просто думаю... согласится ли она?

— Это уж ваше дело! — Ридель развел руками.— Свои отношения выясняйте сами, а я пока поеду верну «адлер» этому идиоту... Хорошая штучка, кстати, может конфискуем?

— Да ну, все равно бензина нет.

— Вот разве что...

Ридель ушел. Болховитинов постоял у окна, задумчиво теребя мочку уха, потом вздохнул и пошел вниз. В прачечной комнате Таня доглаживала черные форменные брюки.

— Сейчас заканчиваю и возьмусь за китель. Он не так уж и помялся, немного рукава, лацканы... Так мы вместе пойдем в полицию?

— Да, дело в том... понимаете, Ридель говорит, что нам придется объявить себя — ну, мужем и женой, иначе...

Таня расхохоталась, продолжая гладить.

— Какая прелесть! Видно, не судьба мне уйти от фиктивного брака, еще Попандопуло предлагал — помните, я рассказывала?

— Но... Татьяна Викторовна, если у вас есть какие-то возражения...

— Нет, что вы! Это ведь нас ни к чему не обязывает, правда?

— Разумеется! — заверил, смутившись, Болховитинов.— Разумеется!

— Ну и прекрасно. Мне не придется изображать немку?

— Это мы все уточним с Риделем, но, думаю, что не придется.

— А то немку я бы не смогла, все-таки акцент, да и вообще...— Повесив на спинку стула отутюженные брюки, Таня взяла китель и, встряхнув, принялась укладывать на гладильной доске.— В карманах ничего?

— Простите?

— Я говорю — в карманах у вас тут ничего нет?

— Думаю, что нет... проверьте на всякий случай.

Таня проверила карманы, вынула из нагрудного туго скрученную бумажную трубочку и протянула Болховитинову.

— Какая-то любовная записочка, вы неосторожны!

— А, это не нужно...— он прошелся по комнате, думая о своем, машинально затолкал трубочку в щель рассохшейся двери.— Действительно, Татьяна Викторовна, за кого вам себя выдать? Если сказать, что русская, он может насторожиться...

— Ладно,— беззаботно сказала Таня,— посмотрим! Только, знаете что, не называйте вы меня Татьяной Викторовной, это звучит как-то ужасно церемонно. Мы так давно знакомы, что могли бы просто по имени...

Болховитинов покраснел.

— Мысленно я всегда называю вас только по имени,— признался он.

— Называли бы и вслух.

— Но... вы меня называете по имени-отчеству, я...

— Да я тоже могу по имени! Вот возьму и скажу — Кирилл, Кирилл, как вы поживаете? Как настроение, Кирилл? — она почему-то тоже покраснела и рассмеялась немного деланно, чтобы скрыть смущение.

— Спасибо, Танечка, какое же у меня может быть настроение в такой день? Самое превосходное. Одну минутку, простите — там, кажется, Ридель вернулся...

Риделя никакого не было, просто он почувствовал, что должен немедленно уйти из этой маленькой жаркой от послеобеденного солнца комнаты, наполненной ее голосом, ее смехом, ее присутствием; в полутемном вестибюле походил от конторки к дверям, сосчитал висящие на доске ключи и сел в кресло, опершись подбородком на сплетенные пальцы. Что он делает? Хоть бы подумал, что потом будет. Как жить *потом?*

Так он просидел до возвращения Риделя. Войдя, тот стал кричать, что времени нет, погнал его переодеваться, Анне велел отрезать половину репарационного шпига и упаковать как-нибудь поэлегантнее. По пути в ревир он предупредил их, что говорить будет сам — они должны только слушать и поддакивать, не проявляя инициативы.

— Кстати,— он обернулся к Тане,— вы когда-нибудь имели дело со здешней полицией?

— Нет, никогда.

— И в Аппельдорн к вам никто из них не приезжал? Может быть, просто на улице приходилось встречаться?

Таня подумала, покачала головой.

— Нет... Там у нас был свой, один на всю деревню, его мы знали. А здесь я ведь не так часто бывала и... нет, не припомню, чтобы встречались. Сегодня утром, конечно, там полиции было много, но я не думаю, чтобы они запоминали лица в этой суматохе.

— Будем надеяться...

Принял их тот же толстый вахмистр — сочувственно хмыкнул, здороваясь с Болховитиновым, и сказал, что рад благополучному исходу дурацкой истории.

— Да,— подхватил Ридель,— моему коллеге везет на истории — выпутался из одной, влип в другую. Он ведь недавно женился, вот можете убедиться — фрау Болховитинов...

Таня, покраснев, сделала почему-то книксен, решив, что именно так должна вести себя новоиспеченная фрау. Вахмистр поклонился ей, поздравил Болховитинова и, предложив садиться, вопросительно уставился на Риделя.

— Как вы знаете,— продолжал тот,— коллега работал все это время здесь, и долго хлопотал, чтобы жену отпустили к нему хотя бы ненадолго. И вообразите себе — вчера, когда фрау Татиана уже подъезжала к Везелю...

— Уважаемая фрау — немка? — перебил вахмистр.

— Нет, нет! Господин доктор-инженер Болховитинов — русский, вы же знаете. Что и послужило причиной испуга господина Клауверта... Кстати! — Ридель полез в портфель и достал пакет, аккуратно упакованный в пергаментную бумагу.— Господин Клауверт был сам так расстроен случившимся, что пожелал как-то возместить... Ну, и коллега подумал, что — поскольку с ним он познакомился через вас — половина законнейшим образом принадлежит вам...

— Ах, нет! — вахмистр даже ладони перед собой выставил.— С какой стати, помилуйте!

— Не спорьте, господин вахмайстер, это из самых дружеских чувств.— Ридель, привстав, сунул пакет через весь стол — прямо в выдвинутый немного ящик, который тут же задвинулся обратно.

— Ну разве что из дружеских,— сдался вахмистр.— Премного благодарен, господин доктор-инженер. Продолжайте, я слушаю...

Ридель сжато изложил суть дела. Вахмистр выслушал молча, помолчал, побарабанил пальцами.

— Да,— сказал он наконец.— История и впрямь затруднительная. Молодой даме следует вернуться к месту жительства, чтобы выправить копии документов...

— Но как? — подхватил Ридель.— Кто же сейчас может ездить взад-вперед, не имея на руках ни единой бумажки? Тем более, что фрау — иностранка, тоже русская, как и ее супруг, это осложняет дело. Хотя она родилась в эмиграции, ее дед — генерал, приближенный к Санкт-Петербургскому двору, был замучен большевиками; все равно, вы понимаете, русское имя, сегодня в Германии это не самая лучшая рекомендация...

— Да,— задумчиво повторил вахмистр.— Я понимаю. Ну что ж, можно выдать такую справку... она, разумеется, не имеет юридической силы документа и действительна на ограниченный срок, но...

— Это именно то, что надо! — горячо заверил Ридель.

— Подождите здесь, я сейчас...

Отсутствовал он минут десять, потом вернулся с бланком и сел его заполнять.

— Имя и фамилия дамы?

— Я лучше напишу на бумажке,— сказал Ридель,— это трудно воспринимается на слух...

— Тати-ана Больхови-тинофф,— медленно прочитал вахмистр и, покрутив головой, стал буква за буквой переписывать на бланк.— Действительно в течение двух недель,— предупредил он.— Побудете здесь с супругом — недели, надеюсь, вам хватит, э? — и неделя на обратную дорогу.

— Да, конечно, спасибо,— прошептала Таня.

Провожая их до двери, вахмистр придержал Риделя за локоть, попросил задержаться. Они уже дошли до отеля, когда Ридель их догнал.

— Да,— сказал он,— не такой он дурак, этот шупо! Прекрасно все понял.

— Как? — спросил Болховитинов.

— Да так. Даму он несколько раз видел, когда она восседала на фуре какого-то «однорукого» — не знаю, о ком речь. Хозяин ваш, что ли?

Таня закивала, испуганно прижав руку к губам.

— Я же вас спрашивал,— упрекнул Ридель.— Мало того, что на фуре, он видел вас сегодня в колонне, которая уходила из Аппельдорна. А вы его и там не заметили?

— Но почему же он все-таки выдал справку? — перебил Болховитинов.
— Почему, почему... Кило шпига по нынешним временам — это, милый мой, аргумент! Он меня предупредил, что даме следует отсюда исчезнуть, и чем скорее, тем лучше.
— Как же мне теперь быть,— упавшим голосом сказала Таня,— куда я могу исчезнуть? Лучше уж, наверное, было бы вообще к нему не ходить... По крайней мере не привлекла бы к себе внимания, а теперь он будет нарочно следить, уехала я или не уехала...
— Ничего, ничего,— успокоил Ридель,— бумага получена, это уже кое-что, остальное додумаем. Ладно, я вас пока покину, мне пора. Новобрачным желаю приятно и не без пользы провести время, а завтра я позвоню в отель. Счастливо, дети мои!
— Славный он, этот ваш Ридель,— сказала Таня, когда он удалился.
— Да, он... настоящий друг. Черт возьми, но что ж делать теперь, экое дурацкое создалось положение!
— Может быть, он действительно придумает что-нибудь...
Анна встретила их вопросом — все ли в порядке.
— Если бы! — сказала Таня.— Справку он дал, но сказал, что мне надо прятаться. А где?
— Тю! — жизнерадостно воскликнула Анна.— Да у нас в погребе! Сдохнут — не найдут. Еще голландка тут одна ходит оттуда, хорошая девка, на железной дороге работает, при ресторане. С ней, может, поговорить?
— Ну что толку,— сказала Таня,— чем она может помочь, не спрячусь же я в Голландии! Голландцы сами все запуганы, чего они будут из-за меня рисковать...
Они разговаривали в кухне, Анна лущила стручковую фасоль, Таня с убитым видом подсела к ней, стала помогать.
— Голландия,— сказал вдруг Болховитинов.— Гм! Кто, вы говорите, оттуда ходит?
— Да работает тут одна, хорошая такая девчонка. Забежит иногда, все про нас расспрашивает — я, говорит, русских люблю...
— У нее что же, пропуск?
— Да, постоянный, тут есть которые живут там, а работают здесь, у них постоянные пропуска.
Болховитинов посидел с отсутствующим видом, потом вдруг вскочил, вышел и через минуту вернулся, раскручивая в пальцах бумажную трубочку.
— Аннушка,— сказал он,— как бы мне с этой голландкой увидеться?
— А сейчас узнаем, работает ли, она не каждый день... Надь! А Надь, слетай-ка до Марты, нехай, скажи, зайдет, как пошабашит. А если нема ее, так спроси, когда будет!
Надя слетала — это было рядом — и, вернувшись, крикнула, что Марта сейчас придет. Скоро пришла и она сама — молодая женщина с выпуклым лбом и светлыми бровями и ресницами, спокойным и приветливым видом напоминающая женские лица на полотнах Вермеера. Поздоровавшись, она тотчас тоже села лущить фасоль, будто для того и пришла.
— Марта,— сказала Анна,— с тобой господин инженер хотел поговорить. Он тоже русский, на форму ты не смотри, это так, для виду.
— Да, и слушаю, господин инженер?
— Фрейлен Марта, вы — я так понял — живете недалеко от границы. Посмотрите, пожалуйста, на этот адрес — это не в ваших ли краях? Если нет, то где это вообще может быть? Я понял, что где-то в районе Неймегена...
Марта прочитала написанное на бумажке, подумала, наморщив лоб, и медленно сказала, что да, это не очень далеко, она знает эту усадьбу. И знает хозяев. Две сестры, мать и сын, который где-то прячется, а старый господин умер до войны, он был немножко...— она покрутила пальцем у виска, показывая, что старый господин был немного сумасшедшим.— А старая госпожа, она умная женщина и добрая.
Болховитинов нерешительно посмотрел на Таню.
— Что это вы затеваете? — тихо спросила она по-русски.
— Погодите,— он помолчал, потом снова обратился к Марте.— Скажите, вы не могли бы побывать в этой усадьбе? Старой госпоже надо отдать записку — это рука ее сына, она узнает...
— Виллема? — с удивлением спросила Марта.
— Я не знаю, как его звали. Возможно, Виллем, если у него нет брата. Так вот: вы отдадите ей эту записку и скажете, что человек, который помог Виллему бежать, хочет обратиться с просьбой.
— Так, я поняла. Но она спросит, с какой просьбой.
— Моей жене,— он положил руку Тане на плечо,— надо пожить там в усадьбе некоторое время. Но чтобы немцы не знали. Там нет сейчас боев?
— Нет, нет, парашютисты спустились дальше. Там спокойно пока,— заверила Марта.

— И еще один вопрос: если старая госпожа согласится, сможете ли вы провести жену через границу?
Марта подумала, кивнула.
— Я думаю, да, это возможно. Раньше — до войны — граница была закрыта, но когда началась оккупация, там все сняли. Посты только на дорогах, но если знать, где пройти, это можно. Я знаю места.
Когда Марта ушла, Таня с удивлением посмотрела на Болховитинова:
— Вы хоть бы меня спросили? Что я там буду делать?
— Танечка, но вы же видите, как обстоят дела!
— Да ясное дело,— вмешалась Анна,— ничего лучшего не придумать! Эту неделю поживешь с нами, а после Марта тебя на ту сторону переведет, и ладно. А сейчас давайте-ка поужинаем, я из хозяйкиного погреба по такому случаю бутылку белого свистнула... Ну, день сегодня какой-то чумовой!
День действительно был «чумовой». Только выпив вина, Таня как-то расслабилась и вдруг осознала все сегодняшние события вместе, в совокупности. Сейчас трудно было поверить, что еще утром она укладывала в коробку из-под «Магги» свои пожитки, едва удерживаясь от слез и боясь даже представить себе, что ждет их там, за Рейном. И вдруг такое! Прошло несколько часов — и она уже отделена от всех, с кем прожила это далекое от войны лето, и уже опять на каком-то полулегальном положении, и даже — мало того! — чуть ли не замужем...
— Мы что, действительно теперь муж и жена? — спросила она.— Забавно — второй раз меняю фамилию, это уже третья.
— А вторая?
— Я сюда приехала как Дежнева, назвалась Сережиной фамилией в Энске, когда попала в облаву.
— А, ну разумеется...
Болховитинов притих, перестал принимать участие в разговоре, потом встал и сказал, что выйдет подышать, голова разболелась.
— Вы мне найдете там какую-нибудь свободную комнатенку? — спросил он у Анны.
— Да уж ладно, найду, если с женушкой не хотите.
— Анька! — Таня, вспыхнув, ударила ладонью по столу.— Хватит, в самом деле! Ни в чем меры не знаешь!
Он медленно шел по улице, вечер был прохладный, уже чувствовалось приближение осени. Глупость получилась, и как-то запутывается все это больше и больше, хотя почему, собственно? Если разобраться хладнокровно, пустая формальность, это ведь только его отношение к Тане придает ситуации двусмысленную окраску, а если бы не это... Если бы, если бы!
Когда он вернулся в отель, все уже спали. Дремавшая за конторкой Надя — была ее очередь дежурить ночью — отдала ему ключ, он поднялся к себе и заснул как убитый. Утром уехал в Клеве первым поездом. На трассе они с Риделем поселились в сборном домике, где еще не было телефона; лишь на четвертый день он смог вырваться в город позвонить. Анна сказала, что все в полном порядке — вчера Марта повела Таню через границу, а сегодня вернулась, так что Таня уже на месте, у родственников Виллема.
Он еще раз успел побывать в Калькаре, поговорил с Мартой и получил записку от Тани. А потом — двадцать шестого сентября — англичане предприняли новую попытку наступления. За два дня довольно вялых боев они потеснили немцев до берега Мааса и немецко-голландской границы, где и установилась новая линия фронта. Таня была теперь по ту сторону — на освобожденной территории.

Глава 20

С Игнатьевым давно уже не доводилось им встречаться, хотя воевали в одной дивизии и всегда находились не так уж далеко друг от друга. А тут вдруг встретились — после боев под Дебреценом, когда дивизия была наконец выведена в армейские тылы на отдых и доукомплектование. Игнатьев после Белоруссии получил капитана, так что в звании они теперь сравнялись; Дежнев про себя удивлялся, по его мнению, Паша заслуживал двух просветов. Умнейшая голова, математик, офицер с боевым опытом — давно уж мог бы командовать чем-то побольше батареи.
Поселившись вместе, Дежнев и Игнатьев общаться могли по вечерам. Днем оба были заняты по службе, это ведь только так называется, что отдых, а на самом деле колготни на этом «отдыхе» больше, чем на передке в периоды затишья. Батальонные занятия, политбеседы, командирская учеба, проверки, инспекции, и всюду надо успеть, для всего выкроить время. У артиллеристов тем более, иптаповцы начали получать новую технику, противотанковые пушки БС-3 — чудища калибром 100 мм, со стволом шестиметровой длины, их надо было теперь срочно изучить и освоить.

— Да, нам бы в сорок первом такую матчасть,— заметил Дежнев, когда Игнатьев однажды рассказывал о новых орудиях.— А то, помню, «сорокапятки» эти — вот уж горе, сколько мы с ними намучились.

— «Сорокопятка» не такая уж плохая была пушечка,— возразил Игнатьев,— зря ты ее. Я бы вообще не сказал, что нас тогда матчасть подводила. С танками была беда, покуда «тридцатьчетверка» не появилась, и самолеты были никуда не годные, а в артиллерии мы превосходили немцев по всем статьям. Нас нехватка снарядов резала... не потому, что не было их, где-то в тылах от снарядов склады ломились. Подвезти вовремя не умели или подвозили не то, что надо. Словом, обычный российский бардак.

— Это ты, Паша, верно заметил, бардак у нас продолжался аж до самого Сталинграда... если не до Курска. Сейчас вспомнишь, так даже не верится, что это та же самая армия, та же самая война...

— А война, если она долгая, обычно и не остается «той же самой». Каждый ее период не похож на предыдущие... А с тех пор, как перешли границу,— ты заметил? — вообще все как-то по-другому ощущается.

— Ясное дело. Когда твоя берет, все ощущается по-другому.

— Дело не только в том, чо «наша берет»... Тут еще и другое: люди стали спокойнее, нет того озлобления, что было раньше, когда шли по Украине. Психологически это объяснимо: там все было слишком свое, слишком наболевшее...

— Да, там злости было больше. Здесь все-таки чувствуешь себя как бы на нейтралке: вот мы, вот немцы, а земля вокруг и не своя, и не чужая. Поэтому и душой за нее не болеешь, не то чувство. Там — дома — увидишь деревню сожженную, и сердце сжимается, а здесь тебя это не так затрагивает. Да и нет таких разрушений... Но там злость помогала воевать, так что кстати была.

— Помогала? — задумчиво переспросил Игнатьев.— Не знаю, не уверен. Злость помогает в рукопашном бою, в атаке, там чем злее, тем лучше. А когда командуешь людьми... тут не злость нужна, а хладнокровие, умение владеть собой. Со злостью это как раз совершенно несовместимо, злость делает человека невменяемым... А у нас, к сожалению, с самого начала войны вся ставка была на злость. Никогда не забуду одного разговора... Весной сорок третьего — уже после харьковских боев — я возвращался из госпиталя и там мы в одном местечке застряли — распутица, ни пройти ни проехать, а был с нами один какой-то... то ли журналист военный, то ли политработник, я так и не понял. Словом, сидим мы с ним вдвоем в хате, у него водка была с собой, выпили, разговорились... как раз в газетах было о том, что немцы под Харьковом захватили наш полевой госпиталь и перебили весь медперсонал. Я и говорю — вообще-то не совсем понятно, зачем мы вооружаем наших врачей и медсестер, толку от этого никакого, а немцы свирепеют, поскольку по международным военным законам медперсонал не входит в категорию комбатантов и, значит, не имеет права носить оружие. И вот тогда товарищ мне в ответ такую вещь сказал, что я до сих пор забыть не могу. Знаете, говорит, к тому, что рядом мужиков убивает, к этому солдат привык, и обостренной ненависти к врагу это уже вызывать не может: ну что ж, война есть война. А вот когда он увидит изнасилованную санинструкторшу, которой еще и штык в живот всадили,— вот тут он на немца обозлится по-настоящему...

— Да сволочь он был, твой журналист! — крикнул Дежнев.— Это ж додуматься до такого — выходит, мы нарочно одних подставляем, чтобы в других злость вызывать?

Игнатьев пожал плечами.

— За что купил, за то и продаю, а выводы делай сам.

— Да нет, ну это...— Дежнев не договорил, помолчал, потом спросил: — А что, у немцев разве военврач не носит оружия?

— Нет, насколько мне известно.

— Вот оно что... Нет, ну наши-то я не думаю, чтобы нарочно. Другое дело — могли не подумать, не принять во внимание...

— Могли,— согласился Игнатьев.— А могли и подумать. Очень обстоятельно могли подумать, просчитать все варианты последствий. Что мы с самого начала сделали ставку на разжигание ненависти к врагу любыми средствами, уж это-то факт бесспорный.

— Да как же можно было иначе? — Дежнев рассмеялся.— Любовь, что ли, к нему надо было разжигать?

— А разжигать искусственно вообще ничего не надо. Во время войны ненависть к врагу вспыхивает стихийно, как пожар. Для каждого нормального человека, который любит свою страну, всякий на эту страну посягнувший — враг, и поэтому подлежит уничтоженню. А когда я читаю Эренбурга... впрочем, прости за риторический оборот, как раз его-то я не читаю вообще; не хватает еще, чтобы мне, русскому офицеру в третьем поколении, этот коммивояжер объяснял, как я должен любить свою землю, какие немцы выродки и как их поэтому надо истреблять. Да на черта мне его объяснения! Я немцев истребляю потому, что они посягнули на Россию,— для меня этого достаточно.

— Ну ладно, допустим, тебе объяснения не нужны, ты человек образованный и сам разберешься...

— Да побойся ты Бога, при чем тут образованность! Диплом, что ли, делает человека патриотом?

— Я не так выразился, погоди. Согласен, дело не в образовании, и все-таки есть люди сознательные, а есть несознательные. Не бывает у нас в частях дезертиров, что ли?

— А на дезертиров эта пропаганда не рассчитана,— возразил Игнатьев.— На кого она рассчитана — и на кого, к сожалению, действует — это основной контингент армии, наш среднестатистический русский Ваня... чьи отцы и прадеды, замечу кстати, землю свою умели оборонять с незапамятных времен, еще на Куликовом поле умели, и без всяких подсказок.

— Ну, может, излишнее усердие проявляют наши газетчики,— примирительно сказал Дежнев.— Да хрен с ними, их ведь тоже можно понять. Перышком скрипеть, оно ведь легче, чем по передку ползать... вот и отрабатывают легкую жизнь. Беды-то в этом нет.

— Нет, есть беда! Если человека действительно научить ненавидеть — хотя бы это была и оправданная ненависть,— не знаю, сможет ли этот человек когда-нибудь вернуться к нормальному душевному состоянию. Есть болезни, которые бесследно не проходят. Вроде бы и выздоровел, а какой-то внутренний надлом в организме остался и рано или поздно проявится. А наш народ ненавидеть научился, в целом пропаганда действует — и чем грубее, тем эффективнее. Это закон! Мы с тобой можем знать цену всей этой ахинее, вроде «Письма, найденного в кармане военнослужащего фашистской армии Курта Б., убитого в бою за населенный пункт А.»: «Моя дорогая женушка, посылаю для Эльзхен платьице, как раз впору для пяти лет, оно немного испачкано, но это ничего, кровь легко отстирывается»... или записной книжки обер-лейтенанта Ганса В., найденной в блиндаже на Н-ском участке фронта: «Вчера к нам привели красивую молодую женщину, у которой муж в Красной Армии, мы хорошо с ней позабавились, жаль что потом пришлось пристрелить»...

— А я, например, цену этой «ахинее», как ты говоришь, не знаю,— возразил Дежнев.— Ты что же, думаешь, что не могло быть таких случаев?

— Могло быть все что угодно. Наверное, даже геббельсовские пропагандисты — когда начинают живописать «большевистские зверства» — не в силах выдумать ничего такого, чего в принципе не могло бы быть. В принципе, среди немцев может найтись выродок, способный поучаствовать в коллективном изнасиловании, почему бы и нет. Они и среди нас есть, почему бы им не быть среди немцев? Я говорю не о теоретической возможности того или иного события; я просто не верю во все эти «письма» и «дневники», и не верю по той простой причине, что никто в здравом уме — даже будучи последним подонком и дегенератом — не станет писать что-либо подобное на фронте, где всегда есть опасность того, что тебя с твоей писаниной захватят в плен. Документы эти сочиняются нашими пропагандистами, по крайней мере большинство из них, и я убежден, что результаты такой пропаганды в конечном счете окажутся самыми скверными. Да они уже и оказываются! Возьми случаи убийства пленных; да, это строжайше запрещено, я знаю, но это происходит или нет?

— Ну, бывает,— Дежнев пожал плечами.— У меня в батальоне такого не случалось, но слыхать слыхал. Трибунал, Паша, за это положен.

— Я знаю, что за это — трибунал. Только вот знать бы, кого в таких случаях судить! Простого солдата, который начитался про четвертованных младенцев да повешенных старух, а потом получает приказ отвести пленного и не выполняет этого приказа, не может выполнить, потому что болен ненавистью; или того сукиного сына, который привил ему эту заразу, не задумываясь о последствиях? Ты пойми, я ведь говорю о ненависти к народу, к людям, а не о ненависти к фашизму как системе, к фашистскому государству. Немцы массу преступлений совершили на Украине, но это были преступления государственного масштаба, преступления системы. И наша пропаганда должна была бы четко разграничить эти два понятия: власть и народ... а не валить все в одну кучу, вместе с ненавистью к режиму разжигать и ненависть к народу. Мне страшно себе представить, что будет, когда мы, подготовленные таким образом, войдем в Германию. Хорошо, что приходится пройти сначала через эту своего рода буферную зону, есть время поостыть, а мы ведь народ отходчивый... Если и в этом нас не переделали,— добавил Игнатьев после паузы.

— В каком смысле?

— В смысле способности прощать. Когда воевали с Наполеоном, озлобление в народе тоже было большое, но в Париж наши войска вступили в самом дружественном расположении духа — не столько победители, сколько освободители...

— Сравнивать тут смешно,— сказал Дежнев.— Наполеон тысячной доли того не натворил, что Гитлер.

— Если мерить нашими сегодняшними мерками — да. Но для своего времени?

— Странно это у тебя получается — наше время, выходит, более жестокое... Тогда ведь и крепостное право было, и солдатская служба двадцать пять лет продолжалась, и сквозь строй прогоняли...

— Ты еще Салтычиху вспомни. Тогда отдавали в солдаты, теперь просто сажают, не знаю, что лучше. А насчет крепостного права... Ну, фактически крестьяне у нас прикреплены к земле так же, как были прикреплены до шестьдесят первого года. Разница в том лишь, что тогда земля принадлежала помещикам, а теперь принадлежит государству. Впрочем, сравнивать эпохи вообще трудно. Раньше больше было жестокости в каждом отдельном человеке, или точнее — больше было возможностей проявить жестокость... Сейчас такое невозможно, но общество в целом стало более терпимым к злу и жестокости в масштабах государственных. Тут, мне думается, церковь играла смягчающую роль... Она не могла удерживать людей от жестоких поступков, но она хотя бы вложила в них понимание греховности того, что они делают. Ну, и приучала делать что-то доброе — пусть в микроскопических дозах.

— Это нищим, что ли, подавать?

— Да хотя бы! Много ты видел до войны, чтобы люди помоложе подавали?

— А я и сам не всегда подавал,— сказал Дежнев,— иногда действительно видишь, просит какая-нибудь старушонка — ей дашь, если есть в кармане мелочь. А то ведь бывает — такой бугай, что на нем пахать можно, а он придуривается, трясучку изображает...

— А если не придуривается? Если у него действительно какая-нибудь болезнь Паркинсона? Или он должен справку предъявить, чтобы получить твой гривенник?

— Да черт побери, не в гривеннике же дело! — закричал Дежнев.— Какой смысл поощрять жулика, вот чего я не могу понять!

— В том-то и беда, что не можешь. А раньше простая баба понимала, что лучше десять раз «поощрить» жулика, чем отказать в помощи одному больному, и отдавала свой грош не задумываясь, разумно это или не разумно. Мы невероятно очерствели! Поэтому я и думаю все время о нравственных последствиях этой войны, для меня это главное, понимаешь? Черствые уже и без того, вдобавок еще и озлобленные — неважно на кого: на немцев, на собственных предателей или на тех, кто в тылу отсиживается, пока мы тут воюем. Мы можем после войны превратиться в совершенно бесчеловечное общество, превратиться постепенно, потому что это ведь как наследственные изменения в организме — у черствых и озлобленных родителей дети будут хуже в квадрате, а внуки — в кубе... Потому что нас война если ожесточила — в массе,— то она же и научила другому: чувству товарищества, пониманию смысла жертвенности, все-таки страдания в известной степени очищают, это не пустые слова. А у тех, нестрадавших, вообще ничего за душой не будет, кроме эгоизма и жестокости...

Капитан Игнатьев погиб через три дня после этого разговора, погиб из-за нелепой случайности — иначе, чем нелепостью, нельзя было счесть внезапное появление одинокого немецкого самолета здесь, среди бела дня, в относительно спокойном армейском тылу. Случайно ли он сюда залетел или это был какой-то рехнувшийся ас, с перепою решивший сделать лихую вылазку, но он — как потом выяснилось — на бреющем проскочил линию фронта, никем не замеченный долетел до местечка, и — пока его, спохватившись, расстреляли зенитчики — успел обработать несколько улиц пулеметным огнем и мелкими осколочными бомбами.

Дежнев этот день провел в ротах, знакомясь с пополнением. Когда ему сказали, что в городке днем был небольшой шухер, он не обратил внимания; а на квартире его встретил ординарец Игнатьева с таким видом, что он — еще не связав этого с дневным происшествием — сразу понял, что случилась беда.

— ...и надо же такое,— рассказывал ординарец,— всего и раненых-то оказалось пять человек, несерьезные все ранения, а его наповал, и осколочек — сказали — вот такой махонький, в полногтя. Может, в другое место куда ударил бы, так и ничего бы не было, а тут аккурат в затылок, навылет...

Дежнев, оглушенный случившимся, прошел к себе и повалился на койку, не сняв сапог. Четвертый год привыкаешь, а привыкнуть нельзя; и из всех фронтовых друзей, кого потерял за это время, эта потеря казалась ему сейчас самой невосполнимой. Потом-то, конечно, восполнится и забудется, так уж мы устроены, но сейчас — представить себе нельзя, что из-за дурацкой случайности не стало такого человека... Восточная притча вспомнилась вдруг ему, как мудрец загадывал царю загадку: положил на чашу весов маленький обломочек потемневшей кости, а на другую сколько ни валили золота, оружия — кость весила больше; а потом мудрец положил на нее щепотку пыли, и чаша с костью взлетела кверху; и мудрец объяснил, что это обломок человеческого черепа, в нем была заключена целая вселенная, а когда засыпали прахом, вселенной не стало...

Утром Игнатьева хоронили. День был мглистый, холодный, совсем уже предзимний. В городке давно стоял наш госпиталь, и на кладбище — чуть в стороне — образовался целый участок, уставленный красными пирамидками. У некоторых лежали хризантемы — приносили мадьярки, кто знает, из каких чувств, искренне ли, или желая проявить лояльность к новой власти. Когда гроб опускали в могилу, нестройно протрещали автоматы и сразу — словно сотрясением воздуха прорвало низкие облака — пошел редкий сырой снег. Стоя у самого края, Дежнев смотрел, как крышка гроба постепенно скрывается под глухо стучащими о доски комьями мокрого суглинка. Многих уже довелось ему хоронить, но еще никогда не ощущал он с такой пронизывающей горечью, с неподвластным разуму чувством внутреннего протеста всю противоестественность страшного парадокса смерти, не делающей различия между человеком и животным. Собака или лошадь не носят в себе никаких вселенных, а их жизнь точно так же зависит от любой случайности. Против этого — если задуматься — восстают все чувства: сходные физиологически, человек и животное при жизни столь несоизмеримо различны в главном, что невольно возникает мысль о неизбежном сохранении этого различия и в смерти. Не отсюда ли идея загробного существования, бессмертия души?

Лишь когда продолговатый холмик был насыпан, выровнен и обхлопан лопатами, Дежнев надел фуражку и вместе с другими пошел прочь. У ворот кладбища его окликнул незнакомый артиллерист, представившийся помощником начальника штаба полка, где служил Игнатьев.

— Должен вам передать,— сказал он, достав из полевой сумки конверт,— это от него.

— От кого? — не понял Дежнев.

— От капитана Игнатьева,— сказал помначштаба, и это прозвучало так дико, что он тут же поторопился объяснить: — Понимаете, Павел Дмитриевич с месяц назад отдал мне это с просьбой вручить или переслать вам, если с ним что случится. Многие так делают — адресами обмениваются на всякий случай, мол, если что, так напиши как-нибудь не по-казенному... Что-нибудь в этом роде, я думаю. Словом, волю покойного, как говорится, я выполнил...

Если бы не мокрый снег, который тем временем пошел лепить еще гуще, Дежнев вскрыл бы конверт прямо здесь. Ладно, подумал он, пряча конверт, прочитаю дома. О сыне, наверное, пишет. О чем еще мог бы он ему писать? Да, осиротел бедный пацан, хорошо хоть возраст такой — ничего еще не сообразит, да и вообще вряд ли помнит отца. Позже начнет о нем думать — у других, дескать, отцы есть... хотя и то верно, что таких, как он, будут миллионы. Но от этого не легче.

— Федюничев,— сказал он, вернувшись домой,— ставлю тебе задачу достать водки. Где — меня не интересует; если не столкуешься со старшиной, купи у мадьяр, деньги возьми в планшете. И Савельева позовешь, помянуть надо капитана Игнатьева.

— Без вас не додумался бы,— проворчал Федюничев.— Все уж готово, Савельева сейчас кликну.

Войдя в комнату, он лишний раз убедился в догадливости своего ординарца — на столе, рядом со вскрытой банкой тушонки, обшитой сукном немецкой флягой и его, дежневской, вороненой стопкой из пламегасителя, стояли две алюминиевые кружки, значит, и насчет Савельева сам сообразил...

— Ну что, славяне,— сказал он, когда пришли оба ординарца,— помянем Пал Митрича, да будет ему земля пухом. Настоящий был человек, такому жить бы да жить...

Он сам не мог определить странного чувства, мешающего ему поскорее вскрыть письмо, которое он ни на секунду об этом не забывал — все еще лежало нераспечатанное в кармане гимнастерки. По правде сказать, было просто жутковато: письмо от мертвого. Хотя, конечно, тут никакой мистики, он поступил бы точно так же, наверное, будь у него сын, о котором «в случае чего» некому позаботиться. Тоже оставил бы другу просьбу-завещание.

Когда ординарцы удалились, он позволил себе налить еще стопочку — помянуть уже персонально; постоял, опустив голову, пробормотал вслух «эх, Паша, Паша» и выпил, крепко зажмурившись. Потом полез в карман.

«Действующая армия, 6.10.44

Уважаемый Сергей Данилович!

Письмо это ты получишь, как говорится в подобных случаях, когда меня уже не будет. Не сразу решился написать, т. к. это означает нарушить обещание, которое я опрометчиво дал. Давать его не следовало, я это понял уже задним числом и тогда же решил нарушить — после войны, когда у тебя будет время подумать о личных делах. Сейчас, понимаю, лишние головоломки тебе ни к чему. Но все мы на фронте, как известно, под богом ходим, поэтому в порядке предусмотрительности пришел к мысли изложить дело в письменном виде. Если письмо до тебя дойдет, значит, предусмотрительность оказалась не лишней.

Дело касается нашей общей знакомой — Елены С. Касается ли оно также тебя — не уверен, и эта неуверенность объясняет, почему я колебался. Но раз уж решился, буду говорить прямо и открыто, без околичностей; если предположение мое ошибочно — можешь сжечь это письмо, не дочитав.

Ты однажды спросил меня, куда исчезла Е., и чем объясняется ее исчезновение. Я не ответил тогда тебе на оба вопроса, просто потому что был связан обещанием. Сейчас отвечаю: Е. попросила о переводе на другой фронт после того, как узнала про свою беременность. Она не хотела, чтобы про это узнали другие, и в первую очередь ты. Об этом она мне сказала прямо, и я так же прямо спросил ее тогда (ты уж извини), не твой ли это ребенок. Она заверила, что нет, и объяснила свою просьбу (скрыть от тебя) просто тем, что не хочет, чтобы ты думал о ней плохо. Ну, знаешь, как иногда думают в нашей среде о женщинах-военнослужащих, попадающих в такое положение.

Я тогда ей поверил, но потом засомневался опять. Почему — сам не знаю. Пожалуй, после того, как она написала уже из Ленинграда, что рожать будет в ноябре, и я вдруг вспомнил, как она однажды сказала, что зимой виделась с тобой в твоем родном городе, где тогда стояли наши дивизионные тылы и куда ты приезжал на пару дней то ли в отпуск, то ли в командировку...»

Дежнев опустил руку с письмом, глядя в окно остановившимся взглядом. Рожать в ноябре, значит — октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март... Он громко присвистнул.

— Февраль, елки-палки! — вырвалось у него совсем по-мальчишески.— Ну, влип! Он вскочил, пробежался по комнате, ероша волосы, потом выпил еще стопку и сел дочитывать. Хотя что там читать, все ясно и так. Конечно же, февраль! — еще Сеня Лившиц предложил выпить авансом за приближающийся День Красной Армии...

«...Может быть — скажу еще раз — все это мне примерещилось. Но если нет, тебе следует об этом знать, даже вопреки желанию Е. все скрыть. Думаю, что я не очень плохо поступил, нарушив свое обещание, т. к. в конечном счете речь идет не столько о тебе или даже самой Е., сколько о судьбе ребенка. Своим письмом я ставлю тебя перед трудной дилеммой, но что же теперь делать. Обдумай все, хорошо взвесь и поступай так, как подскажут совесть и разум.

Ну вот, Сергей Данилович, и все. Относительно моего Димки никакими просьбами и поручениями обременять не стану, о нем, к счастью, есть кому позаботиться. Прощай, и постарайся дожить до мира.

Твой друг — П. Игнатьев».

Окончание следует

Леонид ЭФРОС

Мне уже случалось писать, вспоминая о поэте Глебе Сергеевиче Семенове, о литературном кружке при Ленинградском Дворце пионеров, возникшем в конце сороковых годов, о той совершенно особой атмосфере, которая отличала это литературное объединение. Туда приходили, там, волнуясь, читали свои первые стихи ставшие теперь профессиональными литераторами Владимир Британишский и Лев Куклин, известный ныне кинорежиссер Игорь Масленников, кинопублицист Феликс Нафтульев... Был среди нас и Леня Эфрос, шумный и вспыльчивый, всей душой преданный нашему небольшому сообществу. Леня не стал поэтом, он получил инженерно-экономическое образование, работал по своей специальности, позже время от времени в журнале «Костер» появлялись его публицистические очерки для ребят. Хорошо помню один наш теперь уже давнишний разговор, когда Леня яростно, что называется с цифрами в руках, доказывал, что все официальные сообщения об успешном выполнении и перевыполнении заданий очередной пятилетки, мягко говоря, не соответствуют действительности. И это нетрудно обнаружить любому мало-мальски думающему человеку. Для того времени подобные утверждения казались едва ли не кощунственными. Гораздо реже он говорил о своих стихах, но, как выяснилось, он писал их всю свою жизнь. Жизнь же его оборвалась рано и оборвалась трагически: Леня Эфрос покончил с собой. У меня нет сегодня ни права, ни желания обсуждать, что именно привело его к такому исходу, мне лишь очень хочется, чтобы в память о нем со страниц журнала прозвучали наконец его стихи.

Борис НИКОЛЬСКИЙ



Парадоксальный, очень странный век,
Где спутан смысл и звук местоимений.
Не верится? Но вспомните,
как в кресле
Попыхивая мятой сигаретой,
Вы на вопрос жены кричите зло:
«Отстань, мы нынче с чехами играем...»
И вы играете? В удобном кресле?

Еще пример —
сверхмизерный начальник
Или министр в тональности привычной
Бросает убежденно: «Я построил...
Дорогу проложил. Воздвигнул город.
Я сделал убедительный расчет».

А сам лишь подпись чиркнул
между делом.
Трудились техники и инженеры.
Рабочие. Уборщицы мели...
А он же «я» бросает убежденно
И так же убежденно говорит
«Мой сектор. Мой завод. Моя контора».

Или еще забавнейший пример:
Я к человеку плохо отношусь
И говорю с пренебреженьем явным:
«ОН» или «ЭТОТ». И оттенок слова
Всю ненависть к обидчику вложил.
Но в чем местоименье виновато?
И в дополненье говорим — «ОНИ».

А за «ОНИ» нам видится система
И убеждений чуждых, и порядков.
Что мы всем сердцем с гневом
отвергаем.

Парадоксальный, крайне сложный век,
Который рвет, коверкает язык,
Ломает числа, падежи, склоненья,
Взрывает существо местоимений
И извращает сущности людей.



Опасно пахли шашлыки —
Дымясь, торжествовала пища,
Из-за буфета коньяки
Вытягивали шею хищно.

Хрусталь поблескивал, как нож,
Икра чернела горькой клейкой
И гитариста била дрожь
В чеканно-пьяном ритме шейка.

И как обычно в кабаках
В углу от стойки чуть направо
Компания мужчин чернявых
В широких, пестрых свитерах.

И среди них она — нейлон,
Джерси, волос начес упругий

И рот, готовый для услуги,
И руки теплые узлом.

И вдруг... Вдруг бешенство в глазах.
Бокал о стену брошен с силой.
Молчаньем захлестнулся зал,
Когда она заголосила.

Но как... Как будто ветра вой
В трубе заброшенного дома.
Так бьется мать о стену дома
Седой от горя головой.



Стоит большие холода.
Они стоят столбом белесым.
Прозрачным, леденящим весом
Вжимают в землю города.

Стоят большие холода,
Тепло из пальцев забирают,
На телеграфных проводах
Сухими пальцами играют.

Какая, право, ерунда,
Что холод в чувствах невозможен.
Текст телеграммы заморожен.
Стоят большие холода.

Стоит большие холода.
Вручают льдинки почтальоны...
Но вижу лужу. В ней вода.
А рядом птенчик удивленный.



Своих мы одноклассников порой
На шумных, людных улицах встречаем.
«О, сколько лет!..» — мы громко
восклицаем,—
А ты совсем не постарел, герой!»

Его ты лупишь лихо по плечу.
Как жизнь? Как дети? — Как похожи
речи...
А он лишь час назад ходил к врачу,
Лечил разбушевавшуюся печень.

Ах, эти встречи в уличной толпе —
Вы скважины для самоутвержденья,
Ключи для отрицания старенья
На жизненной ухабистой тропе.

Так много совершенства в простоте...
Вот детский змей над городом летает,
И одноклассник в шумной суете
Тебя на перекрестке окликает.



Он ушел от нее, не сказав, ни зачем, ни куда.
Он ушел, как уходит в мягкую землю вода.
Он ушел, как уходит легкий, летучий мотив.
Он ушел навсегда, никого о пути не спросив.
И осталась она. Так же почту брала по утрам.
Торопилась порой на метро по обычным делам.
В магазине брала крупу и капусты вилок.
И сухими глазами смотрела всю ночь в потолок.
Но молчал потолок. Не светились на нем письмена.
И пыталась найти лихорадочно что-то она.
Только тщетно. Ушел он, как в землю уходит вода.
Ее детское сердце с собою унес навсегда.

Публикация Светланы ЭФРОС

Николай
КОНЯЕВ

ЖИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ

Открыв дверь, я увидел в прихожей плешивенького, мутноглазого человека в спецовке. Он разговаривал по телефону.

— Але-але! Это бухгалтерия? Здесь рабочий в отрыве... Тринадцатая будет сегодня?

Не прерывая разговора, мужичок замахал мне рукой, чтобы я не стеснялся — заходил в свою квартиру.

На кухне сидел еще один работяга — помоложе, похамоватее. Он курил и стряхивал на пол пепел.

— Сколько там в длину, говоришь, метров? — не обращая на меня внимания, спросил он у жены.

— Четыре...

— Четыре?!

— Четыре... Мы мерили.

Парень недоверчиво покрутил головой. Бросил на пол окурок и, аккуратно затоптав его, вытащил из кармана спецовки металлический метр.

Пока он ползал на полу в коридоре, плешивенький рабочий закончил телефонный разговор.

— Не будет сегодня тринадцатой, скобарек! — горестно сообщил он.

На скобарька эта новость не произвела особого впечатления. Сосредоточенно полз он вдоль коридора, прикладывая к полу металлическую ленту.

— Севастьяныч! — все еще стоя на коленях, воскликнул он.— Здесь же — четыре метра! Ты слышишь, Севастьяныч?!

— Врешь!

— Ну, вот! Ну падлой буду. Два раза мерил!

Василий Севастьянович подошел к скобарьку, и вдвоем они принялись придирчиво разглядывать инструмент, вытаскивая из него металлическую ленту. Василий Севастьянович впился глазами в метр, пытаясь, видимо, установить, не разбух ли он, не усох ли на лишние сантиметры, а скобарек сосредоточенно шевелил губами, словно бы пересчитывая — не пропало ли какое? — деления. Что-то, похоже, смутило их. Они вдруг принялись стучать ногтями по металлической ленте, крутили ее, поднимали над головой — и все это молча. Наконец скобарек завладел метром и, выбрав какой-то неусохший — Василий Севастьянович одобрительно кивнул ему — кусок, начал прикладывать его то тут, то там к стене, сопя, и волнуясь, и время от времени со злобой поглядывая на нас.

Василий Севастьянович вернулся в кресло возле телефона и снова снял трубку.

— Четыре? — спросил он, набирая номер.

— Бля буду. Четыре, падла!

Василий Севастьянович бросил на аппарат трубку. Потом встал. Опустив голову, прошел на кухню и сел за кухонный стол. Руки его дрожали. Василий Севастьянович чем-то был очень похож сейчас на врача, обязанного сообщить вам, что — увы! — наука, как говорится, бессильна... О, как трудно было ему говорить! Помаргивая, смотрел Василий Севастьянович, и мутноватый, недоуменный свет сочился на нас.

Я не заметил, как появилась на столе бутылка. Ее выставила дрожащей рукою жена. Она не выдержала. Она понимала, что нелепой, вздорной была сама ее мысль обшить рейкой неровные стены. И даже, может быть, антигуманной, если принять во внимание роковую длину нашего коридора.

— Скобарек! — негромко позвал Василий Севастьянович.

— Чего? — спросил из коридора его напарник. С хмурым лицом он стучал сейчас костяшками пальцев по стенам, как обычно стучат по двери, спрашивая разрешения войти. Стены явно не нравились ему. И хотя скобарек и не объяснял, почему они плохие, но по его лицу было видно, что хуже не бывает.

— Садись давай...— сказал Василий Севастьянович.

Скобарек зашел на кухню. Увидев на столе бутылку, остановился.

— Там же четыре метра, е-ма-е! Бля буду — четыре! — воскликнул он.— Ты чего, Севастьяныч! Забыл, что ли?

Однако Василий Севастьянович уже принял решение. Содрав пробку с бутылки, он наполнил стопки.

— Пусть я сраный, пусть я пьяный, но я тоже для людей живу! — сказал он.

— Четыре метра, бля...— повторил скобарек, но уже тише, уже не так настойчиво. Нерешительно поднял свою стопку и — о, бля, четыре метра! — выпил.

Василий Севастьянович снова наполнил посуду и, выпив по второй, закурил.

— Не ссы, скобарек... Я пять лет кабинеты у министров рейкой обшивал... Все сделаем, как положено.

Слова его странно подействовали на мою жену. Хотя и был у нас в семье обычный советский достаток, но сравнивать его с бюджетом, пусть и небольшого, министерства как-то никому до Василия Севастьяновича еще не приходило в голову.

И жена дернулась было, чтобы объяснить Василию Севастьяновичу, извиниться перед ним за то, что он не совсем правильно понял ее, если... но сказать ничего не успела. Помягчев лицом, Василий Севастьянович посчитал необходимым объяснить, почему он проявил, невзирая на явное противодействие скобарька, такое великодушие.

Он сказал вдруг, что, в отличие от скобарька, он не всегда был работягой. Было время, когда он учился в партшколе. Да, да, скобарек... Чего сидишь, слюни пускаешь? Просто тогда культ личности разоблачили... А как можно было душе стерпеть, что Сталин плохой? Не-е, невозможно, никак нельзя. Вот и ушел Василий Севастьянович из партшколы...

Мы с женой заискивающе промолчали.

Конечно, в другой ситуации я бы непременно возразил, но сейчас мешал стыд за свой коридор. Ну, будь он хотя бы на пять сантиметров длиннее! Или короче сантиметра на полтора... Тогда бы, конечно, любой гордо вступил в спор. Но с таким несуразным коридором? Нет, не хватило у меня мужества отважиться на дискуссию.

Пока я перебирал эти доводы, наши благодетели допили водку и встали. Уже в коридоре, оглянув кривые стены, Василий Севастьянович снова повторил, что хотя он и сраный, хотя и пьяный, но...— он махнул рукой и вышел, ушел пошатываясь, чтобы скрыться в строительных лесах, особенно густо разросшихся за последние годы посреди нашего города, ушел жить и там для людей. Зачарованно смотрели мы, как, сопровождаемый скобарьком, идет Василий Севастьянович по двору, оставив нам рубчатые следы сапогов, затоптанные на полу окурки да еще неясный, мутноватый свет в душе...

Честно говоря, я и не надеялся снова увидеть Василия Севастьяновича. Очень это не просто — жить для людей, особенно когда их много, а ты один...

Поэтому-то и был я так приятно удивлен, когда, вернувшись через неделю из командировки, подумал поначалу, что попал по ошибке в столярную мастерскую. В коридоре, заваленном стружками, громоздился самодельный верстачок, а в комнатах высились штабеля реек. Под верстаком тускло блестели пустые бутылки, а в груде пахучих стружек с лицом, густо замазанным мазью Вишневского, лежал скобарек. Из бурой коросты мази торчала щетина.

— А! — дружелюбно приветствовал меня, выходя из кухни, Василий Севастьянович.— Ну, наконец-то приехал. А скобарька вчера, елки зеленые, из церкви в вытрезвитель забрали. Так сегодня мы похмеляемся маленько, в счет авансу. Слышишь, скобарек?

Православный человек промычал что-то неразборчивое и затих, подгребая к себе пахучие стружки.

— Ну ты проходи, проходи...— подбодрил меня Василий Севастьянович и исчез на кухне. Оказывается, я прервал его задушевный рассказ о своей жизни.

После партшколы Василий Севастьянович начал постигать азы столярного ремесла.

— Я ж когда поступил туда, ни форму, ни постель не хотел брать. Но заставили взять... Так я ее в первый день и обменял на хлеб... А потом бежать пришлось, раз такое дело.

Рассказывал Василий Севастьянович неторопливо. Две пустые бутылки стояли на столе, и взгляд его был задушевным и мягким. Он любил сейчас и меня, так бесцеремонно ввалившегося посреди задушевной беседы в свою квартиру, и непутевого скобарька, валявшегося в стружках под верстачком, он любил своих соседей по коммунальной квартире, ему хотелось, чтобы всем было хорошо, чтобы все жили дружно.

Врожденная душевная черствость помешала мне проникнуться настроем Василия Севастьяновича. Послушав его, я спросил, когда же будет завершен ремонт.

Трудно было задать более бестактный вопрос.

Василий Севастьянович поперхнулся табачным дымом и, бросив на пол окурок, старательно растер его сапогом. Когда же поднял голову, лицо его было грустным и отстраненным.

— Пойду...— грустно сказал он.— Надо сегодня еще в бане помыться.

— А он? — кивая на скобарька, безжалостно спросил я.

— А что он? Он отдохнет немного и пускай дальше работает.

— Нет-нет! — неожиданно твердо сказала жена.— Вы, Василий Севастьянович, уж, пожалуйста, заберите его.

О, как посмотрел на нас Василий Севастьянович. Такими кроткими глазами смотрят на нас с икон святые и мученики.

— Скобарек! — присаживаясь на корточки, позвал он.— Надо идти...

Но заштукатуренный мазью Вишневского скобарек только пробормотал что-то неразборчивое и хриплое и снова уронил голову в стружки.

— Усталый он у нас...— извиняясь за друга, объяснил Василий Севастьянович.

Как отвратителен себе я был в то мгновение... Я чувствовал, как каменеет сердце... Я отвернулся от Василия Севастьяновича, копя в себе злобу и решительность, а когда снова взглянул на него, он уже и сам сидел в стружках, и голова скобарька лежала на его коленях. Глаза Василия Севастьяновича были закрыты. Он передумал идти в баню, он спал...

Ушли они ночью.

Мы слышали, как гремят они бутылками в коридоре, как включают воду, но вставать не стали. Они тихонько поматюгались в коридоре и ушли. И снова нам показалось, что ушли они навсегда. Сколько раз еще будет казаться нам, что они уходят навсегда...

Впрочем, на следующий день, покачиваясь, Василий Севастьянович снова бродил по нашей квартире между штабелями досок. Жизнь у него, как объяснил он, была несладкая. Мало того, что не выучился в партшколе, так и в коммуналке ему житья не было.

Василий Севастьянович сидел на самодельном верстачке и ругался на соседку:

— Слоны у нее только не ночуют, а у меня никому нельзя. Вчера привел скобарька, а она в милицию заявила.

— Забрали, что ли?

— Забрали, конечно, раз он дверь у соседки поломал...

— Зачем?!

— А кто его разберет, это сельпо деревенское! Не умеет скобарек работать, а лезет в помощники. Не хочу и говорить даже.

Он придирчиво оглядел только что проструганную рейку и приставил к стене. Потом залез на табуретку и начал вбивать гвоздь.

— Слушай! — закричал он сверху.— Плоски дай!

— Чего? — не понял я.

— Ну вон, на подоконнике лежат!

— Плоскогубцы, что ли?

— Ага! — кивнул Василий Севастьянович.— Плоски называются. Запомни.

Я запомнил.

— Меня в работе никто не побеждает...— объяснил мне Василий Севастьянович, отбрасывая в сторону треснувшую рейку.— Есть такие, которым абы сделать, а я не. Я на совесть люблю.

И он принялся стругать новую рейку. Впрочем, тут же отложил рубанок.

— Тьфу! — сказал он.— Стружку проглотил.

И пошел на кухню. То ли хотел проглоченную стружку запить, то ли отдохнуть решил, но сел там за стол и неожиданно сказал:

— Дай-ка десятку, хозяйка, в счет авансу.

Очень по-разному устроены люди. Бывает, что ты к ним, как к родным, с открытой душой, а они... Жену мою смутили слова Василия Севастьяновича, и она, полагая, что аванс давно уже выбран бессчетными бутылками, спросила, а что, собственно, имеет в виду Василий Севастьянович, и вообще сколько будет стоить вся работа?

Грубый, бестактный вопрос... Хотя, конечно, и жену мою извинить можно — в квартире вторую неделю царил развал, деньги, отложенные на ремонт, таяли, а с работой дело продвигалось пока туго; жене сейчас просто невдомек было, за что надо заплатить Василию Севастьяновичу десятку. За проглоченную стружку вроде бы многовато, а больше — не за что...

Но что мне нравилось в Василии Севастьяновиче — это его кротость. Другой на его месте не сумел бы сдержать обиду, заматерился бы, замахал бы руками от оскорбления, а Василий Севастьянович нет, опустил голову и кротко ответил, что откуда он знать может, во сколько работа выльется, это потом, так сказать, работа сама покажет... да и знать если, разве можно решать одному, без напарника, а напарник сами знаете где, в тюрьме сидит скобарек. Голодный, босой и сигаретов ему купить не на что... И хотя и не обвинял нас Василий Севастьянович, но и так было понятно, что если бы не зажлобились мы вчера и не выгнали бы на улицу усталого скобарька, не пришлось бы его

вести в коммуналку, не пришлось бы ломать дверь, не увели бы скобарька под белые ручки в тюрьму...

Хмуро взял Василий Севастьянович десятку, повертел ее раздумчиво, но — слава Богу! — засунул в карман спецовки и, тяжело вздохнув, вышел. После этого целую неделю не видели мы его, понимая, что и Василию Севастьяновичу нелегко пережить нанесенную нами обиду.

За эту неделю я успел прибить часть реек на стену, а оставшиеся аккуратно сложил под верстачком. Жена подмела опилки, помыла пол, и как-то уже и не очень хотелось, чтобы снова появился Василий Севастьянович.

Они пришли в понедельник — Василий Севастьянович и скобарек. Оба треавые. Оба в непривычно чистой одежде.

Увидев мою работу, оба дружно заматюгались.

— Что ж ты наделал, а?! — едва слышно спросил Василий Севастьянович.

— Нет, ты смотри, Севастьяныч! — закричал скобарек.— Ну, бля буду, он все рейки прибил!

Я не люблю, когда ругают мою работу. Может, кому-то это и нравится, а мне нет.

Чуткий Василий Севастьянович сразу понял, что мне не нравится.

— Не ругвйся, скобарек...— сказал он.— Откуда же человек знал, что мы двери подрядимся делать. Ничего, скобарек, не поправишь. Придется снова строгать рейку.

И он стащил с себя пиджак.

Так же, не расстегивая пуговиц, через голову, стащил с себя пиджак и скобарек.

В общем-то, ничего страшного нет, если в твоей квартире работает маленькая столярка. Тем более, что не так уж и часто пользовались ею Василий Севастьянович со скобарьком. Ну вот, пришли сегодня простругать рейки на чью-то дверь, а потом уйдут и опять их неделю не будет. Терпимо, в общем-то... Но достали, подзавели они меня. Когда первая рейка была готова, я влез на табуретку и немедленно приколотил эту рейку к своей стене.

Увлеченные работой, друзья не сразу и поняли, что я делаю.

Заматерился, запрыгал скобарек, а Василий Севастьянович сгорбился и, присев на верстачок, закурил.

— Горе у нас сегодня...— пожаловался он.

— Опять кого-нибудь в тюрьму посадили?

— А-а! Сверхурочные, сволочи, срезали...

— Что-то не припомнить...— ехидно сказал я,— чтобы вы очень часто на работе задерживались. По-моему, вы и в рабочие часы там не часто бываете...

— Ну и что? — удивился Василий Севастьянович.— Все равно ведь обидно — раньше-то платили...

С Василием Севастьяновичем трудно было спорить — большая правота чувствовалась в нем.

Докурив, он подошел к стене, на которой я прибивал рейки, и, придирчиво осмотрев ее, похвалил меня.

— Ничего... Можно, конечно, и так. А вот тут криво... Тут подтянуть надо. Дай-ка мотю сюда.

— Чего?!

— Мотю... Ты в руках ее держишь...

Подумав, я отдал ему молоток. Василий Севастьянович стукнул пару раз по рейке, один раз — вбок, другой — сверху и, отступив, довольно улыбнулся.

— Вот так надо, парень. Стараться надо, когда работаешь.

Такой уж я ломаный человек, что ничего меня не утомляет сильнее, чем явно выраженное духовное превосходство собеседника.

Я ушел в комнату.

Что-то матюгливо бубнил в коридоре скобарек. Василий Севастьянович пытался что-то строгать, стучал мотей и поругивался то ли на скобарька, то ли на рейку.

— Вот ведь сучок же, а? Третий раз мерю, а все равно криво ложится.

Обеспокоенная, зашла в комнату жена.

— Они так и не сказали, сколько мы должны будем заплатить за работу!

Я пожал плечами и включил телевизор.

Жена присела в кресло и бессмысленно уставилась на экран. Я тоже смотрел, не понимая, что показывают. Когда через несколько минут я очнулся, то обратил внимание, что из коридора уже ничего не слышно.

Подумав, что мастера ушли, я пошел закрыть двери. И скобарек, и Василий Севастьянович сидели на кухне и пили из стаканов что-то белесо-мутное.

— Мы тут, хозяин, про политику вопрос обсуждаем! — уважительно сказал Василий Севастьянович.— Разные, понимаешь, политики были, а душе все равно трудно стерпеть, что Сталин плохой.

— Суки все! — подтвердил скобарек.— Взяли и сверхурочные срезали!

Резко запахло от их слов одеколоном.

Жалко было французского одеколона, пустой граненый флакон от которого разглядел я под столом; жалко было жену, бессмысленно уставившуюся в телевизор; жалко было Василия Севастьяновича, которому не дали выучиться в партшколе; жалко было скобарька, ни за что ни про что попавшего в тюрьму; себя тоже было жалко... Чтобы не заплакать, я взял с холодильника мотю и начал крутить в руках.

— Ну, пошли, пошли, скобарек...— заторопился Василий Севастьянович, выталкивая из кухни приятеля.— Люди-то там ждут небось. А я хоть и сраный, хоть я пьяный, а все одно для людей живу...

Они ушли.

Часа два, не проронив ни слова, сидели мы возле телевизора и смотрели — вначале программу «Время», а потом какую-то серию бесконечного фильма про рабыню Изауру. Досмотреть серию не удалось. Раздался звонок.

Я открыл дверь и увидел Василия Севастьяновича. Он принес синяк под глазом, но видно это стало только на кухне, куда он сразу пробежал мимо меня.

— Полтора часа сейчас скобарьку лекцию читал! — торопливо ополаскивая лицо, похвастал он.— Я сознательно выпил, а ты, если не умеешь пить, так и не пей. Но он амбал, а я шплинт перед ним, вот у меня и вид такой, что я дунувши. Но полтора часа я ему лекцию читал, продержался.

Жена согрела чайник, и Василий Севастьянович еще долго сидел у нас, подсчитывая, какие убытки потерпел он от скобарька. Василий Севастьянович винил только самого себя, что связался с неумеющим пить человеком, но было понятно, что, если бы не наша квартира, никогда бы он не поступил так опрометчиво.

— Нет...— качал он головой.— Разве я вас не понимаю. У вас тоже, конечное дело, неудобства. Но это скобарек все. У него вообще мода такая — людей за нос водить.

— Ну и плюнули бы на него...— посоветовал я.— Сделали бы сами, и дело с концом.

— Не-е...— Василий Севастьянович опустил голову.— Я этого... Я только, если уворовать что, могу. А сделать не-е, не получается у меня.

— Не научились, что ли?

— Не научился... А когда учиться-то было? Пьем часто.

И так доверчиво он признался в этом, что я и рассердиться не смог. Только жена, как более практический человек, сразу спросила, что же теперь нам делать?

— А вы итэзра какого-нибудь наймите...— быстро ответил Василий Севастьянович.— Со мной за материал рассчитайтесь, и все. Приколотить-то рейку и хозяин сумеет...

И опять-таки так убедительно он сказал это, что я сам почувствовал — сумею. Поговорили, немного поспорили и сошлись на двадцати пяти рублях отступного.

В коридоре Василий Севастьянович задержался, оглядывая штабеля реек.

— Материал-то какой хороший...— сказал он.—Такой материал сам в работу просится.

— Хороший материал...— согласился я.

— Теперь такого материала и не осталось почти...— Василий Севастьянович любовно погладил рейку и вздохнул.— Только все равно для хороших людей не жалко. Я ведь, хозяин, хоть и сраный, хоть и пьяный, а все равно для народа живу.

— Ну, это-то видно...

— Конешное дело, таково никуда не скроешь. А помощника ты, хозяин, возьми. Найми какого-нибудь кандидата наук, он и зашпандохает тебе все.

— Обязательно кандидата надо?

— Кандидата лучше! — подтвердил Василий Севастьянович.— Он же учился дольше — значит, и квалификация у него выше. Они, кандидаты-то, обязательно по столярной или плотницкой части двигают. Ну, да ты сам смотри.

На этом мы и расстались.

Ушел Василий Севастьянович теперь уже навсегда, бесследно пропал в зарослях строительных лесов, которыми в последнее время все гуще и гуще зарастал наш город. Ушел он — мудрый, кроткий и пьяненький, и больше его я уже не встречал.

А прихожую, Василий Севастьянович как в воду глядел, доделывали мы вдвоем с приятелем. Как раз с кандидатом наук.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Михаил
ЧУЛАКИ

СПАСАЮТ ТО, ЧТО МОЖНО СПАСТИ?

Почти всякий читатель помнит из своих школьных времен крамольный вопрос, повергавший в ужас учителя истории: «Социализм после капитализма, коммунизм после социализма — а что будет после коммунизма?» Ныне этот вопрос почти потерял актуальность, так как мало кто еще (или уже) верит в наступление грядущего коммунизма на нашей планете.

Мало кто — но кое-кто все же верит. И эти немногие пытаются спасти идею, отказавшись от слишком скомпрометированных сопутствовавших догм, пустившись в самый бесшабашный, по прежним ортодоксальным меркам, ревизионизм. Возможно, они поступают искренне. И все-таки трудно избежать подозрения, что наши неомарксисты пытаются получить проценты с того морального капитала, который успел нажить ревизионизм во времена идейной диктатуры таких столпов марксистского фундаментализма, как академик Минц, академик Поспелов — ведь тогда ревизионизм был как бы внутримарксистским диссидентством.

Самым замечательным событием в операции по спасению отечественного марксизма и даже ленинизма стала книга С. Платонова «После коммунизма», изданная московской «Молодой гвардией» в 1989 году. Название, конечно, коммерческое, рассчитанное на то самое ностальгическое воспоминание о первом детском вольнодумстве.

На самом же деле никакого «после» автор нам не рисует. Эпоха Гуманизма, которая должна наступить «после», на самом деле и представляется полным развернутым коммунизмом, так как коммунизм, не устает повторять С. Платонов — вслед за Марксом, разумеется! — это уничтожение частной собственности; при Гуманизме же собственность отнюдь не возрождается. Так что грядет коммунизм — не ныне, но присно и во веки веков.

Автор скончался летом 1986 года, и составлена книга редакторским трио: В. Аксеновым, В. Криворотовым, С. Чернышевым. Редакторам принадлежит название и столь же завлекательный подзаголовок: «Книга, не предназначенная для печати». Предназначенная, милые наивные редакторы, конечно же предназначенная: вся стилистика С. Платонова с несомненностью доказывает, что книга писалась для публики, писалась с честолюбивым намерением создать продолжение «Капитала» — «Социал» (С. Платонов проговаривается. «„Социал“ до сих пор не создан»); отсюда сквозной образ Проницательного читателя, отсюда грубоватый, в ленинском духе юмор: «В открытый рот Проницательного читателя залетает муха. Поперхнувшись, он долго кашляет». Так не пишут в жанре «публицистических посланий к начальникам»! И не следует верить автору, хотя бы и философу, утверждавшему, будто открытую публикацию он находит неприемлемой, а муки авторского самолюбия ему абсолютно чужды. Вероятно, С. Платонов уверял в этом знакомых устно, то же самое утверждает он и письменно, но человек — это стиль и только стиль, автохарактеристики же чаще призваны скрывать, чем обнажать.

Писать С. Платонова заставляла глубокая тревога за судьбу нашей страны, и больше — за судьбу всего коммунистического движения. Он прекрасно сознавал высоту порога, в который уперлось развитие первой в мире социалистической державы, он с отчаянием видел, что делается у нас все не так, не по Марксу, и ответственность возлагал прежде всего на присяжных официальных марксистов, благоденствующих при любой смене курса, кормящихся апологетикой всякого очередного «верного ленинца». Недаром столько раз повторяется в книге фраза Маркса: «Я знаю только одно, что я не марксист». Отсюда и задача: расчистить марксизм-ленинизм от конъюнктурных наслоений, вернуться к первоисточникам, а затем — опираясь на фундамент единственно верного учения, идти дальше, с ленинской смелостью развивая теорию применительно к сегодняшней реальности.

Итак, положение критическое. «Нужно незамедлительно положить конец тому — пусть даже исторически обусловленному, но затянувшемуся сверх всякой меры и смертельно опасному для нас — переходному инфантилизму, когда... стали окончательно расплываться контуры цели коммунистов и испарилась суть „действительного коммунистического действия“ (Маркс)». И что особенно обидно: историческое-то преимущество на нашей стороне! «Коренное преимущество социалистической экономики состоит в том, что

она сознательно строится коммунистической партией, которая опирается в качестве средства на научную основу». Но обществоведы запуганы или развращены, не выдают на-гора требуемую теорию. «Эта теория должна не описывать, а предписывать, ее законы должны быть законами строительства, нормативными моделями, проектами конкретных этапов развития хозяйственного механизма». Нужна решительность, а мы непростительно медлим! «Политические предпосылки были завоеваны нами 70 лет назад... Для вступления в социализм на их основе теперь необходимо нечто качественно иное, требуется главное — „действительное коммунистическое действие“ (Маркс)».

С. Платонов предельно драматизирует ситуацию: «Переживаемый момент „как бы случайно“ содержит в себе все возможности для осуществления этого перехода... Срок, отпущенный для осуществления воздействия на наше развитие, составляет едва ли более двух-трех месяцев, а скорее всего и меньше» (!!!). В этих словах та же психологическая напряженность революционера-заговорщика, как в знаменитых ленинских «вчера рано — завтра поздно»!

Чего же мы можем достигнуть, если не упустим 2-3 месяца? И когда достигнем? «Нужные средства могли бы быть развернуты в течение 3—5 лет».

Каковы же «нужные средства»? В чем суть десятки раз призываемого на наши головы «действительного коммунистического действия»? «Единый общегосударственный планирующий центр устанавливает норматив, предписывающий каждому из производителей поставлять определенные узлы или детали в таком-то количестве, в такие-то сроки, по указанному адресу... Отношение между людьми тем самым исчезло. Производственные отношения превратились в производительные силы». Потому что вся беда в производственных отношениях, они закабаляют человека, отчуждая его от природы. «Экономика исчезает, ее место занимает организация качественно нового типа, социалистический хозяйственный механизм, общие черты которого раскрыты в „Критике готской программы“ и в ленинских работах 1917—1918 годов». (Заметьте даты: в донэповских работах!) Мы же медлим с «действительным действием», а потому не добрались даже до социализма! «Говоря ленинскими словами, общество, в котором еще остались экономические отношения, не есть ни коммунистическое, ни социалистическое общество». Впрочем, главное условие «действительного действия» у нас налицо, а потому не все потеряно: «Субъектом этой деятельности, а тем самым — субъектом общественного самосознания выступает коммунистическая партия. Эту ключевую роль партия продолжает играть на протяжении всех девяти коммунистических способов производства». Так что КПСС переживет весь коммунизм и дотянет аж до самого Гуманизма.

Однако переведем дух.

Что же получится, если коммунистическая партия промедлит роковые два-три месяца? (А написано про критический срок было еще в 1985 году!) Что случится, если марксисты плохо поработают и предпишут неверные нормативные модели конкретных этапов? Выходит, мы так и не попадем в коммунизм и постигнет нас участь витязя, который, стоя на распутье, ошибся в выборе? Вопросы тем более уместные, что наша история уже знает множество примеров и ускорений, и промедлений, великих переломов, и головокружений от успехов. Надеяться, что выведут верным путем философы, спроектируют общество, а мы возведем по их чертежам в материале — не есть ли возвращение к Платону с его управляемым философами «идеальным государством»? (Так что случаен ли псевдоним, избранный нашим автором?) И ведь сам же С. Платонов не жалеет иронии, описывая наши блуждания в дебрях ошибочных теорий! Так почему мы должны рассчитывать, что новое поколение марксистов окажется успешнее предыдущего? И виноваты ли нерадивые ученики коммунистических пророков, что неверно поняли и истолковали? Может быть, куда виновнее сами пророки, изрекавшие свои мысли слишком темно и многозначно? Вот теперь С. Платонов извлек из-под спуда истину и указал путь к спасению, но кто гарантирует нас от появления завтра, даже сегодня какого-нибудь П. Сократова, который даст противоположное, но столь же уверенное истолкование Священного истматовского писания? Кому нам следовать? И не корень ли всех бед в буквальном «претворении в жизнь» слишком известных слов Маркса: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его!» Может быть, нельзя доверять такое философам? Может быть, система (мир!!) слишком сложна для произвольного манипулирования и поддается лишь саморегуляции, то есть стихийному развитию? И не есть ли коренное преимущество именно капиталистической экономики в том, что она не строится сознательно, не опирается на научную основу, не зависит от исторических решений последнего исторического же пленума или съезда носителей «ума, чести и совести нашей эпохи»?

Впрочем, капитализма больше не существует на нашей планете — охлаждает слишком горячие революционные головы С. Платонов. «Со времен великого экономического кризиса 1929—1933 годов ка-

питализм, строго говоря, уже не существует, и предсказание Маркса — Ленина давно осуществилось». Это хорошо. Во-первых, приятно, что пророки оказались правы. Во-вторых, это необычайно важно практически: для сохранения мира, для разоружения. «В свете этого отнесение тезиса о неизбежной гибели капитализма к современному западному обществу отражает просто непонимание сути дела». Разоружаться надо, жить-то на одной планете — С. Платонов прекрасно это понимает — но ведь противно правоверному марксисту-ленинцу терпеть рядом капиталистов и даже не пытаться свергнуть проклятых! Значит, остается истинно диалектически снять самый вопрос об их существовании. А что же там — на Западе? (И на Востоке — тоже!) Ведь живут как-то народы. Неужели совсем без общественной системы? С. Платонов с ленинской смелостью развивает великое учение и вводит новый термин: «элитаризм». «Коммунизм и элитаризм проходят в своем развитии одни и те же этапы, закономерно обусловленные объективной структурой уничтожения частной собственности». Но остается и различие! «Элитаризм, как и социализм, постепенно устраняет частную собственность, но только на смену ей приходит не общественная собственность (как при социализме), а корпоративно-элитаристская собственность правящего слоя». Будьте предельно внимательны, не перепутайте: «корпоративно-элитвристская собственность правящего слоя» — это не у нас, не в руках партийно-бюрократического слоя (?), иласса (?!), нет, это в странах НАТО, ЕЭС, Большой Семерки... «Элитаризм является (как это можно доказвть с помощью теоретических средств, завещанных Марксом и Лениным) неизбежной „тенью" социализма на всем протяжении эпохи социализма и коммунизма». Ну а раз тенью — то приходится примириться: собственную тень не уничтожишь, приходится терпеть и можно даже разоружаться. Правда, революционные когти непроизвольно выдвигаются иногда из мягкой лапы: «Сохранение в наших программных документах антинаучного представления» о существовании капитализма дает аргумент в руки «классовому противнику», да к тому же ведет «к резкой недооценке потенциала классового противника»; идеал коммунизма вот-вот «станет нашим грозным оружием»; и что совсем уж не понятно: «В условиях мирного соревнования будет происходить не конвергенция, а напротив — дивергенция, расхождение двух систем». Почему? Как можно, если только не жить в мире сказок, расходиться с собственной тенью? Видно, любеанее марксистскому сердцу сказочник Андерсен, чем реалист А. Сахаров, с его теорией конвергенции.

Но в общем введение понятия «элитаризм» — полезная новация, ибо дает психологическую возможность многочисленным еще марксистам прекратить экспорт революций, примириться с разоружением, привыкнуть сотрудничать с «классовым противником», не теряя при этом теоретического лица.

Равно как и полезно напоминание, а для непонятливых — разжевывание Маркcова тезиса об «уничтожении труда». Тут очень тонкое различие между «трудом» и «деятельностью». И хотя от самого Адама человек добывает хлеб в поте лица своего, исконное это людское занятие (проклятие?), превратившее, как утверждают, обезьяну в современного гомо сапиенса, на протяжении тысячелетий еще не было трудом, который по-настоящему появился только при капитализме. И должен быть уничтожен при коммунизме. «Труд есть категория, означающая такой вид деятельности людей, при которой они связаны между собой отчужденными, то есть производственными отношениями. Уничтожение труда не означает уничтожения всякой деятельности». Читатель может немедленно убедиться, что С. Платонов в точности следует самому Марксу: «Труд есть лишь выражение человеческой деятельности в рамках отчуждения... разделение труда есть не что иное, как отчужденное полагание человеческой деятельности», — а который из авторов излагает яснее, судите сами. То есть труд существует тогда, когда имеются экономические отношения: торговля, конкуренция, найм — короче, рынок. Так что безграмотны были первые русские марксисты, образовавшие некогда группу «Освобождение труда»; безграмотны и их преемники, провозгласившие через сто лет лозунг: «Мы придем к победе коммунистического труда!» Ведь сам пророк все давно объяснил: «Свобода труда есть конкуренция рабочих между собой... Труд уже стал свободным во всех цивилизованных странах; дело теперь не в том, чтобы освободить труд, а в том, чтобы этот свободный труд уничтожить». И вот самый важный для нас сегодня вывод классика: «Труд есть та сила, которая стоит над индивидами; и пока эта сила существует, до тех пор должна существовать и частная собственность». С. Платонов разъясняет, прямо прилагая мысль Маркса к нашим современным производительным силам: «Это экономические производительные силы крупнокапиталистического типа, которые могут присваиваться исключительно посредством экономических, то есть частных форм собственности». Понятно теперь, почему у нас «не присваивается» до половины (овощи, фрукты) урожая? Почему «не присваиваются» — ржавеют под дождем — новейшие импортные станки прямо в нераспакованных ящиках? Не от бесхозяйственности, не от неумения «навести порядок»! Но от отсутствия частной собственности, которая только и способна присвоить плоды трудов современных производительных сил. Как говорят физики, запрет принципиальный, вроде запрета на создание вечного двигателя.

Итак, С. Платонов четко обрисовал ситуацию. И с аналитической частью его работы трудно не согласиться. Но он же со всей решительностью и ответил на вечный русский вопрос «что делать?». Естественно, он приписал нашему обществу радикальное марксистское средство лечения: прямо сейчас в течение 3—5 лет совершить «действительное коммунистическое действие», то есть уничтожить труд, уничтожить экономические отношения, руководствуясь работами Ленина времен военного коммунизма и держа перед умственным взором идеальный образ усовершенствованного Госплана: «Единый общегосудврственный планирующий центр устанавливает норматив, предписывающий каждому...» и так далее. Решится ли применить такое сильное средство даже самый правоверный коммунист, занимающий кресло в Верховном Совете или Правительстве?! Если нет, С. Платонов припас ему индульгенцию, подписанную самим Марксом: ведь ясно же объяснил основоположник, что пока существует труд, должна существовать и частная собственность — следовательно, можно недрогнувшей рукой голосовать за соответствующий закон!

Безусловно, попытайся С. Платонов опубликовать свои работы лет пять назад — не говоря о временах более ранних! — он был бы объявлен еретиком и заклеймен академическими столпами Института марксизма-ленинизма. В наше же время подобная ересь — единственная надежда выжить для философов-марксистов, ибо рутинное наше обществоведение скомпрометировано безнадежно. И потому работы С. Платонова, опубликованные ныне, играют роль сугубо охранительную, ибо в них утверждается: марксизм жив, он по-прежнему указывает путь человечеству, все же наши трагедии — всего лишь следствие непонимания, искажения и проч., и проч. Попытка оказалась неудачной? Ну что ж, бодро призывает С. Платонов, давайте попробуем еще раз! И вчерашний еретик, будь он жив, легко мог бы возглавить какой-нибудь мозговой центр при ЦК КПСС — или еще лучше при РКП! — чтобы предписывать «нормативные модели, превращающие производственные отношения...»

А что же с будущим человечества? Можем ли мы его провидеть? И отброшена ли окончательно возможность наступления коммунизма? Да нет, конечно. Сам С. Платонов, противореча собственным декларациям о необходимости планового, научно обоснованного строительства коммунизма, оговаривается: «Коммунистическое комплексно-автоматизированное производство, из которого полностью вытеснен человеческий труд, в строгом политэкономическом смысле не является производительной силой». То есть, переводя на обыденный язык, если все производство — промышленное и сельскохозяйственное — постепенно, благодаря естественному и неотвратимому развитию науки и техники, полностью перейдет в руки автоматов, которые, к тому же, будут проектировать и выпускать сами себя, все более совершенствуясь, то человеку в таком производстве станет нечего делать — и экономика начнет отмирать вместе с рынком, торговлей и прочее. Что ж, заводы-автоматы уже существуют, так что, как знать, вдруг и наступит на Земле рай в духе «Туманности Андромеды» И. Ефремова? Невозможно касаться здесь всех сопутствующих проблем, но необходимо заметить, что если всеобщая автоматизированная гармония и осуществится, то не по решению съезда КПСС, не трудами нынешних и будущих жрецов от марксизма, а стихийно, потому что способность человеческих мозгов изобретать всякие новые приспособления — такая же стихия, как цветение садов или размножение саранчи. Ну а если стихийно — пожалуйста; человечество развивается, и жизнь в конце XX века разительно отличается от времен Маркса не по его или чьей-то иной воле, а сама по себе. Естественным ходом вещей.

Книга С. Платонова показывает, что даже лучший марксист, самый прогрессивный и гуманный — все равно прежде всего марксист; все равно он мечтает о «прямом коммунистическом действии», все равно уверен, что преимущество, а никак не коренной порок социалистической экономики в том, что она сознательно строится коммунистической партией. Самый лучший марксист поведет общество — если общество позволит ему вести себя! — под ярмо Госплана, под владычество «пвртии нового типа». «Мы говорим „Ленин" — подразумеваем „партия", мы говорим „партия" — подразумеваем „Ленин"». Из этого порочного круга не выйти самым прогрессивным и гуманным марксистам, какими бы завлекательными картинками предстоящего «социализма с человеческим лицом» они ни пытались обольстить доверчивую публику. «Не исправились — и неисправимы» — вот что все мы должны усвоить твердо.

И спасибо С. Платонову, что напомнил еще раз.

Жан-Поль
САРТР

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ

«Жан-Поль САРТР (1905—1980) — французский писатель, философ и публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1964 год» — это из Большой Советской Энциклопедии. А если немного подробнее? Романист, эссеист, литературный критик и историк литературы, блестящий драматург и сценарист, создатель философского направления, участник Движения Сопротивления, борец с апартеидом и расизмом, редактор и издатель журнала...— как много может человек!

Он объездил полмира, приезжал в СССР, был в Ленинграде, ходил по Невскому. Он тепло отзывался о нашей стране, но многого не заметил. Потом, в шестидесятые-восьмидесятые был нам «идейно и классово чужд». Туман ныне понемногу рассеивается, мы учимся различать на небосводе звезды; быть может, они помогут нам очиститься и прозреть и пережить это смутное время.

Эссе «Размышления о еврейском вопросе» было написано в октябре 1944 года. В декабре 1945 года первая часть была опубликована в журнале «*Les Temps modernes*» под заголовком «Портрет антисемита». Полностью работа впервые вышла в 1946 году и в последующие годы многократно переиздавалась. Переведена на все основные языки мира.

О том, что побудило его к написанию этой работы, Сартр впоследствии говорил: «Глубокая привязанность, рожденная совместной борьбой с нацизмом, и положение, в котором оказались мои еврейские друзья во время оккупации, заново открыли для меня еврейский вопрос. И после освобождения я рассказал о том, что я понял в эти годы борьбы: ни один христианин не может считать себя в безопасности, пока подвергается опасности хоть один еврей в мире». И в этой связи тоже вспоминал знаменитые слова Джона Донна: «...не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

Герберт НОТКИН

1

Если некий человек придерживается того *мнения*, что несчастья страны и его собственные несчастья полностью или частично объясняются присутствием в обществе еврейских элементов, если он предлагает исправить такое положение и для этого лишить евреев тех или иных гражданских прав, или отстранить их от выполнения определенных экономических и социальных функций, или выслать их с той или иной территории, или уничтожить их всех, то говорят, что этот человек — антисемит.

«Мнение» — это слово заставляет задуматься... Именно его употребляет хозяйка дома, прекращая спор, который грозит обостриться. Это слово предполагает, что все точки зрения равноправны, оно успокаивает и придает мыслям безобидный вид, уподобляя их вкусам. Любые вкусы возможны и естественны, любые мнения допустимы: о вкусах, цветах и мнениях не спорят. И вот, во имя демократических принципов и свободы мнений, антисемит требует признать его право провозглашать повсюду антиеврейский крестовый поход. В то же время, приученные со времен Революции рассматривать всякий объект аналитически, то есть воспринимать его как смесь, которую можно разделить на составляющие, мы представляем себе людей и характеры как мозаику, в которой каждый камешек мирно сосуществует с соседями, так что это сосуществование никак не сказывается на нем самом. Точно так же, антисемитизм как мнение представляется нам в виде молекулы, которая может, не претерпевая изменений, входить в соединение с какими-то другими молекулами. Человек может быть хорошим мужем и отцом, ревностным гражданином, высокоэрудированным, не чуждым филантропии *и* в то же время — антисемитом. Он может любить рыбалку, дом и семью, быть терпимым в вопросах религии, благородно сочувствовать коренному населению Центральной Африки *и* в то же время — ненавидеть евреев. Ну, если он их не любит, говорят нам, значит, он на своем опыте убедился, что евреи плохие, значит, статистики убедили его, что евреи опасны, значит, определенные исторические факты повлияли на его умонастроения. Таким образом, это мнение предстает неким результатом, сложившимся под воздействием внешних причин, и те, кто хотят разобраться в нем, оставляют за скобками саму личность антисемита и углубляются в подсчеты процента евреев, мобилизованных в 1914 году, процента евреев-банкиров, евреев-промышленников, врачей, адвокатов,— и углубляются в историю евреев с момента их первого появления во Франции. Они полны решимости получить строго объективную картину,

выявив динамику эволюции некоего — столь же объективного мнения, называемого антисемитизмом; в результате они смогут составить карту и установить изменения, происшедшие между годами 1870 и 1944-м. Благодаря этим усилиям антисемитизм представляется одновременно и субъективным вкусом, который входит в соединение с другими вкусами, формируя личность субъекта, и неким надличностным социальным феноменом, который можно выразить в цифрах и представить статистически, с учетом изменений экономических, исторических и политических констант.

Я не говорю, что эти две концепции обязательно противоречат друг другу,— я говорю, что они опасны и ложны. Я готов, в крайнем случае, согласиться с тем, что кто-то может иметь то или иное мнение о политике правительства в области виноделия, то есть с тем, что кто-то приходит к *обоснованному* решению одобрить или осудить свободный импорт алжирских вин, другими словами, выразить свои взгляды на существующий административный порядок. Но я отказываюсь назвать мнением доктрину, которая явно направлена против определенных людей и призвана обосновать ликвидацию их прав или их уничтожение. Еврей, в которого целится антисемит,— это не абстрактный объект, определяемый в административном праве своими функциями, а в уголовном кодексе — своим положением и поступками. Нет, это еврей, сын еврейских родителей, его можно отличить по его внешности, по цвету волос, быть может — по одежде и, как утверждают, по характеру. Антисемитизм не относится к разряду идей, подпадающих под защиту права на свободу мнений.

И потом, это совсем не идея; антисемитизм — это прежде всего *страсть*. Разумеется, она может представать и в виде теоретической посылки. «Умеренный» антисемит — это вежливый человек, мягко говорящий вам: «Лично я совсем не испытываю ненависти к евреям. Просто я считаю, что в силу таких-то и таких-то причин следовало бы ограничить их участие в жизни страны». Но если вам удастся снискать его доверие, то минуту спустя он прибавит уже в более непринужденной манере: «Видите ли, в этих евреях все-таки *что-то такое* должно быть: они мне физически неприятны». Суждение, которое я слышал десятки раз, заслуживает того, чтобы в нем разобраться. Прежде всего, логика этих слов — логика страсти. Ну, в самом деле, попробуйте вообразить человека, серьезно говорящего: «Все-таки в помидорах что-то такое должно быть: я их терпеть не могу». Но мало того, оказывается, что самый умеренный, самый утонченный антисемитизм сохраняет всю свою синкретическую тотальность, которая выражается в рассуждениях внешне разумных — и в то же время способна привести к отклонениям вплоть до соматических. Не единичный пример: мужчина, у которого неожиданно пропадает потенция в тот момент, когда он узнаёт, что спит с еврейкой. Отвращение к евреям аналогично отвращению иных людей к китайцам или к неграм. И это отталкивание отнюдь не телесного происхождения, поскольку вы можете преспокойно любить еврейку, не зная о ее национальности,— нет, возбудитель проникает в тело через мозг, при этом происходит столь глубокое и тотальное вовлечение души, что оно сказывается даже на физиологии — подобно тому, как это бывает при истерии.

Вовлечение это не обусловлено жизненным опытом. Я десятки раз спрашивал людей, каковы причины их антисемитизма. Большинство ограничилось перечислением пороков, традиционно приписываемых евреям. «Я их ненавижу, потому что они корыстолюбцы, интриганы, зануды, прилипчивые, бестактные и т. д.» — «Но вы, по крайней мере, знакомы с некоторыми из них?» — «Что вы, упаси бог!» Один художник мне сказал: «Я не люблю евреев за то, что они, с их вечной манерой все критиковать, подталкивают наших слуг к неповиновению». А вот примеры более конкретного учета жизненного опыта. Молодой бездарный актер считает, что карьеру в театре ему помешали сделать евреи, это они отодвинули его на вторые роли. Молодая женщина говорит мне: «У меня ужасные неприятности с меховщиками, они меня ограбили. Я отдала им шубу, а они мне ее уничтожили. Конечно, они там все евреи». Но почему же она выбрала объектом ненависти евреев, а не меховщиков? И почему — евреев или меховщиков, а не такого-то еврея или такого-то конкретного скорняка? Потому, что она уже носила в себе эту предрасположенность к антисемитизму. Один сослуживец по лицею говорил мне, что евреи его раздражают из-за тех тысяч несправедливостей в их пользу, которые совершаются в «объевреившемся» общественном организме. «Какого-то еврея взяли по конкурсу в тот год, когда меня прокатили, но я никогда не поверю, что этот тип, отец которого приехал из какого-нибудь Кракова или Лемберга, способен понять поэму Ронсара или эклогу Вергилия лучше меня». В то же время он признался, что вообще презирает конкурсы, что все это «дело темное», и что к экзамену он не готовился. Таким образом, для объяснения своего провала он использовал две системы интерпретации — как тот сумасшедший, который в бредовом воодушевлении провозглашает себя королем Венгрии, но если задать вопрос неожиданно, признаётся, что вообще-то он сапожник.

Его мысль текла в двух плоскостях, и он не испытывал от этого никаких неудобств. Более того, он оправдывал свою прошлую лень, говоря, что было бы уж совсем глупо еще готовиться к такому экзамену, где евреям оказывают предпочтение перед настоящими французами. С другой стороны, в окончательном списке он оказался двадцать седьмым. Его обошли двадцать шесть человек, из них двенадцать было принято, четырнадцать — нет. Стал бы он более достойным кандидатом, если бы евреи были исключены из конкурса? И даже если бы он был первым среди непрошедших, даже если бы в результате исключения одного из принятых кандидатов он мог получить шанс занять его место,— почему исключенным должен был стать еврей Вейль, а не нормандец Мэтью или бретонец Арзель? Негодование моего коллеги — необходимое следствие определенных, давно им усвоенных взглядов на евреев, на их природу и их роль в обществе. А его уверенность в том, что из всех двадцати шести претендентов, оказавшихся удачливее его, именно еврей украл его место,— эта уверенность говорит о том, что коллега в своей жизни предпочитал руководствоваться априорной логикой страсти. Так жизненный ли опыт человека пролил свет на его представления о евреях? Совсем нет, напротив: сам человек освещает свой опыт — и если бы евреев не существовало, антисемит выдумал бы их.

Хорошо, скажут мне, оставим в покое опыт, но не следует ли принять объяснение антисемитизма определенными историческими причинами? Ведь не святым же духом, в конце концов, он возник! Я мог бы просто ответить, что история Франции ничего особого не говорит о евреях: их притесняли вплоть до 1789 года, впоследствии они участвовали как могли в жизни страны, используя — это несомненно — свободу конкуренции для вытеснения слабых, но ничуть не больше и не меньше, чем все остальные французы; они не совершили ни предательств страны, ни преступления против страны. И если кто-то считает установленным, что число солдат еврейской национальности в 1914 году было меньше того, каким оно должно было быть, то это значит, что любопытство подвигло человека на чтение статистик, потому что этот «факт» — не из разряда самоочевидных: ведь ни одному солдату, если он думает сам, не придет в голову удивляться тому, что он не видит евреев на узком участке, составляющем весь его мир. Но поскольку те представления о роли евреев, которые извлекаются из истории, все-таки существенно зависят от принятых исторических концепций, я полагаю, что будет лучше позаимствовать какой-нибудь громкий пример «еврейской измены» из истории другой страны и прислушаться к тому, как резонирует эта «измена» в современном антисемитизме.

Подавляя многочисленные восстания, обагрившие кровью XIX век Польши, царское правительство по политическим соображениям щадило варшавских евреев, и они проявили, с точки зрения повстанцев, чрезмерную лояльность к властям; кроме того, не приняв участия в выступлениях, они сумели сохранить и даже увеличить свои торговые обороты в стране, разоренной репрессиями. Так ли это было на самом деле или нет, я не знаю, но несомненно, что многие поляки верят в это, и сей «исторический факт» немало способствовал развитию антиеврейских настроений в Польше. Однако, изучив эту историю более внимательно, мы обнаружим в ней порочный круг. Цари, говорят нам, не причиняли зла евреям в Польше. В то же время, они с удовольствием организовывали еврейские погромы в России. Столь различные линии поведения имели общую причину: русское правительство считало евреев в России и в Польше неспособными ассимилироваться и, следуя нуждам своей политики, устраивало массовые убийства их в Москве или Киеве (чтобы не ослабляли империю), в Варшаве же оно им покровительствовало для того, чтобы поддерживать рознь среди поляков. Последние, напротив, проявляли к польским евреям только ненависть и презрение, но причина была та же: и они считали, что евреи не способны интегрироваться в общество. Отторгнутые от окружающих царем, отторгнутые поляками, оказавшиеся внутри чуждого сообщества, евреи против собственной воли замыкаются в кругу национальных интересов,— что же удивительного, если «нацмены» ведут себя соответственно тем представлениям, которые о них сложились? Другими словами, суть здесь не в «историческом факте», а в образе еврея, сложившемся у активных субъектов истории. И когда нынешние поляки предъявляют счет евреям за их поведение в прошлом, они видят перед собой все тот же образ: ведь для того, чтобы спрашивать с внука за прегрешения деда, нужно обладать крайне примитивным пониманием ответственности. Но этого даже мало, нужно еще, чтобы сложилось определенное отношение к внуку, основанное на некогда существовавшем отношении к деду; нужно поверить, что потомки способны сделать то же, что сделали предки,— нужно убедить себя в том, что характер еврея передается по наследству. Современные поляки третируют евреев *за то, что они евреи*, в 1940 году, потому что их предки в 1848 году вели себя так же по отношению к своим современникам; и может быть, это традиционное представление, проявись оно в соответствующих условиях, как раз подтолкнуло бы нынешних евреев действовать, как те в 48-м. И оказывается, что созданный *образ* еврея определяет историю, а не «исторический факт» рождает образ. Нам говорят еще о «социологических данных», но, рассмотрев их внимательнее, мы опять обнаруживаем все тот же порочный круг. Нам говорят: адвокатов-евреев слишком много. Но разве кто-нибудь жалуется на то, что слишком много адвокатов-нормандцев? Если бы даже все бретонцы были врачами, разве мы не ограничились бы фразой типа: «Бретань обеспечила врачами всю Францию»? Ну, ответят нам, это совсем не одно и то же. Конечно — но именно потому, что мы представляем себе не человека-нормандца и человека-еврея, а образ нормандца и образ еврея. Итак, с какой стороны ни подойти, оказывается, что именно *образ еврея* определяет существо дела.

Для нас становится очевидным, что никакие внешние факторы не способны внедрить в антисемита его антисемитизм. Антисемитизм — это свободный и тотальный выбор самого себя, это тотальный подход не только к евреям, но и вообще — к людям, к истории и к обществу; это одновременно и страсть, и мировоззрение. Разумеется, те или иные характерные особенности у одного антисемита выражены ярче, чем у другого, но все они всегда присутствуют вместе: они взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно эту синкретическую, нерасчлененную тотальность мы и постараемся сейчас описать.

Чуть выше я отмечал, что антисемитизм проявляет себя в форме страсти. Всем понятно, что речь идет о ненависти или гневе. Но мы привыкли к тому, что и ненависть, и гнев должны *иметь причину:* я ненавижу того, кто причинил мне боль, того, кто меня обидел или оскорбил. Как мы видели, страсть антисемитизма отнюдь не такова: она предшествует тем событиям, от которых должна была бы родиться, она старательно ищет их, чтобы подпитаться ими, она вынуждена даже по-своему интерпретировать эти события, чтобы они стали по-настоящему оскорбительны. Тем не менее, если вы заговариваете о евреях с антисемитом, он проявляет все признаки явного неудовольствия. Впрочем, достаточно вспомнить, что гнев проявляется у нас только тогда, когда мы на это *согласны* (в языке это выражено абсолютно точно: мы *гневаемся*, то есть *гневим себя*), и мы должны будем признать, что антисемит *выбирает* жизнь в режиме страсти. Случаи выбора в пользу жизни скорее страстной, чем разумной, совсем не редки, но при этом, как правило, любят *объект* страсти,— женщина ли это, слава, власть или деньги. Поскольку антисемит выбирает ненависть, мы вынуждены заключить, что он любит само *состояние* страсти. Как правило, такой стиль чувствования не доставляет особого удовольствия. Тот, кто страстно желает женщину, стремится к женщине, а не к страсти, которая только мешает: ведь приходится избегать, с одной стороны, логики страсти, стремящейся любой ценой обосновать взгляды, продиктованные любовью, ревностью или ненавистью, а с другой — ослепления страсти и того, что называют навязчивой идеей. Антисемит, напротив, выбирает прежде всего это. Но как же можно выбрать заведомо ошибочную логику? К этому толкает «ностальгия по непробиваемости». Поиски истины для разумного человека мучительны; он знает, что полученные выводы не более чем вероятны, что другие соображения, появившись, поставят их под сомнение, он никогда не знает точно, к чему он придет, он «открыт», и его могут посчитать колеблющимся. Но есть люди, которых влечет постоянство камня. Они хотят быть монолитными и непробиваемыми. Они не хотят меняться: поди знай, куда приведут эти изменения. Это — первородный страх самого себя,— и это страх истины. И пугает их не то содержание истины, о котором они даже не подозревают, а сама форма истины как бесконечного приближения,— ведь это все равно как если бы само их существование все время откладывалось. А они хотят осуществиться тотчас и сразу. Они не хотят вырабатывать взгляды, они желают иметь врожденные; они боятся рассуждать и поэтому хотят такой жизни, в которой рассуждения и искания играют второстепенную роль, в которой всегда ищут только то, что уже нашли, в которой всегда становятся только тем, чем уже стали. Такое возможно только в страсти. Лишь пристрастность сильного чувства способна мгновенно дать уверенность, лишь она способна сковать рассудок и оградить его от жизненного опыта непробиваемой стеной длиною в жизнь. Антисемит выбрал ненависть, потому что ненависть есть вера; он изначально выбирал то, что девальвирует для него слова и резоны. И как же хорошо он теперь себя чувствует! Как мелки и бессодержательны кажутся ему дискуссии о правах евреев — они ему с самого начала неинтересны, он — в другом измерении. Если он и согласится из любезности сказать пару слов в защиту своей точки зрения, то это даже не подарок, а так, одолжение, легкая попытка спроецировать свою интуитивную уверенность на плоскость спора, не более. Выше я цитировал некоторые «высказывания» антисемитов, они вполне абсурдны: «Я ненавижу евреев, потому что они учат слуг неповиновению, потому что скорняк-еврей меня ограбил» — и т. п. Не думайте, что антисемиты не замечают абсурдно-

сти своих ответов. Нет, они прекрасно знают, что их суждения легковесны и спорны; они просто развлекаются. Это их противник обязан серьезно относиться к словам, потому что он в слова верит, а они — они *имеют право* играть. Они даже любят эту игру в диспуты, потому что, приводя смехотворные доводы, они дискредитируют серьезность своих собеседников; они в восторге от собственной недобросовестности, потому что задача их не в том, чтобы убедить настоящими аргументами, а в том, чтобы смутить или дезориентировать. Если же вы начинаете уж слишком их теснить, они замыкаются и пренебрежительно заявляют вам, что время споров прошло,— но это не потому, что для них болезненно поражение, нет, они только боятся, что будут смешно выглядеть или что их замешательство плохо повлияет на зрителей, которых они хотели бы привлечь в свои ряды. Таким образом, невосприимчивость антисемита к аргументам рассудка и опыта, в которой каждый может убедиться сам, объясняется отнюдь не силой его убежденности, а скорей, наоборот: его убежденность сильна, потому что он с самого начала решил быть невосприимчивым.

Он решил также быть страшным. Его стараются не раздражать. Еще бы: никто же не знает, до каких крайностей он может дойти в пароксизмах своей страсти. Зато о́н это знает. Ведь его страсть не провоцируется никакими воздействиями извне, он прекрасно держит ее в руках, то дает ей волю, то обуздывает, и распускает ровно настолько, насколько хочет. Своей страстью он не обеспокоен, но когда он видит отразившееся в глазах окружающих беспокойство, он видит свое отражение,— и уж он старается, чтобы его слова и жесты соответствовали этому отражению. Этот внешний имидж избавляет его от необходимости искать свою индивидуальность в себе самом; он сделал выбор: жить только вовне, никогда не возвращаться к себе и быть только страхом, который он вселит в других. Даже от Разума он не бежит так, как от собственного тайного знания о самом себе. Но, скажут мне, а что, если он такой только по отношению к евреям? Что, если в остальном он ведет себя как нормальный человек? Увы, отвечу я, это невозможно. Я вспоминаю 1942 год. Некий рыботорговец, раздраженный конкуренцией двух рыботорговцев-евреев, скрывавших свою национальность, в один прекрасный день взял в руку перо и донес на них. Меня уверяли, что это исключение, что он добрый, веселый человек и замечательно заботливый сын, но я этому не верил. Человек, для которого приемлемо доносительство, не может разделять наших представлений о человечности; даже на тех, кому он покровительствует, он смотрит иначе, чем мы, и его доброта, и его нежность — не такие, как у нас: страсти не поддаются локализации.

Антисемит готов согласиться, что евреи умны и трудолюбивы; он даже признаётся, что в этом смысле он будет послабее. Такая уступка ему ничего не стоит: эти качества он просто «выносит за скобки». Или, вернее, они входят в его подсчет с отрицательным знаком: чем больше у евреев достоинств — тем они опаснее. Что касается самого антисемита, то он на свой счет не заблуждается. Он знает, что он человек средних способностей, даже ниже средних, и в глубине души сознает: он — посредственность. Чтобы антисемит претендовал на индивидуальное превосходство над евреями, таких примеров просто нет. Но не надо думать, что он стыдится своей посредственности, напротив, он доволен ею, он сам ее выбрал,— я говорил об этом. Этот человек боится какого бы то ни было одиночества, будь то одиночество гения или одиночество убийцы. Это человек толпы: уже и так трудно быть ниже его, но на всякий случай он старается еще пригнуться, боясь отделиться от стада и оказаться один на один с самим собой. Он и стал-то антисемитом потому, что не может он существовать совсем одинокий. Фраза: «Я ненавижу евреев» — из тех, какие произносят только в группе; произнося их, говорящий как бы вступает в некие наследственные права, вступает в некий союз — в союз посредственностей. Здесь сто́ит напомнить, что признание собственной посредственности совсем не обязательно ведет к скромности или хотя бы к умеренности. Совсем напротив, посредственность страстно гордится собой, и антисемитизм — это попытка посредственностей возвыситься именно в этом качестве, создать элиту посредственностей. Для антисемита ум, интеллигентность — признаки еврея, и он может совершенно спокойно презирать их наравне со всеми прочими еврейскими достоинствами: подобными эрзацами евреи пользуются для того, чтобы заменить ту спокойную посредственность, которой им вечно не хватает. Настоящему французу с глубокими деревенскими, народными корнями, несущему в крови традиции двадцати веков, впитавшему мудрость предков и блюдущему издревле установленные обычаи, интеллигентность *ни к чему*. Его нравственность основана на усвоении того, что наслоилось после сотни поколений, трудившихся надо всем, что их окружало,— то есть на собственности. Но само собой понятно, что речь тут идет о собственности унаследованной, а не приобретенной. Антисемиту чужд сам принцип многообразия форм современной собственности: деньги, акции и т. п.— это

все абстракции, порождения ума, нечто, относящееся к сфере абстрактного семитского интеллекта. Акция не принадлежит никому, потому что может принадлежать любому, и потом, это только символ богатства, а не конкретное имущество. Антисемит понимает только один тип примитивного, территориального приобретения, основанный на поистине магическом отношении владения, в котором предмет владения и владелец связаны узами мистической сопричастности. Антисемит — поэт землевладения. Оно преображает владельца и одаряет его особой, конкретной чувствительностью. Разумеется, это чувствительность не к вечным истинам и не к всечеловеческим ценностям: всечеловеческое — это объект умозрительный, это — еврейское. А сие тонкое чувство улавливает как раз недоступное умственному взору. Иными словами, принцип антисемитизма в том, что конкретное владение неповторимым объектом магическим образом создает чувство этого объекта. Моррас уверяет, что строчку Расина:

И мне предстал Восток постылым и пустым

еврею никогда не понять. Почему же *я*,— *я*, посредственность,— способен понять то, что не может охватить самый просвещенный, самый проницательный ум? А потому что Расин — мой. И Расин, и язык, и земля. И пусть еврей говорит на этом языке лучше меня, пусть он лучше знает синтаксис и грамматику, пусть он даже писатель — это ничего не меняет. Он на этом языке говорит какихнибудь двадцать лет, а я — тысячу! Литературность его абстрактна, выученна, а мои ошибки в родном языке — конгениальны языку. Все это очень напоминает филиппики Барреса против коммерческих посредников. Чему тут удивляться? Разве евреи не играют в обществе роль посредников? Все, чего можно достичь умом или деньгами, мы им разрешаем,— все это ерунда; у нас идут в счет только иррациональные ценности, и вот этих-то ценностей им не видать никогда! Таким образом, антисемит с самого начала фактически погружается в иррационализм. Он относится к еврею как чувство к разуму, как единичное к всеобщему, как прошлое к настоящему, как конкретное к абстрактному, как землевладелец к владельцу движимого имущества. А между тем многие антисемиты, возможно даже — большинство, принадлежат к мелкой городской буржуазии: это функционеры, служащие и мелкие дельцы, ничем вообще не владеющие. Но как раз участвуя в травле евреев, они неожиданно узнают вкус этого чувства собственника: изображая евреев грабителями, антисемит ставит себя в завидное положение человека, который может быть ограблен, и поскольку грабители-евреи хотят отнять у него Францию, то именно Франция — его собственность. Итак, он выбрал антисемитизм как средство реализовать себя в качестве собственника. У еврея больше денег, чем у него? — тем лучше: деньги — это еврейское, и антисемит готов презирать деньги, как он презирает ум. Землевладелец из провинции и крупный фермер богаче его? — не имеет значения: ему достаточно разжечь в себе мстительный гнев против еврейских грабителей, и он немедленно почувствует, что у него в руках вся страна. Настоящие французы, истинные французы — все равны, потому что каждый из них единолично владеет всей Францией.

Я также назвал бы антисемитизм снобизмом для бедных. В самом деле, большинство наших богатых скорее используют антисемитские страсти, чем предаются им: у них есть занятия поинтереснее. Антисемитизм распространен в основном среди представителей средних классов — и именно потому, что они не владеют ни дворцами, ни домами, ни землей, а только наличными деньгами и какими-нибудь ценными бумагами. Антисемитизм в мелкобуржуазной среде Германии 1925 года совсем не случаен. Эти «пролетарии в белых воротничках» считали делом своей чести отличаться от настоящего пролетариата. Крупная промышленность разоряла их, юнкерство глумилось над ними, но именно к промышленникам и юнкерам стремились они всею душой. Они предавались антисемитизму с тем же увлечением, с каким следовали буржуазной моде в одежде, *потому что* рабочие были интернационалистами — и потому что Германией владели юнкеры, а они тоже хотели ею владеть. Антисемитизм не только утешает ненавистью, но приносит и позитивные удовольствия: объявляя еврея существом низшим и вредоносным, я утверждаю тем самым свою принадлежность к элите. И эта элита очень отличается от новейших, выделившихся по достоинствам или по заслугам,— эта элита во всех отношениях подобна родовой аристократии. Мне ничего не надо делать для того, чтобы заслужить мое превосходство, и я ни при каких условиях не могу его потерять. Оно дано мне раз и навсегда: это — *вещь*.

Не будем путать это принципиальное первородство с нравственным авторитетом: антисемит не так уж стремится его иметь. К нравственности, как и к истине, путь нелегкий, и авторитет еще надо заслужить, а уже заслужив, постоянно рискуешь его потерять: один безнравственный шаг, одна ошибка — и он утрачен; то есть всю свою жизнь, без передышки, от начала ее и до конца ты

[1] «Береника».— *Перевод Н. Рыковой.*

ответственен за то, что́ ты собой представляешь. Антисемит бежит от ответственности точно так же, как он бежит от собственного сознания, и, выбрав в качестве основы своей личности каменное постоянство, он в основу своей морали кладет окаменевшую шкалу ценностей. А по этой шкале, что бы он ни сделал, все равно он всегда останется на верхней отметке, и что бы ни сделал еврей, ему никогда не подняться с нижней. Мы начинаем улавливать смысл сделанного антисемитом выбора: боясь собственной свободы, он выбрал неисправимость, боясь одиночества, он выбрал посредственность,— и эту неисправимую посредственность он спесиво возвел в ранг вечной аристократии. Для осуществления всех этих операций ему абсолютно необходимо существование еврея — иначе над кем же у него будет превосходство? Более того, только по отношению к евреям и единственно по отношению к евреям антисемит реализует себя в качестве лица, наделенного каким-то правом. Если бы, чудесным образом, его желания осуществились, и все евреи оказались уничтожены, он обнаружил бы себя консьержем или лавочником в весьма иерархичном обществе, в котором титул «настоящего француза» ничего не стоит, потому что есть у всех,— и он потерял бы ощущение своих прав на страну, потому что уже некому было бы их у него оспаривать, и изначальное равенство, приблизившее его к благородным и богатым, исчезло бы в тот же миг, потому что оказалось бы особенно неприятным. Свои провалы, которые он приписывал коварной конкуренции со стороны евреев, ему срочно пришлось бы перекладывать на кого-то еще — иначе пришлось бы задать коекакие вопросы самому себе; он рисковал бы впасть в меланхолическую ненависть к привилегированным классам и испытать горькое чувство досады. Таким образом, проклятие антисемита в том, что ему жизненно необходимо иметь врага — чтобы был кто-то, кого он будет истреблять.

Тот уравнительный égalitarisme, которого так рьяно добивается антисемит, не имеет ничего общего с égalité — равенством, записанным в демократических программах. Это равенство должно реализовываться в обществе с иерархической экономикой и должно оставаться совместимым с различием общественных функций. Антисемит же требует равенства арийцев, которое направлено *против* иерархии функций. Он ничего не понимает и ничего не хочет понимать в разделении труда; по антисемиту, если гражданин и может претендовать на звание Француза, то не потому, что, находясь на своем месте, он интегрирован в свою профессию и — со всеми остальными — в экономическую, общественную и культурную жизнь страны, а потому, что на равных основаниях со всеми прочими обладает неотъемлемым и врожденным правом на всю страну без всяких разделений. Таким образом, общество, о котором мечтает антисемит,— сегрегированное общество; об этом, впрочем, нетрудно было догадаться, так как его идеал собственности — землевладение. Но антисемитов много, поэтому фактически каждый из них участвует в создании под сенью какого-либо организованного общества некоего ансамбля, члены которого связаны характерным механическим единомыслием. Степень интегрированности отдельных антисемитов в таком ансамбле, а также нюансировка его эгалитарности определяются тем, что я бы назвал температурой ансамбля. К примеру, Пруст показал, как антидрейфусизм сблизил герцога с его кучером, как ненависть к Дрейфусу открывала для буржуазных семей двери аристократических домов. Все это объясняется тем, что эгалитарные ансамбли, в которые стекаются антисемиты, по своему типу аналогичны толпе — или тем спонтанным сообществам, которые мгновенно образуются по случаю всякого линчевания или скандала. Здесь равенство — результат недифференцированности функций, роль социальной связи выполняет гнев, а коллективизм не имеет иной цели кроме осуществления над определенными индивидуумами какой-нибудь репрессивной санкции. Коллективные импульсы и коллективное давление воздействуют здесь особенно сильно, так как ни один из участников не защищен исполнением своей специализированной функции. К тому же в толпе помрачается рассудок; толпа воспроизводит мыслительные стереотипы и групповые реакции, характерные для первобытных сообществ. Конечно, такие коллективы порождает не только антисемитизм,— и мятеж, и преступление, и любая несправедливость может мгновенно вызвать их к жизни. Правда, все это — летучие соединения, которые вскоре распадаются, не оставляя следов. В промежутках между бурными приступами ненависти к евреям, то есть в периоды нормальной жизни страны, общество, которое образуют антисемиты, продолжает существовать — это его латентные периоды — и каждый антисемит числит себя его членом. Неспособный понять современную организацию общественной жизни, он испытывает ностальгию по временам кризисов, когда вдруг снова появляются примитивные сообщества и достигают температур плавления. Ему хочется вдруг оказаться внутри обезличивающей группы, подхваченной потоком коллективного безумия. Эту-то желанную атмосферу погрома он и имеет в виду, когда требует «объединения всех патриотов». В этом смысле антисемитизм в условиях демократии — форма симуляции того, что называют борьбой гражданина с властями. Спросите одного из этих молодых людей, невозмутимо нарушающих закон и собирающихся в стаи, чтобы где-нибудь на пустынной улице избить еврея,— молодой человек вам ответит, что хочет сильной власти (которая избавила бы его от собственных мыслей и непосильной ответственности за них), а республика для него — власть слабая; таким образом, он нарушает закон из любви к подчинению. Но действительно ли сильной власти он хочет? На самом деле он требует сурового закона для других и права нарушать закон, не неся ответственности,— для себя; он хочет поставить себя над законом, ускользнув при этом от сознания своей свободы и своего одиночества. И он прибегает к уловкам: евреи участвуют в выборах, евреи есть в правительстве, значит, законная власть порочна в самой основе, тогда можно считать, что ее больше не существует, и он вправе не обращать внимания на ее декреты — и нету тут никакого неподчинения, какое может быть неподчинение тому, чего не существует? Таким образом, у антисемита есть *настоящая* Франция, с *настоящим* правительством — хотя и несколько туманным и не имеющим функциональных органов, и Франция абстрактная, официальная, объевреившаяся, против которой можно и нужно восставать. Естественно, такое перманентное восстание — дело группповое: антисемит никогда не станет ни действовать, ни думать в одиночку. И его группа сама никогда не рассматривает себя в качестве партии меньшинства, потому что партия обязана изобрести программу и определить свою политическую линию — что уже предполагает инициативу, ответственность, свободу. Антисемитские объединения ничего не хотят изобретать, не хотят брать на себя никакой ответственности; им ненавистна сама мысль о том, чтобы присоединиться к одной из фракций, создающих французское общественное мнение, потому что тогда пришлось бы и поддерживать какую-то программу, и изыскивать возможности для легальных действий. Они предпочитают подавать себя в качестве наипреданнейших и наичистейших выразителей *истинного*, а значит, неделимого самосознания страны. Итак, всякий антисемит, в той или иной степени — враг стабильности в государстве, он хочет быть дисциплинированным членом недисциплинированной группы, он обожает порядок, но порядок *социальный*. Можно сказать, что он стремится спровоцировать политические беспорядки для реставрации социального порядка, а социальный порядок ему представляется в виде эгалитарного примитивно-кастового общества с повышенной температурой, из которого евреи исключены. Такие принципы предоставляют ему в пользование своеобразную независимость, которую я бы назвал перелицованной свободой. Ведь подлинная, аутентичная свобода предполагает и ответственность, а «свобода» антисемита порождена уклонением от всякой ответственности. Плавая между авторитарным режимом, которого еще нет, и официальным толерантным обществом, которого он не признает, он может позволять себе все что угодно, не рискуя прослыть анархистом — он этого ужасно боится. Особая серьезность его намерений, которую невозможно выразить никаким словом — ни рассуждением и ни действием — оправдывает некоторое его легкомыслие. Он проказлив, он шкодлив, он над кем-то измывается, кого-то лупит, у кого-то ворует — все из лучших побуждений. При сильном правительстве антисемитизм увядает — если только он не входит в программу самого правительства, но в этом случае его характер видоизменяется. Враг евреев, антисемит нуждается в них, враг демократии, он — естественный продукт ее жизнедеятельности и проявиться может только в условиях республики.

Мы начинаем понимать, что антисемитизм — не просто «мнение» о евреях, антисемитизм захватывает всю личность антисемита целиком. Но мы с ним еще не закончили. Антисемитизм не ограничивается только исполнением моральных и политических директив, он заключает в себе и образ мышления, и концепцию мира. В самом деле, ведь нельзя утверждать то, что утверждаешь, не выводя этого неявно из каких-то интеллектуальных принципов. В еврее, говорит антисемит, плохо все, в нем все еврейское; его добродетели, если они у него есть, обращаются в пороки уже только потому, что принадлежат ему; работа, которая выходит из его рук, обязательно несет на себе его отпечаток, и если еврей построил мост, то это плохой мост, еврейский,— весь, от первого пролета до последнего. Одни и те же действия, совершенные иудеем и христианином, не равнозначны: все, к чему прикасается еврей, приобретает некие неизвестные, но отвратительные свойства. Нацисты прежде всего запретили евреям посещать бассейны: им казалось, что если тело какого-нибудь еврея погрузится в эту стоячую воду, она вся будет осквернена. Еврей же буквально отравляет воздух, которым он дышит. Если попытаться сформулировать в общем виде тот принцип, который здесь воплощается, он будет звучать так: целое больше суммы своих частей — и вообще что-то другое. Целое определяет и смысл, и глубинную суть тех частей, из которых состоит. Не существует *одного* такого качества «храбрость», такой черты характера, все равно — иудея или христианина (как кислороду все равно,

входит ли он в состав воздуха с азотом и аргоном или в состав воды — с водородом),— нет: каждая личность — это нечто тотальное и неразложимое, со *своей* храбростью, *своей* добротой, *своим* способом мыслить, смеяться, есть и пить. Что тут скажешь? — только то, что в миропонимании антисемита господствует дух синтеза. Благодаря этому духу он воспринимает себя как нечто, образующее неразрывное целое со всей страной. И именем этого духа он проклинает чисто аналитический, критический семитский ум. Но здесь нужно уточнение: с некоторых пор и правые, и левые, и традиционалисты, и социалисты то и дело взывают к принципам синтетичности, противопоставляя их духу анализа, руководившему закладкой буржуазной демократии. При этом, однако, правые и левые имеют в виду не одни и те же принципы, или, по крайней мере, они по-разному применяют эти принципы. Как же применяют их антисемиты?

Антисемитизм мало распространен в рабочей среде. Так это потому, скажут мне, что там нет евреев. Объяснение абсурдное, ибо если бы это было правдой, то возмущались бы как раз тем, что их там нет. Нацисты это прекрасно понимали, потому что когда им понадобилось распространить воздействие своей пропаганды на пролетариат, они выбросили лозунг борьбы с «еврейским капитализмом». Вообще говоря, восприятие общества у пролетария синтетическое, он только не использует антисемитских методов. Он классифицирует людские сообщества не по паспортным данным, а по экономическим функциям. Буржуазия, крестьянство, пролетариат — вот те синтетические реальности, которыми он оперирует, а внутри этих тотальных групп он различает синтетические структуры второго порядка: рабочие союзы, союзы предпринимателей, тресты, картели, партии. Соответственно, объяснения, которые он дает историческим событиям, оказываются прекрасно согласованными с разветвленной структурой общества, основанного на разделении труда. И историю, в его понимании, создают игра экономических интересов и взаимодействие синтетических групп.

Но большинство антисемитов принадлежит к среднему классу, то есть к тем слоям, уровень жизни которых не ниже или выше уровня жизни евреев, или, если угодно,— к *непроизводственной сфере:* управленцы, снабженцы, торговцы, лица свободных профессий, получатели нетрудовых доходов. В самом деле, ведь наши буржуа ничего *не производят*, они управляют, администрируют, распределяют, торгуют; их функция — входить в непосредственные отношения с потребителем, то есть они существуют в постоянном контакте с людьми, в отличие от рабочих, которые в силу своей профессии постоянно контактируют с вещами. И каждый смотрит на историю сквозь очки своей профессии. Сформированный ежедневной работой над материалом, рабочий видит в обществе результат работы реальных сил, действующих по непреложным законам. Этот его диалектический «материализм» означает, что социальный мир он воспринимает, в принципе, так же, как и материальный. Напротив, буржуа вообще, и антисемит в частности, предпочитает выводить исторический процесс из взаимодействия индивидуальных волевых устремлений. Тех самых устремлений — не правда ли? — от которых он зависит в своей профессии[1]. По отношению к социальным явлениям они ведут себя как дикари, одушевляющие ветер и солнце. Интриги, коварство, злой умысел одних, решительность и добродетельность других,— на этом держится их фирма, на этом держится у них и мир. И буржуазный по существу феномен антисемитизма проявляется как раз в этом выборе способа объяснения коллективных явлений инициативой отдельных лиц.

Нет спору, случается, что антисемитские карикатуры «еврей» очень напоминают типичные для пролетарских газет и журналов карикатуры «буржуй», но это внешнее сходство не должно вводить в заблуждение. Для пролетария капиталиста определяет его положение, то есть некоторый комплекс внешних факторов, а сам капиталист сводится к синтетическому единству внешне узнаваемых проявлений, то есть определяющий комплекс связан с формами *поведения*. Для антисемита еврея определяет наличие в нем «еврейства», еврейской сути,— полная аналогия с флогистоном или со снотворным действием опиума. Отметим, во избежание ошибок: наследственные и расовые объяснения появились позже, они выполняют роль научных фиговых листков, прикрывающих убеждения дикарей. Предубеждение против евреев появилось задолго до Менделя и Гобино, и те, кто его испытывал, не могли объяснить этого иначе, чем Монтень — свою дружбу с Ла Боэси: «Потому что это он, и потому что это я». Устраните эту метафизику, и деятельность, которую приписывают евреям, станет абсолютно непостижимой. Действительно, как понять упорное безумие богатого еврейского купца, стремящегося, как нас уверяют, разорить страну, в которой он торгует: ведь если он в своем уме, он будет заботиться о ее процветании.

[1] Я сделаю здесь исключение для инженера, предпринимателя и ученого, которых их профессия приближает к пролетариату; среди них встречаются антисемиты, но не часто.— *Прим. автора.*

А как понять этот злополучный интернационализм людей, у которых семьи, интересы, привычки, образ и источники существования должны быть связаны с судьбой одной конкретной страны? Мудролюбы толкуют нам о еврейском стремлении к мировому господству, однако без дополнительных разъяснений мы и тут рискуем не понять, в чем же проявляется это стремление. В самом деле, то нам говорят, что за спиной евреев стоит международный капитализм, империализм трестов и торговцев оружием, то — большевизм с ножом в зубах, и при этом не затрудняются возлагать ответственность одновременно на еврейских банкиров — за коммунизм, который должен был бы внушать им ужас, и на нищих евреев с улицы Росьер — за империалистический капитализм. Но все сразу объяснится, если мы откажем еврею в разумном поведении, соответствующем его интересам, и, более того, откроем для него метафизический принцип, по которому он должен *творить зло* при всех обстоятельствах, даже если при этом он уничтожает сам себя. Принцип, как вы понимаете, волшебный: с одной стороны, он устанавливает сущностное, субстанциональное свойство, и еврей, как бы он ни старался, не может его изменить, как огонь не может не гореть; с другой же стороны, поскольку нужно обеспечить возможность ненавидеть еврея — а как ненавидеть землетрясение или филоксеру? — в этом свойстве есть и свобода. Правда, свобода, о которой тут идет речь, тщательно отдозирована: *творить зло* еврей свободен, творить добро — нет; он обладает свободой воли лишь настолько, чтобы он мог нести полную ответственность за свои преступления, но не настолько, чтобы он мог исправиться. Странная свобода: вместо того, чтобы предшествовать сущности и конституировать сущность, она остается всецело ей покорной, тем самым превращаясь в некое иррациональное качество,— но все равно остается свободой. Мне известно только одно создание, которое так тотально свободно и так привержено злу,— это сам Дух Зла, это Сатана. Таким образом, еврей оказывается отождествимым с духом зла. Его воля, в противоположность кантовской,— это чистое, бескорыстное и всеобъемлющее желание зла, это *сама* злая воля. Вот в каком облике появляется зло на земле, и что бы ни случилось: кризисы, войны, голод, потрясения или восстания — во всех бедах общества прямо или косвенно должны быть виноваты евреи. Антисемит боится обнаружить, что мир плохо устроен: ведь тогда пришлось бы что-то придумывать, что-то менять — и человек еще один раз оказался бы хозяином своей судьбы, приняв на себя томительный, безмерный груз ответственности; поэтому антисемит и помещает все зло Вселенной в еврея. Если где-то две нации ведут войну, то причина этого не националистические идеи в их нынешней форме, порожденной империализмом или столкновением интересов,— нет, все дело в евреях, это они стоят за спиной правителей, нашептывают и вызывают раздоры. Если где-то разгорается классовая борьба, то причина не в организации экономики, вынудившей людей бороться,— все дело в еврейских вожаках: эти носатые агитаторы совращают рабочих. Таким образом, по происхождению, антисемитизм — род манихеизма[1], объясняющего мир борьбой принципов Добра и Зла. Никакой компромисс между двумя этими принципами невозможен: один должен восторжествовать, другой — исчезнуть. Возьмите Селина — вот пример апокалиптического ви́дения мира: евреи везде, земля погибла, и арийцу остается только не компрометировать себя и ни в коем случае ничем не поступаться. Но пусть он учтет, что если он дышит, то уже потерял свою чистоту, потому что сам воздух, проникающий в его бронхи, осквернен. Разве это не похоже на проповедь катара? Если Селин и способен был поддержать социалистические идеи нацистов, то лишь потому, что ему заплатили, а в глубине души он в них не верил и единственным выходом считал коллективное самоубийство, не-рождение, смерть. Другие — Моррас, деятели P. P. F.[2] — не столь мрачны: они провидят долгую, зачастую опасную борьбу с триумфом Добра в финале,— битву Ормузда с Ариманом. Читатель понимает, что антисемит отнюдь не обращается к манихеизму, чтобы использовать его в качестве вторичного принципа объяснения,— как раз исходный выбор манихеизма объясняет и обуславливает антисемитизм. Но тогда следует задаться вопросом, что может означать такой исходный выбор для человека сегодняшнего дня.

Задержимся немного на сопоставлении революционной идеи классовой борьбы и антисемитского манихеизма. Для марксиста классовая борьба никоим образом не является битвой Добра со Злом,— это столкновение интересов отдельных групп людей. Что заставляет революционера вставать на позиции пролетариата? Во-первых, это *его* класс, во-вторых, это класс угнетенных, далее, это наиболее многочисленный класс, следовательно,

[1] Манихеизм, манихейство (по имени полулегендарного перса Мани) — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III веке н. э. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персидских и христианских мифов и ритуалов. В Европе навеянное манихеизмом учение о дуализме Добра и Зла развивали павликиане, богомилы и катары.

[2] P. P. F.— Parti Populaire Francais — Французская народная партия.

его судьба в перспективе сливается с судьбой человечества, и наконец, последствия победы пролетариата с необходимостью приведут к упразднению классов. Цель революционера — изменить организацию общества. Для этого, вне всякого сомнения, надо разрушить старый режим, но этого мало: очевидно, что надо прежде всего создать новый уклад. Если бы, сверх всяких ожиданий, привилегированный класс захотел участвовать в социалистическом строительстве и имелись бы очевидные доказательства его добросовестности, то не было бы никакой разумной причины его отталкивать. И если его добровольное предложение сотрудничества остается в высшей степени маловероятным, то причина в том, что его удерживает само это привилегированное положение, а не какой-то там внутренний демонизм, заставляющий людей творить зло против их собственного желания. В любом случае, выходцы из этого класса, если они порывают с ним, всегда могут влиться в класс угнетенных, и судить о них следует по их делам, а не по их корням. «Чихать я хотел на ваши вековые корни»,— сказал мне однажды Политцер.

Напротив, для антисемита-манихеиста акцент ставится на разрушении. Для него речь идет не о столкновении интересов, а о том вреде, который причиняет обществу некая злая сила. Соответственно, его Добро состоит прежде всего в том, чтобы разрушать Зло. Горечь антисемита маскирует оптимистическую веру в то, что как только Зло будет устранено, гармония установится сама собой. Поэтому программа антисемита однозначно негативна: не ставится задача построения нового общества — только очищения существующего. Для достижения этой цели добровольное участие евреев излишне и даже пагубно, к тому же у еврея не может быть доброй воли. Как Кавалер Ордена Добра антисемит священен; еврей оказывается тоже по-своему священен — как неприкасаемый, как табуированный туземец. Таким образом борьба переносится в религиозную плоскость и концом сражения может быть только священная резня. У такой позиции много преимуществ, и прежде всего — то, что благославляется леность духа. Мы видели, что антисемит ничего не понимает в современном обществе, он был бы неспособен предложить какой-либо конструктивный план, его деятельность не может перейти на уровень техники, она остается на почве страсти. Долготерпению труда он предпочитает взрыв бешенства, напоминающий *амок*[1] малайцев. Его интеллектуальная активность не выходит за рамки *интерпретаций;* он ищет в исторических событиях признаки проявления некой злой силы,— отсюда эти по-детски усложненные выдумки, родственные бреду тяжелых параноиков. Но кроме того, антисемитизм отводит разрушительный удар революционно настроенной массы от некоторых учреждений, направляя этот удар на уничтожение определенных людей: воспламененная антисемитизмом толпа считает, что сделано достаточно, если убито столько-то евреев и сожжено столько-то синагог. Антисемитизм, таким образом, представляет собой предохранительный клапан для власть имущих; поощряя антисемитизм, власти подменяют опасную ненависть к режиму правления на безопасную ненависть к отдельным людям. Ну, и конечно же, этот наивный дуализм чрезвычайно удобен для самого антисемита: если все дело только в уничтожении Зла, значит, все Добро уже *есть*. И значит, нет никакой необходимости беспокоиться о поисках Добра, не надо его творить, и отстаивать в терпеливых спорах, и, найдя, поверять опытом, и проверять на отдаленных последствиях, и, в конце концов, брать на себя всю ответственность за сделанный моральный выбор. Оптимизм, маскируемый бурной антисемитской яростью, не случаен: антисемит решил проблему Зла, чтобы не решать проблем Добра. Чем больше я поглощен борьбой со Злом, тем меньше я склонен ставить под сомнение имеющееся Добро. Об этом не говорят, но это всегда присутствует на заднем плане в рассуждениях антисемита и остается задней мыслью в его голове. Ему нужно только исполнить свою миссию священного разрушителя, и Потерянный Рай возродится сам собой. А в настоящий момент у антисемита столько забот, что у него просто нет времени обо всем этом размышлять: он на посту, он сражается, и любого повода к возмущению достаточно, чтобы отвлечь его от мучительных поисков Добра.

Но есть и еще одна сторона, и тут мы вторгаемся в область психоанализа. Манихеизм антисемита маскирует его глубинное влечение ко Злу. Для антисемита Зло — его удел, как для Йова. Добром если и будут заниматься, то другие, те, кто придет после. А он — он в сторожевом охранении общества, он повернут спиной к тем чистым добродетелям, которые он защищает, он имеет дело только со Злом, он должен определять его размеры, должен разоблачать и доносить. Поэтому он необычайно озабочен собиранием анекдотов, изобличающих евреев — их похотливость, страсть к наживе, коварство и предательство. Антисемит купается в нечистотах. Перечитайте «Еврейскую Францию» Дрюмона, эта книга «высокой французской морали» — антология гнусностей и похабщины. Ничто не отражает так ясно сложную натуру антисемита, как то, что он не захотел сам *выбрать* себе Добро и, боясь выделиться, позволил навязать себе клишированное Добро для массового употребления. Мораль антисемита никогда не бывает основана на интуитивном понимании ценностей или на том, что Платон назвал Любовью,— его мораль проявляется лишь в самых строгих табу, самых суровых и самых произвольных императивах. Зло — вот что привлекает его неустанное внимание, и тут у него появляется интуиция, и даже что-то похожее на вкус. И он способен до стадии навязчивой идеи повторять рассказы о непристойных и преступных поступках,— это его волнует и удовлетворяет его извращенные наклонности, причем тут он может насыщаться, не компрометируя себя, ведь все поступки он приписывает этим подлым евреям, на которых и обрушивает свое презрение. Я знал одного берлинского протестанта, у которого желание приняло форму возмущения. Вид женщины в купальнике приводил его в ярость, он старался находить повод для этой ярости и проводил время в бассейнах. Таков и антисемит. И у него одна из составляющих ненависти — глубинное сексуальное влечение к евреям. В нем прежде всего присутствует любопытство, устремленное ко Злу, но я полагаю несомненным, что в основе его лежит садизм. В самом деле, мы ничего не поймем в антисемитизме, если не вспомним, что евреи, на которых обрушиваются такие проклятия, совершенно безвредны, я бы даже сказал — безобидны. Это добавляет антисемитам хлопот: приходится рассказывать нам о таинственных еврейских обществах и страшных заговорах масонов. Но непосредственно сталкиваясь с евреем, как правило, видишь перед собой слабого человека, который так плохо подготовлен к встрече с насилием, что не способен даже к самозащите. Эта индивидуальная слабость еврея, которая выдает его погромщикам связанным по рукам и ногам, отлично известна антисемиту и заранее доставляет ему наслаждение. И его ненависть к евреям нельзя сравнивать с ненавистью, скажем, итальянцев к австрийцам в 1830 году или французов к немцам в 1942-м. В этих последних случаях ненавидели угнетателей, людей сильных, жестких и жестоких, имевших оружие, деньги, власть и возможность причинить восставшим столько зла, сколько эти восставшие и мечтать не могли причинить им. В этих случаях ненависть вырастала не из садистических наклонностей. Но для антисемита Зло воплощается в безоружных и очень мало опасных людях, поэтому для него никогда не возникает тягостной необходимости проявлять героизм. Быть антисемитом — это *развлечение*. Можно бить и мучить евреев и ничего не бояться: самое большее — вспомнят о существовании законов Республики, но законы эти окажутся мягкими. Садистическое влечение антисемита к евреям столь сильно, что не так уж редко можно увидеть какого-нибудь оголтелого юдофоба в обществе приятелей-евреев. Разумеется, это те «исключительные» евреи, о которых он говорит: «Они не такие, как другие». В мастерской художника, о котором я уже упоминал, и который нисколько не осуждал Люблинскую резню, на видном месте стоял портрет еврея, расстрелянного в гестапо; этот человек был ему дорог. И все-таки их уверения в дружбе неискренни, ибо им даже в голову не придет избегать выражений типа «хороший еврей», и, с горячностью отстаивая наличие тех или иных достоинств у знакомых евреев, они не допускают мысли, что их собеседники могли встречать и других, столь же достойных. В силу своеобразной инверсии их садизма им в самом деле нравится протежировать этим нескольким избранным: им нравится постоянно иметь перед глазами живой образ народа, который они третируют. У женщин-антисемиток довольно часто смешиваются отвращение и сексуальное влечение к евреям. Я знал одну из таких, у нее были интимные отношения с неким польским евреем: она иногда ложилась с ним в постель и позволяла ласкать свои плечи и грудь — но не более. Она наслаждалась его почтительностью и покорностью, за которыми она угадывала отчаянное, подавленное и униженное желание. Впоследствии, с другими мужчинами у нее были нормальные половые контакты. Слова «красивая еврейка» имеют совершенно особое сексуальное значение, сильно отличающееся от того, какое имеют, например, слова «красивая румынка», «красивая гречанка» или «красивая американка»,— и именно тем отличающееся, что в них словно бы появляется некий аромат насилия и убийства. Красивые еврейки — это женщины, которых царские казаки волочили за волосы по улицам горящих деревень; узкоспециальные труды, содержащие подробные описания избиений, отводят женщинам еврейского происхождения почетное место. Впрочем, нет необходимости рыться в секретной литературе. Со времен Ребекки в «Айвенго» до евреев у Понсон дю Террайля — и вплоть до наших дней еврейкам в самых серьезных романах отводилась строго определенная роль: часто подвергаться насилиям и избиениям, иногда избегать бесчестья, приняв заслуженную смерть, а тем, которые сохраняли сюжетную ценность,— становиться покорными служанками или униженными любовницами индифферентных христи-

[1] Амок *(малайск.)* — психическое заболевание, наблюдающееся у жителей Малайских островов; краткий период расстройства настроения вызывает приступообразное помрачение рассудка и больной пускается бежать, одержимый жаждой разрушения и убийства.

ан, женившихся на арийках. Я полагаю, для характеристики сексуальной символики фольклорного образа еврейки сказанного достаточно.

Разрушитель по предназначению, садист «по велению сердца», антисемит в глубине души всегда преступник. Ведь чего он, собственно, хочет? *Смерти* еврея. И он ее готовит.

Разумеется, не все враги евреев требуют их смерти в открытую, но те меры, которые они предлагают,— а все они направлены на то, чтобы принизить, унизить, изгнать евреев,— это суррогаты преступления, совершенного в воображении антисемита, это символические убийства. Но у антисемита есть свое внутреннее оправдание: он преступник из лучших побуждений. В конце концов, не его вина, что на него возложена миссия творить Зло во имя уменьшения Зла: *истинная* Франция вручила ему мандат верховного судьи. Конечно, не каждый день выпадает случай им воспользоваться, но на этот счет не следует заблуждаться: его неожиданные вспышки ярости, его громовые угрозы в адрес «жидов» — это те же самые смертные приговоры. Народное сознание это угадывает и обозначает так: готовы «manger du juif» — «сожрать еврея». Итак, антисемит сделал для себя выбор: он преступник, и именно — *голубой* преступник. Это вновь бегство от ответственности, он подвергает цензуре свою жажду убийства, но находит способ утолить ее, не признаваясь в ней себе. Он знает, что он злобен, но поскольку он творит Зло во имя Добра, и поскольку весь народ ждет от него освобождения, он считает, что его злоба священна. Вся система его ценностей оказывается своеобразно извращенной (нечто похожее встречается в некоторых религиях, например, в Индии, где существует священная проституция): с яростью, ненавистью, грабежом, убийством, со всеми формами насилия у антисемита связываются представления о престиже, уважении, энтузиазме,— и в тот самый момент, когда он опьянен злобой, на душе у него легко и спокойно, и это обеспечивает ему неотягченную совесть и удовлетворение от сознания исполненного долга.

Портрет завершен. Возможно, многие из тех, кто с готовностью заявляет о своей ненависти к евреям, не узна́ют себя, это будет значить, что ненависти у них на самом деле нет. Нет у них и любви: они никогда не причинят евреям никакого зла, но никогда и пальцем не пошевелят, чтобы предотвратить погром. Они не антисемиты, они не личности, они — ничто, и если им все-таки приходится изображать нечто, они становятся эхом, становятся молвой; не думая о причиняемом зле, не думая ни о чем, они повторяют заученные формулы, открывающие перед ними двери определенных салонов. Таким путем они познают эту высокую радость — быть пустым звуком, иметь голову, целиком заполненную одним огромным одобрением, которое кажется им тем более достойным уважения, что взято ими в долг. Для таких людей антисемитизм — просто оправдание, но эти люди столь ничтожны, что легко отказываются от этого оправдания, соглашаясь на любое другое, лишь бы оно было «престижнее». Ибо антисемитизм престижен, как все проявления иррациональной коллективной души, стремящейся создать сокровенное и охранительное Отечество. И всем этим мягкоголовым кажется, что, торопливо повторяя «евреи губят страну», они совершают один из тех ритуальных обрядов, которыми оформляется пропуск в теплоэнергоцентр общества; в этом смысле антисемитизм сохраняет нечто от человеческого жертвоприношения. Кроме того, антисемитизм предоставляет серьезные выгоды людям, сознающим свою глубокую несостоятельность и пребывающим в тоске: он позволяет им надеть на себя личину страсти и, как это уже стало привычным со времен романтизма, спутать ее с собственной личностью,— таким образом эти вторичные антисемиты, почти не потратившись, обретают собственную агрессивную личность. Один мой друг часто вспоминал своего престарелого кузена, который иногда приходил к ним обедать и о котором с каким-то особенным выражением говорили: «Жюль терпеть не может англичан». Мой друг не помнил, чтобы о его кузене говорили еще что-нибудь другое, но другого уже и не требовалось. Между кузеном и семьей друга возник молчаливый договор: при кузене подчеркнуто избегали говорить об англичанах, эта церемонность дарила ему иллюзию его значимости в глазах ближних, а им — приятное чувство участников некоего ритуального действа. Ну, а при соответствующих обстоятельствах, кто-нибудь, тщательно все обдумав, ронял как бы невзначай какой-то намек на Великобританию — или ее доминионы. Кузен Жюль тут же исполнял приступ жуткого гнева и в эти мгновения чувствовал, что он существует; все бывали довольны. Многие в той же мере антисемиты, в какой кузен Жюль — англофоб и, разумеется, они совершенно не представляют себе, куда они на самом деле вступили.

Мнимые отражения сознательного юдофоба, тростинки, кланяющиеся ветру, они сами, конечно, никогда бы не выдумали антисемитизма, но именно они силой своего равнодушия сохраняют антисемитизм от исчезновения и возрождают его в новых поколениях.

Теперь мы в состоянии его понять. Антисемит — это человек, который боится. Нет, не евреев, конечно,— боится самого себя, боится своей совести и своих инстинктов, боится свободы и ответственности, боится одиночества и боится перемен, боится общества и боится мира,— он боится всего, и не боится только евреев. Это подлец, который не хочет признаться себе в своей подлости; это убийца, который сдерживает и маскирует свою склонность к убийству, не находя в себе сил справиться с ней, но в то же время дерзновенно предпочитает убийства символические и анонимные — в толпе. Он мучается неудовлетворенностью, но не решается восстать на себя из страха перед последствиями своего восстания. Приобщаясь к антисемитизму, он не просто принимает некое мнение,— он совершает выбор, определяющий его будущую личность. Он выбирает постоянство и невосприимчивость камня. Он выбирает тотальную безответственность рядового, послушного своим вождям,— а вождей у него нет. Его выбор: ничего не зарабатывать и ничего не заслуживать, но чтобы ему все было дано от рождения,— а он не из благородных. Его выбор, наконец: Добро уже все — здесь; оно неоспоримо и недосягаемо, и он не смеет на него посмотреть, боясь, что тогда придется усомниться в нем и искать другое. Еврей тут только повод, ничего больше: на его месте может быть негр, может быть цветной. Существование еврея просто дает антисемиту возможность подавить в зародыше свое беспокойство, убедив себя, что его место в мире всегда было помечено, и оно его ждало, и он теперь законно имеет право его занять. Антисемитизм, одним словом,— это страх человеческого состояния. Антисемит — это человек, который хочет быть непроницаемой скалой, неистовым потоком, испепеляющей молнией, всем чем угодно — только не человеком.

2

У еврея, впрочем, есть друг, а именно — демократ, но защитник из него плохой. Да, разумеется, он провозглашает равноправие всех людей и, разумеется, именно он учредил Союз защиты прав человека, но сами его декларации обнажают слабость его позиции. В XVIII веке он раз и навсегда выбрал аналитический метод и не замечает той синтетической конкретики, которую предлагает ему история. Для него не существует ни еврея, ни араба, ни негра, ни рабочего, ни капиталиста — но лишь человек, в любое время и в любом месте равный самому себе. Все соединения он расщепляет на отдельные элементы. Биологический организм для него — сумма молекул, социальный организм — сумма индивидуумов. А индивидуум, в его понимании, это уникальное воплощение универсальных черт, составляющих человеческую природу. Таким образом, антисемит и демократ неутомимо ведут свой диалог, не сознавая, и даже не замечая, что они говорят о разных вещах. Допустим, антисемит упрекает евреев в скупости. Демократ отвечает, что он знает скупых христиан и не скупых евреев. Но антисемита это не убеждает, ведь он хотел сказать, что существует особая «еврейская» скупость, то есть такая, на которую повлияла эта синтетическая тотальность: *личность* еврея. И он с легкостью соглашается, что какие-то христиане могут быть скупыми, потому что для него христианская скупость и еврейская скупость — не одной природы. Для демократа же, напротив, природа скупости универсальна и инвариантна; скупость может присоединяться к комплексу черт, образующему характер индивидуума, сохраняя свою идентичность при всех обстоятельствах; не существует двух способов быть скупым: или ты скряга, или нет. Тем самым демократ, как и ученый, упускает единичное: индивидуум для него — лишь сумма универсальных черт. Отсюда следует, что его защита спасает еврея как человека, уничтожая его как еврея. В отличие от антисемита, демократ не боится самого себя,— опасение ему внушают как раз крупные коллективные образования, в которых он рискует раствориться. И его выбор аналитического метода объясняется тем, что аналитический метод просто не замечает всех этих синтетических реальностей. В связи с этим он боится, как бы у евреев не проснулось «еврейское самосознание», то есть самосознание еврейского сообщества,— точно так же, как он опасается пробуждения у рабочих «классового самосознания». Его защита — это попытка убедить индивидуумов в том, что они существуют изолированно. Евреев нет, говорит он, следовательно, еврейского вопроса не существует. Это значит, что демократ хочет отделить еврея от его религии, от его семьи, от его этнического сообщества и поместить его в демократическую реторту, откуда он выйдет обновленным, одиноким и голым — ни с чем не связанным отдельным зернышком, неотличимым от всех прочих зернышек. Это то, что в Соединенных Штатах называли политикой ассимиляции. Иммиграционное законодательство запротоколировало провал этой политики и, в целом, «ассимиляционной идеи» демократов. Да и как могло быть иначе? — для еврея, который осознает свою этническую принадлежность, не стесняется ее и готов ее отстаивать — не забывая при этом о том, что́ его связывает с народом страны, где он живет — нет такой уж большой разницы между антисемитом и демократом. Один

хочет уничтожить его как человека, чтобы остался только еврей, пария, неприкасаемый, а другой хочет уничтожить его как еврея, сохранив только человека в качестве абстрактного и универсального субъекта прав человека и гражданина. И даже в са́мом либеральном демократе обнаруживаются антисемитские черточки: он становится враждебен еврею в той мере, в какой еврею вздумается ощутить себя евреем. Эта враждебность выражается в своеобразной снисходительно подтрунивающей иронии, когда, например, о другееврее, наделенном характерной, типической внешностью, говорят «он все-таки *слишком* еврей», или когда заявляют «единственный недостаток, который я нахожу у евреев, это их стадный инстинкт: когда берешь в дело одного, он приводит с собой десять других». Во время оккупации демократ был всерьез и глубоко оскорблен преследованием евреев, но время от времени вздыхал: «Евреи выйдут из лагерей такими дерзкими и с такой жаждой мести, что я опасаюсь рецидивов антисемитизма». На самом же деле он опасался, что преследования приведут только к росту самосознания евреев.

Антисемит попрекает еврея тем, что он — еврей, демократ склонен упрекать еврея в том, что он *чувствует* себя евреем. Находиться между противником и защитником обычно не слишком приятно; кажется, единственное, что остается еврею, это выбрать подливку, с которой его съедят. В свою очередь, нам тоже следует поставить вопрос, существует ли еврей. А если существует, то кто это такой? Прежде всего еврей или прежде всего человек? В чем должно состоять решение проблемы, в истреблении всех евреев или в их полной ассимиляции? Или, может быть, нужно поставить вопрос иначе и иначе его решать?

3

В одном мы согласны с антисемитом: мы не верим в существование человеческой «природы», мы не принимаем изображения общества в виде суммы молекул, которые изолированы — или могут быть изолированы друг от друга, мы считаем, что к исследованию явлений биологии, психики и социума подход должен быть синтетическим. Но мы расходимся с антисемитом в том, что касается способов применения этого синтетического подхода. Мы не знаем никаких особых еврейских «принципов» и мы не манихеисты; равным образом, мы не согласны с тем, что «настоящему» французу не составляет труда воспользоваться опытом и традициями, которые передались ему от предков, мы по-прежнему весьма скептически относимся к вариациям на тему психологической наследственности и допускаем использование этнических концепций лишь в тех областях, где они получили экспериментальное подтверждение, то есть в биологии и в патологии; мы определяем человека прежде всего как существо «ситуационное». Это означает, что человек и та ситуация, в которой он существует, образуют синтетическое единство — в биологическом, экономическом, политическом, культурном и иных отношениях. Человека нельзя отделить от его ситуации, потому что она его формирует и определяет его возможности, но и наоборот, человек определяет смысл ситуации своим выбором себя в ней и через нее. Находиться в некоторой ситуации, в нашем понимании, значит *выбирать себя* в этой ситуации; люди различаются между собой соответственно различию их ситуаций, а также в зависимости от того выбора, который они совершают в отношении собственной персоны. То общее, что их всех объединяет,— отнюдь не их «природа», но — условия существования, то есть комплекс ограничений и связей: необходимость умереть, необходимость работать, чтобы жить, необходимость существовать в мире, уже заселенном другими людьми. Эти-то условия существования и составляют, в сущности, фундаментальную человеческую ситуацию или, если угодно, комплекс отвлеченных признаков, общих для всех ситуаций. Я соглашаюсь, таким образом, с демократом в том, что еврей — такой же человек, как все прочие, но что́ конкретно я при этом узнаю? — только то, что он свободен, что он в то же время раб, что он рождается, наслаждается, страдает и умирает, что он любит и ненавидит, как все остальные люди. Ничего другого я не могу извлечь из этой слишком общей посылки. Но если я хочу узнать, *что́* есть еврей, то поскольку он существо ситуационное, рассказать о нем мне должна прежде всего его ситуация. Предупреждаю, что я ограничусь в моем описании только евреями Франции, поскольку *наша* проблема — это положение французских евреев.

Я не стану отрицать, что еврейская раса существует. Но давайте вначале договоримся о значении слов, чтобы понимать друг друга. Если словом «раса» обозначить тот не поддающийся определению конгломерат, в котором соматические признаки перемешаны с интеллектуальными и моральными характеристиками, то мне останется только верить в столоверчение. То, что я, за неимением лучшего, буду называть этническими особенностями,— это определенные наследственные физические черты, встречающиеся чаще у евреев, чем у не-евреев. Нам надо будет к тому же проявлять осмотрительность: ведь правильнее было бы говорить о *семье* еврейских народностей. Как известно, не все семиты — евреи, и это осложняет вопрос; известно также, что русские светловолосые евреи отстоят от курчавых алжирских дальше, чем от восточно-прусских арийцев. Действительно, в каждой стране живут свои евреи, и наши представления о них не обязательно соответствуют представлениям соседей. Я и двое моих французских друзей жили в Берлине в первое время после прихода нацистов к власти; один из моих друзей был еврей, другой — нет. Еврей принадлежал к «выраженному семитскому типу», у него был горбатый нос, торчащие уши, толстые губы. Любой француз без колебаний определил бы его национальность. Но он был флегматичный сухопарый блондин — и немцы его не замечали. Он иногда развлекался, посещая компании эсесовцев, у них не возникло сомнений в чистоте его расы; один из них как-то сказал ему: «Я чувствую еврея за сто метров». Второй мой друг был корсиканец и католик — и сын, и внук католика, у него были черные чуть вьющиеся волосы, бурбонский нос и бледная кожа, он был маленький и тучный. На улице дети швыряли ему в спину камни и кричали «юде»: он оказался внешне близок к определенному восточному семитскому типу, соответствовавшему наиболее распространенному среди немцев представлению о еврее. Как бы там ни было, даже если мы принимаем, что все евреи наделены некими общими для них физическими чертами, то это отнюдь не значит, что у них должны проявляться и одинаковые черты характера — подобные аналогии совершенно бессодержательны. Более того, физические черты, которые можно определить как семитские,— это образования пространственные, следовательно, допускающие их объединение и разделение. Выделив одну из этих черт, я моментально обнаружу ее у какого-нибудь арийца. Должен ли я из этого заключить, что данный ариец также наделен теми психическими качествами, которые обычно приписывают евреям? Очевидно, нет. Но тогда разваливается вся расовая теория, ведь в ней предполагается, что еврей — это некая неразделимая целостность, а он оказывается мозаикой, каждый элемент которой можно, как камешек, взять и поместить в другой набор; таким образом, мы не можем ни выводить моральное из физического, ни постулировать психофизиологический параллелизм. Если мне скажут, что нужно рассматривать *ансамбль* соматических признаков, я отвечу: либо этот ансамбль есть *сумма* этнических черт и, в качестве суммы, никак не может представлять собой пространственного эквивалента психического *синтеза* — как сочетание мозговых клеток не может соответствовать мысли,— либо, когда говорят о еврее в физическом плане, имеют в виду некую синкретическую тотальность, воспринимаемую интуитивно. В этом случае, действительно, можно было бы говорить о «Gestalt»[1] в том смысле, в каком это слово понимал Кёлер — и именно на это претендуют антисемиты, когда заявляют, что у них «чутье» на евреев, что они их «чувствуют» и т. п., но дело в том, что воспринимать соматические черты отдельно от того психического значения, которое с ними связывается, невозможно. Вот на улице Росьер на крылечке у своей двери сидит еврей. Я сразу узнаю в нем еврея: у него черная курчавая борода, слегка горбатый нос, оттопыренные уши, очки в железной оправе, круглая шляпа, надвинутая почти на глаза, черная одежда, быстрые, нервные движения, странно добрая страдальческая улыбка. Как отделить физическое от морального? Борода у него черная, волос вьется,— это соматический признак. Однако мое внимание более всего привлекает то, что он ее отпускает; ведь этим он заявляет о своей приверженности традициям еврейского сообщества, объявляет, что приехал из Польши и что он — эмигрант в первом поколении; но разве его гладковыбритый сын в меньшей степени еврей? Есть черты чисто анатомические, например: форма носа, торчащие уши; есть чисто психические и социальные: выбор одежды и очков, выражение чувств, мимика. И на национальность этого человека мне указывает как раз тот неразложимый ансамбль, в котором взаимопроникнуты психическое, физическое, социальное, религиозное и индивидуальное,— тот *живой синтез*, который очевидно не мог быть передан по наследству и который, в сущности, идентичен всей *его личности* в целом. Мы, таким образом, рассматриваем соматическую, наследственную характерность еврея как один из факторов его ситуации, а не как определяющее его природу условие. За отсутствием расового определения еврея, может быть, определим его религией или строго национальным сообществом израэлитов? Здесь возникают осложнения. Безусловно, в отдаленные времена существовало религиозное и национальное сообщество, называвшееся Израилем[2]. Но история этого сообщества — это история его рассеивания на протяжении двадцати пяти веков. Вначале оно утратило свою независимость, порабощенное Вавилоном, потом попало под персидское владычество и, наконец, было захвачено римлянами. Не нужно усматривать в этом последствия какого-то проклятия, если, конечно, не считать, что существуют проклятия географические; ситуация Палестины определялась ее расположением и окружением: она располагалась на перекрестке

[1] Телосложение *(нем.)*.
[2] Сартр писал это в 1944 году.

всех античных торговых путей и она была сжата в тисках могучих империй,— это вполне объясняет ее постепенное уничтожение. В то же время религиозные связи евреев диаспоры и оставшихся на родине окрепли, ибо приобрели смысл и значение связей национальных. Однако нетрудно заметить, что такой «перевод» есть явный признак одухотворения коллективных связей, а одухотворение связей, что там ни говори, означает их ослабление. К тому же вскоре произошел раскол, связанный с зарождением христианства: появление этой новой религии вызвало грандиозный кризис в среде израэлитов, восстановив евреев-эмигрантов против оставшихся в Иудее. Перед лицом такой «сильной формы», какой сразу же стало христианство, иудейская религия тут же обнаружила себя как форма слабая, движущаяся к распаду; самосохранение требовало от нее сложной политики, совмещавшей упорство с уступками. Религия противостояла преследованиям и великому рассеянию евреев в средневековом мире; в значительно меньшей степени она противостояла распространению просвещения и критического духа. Евреев, живущих среди нас, связывает с иудаизмом лишь обрядность и вежливость. Я спросил одного из них, зачем он обрезал сына. Он мне ответил: «Потому что это успокоило мою мать, а кроме того, так приличнее».— «А вашей матери почему это так важно?» — «Из-за друзей и соседей». За столь рациональными объяснениями, я полагаю, кроется глухая, глубинная потребность примкнуть к традиции и, раз уж нет истории нации, укрепиться корнями в истории обрядов и обычаев. И уж совершенно точно, что религия здесь — не более чем символическое средство. Противостоять одновременному наступлению рационализма и христианского духа эта религия не могла — по крайней мере, в Восточной Европе; евреи-атеисты, которых я расспрашивал, признавались мне, что свой диспут о боге они ведут с христианской религией. Религии, на которую они нападают и от которой хотят избавиться,— это христианство; их атеизм ничем не отличается от атеизма Роже Мартен дю Гара, который, по его словам, отмывался от католической веры. Они ни одной минуты не были атеистами, *борющимися с талмудом*, и священник для них всех — кюре, а не раввин.

Итак, отправная точка рассуждений представляется следующей: конкретное историческое сообщество есть сообщество, в первую очередь, *национальное* или *религиозное*; в то же время, сообщество евреев, которое было и национальным, и религиозным, постепенно утратило свои конкретные черты. Условимся в дальнейшем называть его абстрактным историческим сообществом. Рассеяние повлекло за собой распад общинных традиций, и мы выше уже отметили, что двадцать веков рассеяния и политического бессилия лишили это сообщество его *исторического прошлого*. Если верны слова Гегеля о том, что всякое общество исторично в той мере, в какой оно сохраняет свою историческую память, то еврейское общество наименее исторично из всех, ибо хранит лишь память о долгих временах страданий, иначе говоря, память длительной пассивности.

Как же сохраняется в еврейском сообществе эта видимость единства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к идее *ситуации*. Ни историческое прошлое, ни религия, ни земля общая не объединяют детей Израилевых. Но если все они удостоены называться евреями, значит, есть нечто общее, что всех их связывает,— это общая для всех евреев ситуация, то есть именно то, что они живут в обществе, которое считает их евреями. Одним словом, евреи прекрасно могут быть ассимилированы современными нациями, но они, по самоопределению,— те, кого нации не хотят ассимилировать. Исходной точкой послужило обвинение в убийстве Христа[1]. Задумывался ли кто-нибудь о невыносимой ситуации людей, осужденных жить в обществе, обожающем бога, которого они убили? Таким образом, для примитивного сознания, евреи — убийцы или дети убийц (а для членов сообщества с дологической формой понимания ответственности это абсолютно одно и то же), то есть почти что табуированная каста. Ну, современный антисемитизм объясняется, очевидно, не этим, но истоки того, что антисемит выбирает в качестве объекта ненависти евреев,— в религиозном отвращении, вечно сопутствовавшем евреям. Это отвращение привело к любопытным экономическим последствиям. Средневековая церковь, которая могла организовать насильственную ассимиляцию евреев или их истребление, проявляла терпимость только потому, что евреи выполняли определенную экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись; проклятые, они занимались проклятым, но необходимым делом: не имея возможности ни владеть землей, ни служить в армии, они торговали и оборачивали деньги — для христиан это было постыдно. Таким образом, изначальное проклятие вскоре дополнилось проклятием экономическим, и вот это-то последнее, главным образом, и сохранилось. Сегодня евреев любят обвинять в том, что они не работают в сфере материального производства, при этом нимало не стремятся понять, что их кажущаяся автономность внутри нации выросла из того, что их с самого начала заключили в рамки строго определенных профессий, закрыв для них все остальные. Поэтому не будет преувеличением сказать, что именно христианство *создало* евреев, спровоцировав резкое замедление их ассимиляции и навязав им против их воли те функции, в исполнении которых они впоследствии преуспели. Но это мы опять углубились в историю: сегодня дифференциация экономических функций такова, что уже невозможно предписывать евреям те или иные виды деятельности; здесь можно лишь отметить, что долговременное отторжение евреев от определенных профессий уже убило желание заниматься ими к тому времени, когда появились такие возможности. Однако в современных обществах любят выдержки из истории и с удобством используют их для обоснования и оправдания антисемитизма. Итак, если вы хотите понять, что такое современные евреи, то вопрос надо обращать к христианской совести,— и звучать он будет не «что такое еврей?», а «*что вы сделали с евреями?*».

[1] Заметим сразу, что речь здесь идет о легенде, созданной христианской пропагандой диаспоры. Совершенно очевидно, что распятие — это *римская* казнь: Христос был казнен *римлянами* как политический агитатор.— *Прим. автора.*

Еврей — это тот человек, которого другие люди считают евреем,— вот простая истина, из которой надо исходить. В этом смысле в споре с антисемитом демократ прав: именно антисемит создает еврея. Но сводить всю ту подозрительность, и то любопытство, и ту замаскированную враждебность, которые окружают еврея, к бредовым манифестам кучки одержимых будет ошибкой. Ведь мы разглядели за гримасами антисемитизма безглазое, несформировавшееся лицо того примитивного общества, которое в латентном состоянии продолжает существовать в сообществе легальном. Не следует думать, что для устранения антисемитизма достаточно благородного порыва, нескольких добрых слов или ученого трактата,— это все равно как если бы кто-нибудь вообразил, что он устранил войну, поскольку описал в книге ее последствия. Вне всякого сомнения, еврей по достоинству ценит выражаемые ему симпатии, но при всем том он не может не видеть, что антисемитизм — сохраняющаяся структура того сообщества, в котором он живет. Кроме того, он знает, что и демократы, и все те, кто его защищают, склонны проявлять снисходительность к антисемитизму. Во-первых, у нас, что ни говори, республика и свобода мнений, а во-вторых, миф о Священном Союзе все еще оказывает на французов такое влияние, что они готовы на любые компромиссы, лишь бы избежать внутренних конфронтаций — особенно в периоды межнациональных кризисов, совпадающих, разумеется, с периодами максимальной вирулентности антисемитизма. Само собой понятно, что на все эти компромиссы идет наивный и преисполненный доброй воли демократ: антисемит не идет ни на какие. На стороне антисемита преимущество разъяренного: о нем говорят «не надо его раздражать», и при его появлении понижают голос. Вот пример: в 1940 году немало французов собралось вокруг правительства Петэна, которое не уставало призывать к единению, лелея при этом известные задние мысли. Впоследствии это правительство осуществляло антисемитские акции. «Петэриоты» не протестовали. Им было очень неловко, но — что же делать? Если кого-то приносят в жертву, чтобы этой ценой выкупить Францию,— разве такая цель не оправдание стыдливо отведенных глаз? Они определенно не были антисемитами и даже, встречая евреев, разговаривали с ними в высшей степени вежливо и сочувственно. Но как же евреи-то не чувствовали, что ими жертвуют в погоне за миражем единой и патриархальной Франции, как это могло быть? Сегодня[1] те из них, кого не угнали и не убили немцы, наконец, возвращаются домой. Многие с первого дня были в Сопротивлении, у других сыновья или родственники служили в армии Леклерка. Вся Франция ликует, незнакомые люди обнимаются на улицах, забыв, кажется, на время о всякой социальной борьбе; газеты отводят целые полосы рассказам военнопленных и депортированных. Что ж, сказали и о евреях? Приветствовали возвращение тех, кому удалось спастись, почтили память погибших в газовых камерах Люблина? Ни слова. Ни строчки газетной. Потому что нельзя раздражать антисемитов. Больше, чем когда-либо Франция нуждается в единстве. Благонамереннейшие журналисты убеждают вас: «Не нужно сейчас слишком много говорить о евреях, это в их же интересах». Французское общество жило без них четыре года, и не следует чрезмерно афишировать их возвращение. Неужели вы думаете, что евреи не понимают сложившейся ситуации? Неужели вы думаете, что они не понимают причины этого молчания? Среди них есть и те, кто с этим согласен, кто говорит: «Чем меньше о нас будут заботиться, тем лучше». Способен ли француз, уверенный в себе, в своей религии и своей расе, понять то состояние души, которое рождает такие мысли? Не ясно ли, что нужно годами в своей собственной стране чувствовать враждебность, и вечно шипящее недоброжелательство, и всегда готовое кисло сморщиться безразличие,— чтобы прийти к этой смиренной мудрости, к этой политике самоустранения. Их возвращение, таким образом, было тайным, и их

[1] Написано в октябре 1944 года.— *Прим. автора.*

радость освобождения не соединилась с радостью нации. Одной маленькой детали будет достаточно, чтобы показать, как это было мучительно. Во «Французских письмах» я, не акцентируя, просто для полноты перечисления написал какую-то фразу о мучениях, выпавших на долю военнопленных, насильно угнанных, политзаключенных и евреев,— так вот, евреи трогательнейшим образом благодарили меня! Какими же покинутыми надо себя чувствовать, чтобы появилось желание поблагодарить автора только за то, что он написал в статье *слово* «еврей».

Таким образом, еврей оказывается в ситуации еврея, потому что живет в сообществе, которое считает его евреем. У него здесь страстные враги и бесстрастные защитники. Демократ гордится своей сдержанностью, он порицает и читает нотации, а в это время жгут синагоги. Терпимость — профессия демократа, он в ней доходит до снобизма, она распространяется у него даже на врагов демократии: разве не было модным в среде левых радикалов находить проблески гениальности у Морраса? Как же демократу не понять антисемита? Демократа словно гипнотизируют те, кто замышляет его гибель. А потом, быть может, и у него на дне души таится что-то вроде сожаления о несовершённом насилии, которое он себе запретил. И главное, борьба идет не на равных: для того, чтобы вложить хоть сколько-нибудь страсти в защиту еврея, демократу тоже пришлось бы стать манихеистом и бороться во имя Принципа Добра. Но как это возможно? — демократ же не сумасшедший. Он стал адвокатом еврея, потому что видит в нем сына человечества, но у человечества есть и другие дети, которые тоже нуждаются в защите, поэтому у демократа много работы, и евреем он занимается когда у него выдается свободное время, а у антисемита только один враг, он может посвятить ему все свое время — и тон задает он. Энергично атакуемый и слабо защищаемый в обществе, где антисемитизм остается постоянным соблазном, еврей чувствует себя в опасности. Именно это ощущение требует наиболее тщательного исследования.

Французские евреи по своему социальному положению, в основном, принадлежат к мелкой — или крупной буржуазии. Профессии большинства из них я назвал бы «реноменальными» — в том смысле, что успех в этих профессиях зависит не от вашего умения работать с материалом, а от вашего реноме, от мнений, которые имеют о вас другие люди. Чтобы к адвокату или портному пошла клиентура, они должны понравиться. Из этого следует, что профессии, о которых мы говорим, полны церемоний: приходится обольщать, и удерживать, и снискивать доверие; эти церемонии, эти тысячи маленьких танцев, необходимых для привлечения клиентов, требуют строгости в одежде, внешне безупречного поведения, вообще — почтенности. Таким образом, превыше всего здесь — репутация: вы ее *создаете* себе и ею живете; это значит, что вы, по существу, находитесь в полной зависимости от других людей, в то время как крестьянин прежде всего имеет дело с землей, а рабочий — с материалом и инструментом. Однако ситуация еврея парадоксальна: он может, так же как и все, и теми же способами заслужить репутацию честного человека, но эта заслуженная репутация будет добавляться к репутации изначальной, которая ему дана раз и навсегда и которая определяется тем, что он — еврей. В шахте у вагонетки или в литейном цехе еврей-рабочий забывает, что он еврей; еврею-коммерсанту этого забыть не позволят. Он может совершить массу бескорыстных и честных поступков, и его, быть может, назовут *хорошим* евреем, но все равно он — еврей, евреем и останется. Когда его называют честным или нечестным, он, по крайней мере, знает, о чем идет речь, ведь он помнит поступки, которыми заслужил это отношение. Все совсем не так, когда его называют евреем; в самом деле, тут речь идет не о каком-то конкретном статусе, а об определенной *манере*, характеризующей все его поведение. Ему твердят, что еврей и думает как еврей, и спит, и пьет, и ест как еврей, он и честен и нечестен по-еврейски. А ведь сколько он ни копается в себе, в своих поступках, он этой манеры не обнаруживает. Осознаем ли мы стиль своей жизни? Поистине, мы слишком привязаны к самим себе, чтобы смотреть на себя глазами беспристрастного свидетеля. И тем не менее, это маленькое словечко «еврей» в один прекрасный день входит в жизнь человека и больше уже не покидает его. Некоторые дети уже с первого класса бросаются в драку, когда их в школе обзывают «жидами», других долго держат в неведении относительно их расы. Одна девочка из знакомой мне еврейской семьи до пятнадцати лет даже не знала, что значит слово «еврей». Во время оккупации доктор-еврей, живший в Фонтенбло, не выпускал своих внуков из дому и ни слова не говорил им об их национальности. Но так или иначе, когда-то дети все равно узнают правду: одним открывают глаза улыбки окружающих, другим — слухи или оскорбления. И чем позже они совершают это открытие, тем сильнее потрясение: вдруг они замечают, что другие знают про них что-то им неизвестное и что к ним относится этот смущающий и подозрительный эпитет, который в их семье не употребляется. Они вдруг замечают, что они отделены, отстранены от общества нормальных детей, которые чувствуют себя в безопасности, беззаботно бегают и играют вокруг них и не имеют *специального названия*. Ребенок приходит домой, смотрит на отца и думает: «А он тоже еврей?» — и его чувство к отцу отравлено. Стоит ли удивляться тому, что след этого первого разоблачения остается в душе ребенка на всю жизнь? Уже сто раз описаны пагубные последствия внезапного открытия ребенком факта сексуальных отношений родителей — как же может не вызвать аналогичных последствий открытие маленького еврея, который украдкой разглядывает своих родителей и думает: «Они евреи».

В то же время, дома ему говорят, что он должен гордиться тем, что он еврей. И ребенок уже не знает, кому верить; унижение, тоска, гордость разрывают ему душу. Он чувствует, что он *отделен* от остальных, но уже не понимает, кто его отделил, и знает только одно: что́ бы он ни делал, в глазах окружающих отныне и навсегда он — еврей. Немецкое правительство заставляло евреев носить желтую звезду,— гнусность, справедливо вызывавшая возмущение. Невыносимым было, очевидно, то, что на еврея *указывали* окружающим, что его постоянно принуждали чувствовать себя евреем, на которого все смотрят. Возмущение заставляло людей всеми силами выражать свое участие, свою симпатию несчастным, отмеченным этим клеймом. Однако, движимые лучшими побуждениями, некоторые из сочувствующих столь подчеркнуто кланялись при встречах с евреями, что, по собственным признаниям последних, приветствия эти были для них очень тяжелы. Они постоянно ловили на себе взгляды, горящие участием и поддержкой, и чувствовали, как под этими взглядами превращаются в *объекты*. Объекты сочувствия, и жалости, и чего угодно еще, но — объекты. Для тех достойных либералов они были поводом для благородного жеста, для демонстрации,— поводом и не более того; либералы были свободны, совершенно свободны в отношении евреев, и жать ли им руки или плевать в лицо, они решали соответственно своей морали и своему выбору самих себя. А евреи не выбирали, быть им евреями или нет, и потому духовно наиболее сильные из них даже предпочитали ненависть жалости: ненависть — страсть, и она кажется менее свободной в сравнении с вечно снисходительной жалостью. Все это было нам так понятно, что в конце концов, встречая на улицах евреев со звездой, мы уже отводили глаза. Нам было неловко, стыдно смотреть на них, ведь каждый наш взгляд, помимо их и нашего желания, выделял их как евреев, и высшим проявлением симпатии и дружбы было — пройти, не заметив, потому что при всех наших стараниях адресоваться к *личности*, нашим объектом неизменно оказывался *еврей*. Можно ли не замечать, что это нацистское предписание — всего лишь предельное выражение тех отношений, к которым мы давно уже притерпелись? Конечно, до заключения перемирия евреи не носили звезд, но их фамилии, лица, жесты и тысячи иных признаков определяли их как евреев. Идя по улице, входя в кафе, в магазин или в гостиную, каждый еврей знал, что несет на себе это *клеймо*. Если кто-нибудь обращался к нему очень по-дружески и очень весело, он уже знал, что становится *объектом*, на котором сейчас будут демонстрировать терпимость, что собеседник избрал его, как повод объявить миру и сказать самому себе: вот, у меня широкие взгляды, я не антисемит, для меня важен сам человек, а не его раса. В то же время, и еврей в глубине души оценивает себя примерно так, как его оценивают другие: он говорит на их языке, у него те же классовые — и те же национальные интересы, он читает те же газеты и так же голосует, он понимает их мнения и он разделяет их. Но ему дают понять, что все это не так: и говорит он «как еврей», и читает, и голосует, а если он требует объяснений, ему рисуют портрет, в котором он себя не узнаёт. И все же это его портрет, и невозможно в этом сомневаться, когда миллионы людей согласны, что он — такой. Что он может сделать? Мы скоро увидим, что постоянное беспокойство еврея коренится именно в этой навязанной ему необходимости бесконечно допрашивать себя, чтобы в конце концов слиться с преследующим его по пятам чуждо-знакомым, неощутимо-близким, призрачным персонажем, который есть не кто иной, как он сам,— такой, каким его видят другие. Мне скажут, что это справедливо для всех, что у каждого из нас есть свой характер, хорошо известный нашим близким и незаметный для нас самих. Это не вызывает сомнений и, в сущности, есть не что иное, как выражение нашей фундаментальной связи с Другим. У еврея, как у любого из нас, тоже есть свой характер, но кроме этого, он еще еврей. Можно сказать, что, в определенном смысле, фундаментальная связь с другими у него двойная,— он детерминирован избыточно, он переопределен.

Ситуация кажется ему еще более непостижимой из-за того, что он пользуется всеми правами члена общества, в котором живет — во всяком случае, до тех пор, пока общество сохраняет равновесие. Во времена кризисов и преследований на его долю выпадает в сто раз больше несчастий, но он, по крайней мере, может восстать и, с оружием в руках борясь против угнетателей и отвергая проклятую, навязанную ему роль еврея, может обрести свободу,— диалектика этого обретения аналогична описанной Гегелем в работе «Хозяин и раб». Но против кого

восставать, когда все спокойно? Еврей, конечно, принимает то сообщество, которое его окружает: он тоже хочет играть в этом театре, и он исполняет все положенные па и, как все, танцует партию достопочтенного налогоплательщика,— впрочем, он ведь никому не раб, а свободный гражданин, живущий при правительстве, разрешившем свободную конкуренцию, и никакие государственные поприща, никакие общественные высоты для него не закрыты: получай орден Почетного легиона, становись великим адвокатом, министром. Но стоит ему соприкоснуться на деле с нашим правовым обществом, и мгновенно спадает пелена, и он обнаруживает, что существует другое — аморфное, расплывчатое, но всепроникающее общество, которое ему ничего не позволяет. Он очень остро чувствует тщету любых почестей и удач: никакой самый грандиозный успех не позволяет ему войти в это общество, почитающее себя *истинным*, и если он будет министр, то он будет министр-еврей,— отличие и печать неприкасаемого одновременно. И хотя никакого особенного сопротивления он не встречает, но всё вокруг него словно бы разбегается, и возникает некая неощутимая пустота, а потом — это главное — начинается какая-то невидимая химическая реакция, и все, к чему он прикасался, обесценивается. В самом деле, постоянная людская конвекция в буржуазном обществе, его коллективные течения, обычаи и моды рождают шкалу *ценностей*. Причем ценности объектоа — поэм, мебели, домов, пейзажей — в значительной степени самопроизвольно конденсируются на них наподобие некой легкой росы; ценности эти сугубо национальны и являются результатом нормального развития любого исторического традиционалистского сообщества. Француз — это не только человек, который родился во Франции, голосует и платит налог, в первую очередь, это человек, который понимает французские ценности и умеет ими пользоваться. И поскольку он участвует в их создании, он, в определенном смысле, спокоен за себя: его существование оправдано этим своеобразным единением с сообществом; способность оценить мебель эпохи Людовика XVI, изящество фразы Шамфора, картину Клода Лоррена или пейзаж Иль-де-Франс, позволяя ощутить и вновь подтверждая принадлежность к французскому обществу, возобновляет молчаливый общественный договор со всеми его членами. И сразу исчезает неопределенная случайность отдельного существования, уступая место необходимости существования по праву. Каждый француз, испытывающий волнение при чтении стихов Вийона или при виде дворцов Версаля, превращается в общественную функцию и становится субъектом неотъемлемого права. Еврея же объявляют человеком, которому эти ценности принципиально недоступны. Несомненно, в таком же положении оказывается и рабочий, но у него ситуация иная: он может с презрением отвергнуть ценности буржуазной культуры и надеяться заменить их своими собственными. Напротив, еврей принадлежит, в принципе, именно к тому социальному классу, который его отвергает; он разделяет вкусы этих людей и их образ жизни, он *прикасается* ко всем этим ценностям, но он их «не видит», они должны были бы принадлежать и ему тоже, но ему отказывают в них, ему говорят, что он слепой. Разумеется, это не так,— или кто-нибудь полагает, что Блок, Кремье, Суарес, Швоб и Бенда должны хуже разбираться во французских шедеврах, чем христианин-лавочник или полицейский агент? Или, может быть, Макс Жакоб хуже владел французским, чем «ариец»-секретарь мэрии? А полуеврей Пруст, он что, Расина понимал только наполовину? И кто лучше объяснит вам Стендаля, прославившийся безграмотностью писатель-ариец Шуке или еврей Леон Блюм? Но нам сейчас важно не то, что это заблуждение, а то, что это заблуждение коллективное. И еврей должен сам себя допрашивать и выносить приговор: правда это или ложь; мало того, он же должен и доказывать свою невиновность, а доказательства, которые он представляет, всегда единодушно отвергаются. Он может сколь угодно далеко продвинуться в познании произведения, традиции, эпохи, стиля, но *истинная* ценность рассматриваемого объекта, ценность, доступная лишь французским фракузам,— это как раз то, что находится «за всем этим», это то, чего не выразить словами. Напрасно он будет демонстрировать свою культуру, свои работы: это все еврейская культура — и работы еврейские; как раз в том и виден еврей, что он даже не подозревает о таких вещах, которые всякий должен понимать. Таким образом его стараются убедить в том, что истинную суть вещей он не ухватывает; вокруг него напускается некий неосязаемый туман, который и есть *истинная* Франция со своими *истинными* ценностями, своим *истинным* тактом, своей *истинной* моралью — но он к ней никакого отношения не имеет. Точно так же, он может приобретать какие угодно блага, хоть земли, хоть замки — если сумеет, но в тот самый миг, когда он станет их законным владельцем, значение этих владений неуловимо изменится. Только француз, сын француза, сын или внук крестьянина способен по-настоящему владеть. Чтобы владеть хижиной в деревне, недостаточно купить ее за свои кровные,— надо еще знать всех соседей, их родителей и дедов, знать, что выращивают в округе и какие дубы и буки растут в окрестном лесу, надо уметь пахать, охотиться, удить рыбу и надо в детстве вырезать свои инициалы на дереве и найти их, увеличившиеся, в зрелости. Можно быть уверенным, что еврею таких условий не выполнить. Может, правда, случиться, что и французу тоже, но существуют же официальные привилегии... Как существуют еврейский и французский способы добавлять воду в молоко. Таким образом, даже живя внутри сообщества, еврей остается непринятым, чужим, затесавшимся. Он и все может иметь, и в то же время, ничем не владеет, потому что владения, говорят ему, не приобретаются. Все, чего он касается, все, что он покупает, обесценивается в его руках; истинные, земляные блага — всегда те, которых у него нет. А ведь он отлично знает, что не меньше других вносит в построение светлого будущего того сообщества, которое его отталкивает. Но если уж у него не отнять будущего, твк ему, по крайней мере, откажут в прошлом. И нужно, кстати, признать, что, вглядываясь в прошлое, он не разглядит представителей своей расы: не было во Франции евреев-королей, министров, знаменитых капитанов, знатных вельмож, артистов, ученых — и Французскую Революцию совершил не еврей. Загадки здесь нет: вплоть до XIX века евреи, как и женщины, были лишены самостоятельности, и участвовать в политической и общественной жизни и они, и женщины начали недавно. О том, чтó евреи могли принести в мир, если бы были эмансипированы раньше, достаточно говорят имена Эйнштейна, Чарли Чаплина, Бергсона, Шагала, Кафки. Но нужды нет, дело обстоит именно так: французам такого рода история Франции не принадлежит. Их коллективная память сохранила им лишь черные воспоминания о погромах, гетто, изгнаниях; двадцать веков повторяющихся горчайших и однообразных мучений заменили собой эволюцию. Евреи все еще *внеисторичны*, и в то же время это самый — или почти самый древний народ; именно этим объясняется их неизменно старообразный и вечно новый облик: им дана мудрость и не дано истории. Все это не важно, скажут мне, нужно просто принять их без всяких ограничений, и наша история будет принадлежать и им, или по крайней мере, их детям. Однако никто пока не спешит что-нибудь для этого сделать. Они все в том же взвешенном состоянии, по-прежнему «беспочвенны» и не уверены ни в чем. Как же может не возникнуть у них мысль вернуться в Израиль, чтобы обрести там сообщество и прошлое, которые компенсируют им то, в чем им отказано здесь. Сообщество евреев, построенное не на основе общности происхождения, территории, религии — по крайней мере, в современной Франции — или материального интереса, а на основе идентичности ситуации, могло бы обеспечить им поистине *духовную* связь, которую питали бы культура, привязанность и взаимопомощь. Но их враги немедленно заявят, что общность эта чисто этническая, да и сами они, слишком несвободные для того, чтобы самоопределиться, быть может, употребят слово «раса». И этим мгновенно поддержат антисемитов: «Во, слыхали? — есть такая еврейская *раса*, сами это признают, и потом, они же везде объединяются!» И действительно, если евреи захотят обрести в своем сообществе основания для законной гордости, то, поскольку они не могут гордиться ни специфически еврейским коллективным трудом, ни собственно израильской цивилизацией, ни какой-то мистической общностью, то они в конце концов неизбежно должны прийти к восхвалению расовых качеств. Таким образом, антисемит выигрывает во всех вариантах. Одним словом, от еврея, втиснувшегося во французское общество, требуют, чтобы он существовал изолированно. Если он с этим не соглашается, его оскорбляют. Но даже если он подчиняется, в общество его все равно не принимают, его *терпят*. И, не скрывая предубеждения, при всяком удобном случае напоминают, что он еще должен себя зарекомендовать. В случае войны или восстания от «настоящих» французов никаких рекомендаций не требуется, они должны просто исполнить свой воинский или гражданский долг. К евреям отношение иное, и они могут не сомневаться, что будет сурово подсчитано, сколько именно их было в армии. Вот так каждый из них вдруг обнаруживает свою солидарность с единоверцами. И даже если он давно уже вышел из призывного возраста, он — ясно или смутно — почувствует, что ему надо идти, потому что везде уже кричат, что евреи отсиживаются. Так ведь, говорят, есть основания. Да нет их; Стекель в своем исследовании комплекса иудея — к этой работе мы еще вернемся — даже приводит такую фразу (это говорит еврейка): «Христиане обычно кричат, что евреи всегда увиливают, как только могут, поэтому мой муж и хотел идти именно добровольцем.» А ведь речь здесь о начале войны 14 года в Австрии, которая до этого последний раз воевала в 1866 году, причем имела профессиональную армию. Та репутация, которую создали евреям в Австрии — да и во Франции тоже — была непосредственным, примитивным следствием предубеждения против еврея. Во время международного кризиса 1938 года, закончившегося Мюнхеном, французское правительство призвало лишь отдельные категории резервистов; большая часть людей, способных носить оружие, еще не была мобилизована, и однако в витрину

магазина одного из моих друзей, еврея-коммерсанта из Бельвиля, уже летели камни: еще бы — уклоняется от мобилизации. Таким образом, еврей, чтобы его не трогали, должен идти под пули раньше других, и если не станет хлеба, он должен больше других голодать, и какое бы несчастье ни обрушилось на страну, он должен пострадать сильнее всех. Эта постоянная обязанность доказывать, что он тоже француз, создает для еврея *ситуацию виновности:* если он при любых обстоятельствах не сделает больше других — и намного больше других,— он виновен, он — грязный еврей. Перефразируя Бомарше, можно сказать: если судить по тем качествам, которых требуют от еврея, чтобы признать его «настоящим» французом, то сколько найдется французов, достойных быть евреями в своей собственной стране?

Поскольку работа еврея, его права и его жизнь зависят от мнений, ситуация его в высшей степени нестабильна; юридически неприкосновенный, он оказывается заложником настроений и страстей «настоящего» общества. Он следит за ростом антисемитизма и предчувствует кризисы и грядущие потрясения, как крестьянин следит за погодой и предчувствует грозу. Он все время старается просчитать, чем отзовутся для него международные события. Он может запасаться правовыми гарантиями, богатствами, отличиями — все это только сделает его еще более уязвимым, и он это знает. Однако он знает и потрясающие достижения представителей своей расы, и ему кажется, что их усилия всегда приводят к успеху, но в то же самое время — что какое-то проклятие обрекает эти усилия на бесплодность, и ему никогда не получить даже тех гарантий, какие имеет самый обездоленный христианин. Возможно, именно это составляет один из смысловых пластов «Процесса» еврея Кафки. Подобно герою этого романа, еврей оказывается подсудимым в долгом судебном процессе; он ничего не знает о своих судьях и почти ничего — о защитниках, и он не знает, в чем его вина, но в то же самое время знает, что его считают виновным; суд без конца переносится: на восьмое, на пятнадцатое,— он пользуется отсрочками, чтобы гарантировать себя тысячью способами, но каждая из этих принятых наугад предосторожностей добавляет еще что-то к его виновности. Внешне его ситуация может казаться блестящей, но этот нескончаемый процесс незаметно подтачивает его, и не сегодня-завтра явятся, как в романе, незнакомые люди, скажут, что процесс он проиграл, схватят, уведут и зарежут где-нибудь на пустынной окраине.

Окончание следует

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Ст. РАССАДИН

СОЮЗ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ, ИЛИ НЕЧТО О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ

Мемуар-статья

Человек... стремится к упрощениям, справедливо исходя из реальных возможностей своих органов чувств.

Юрий Идашкин

Испытал я недавно подобие шока — не чрезмерного, не стоит преувеличивать, но все же...

Читаю в журнале «Молодая гвардия» (1990, № 10) реплику его главного редактора под причудливым заголовком: «Андрей Турков, какой-никакой — критик, но врать-то зачем?». Причудливость, впрочем, тут же растолкована:

«Многие читатели, *конечно*, поняли, что в заголовке несколько перефразированы слова Дм. Фурманова, сказанные им в кинофильме „Чапаев": „Александр Македонский был великим полководцем, но зачем же табуретки ломать?"»

Уверенное «конечно» (подчеркнутое мною, а не главным редактором) совершенно, по-моему, восхитительно, однако о нем — чуточку позже, что до причины моего слабонервного потрясения, ее, полагаю, объяснять ни к чему. Да и поздно; я еще не кончил писать эту статью, как «Литгазета» успела бегло высмеять Анатолия Иванова, считающего, будто крылатую фразу об Александре-герое и понапрасну ломаемой мебели произнес впервые персонаж советского фильма, а не Антон Антонович Сквозник-Дмухановский.

Словом, речь не об этом — да и дело-то не преступное: не читал «Ревизора», ну и не читал, эти классики столько понаписали, что за всем не угонишься, и лишь одно продолжает меня волновать отчасти. Не поверю, чтоб редколлегия, знакомившаяся с версткой, да, наконец, и корректор, читавший ее, тоже были бы не в ладах с хрестоматийным текстом. Но — ничего своему редактору не сказали. Не предостерегли от срама. Почему? Потому ли, что побоялись задеть его самолюбие? Возможно. Ехидствовали, нарочно «подставляя» его? Не думаю. Скорее всего — просто потому, что уверены: читатель (если он даже, не приведи Бог, прочел и не позабыл «Ревизора») их не осудит. Ибо — свой, привычный, отборный, адаптировавшийся к ним точно так же, как и они адаптировались к нему.

Таково состояние абсолютного душевного комфорта — не сказать, что завидного, но доступного далеко не всем; такова сверхпредельная уверенность и в себе и в читателе. Что само грустное, уверенность не напрасная...

Не то чтоб собственной репутацией тут вовсе не дорожили, нет, ее весьма самолюбиво и агрессивно отстаивают, ежели кто посягнет или хоть усомнится,— но не способом отлавливания в своих сочинениях признаков малограмотности и непрофессионализма. Иначе.

Позволю себе личное, давнее воспоминание. Предупреждаю: отнюдь не значительное, а если кто скажет, что — пустяковое, то не обижусь; как ни парадоксально, именно этим-то, пустяковостью, и надеюсь прояснить свою мысль.

В далеком году — чтоб не мерить голой цифирью, скажу: вскоре после того, как «Новый мир» Александра Твардовского был окончательно разгромлен, а его редактор уже смертельно болен,— именно тогда в Доме литераторов решили устроить вечер Фазиля Искандера (первый из его вечеров такого размаха). Я говорил вступительное слово — краткое, пяти-десятиминутное, где сказал, в частности, следующее (прошу помнить мое предостережение о незначительности и сказанного и свершившегося). Объяснять вам,— обратился я к публике,— кто такой Искандер, бессмысленно; вы и сами все знаете, дело ведь обстоит не так, чтоб вы направлялись на вечер Феликса Чуева или Михаила Алексеева и лишь случайно завернули сюда...

Зал грохнул таким хохотом, который меня самого удивил до чрезвычайности: чего ржут?

Дальше я говорил слова, которые — при очень большом желании — еще можно было счесть хоть сколько-нибудь крамольными (о, разумеется, не по нынешним меркам!): что Искандеру посчастливилось встретиться с «Новым миром» — не с тем голубообложечным изданием, которое благополучно продолжает выходить, а с тем, про который нам еще предстоит понять, каким событием был он в нашей духовной жизни. Говорил о Твардовском, пожелал ему здоровья, в котором

он сейчас так нуждается,— ну и так далее, в этом не слишком отчаянном роде. Но когда после скромного моего выступления грянул непропорционально раскатистый гром, когда поступил немедля донос (от детской писательницы Веры М., не поленившейся без понуканий написать, отвезти, словом, потратить уйму времени, чем она и вызвала у меня почти восхищенные размышления о феномене стукачей-добровольцев, осведомителей-энтузиастов), когда раздались звонки из горкома компартии, когда собрался «большой» секретариат СП, вынесший свой суровый вердикт, а за ним и «малый», то бишь московский, обсуждавший, как бы покруче меня наказать,— вот тогда оказалось, что даже не доброе слово вслед уничтоженному детищу Твардовского вчиняли мне в основную вину. Всех — кого волновало, кого бесило: как я посмел неосторожно-шутливым словом коснуться персоны Алексеева.

Он и сам пришел на заседание секретариата и когда взял слово, как будто ему было мало всеобщих заверений в его выдающихся литературных заслугах и в необходимости заклеймить «злобный лай из подворотни» (твердо помню формулу, отчеканенную поэтом-лауреатом), голос его так дрожал — дрожал, решаюсь сказать, по-детски,— что в тот момент, не располагавший к сентиментальности, мне вдруг, представьте, стало его жаль. Не буду врать, ненадолго, ибо и его, как говорится, общественное лицо и роль в погроме «Нового мира» никуда не уходили из моей бодрствующей памяти, но в краткую эту минуту мне четко предстала крохотная, надежно укрытая, может, только на миг обнажившаяся ахиллесова пяточка той могущественной силы, которая, как я подумал, сама не вполне подозревает, насколько она могущественна.

В самом-то деле: расправились наконец с ненавистным журналом, свалили Твардовского (прочно свалили, уходили до полусмерти, а как умрет, и вовсе будет можно безбоязненно клясться его именем, с мародерской слезой цитировать первого «Теркина», даже врать о былой дружбе с его создателем), в общем, самое время вальяжно раскинуться, но вот выходит какой-то мальчишка, мелет какую-то чепуху, и зал гогочет, готовно и непочтительно...

Пустячок, но все же обидно. До дрожи в начальственном голосе.

Еще не так давно я где-то писал, что в пору с неудачным названием «застой», да и раньше, в робкую нашу оттепель, положение литературного критика было жалким. Он не только не мог безоговорочно, безоглядно, безреверансно, до донышка выложить, что думает — нет, не о персональных оплошностях, это подчас удавалось, а об общей содержательной сути «бойцов идеологического фронта», которых наивный Никита Сергеевич (искренне полагая, что произносит слова одобрения) нарек «автоматчиками». И позорная кличка — прижилась, подхватилась, повторяясь с сознанием лестности... Хуже того. Хвалить достойных — и на это были ограничения, правда, уже самодеятельные. Имея профессиональную обязанность раскрывать, развивать мысли, заложенные в подтекст романа или стихотворения, критик не мог позволить себе даже попросту сказать, всего лишь воспроизвести, что он вычитал у Домбровского, Быкова, Искандера: ляпнешь и подведешь художника. Направишь на него гнев официоза, который на этот раз оказался сплошно слеп или счел за лучшее притвориться слепым; обратишься в нечаянного доносчика.

Единственно, что мы могли — относительно, ограниченно, до поры (для многих именно до той поры, как было покончено с «Новым миром» и положен предел журнальному противостоянию) — говорить о качестве. О профессионализме — и об отсутствии оного. Радоваться таланту и мастерству, смеяться над неумехой.

Мало? Еще бы не мало. Но нынче — быть может, и под влиянием теперешней раскрепощенности литераторов, в том числе и от прямых профессиональных задач,— думаю: если уж выбирать между крайностями и малостями, выбираю те, а не эти. Не только потому, что упор на качество, на мастерство, на соответствие (чаще — несоответствие) избранной профессии бил по больному месту всего «агрессивно-послушного большинства», если выражаться по-нынешнему, и его сановитых лидеров. Место было не просто уязвимо больным, но — как бы знаком родовой принадлежности, соборной метой. Ибо именно эти свойства (или лучше сказать: антисвойства?): творческая маломощность, отлученность от ремесла, нелады с дарованием и культурой, все, существующее со знаком минус, имеющее в перспективе развития абсолютный нуль, воплощенное *ничто*, превращалось в *нечто*, объединяющее в группу, в стаю, в толпу — прочнее любой идеи, любого лозунга, любой цели.

Пьер Безухов сетовал и надеялся, выражая, что несомненно, и толстовские чувства — если не в отношении надежды, то в отношении сетования: «Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто».

Не просто, увы, и простодушно-прекрасная эта мысль, наверное, утопичнее всех толстовских утопий. Потому что тем, кто не обременен избытком совестливости и альтруизма, куда способнее сбиваться

в кучу. Не по взаимной любви, напротив: они могут ненавидеть один другого — и ненавидят, могут завидовать наибольшему преуспеванию заединщика, каковой (уж кто-кто, а сосед-заединщик про это знает) ничуть не лучше его, не богаче душой, не даровитей; все равно их интерес корыстнее, значит, определенней, общепонятней, единообразней. А те, что иной породы, что озабочены отысканьем путей ко всеобщему, видите ли, прозрению или благодействию,— этим не надо искать поводов для спора и для раздора. То, что у всякого этот путь вымечтан наособицу, не совпадает с мечтой и идеей другого,— чем не повод?

Печально, но так, постоянными свидетелями чего и являемся.

Совесть взыскательна и капризна, чутка на обиды себе и другим; бессовестность, хоть злопамятна, но толстокожа. Талант индивидуален, следовательно, не годен для ранжира; бездарность только ранжиром и держится. Культура — разнообразие; бескультурье — на одно лицо, плоское, как стена.

А профессионализм?

Это понятие, казалось бы, бесконечно удаленное от категорий нравственности и даже не всегда совпадающее с талантом (умелец способен преодолеть отсутствие природного таланта, за что ему только хвала, и тем более отчего бы ему не оказаться негодяем?), в сфере искусства обнаруживает родство — не говорю уж: с талантом, с культурой, но и с совестью. Потому что профессионал — это тот, кто не сможет, не признает за собой права — совесть-то и не позволит — творить ниже достигнутого им уровня нравственности и мастерства; он всегда самолюбиво стремится к «успеху у самого себя» (прекрасная формула Станиславского). Кстати, по той же самой причине профессионал и столь, как ни странно, незащищен, даже хрупок: он беспартиен, вернее сказать, вне-, надпартиен, тут счет ведется на единицы, на индивидуальности (мастер — неповторим), а отсутствие профессионализма, или, что тоже бывает, добровольный отказ от него, напротив, сбивают в партию, в союз — с неписаной, однако четкой программой. И этот Союз непрофессионалов, повторю, на диво дисциплинирован. Даже при своей разноликости, разностепенности, при различии способов, которыми достигается объединяющий союзников непрофессионализм... Стоп! Непрофессионализм — и вдруг достигается? Что же, он не изначальная неумелость, не природная неспособность, а как бы итог? Да, бывает и так. Случается, что непрофессионализм оказывается результатом, которого не то чтобы добиваются специально, но на который решаются и соглашаются.

Скажу банальность: люди рано начинают жить воспоминаниями. Но ежели донжуан перебирает в чувственной памяти покоренных женщин, строитель — сооруженные им дома либо мосты, у актеров и литераторов счет иной. Отрицательный. Первые считают несыгранные роли, вторые — то, что хотелось, однако не удалось написать или напечатать. Горестный счет, но в нем и приятность, тешащая самолюбие: ведь совершенно беспроигрышно воображать, как бы ты был прекрасен в несостоявшейся роли и как бы приняли твое сочинение, когда б ты его написал (или же, повторю, напечатал).

В этом смысле я не смертельно рискую, собравшись припомнить то, что писал больше двадцати лет назад — аж в 1968-м!

Было так: по договоренности с тем «Новым миром», даже по их просьбе я прочел тогдашнюю серию «Библиотеки „Огонька“» — в той ее части, где были представлены критики, прошедшие софроновский отбор. (То, что отбор никак не профессиональный, становилось ясно, едва ты раскрывал книгу. Уже аннотации сообщали, к примеру: «Был зам. главного редактора в газете „Литература и жизнь“ и журнале „Октябрь“» ...«Сейчас работает в журнале „Октябрь“»... «С 1962 года по настоящее время работает в журнале „Октябрь“»). Читая, я поражался, порой веселился; прочитав, написал статью, которую послали в набор и не раз ставили в номер — ставили и снимали (за что не таю обиды: травля журнала достигла высот предельного визга, а статья обижала разом ряд небезобидных особ), наконец, поставили твердо... Как раз на тот номер, начиная с которого Твардовский, как выяснилось внезапно, вдруг, перестал быть редактором.

Дальнейшее (говорю о своей статье) представимо. Правда, сменивший Твардовского В. А. Косолапов, человек до мозга костей аппаратный, но, в отличие от себе подобных, сохранявший память о чувстве достоинства и о приличиях, статью отпускать не захотел. Даже согласился со мной, что ее, коли уж она задержалась, следует освежить, что я и сделал, добавив кусок о нововыскочившей в свет и весьма курьезной книжечке Ланщикова. Хотел написать и о книжке Барабаша... «А почему бы и нет?!» — лихо вскричал Косолапов, но вскоре увял, сообразивши чиновное положение этого холодноглазого гонителя «маленьких правд» во имя — ну, разумеется — «чистого золота правды». Право определять высоту пробы «автоматчики» взяли себе без боя и считали своей привилегией — как и все остальные права...

Короче, свободолюбивого запала у редактора хватило не очень надолго, наоборот, он вдруг выступил перед редколле-

гией с обличительной речью: вот во что нас хотели втянуть, вот какую клеветническую статью некто (кто?) собирался печатать... В общем, статья не пошла, и сегодня я собрался вспомнить ее — не пугайтесь, частично, в отрывках — не из тщеславия. Тщеславиться-то и нечем, ибо, как самонадеянно полагаю, за двадцать лет с лишком я чему-то да научился, став писать получше, хотя и править себя задним числом не стану, преодолев понятный соблазн.

Просто мне показалось (и вдруг — не ошибочно?), что в статье оказался запечатлен отрезок того процесса, что нынче дал впечатляющий результат; она застигла нв полном ходу, в состоянии неустанной работы тот механизм, что и сотворил наконец нвление, которому я дал рабочее, черновое наименование — «Союз непрофессионалов». Вот и прошу относиться к давней статье не то чтоб со снисхождением — нет, просто сообразуясь с особым критерием: как к старой любительской фотографии, случайно запечатлевшей нечто прелюбопытное; за последнее — отвечаю.

Итак, обращаюсь к цитате,— а речь о брошюре Юрия Идашкина «Давайте поспорим...», вышедшей в 1967-м и взявшейся, как нам было обещано, отделить подлинную сложность искусства от формалистической усложненности. Задача почтенная, к решению коей так и тянуло бы присоединиться,— но, писал я...

«Но, к сожалению, Ю. Идашкин нам этой возможности не дает.

Разбирается рассказ В. Аксенова „Победа“ — далеко, кстати, не самый сложный образец современной литературы. Да и нисколько не усложненный: шахматный проигрыш гроссмейстера случайному дорожному спутнику Г. О.— это пасующая перед наступательным хамством интеллигентская мягкотелость. Чувства автора также сомнения не вызывают: хамство он, естественно, ненавидит, а уступчивость его тревожит и сердит.

Впрочем, попробуем даже поверить, будто рассказ усложнен (как это ни трудно). Так или иначе, важнее другое: чего хочет от писателя Ю. Идашкин, какие условия ему ставит.

И — все проясняется:

„Можно полагать, что его (гроссмейстера) проигрыш есть поражение трусливого, апатичного, уже успевшего устать от жизни молодого хлюпика в борьбе с антиподом — смелым, решительным, энергичным человеком, капитуляция в борьбе, где формальная разница в чисто профессиональных умениях и навыках...“»

Ох!.. Это я охаю, не сдержавшись, из нашего с вами 1991 года. Обратите, обратите внимание, как здесь трактуется само понятие профессионального умения, и, обративши, читайте (коли читается) дальше — и откровения Ю. Идашкина, и мой молодой комментарий:

«„...Где формальная разница в чисто профессиональных навыках и умениях, как это нередко бывает в спорте, нивелируется волей к победе и целеустремленностью. Можно полагать, что Г. О. окажется антиподом гроссмейстера и победа Г. О. будет победой начал жизни над крайне несимпатичными для нас, даже в чем-то омерзительными философско-этическими началами, олицетворенными в образе гроссмейстера“.

Чтобы постичь Ю. Идашкина, придется учесть странности его мышления. В данном случае — твердую уверенность, что между умением и неумением играть в шахматы для шахматиста всего лишь „формальная разница“.

Это как у Николая Глазкова: „Боксер побил шахматиста: ударил и сбил его с ног“. Только в ситуации, из которой поэт извлек юмор, Ю. Идашкин, вероятно, увидал бы „победу начал жизни“. И написал бы в своем неряшливо-наукообразном стиле: „Боксер нивелировал целеустремленностью и волей к победе формальную разницу в чисто профессиональных умениях и навыках“.

Глввное, что теперь нам ясны условия, на которых Ю. Идашкин, пожалуй, согласился бы принять и аксеновский рассказ: если бы автор не вышел — ни-ни! — за пределы известной схемы, согласно которой побеждать — хотя бы и в шахматной партии — может лишь герой положительный. Проиграл, стало быть, хлюпик.

Ну, а сам положительный — каков он? Тоже все ясно и определенно. Вот все его качества, скрупулезно перечисленные критиком: энергия, воля к победе, целеустремленность — то, что в полной мере присуще хаму Г. О., что может быть присуще вору, бандиту, фашисту, кому угодно... Даже должно быть присуще, если они намерены достичь своих целей — воровской, бандитской, фашистской.

„Человек,— программно заявит Ю. Идашкин,— ...стремится к упрощениям, справедливо исходя из реальных возможностей своих органов чувств“. И будет верен своей программе. Скажем, стремление нашей литературы к тому, чтобы сложность века поверить простыми и несомненными ценностями,— это реальное стремление будет проиллюстрировано строчками из стихотворения В. Сидорова. И мы узнаем, что на самом-то деле сложность не нужно ни поверять, ни преодолевать. От нее нужно — бежать:

Хочу бежать от сложвости вещей.
Она, признаться, всем вам надоела.
Хочу приняться за простое дело,
Хочу сомненья вытолкать взашей...

Да. „Простое дело“ и „сложность вещей“ для В. Сидорова просто несовместимы. Он, как и тот „человек“, к чьим органам чувств адресуется Ю. Идашкин, „стремится к упрощениям“ самым надежным путем — убегая от сложности...

Совершенно естественно и логично, что Ю. Идашкин, ища поддержки своим упрощениям, обратился не к большой, не к настоящей литературе; его союзником, уж конечно, должен был оказаться представитель литературы эпигонской, удешевляющей идеи серьезного искусства своим стремлением быть от него неотличимой. Вообще приводимые им — в подтверждение собственных суждений — цитаты таковы, что рука судорожно ищет по столу карандаш, чтобы выправить стилистические и синтаксические нерящливости.

Оказывается, „очень точно“ выражается Феликс Чуев:

И коль над горем он заплачет,
то ве над собственным — таков! —
и коли б все было иначе,
то просто б не было стихов.

Да и Владимир Туркин пишет „точно и образно“:

Ов может — этот стиль — родиться
Лишь при условии, пока
И на комбайн и на пшеницу
Еще глядишь издалека.

Немыслимая чуевская фонетика: „колибвсе“ (да и следующий за этим нагромождением звуков глагол „было“, если не ошибаюсь, приходится произносить с ударением на втором слоге?) или канцеляризмы Туркина если и не воплощают, быть может, эстетического идеала Ю. Идашкина, то, как видим, вполне ему соответствуют.

Итак: писатель-эпигон (это в лучшем случае, в худшем — попросту неумёха), критик-упрощенец и моделированный им читатель, упорный приверженец шаблона,— вот неразрывный альянс, представленный Ю. Идашкиным.

В его книге дан образчик интеллектуального спора, как сказано, „крайне любопытного“. Сталкиваются в нем двое. Первый защищает „незыблемые традиции реалистического искусства“, второй нападает на них с позиций „современных формалистов и новоявленных ничевоков“. Первый дает второму, по мнению автора, „блестящую отповедь“. Но у спорщиков, один из которых, не забудем, блестящ, а оба — любопытны, есть и нечто неотличимо общее: на редкость низкий уровень подготовки к спору, элементарная неосведомленность. Даже — неграмотность.

Они стоят друг друга. Если один скажет трюизм, а то и глупость, второй в долгу не останется. Ничевок брякнет: „реализм девятнадцатого века, по сути, есть бегство от новой реальности“, а реалист откроет, что „джаз — это глубоко национальная ритуальная музыка первобытных негритянских племен...“. Ничевок: „Тех, кто сегодня работает для будущего, поймут через сто лет...“. Зато реалист: „А мне казалось, что великих людей, за редчайшим исключением, всегда (!) понимали современники“. Вот так: „всегда“. Значит, Ван Гог, Рембрандт, Бизе, Спиноза, Галилей, Грибоедов, Лермонтов, Радищев, Баратынский, Пиросмани, Блейк... десятки и десятки великих людей, переживавших так или иначе трагедию непонимания,— редчайшие, почти несущественные исключения?

Так и ведется спор — в самом деле, по-своему любопытный, хотя и нельзя сказать, чтобы крайне. Невежество куда более распространено, чем хотелось бы, Самомнение, его надежная опора,— тоже.

Представим себе, что новонвленный ничевок проявил бы в этой перепалке хотя бы элементарную начитанность, а то и, не дай Бог, способность размышлять. Насколько трудней пришлось бы выразителю авторской позиции — да и самому автору! Тогда Ю. Идашкин не мог бы, к примеру, свести философию Эпикура, которого Маркс и Энгельс назвали в „Немецкой идеологии“ „подлинным радикальным просветителем древности“, к „комфортабельному ничегонеделанию“ и „удовлетворению плотских потребностей“ (и то и другое, согласитесь, мало похоже на просветительство).

В чем тут дело, догадаться нетрудно: в быту ведь и бабника с выпивохой могут уклончиво назвать эпикурейцами, но уж тут все зависит от того, кого берешь в собеседники, какую предпочитаешь компанию. Идашкин выбрал читателя до очевидности оглупленного (все же не хочется говорить „глупого“). Апелляция к нему, к такому, и есть идашкинский способ критического существования. Способ, избранный, „справедливо исходя из реальных возможностей“.

Чего-чего, но этого я никак не сказал бы о Дмитрии Старикове...»

Однако тут мой старый сюжет делает поворот — без преувеличения драматический.

Случай с Идашкиным — кристально чист. Не исключаю, что именно слабая подготовленность к литературной работе бросила его в объятия Кочетова, сделала правой — или уж там, не знаю, может, и левой — рукой, заставила принимать сверхактивное участие во многих из скверных кампаний, в травлях; кто захочет, может принять это мое размышление как своего рода индульгенцию. Да и сам Идашкин сегодня, едва успев отвосторгаться чудовищной бондаревской «Игрой» и еще не выйдя из атмосферы скандала, зафиксированного «Искусством кино» (имею в виду историю с документальным фильмом о том же Кочетове, режиссер которого, вопреки сценаристу

Идашкину, пытался создать нечто близкое к объективности, но сценарист принудил его воротиться к жанру лживого панегирика), делает вид, что прошлого, даже недавнего, не существует.

Возможно, и тут причина в наивности? Выброшенный неблагодарным Бондаревым и его командой из еженедельника «Литературная Россия» за неисполнение — или, точней, за недовыполнение — прямых указаиий, за колебание в сторону «перестройщиков», не воспринял ли Юрий Идашкин свое изгнание слишком всерьез, как подобие искупления и диссидентства?

Для чего я об этом говорю? Уж разумеется, не ради мелкого удовольствия кого-то ставить на место, не с тем, чтобы сводить счеты, давние, да хоть и недавние, именно и конкретно с Идашкиным. Вообще дело не в мстительности, тем более что нам не только негоже, но и не нужно, незачем присваивать себе функции неких праведных мстителей: что мы, самонадеянные имяреки, можем добавить к возмездию, воплощением которого является сама человеческая память?

Речь не о том. Речь как раз о памяти, которая бывает слишком короткой, будь она чьей бы то ни было личной или общественной, общей. В первом случае все очень просто, забывчивость — это попытка уверить себя и других, что «ничего такого не было», ну, а если и было, то по причине добросовестных заблуждений; во втором краткость совершенно напрасно притворяется снисходительностью и добротой. На самом деле она — бедственное равнодушие общества, его склероз, позволяющий многократным перевертышам не только существовать с чувством собственного достоинства, но и держать всегда наготове свои далеко не исчерпанные ресурсы. Во всяком случае, имея возможность отнюдь не гарантировать, что «волшебных изменений милого лица» больше не будет с поворотом политической ситуации, ибо такая гарантия и состоит в продолжительной памяти, в незасыпающей совести...

Возвращаюсь к предмету моего разговора, подвернувшемуся полуслучайно, но весьма репрезентативному: ведь и тут — сладчайшее самозабвение, не допускающее мысли, что множественность и последовательность нарушений профессионального долга, в том числе и агрессии против честных талантов, имевшей вполне разрушительные результаты,— все это предполагает, по крайней-то мере, не менее долгий и последовательный процесс «отмывания». И когда, например, все тот же Идашкин выступает в позе Петрония Арбитра, больше того, в роли нравственного судьи в моем споре с Владимиром Максимовым, то я, относящийся к этому писателю, как говорится, неоднозначно (для ясности: для меня одно дело «Семь дней творения», другое — «Карантин» и тем паче «Сага о носорогах», одно — собирательская роль «Континента», другое — его «колонка редактора», не чуждая кочетовско-кожевниковской традиции),— словом, и полагаю, что даже в самых своих — для меня — сомнительных проявлениях Максимов не заслужил такого защитника.

Роль, поза — они-то, учитывая многое из вышесказанного, сегодня скорей безобидны, то есть преимущественно забавны; сама проблема, однако, и не забавна и не безобидна. Тема подобных — нравственно безболезненных — превращений, беспечность которых может быть такова, что вот уж Сергей Михалков с Феликсом Кузнецовым, не покраснев, цитируют Солженицына, взывают к его авторитету, эта тема вообще из тех, к каким стоит особо вернуться. Но пока меня занимает другая фигура, другое превращение.

Дмитрий Стариков — критик ныне забытый, притом как-то стремительно-неблагодарно со стороны тех, кому он служил; впрочем, возможно, что удивляться не стоит. Им он, мертвый, оказался больше не нужен, а его несомненная одаренность и незаурядный ум, обладавшие правом остаться в памяти тех, кто склонен это ценить, были воплощены, так сказать, с отрицательным знаком.

Хуже — развоплощены, нагляднейшим образцом, прямо-таки учебным стендом чего была и огоньковская книжечка Старикова «Свеча на ветру»; о ней я тоже писал в стародавней статье, как раз сопоставляя с идашкинской. Сопоставление было контрастным — включая контраст стилистический.

Снова цитирую:

«Ю. Идашкин из всех средств украшения речи может выбрвть только наукообразие: „...Разве даже такая чисто чувственная область, как любовь, не являет нам повседневные примеры постоянной интеллектуальной коррекции? Разве не вырождаются в простое и недолговечное сожительство взаимоотношения мужчины и женщины, связанных лишь физическим влечением, если они не ценят или отрицательно оценивают нравственные и интеллектуальные качества друг друга?..“

Да рядом с этим слова героини володинской „Фабричной девчонки“: „Любовь — это физическое влечение при единстве культурных и общественных интересов“ покажутся самим изяществом...

Д. Стариков никогда не напишет: „Такая чисто чувственная область, как любовь...“ В его статьях ощущается забота о характерности и живописности стиля.

Но живописность такова: „В этом „курсе вечности“ имена и названия далекой древности, причудливо сплетаясь с географическими и этнографическими приметами Ближнего Востока... и, наконец, вливаясь в пиршественную щедрость прекрасной Алазанской долины, сами по себе значат не более чем отдельные беспорядочно взятые музыкальные ноты“. Или: „...Малая песчинка в вихре тысячелетий истории человечества, подобная тем песчинкам современных пустынь, чей жалобный скрежет — точно голос былой жизни“.

Тут вспоминается Пушкин, его слова „об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами... Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр.“

Требуя „точности и краткости“, Пушкин требовал „мыслей и мыслей“. Но, быть может, у Д. Старикова иначе? Нет краткости, зато есть точность и мысль?

Посмотрим...»

И т. д. и т. п. Доказательства, что и с этим дела обстоят не лучше, чем с краткостью, теперь потеряли смысл. Да и сам сдержанно-ядовитый тон участника былой литературной полемики обрел, пожалуй, нечаянно элегические интонации — в силу драматической необратимости того, что убито в себе, опошлено, утрачено.

Помню, когда я узнал о ранней смерти Дмитрия Старикова, у меня вырвалось: «Господи, и стоило ради этого жертвовать тем, чем он жертвовал!..» Разумелось, понятно: ради видимых благ, ради карьерной удачи, чем всегда оплачивалось отступничество — в частности, от себя, от своего дарования,— хотя мой возглас был нельзя сказать, чтобы очень логичен. А если бы это случилось много позже, если б на долю выпал Мафусаилов век, тогда что, стоило бы?

В повести Астафьева «Зрячий посох» приведены слова Александра Фадеева, сказанные о Владимире Ермилове, человеке, которого литературный генсек презирал, видя, однако, и в нем с готовностью испохабленное дарование: «...Я всегда говорил: у него один тяжелый недостаток — он не верит в загробную жизнь!»

Парадоксально лишь то, что это прозвучало из уст завзятого безбожника (который, впрочем, в собственный смертный час осознал неметафорический ужас своих, казалось, полушутливых слов), вообще же это мысль, возникающая постоянно, ибо необходимая. По воспоминаниям Наталии Ильиной, опубликованным «Октябрем», Твардовский говорил ей вскоре после исключения из СП Солженицына: «Я сказал Федину, жестко сказал: „Помирать будем!“»

Словом, «мы умираем, а искусство остается» (Блок) — с тем прибавлением, что вместе с искусством остаются в бессмертии и те, кто не давал ему жить, не сознавая бессмысленности своих палаческих усилий (а может, порою и сознавая — и оттого удесятеряя усилия, чтоб хоть отсрочить свое постыдное бессмертие): древние Красовский и Бируков, Бенкендорф и Булгарин, недавние и нынешние Суслов и Кожевников, Марков и Сартаков, хоронившие великий роман Гроссмана. Вообще — «загробная жизнь» подчас готовит сюрпризы, не меньшие, хоть и с обратным знаком, чем те, что Воланд пообещал Мастеру и его роману.

До небес возвышая повесть Леонида Леонова «Evgenia Ivanovna» (я полагаю: посредственную, но был бы рад ошибиться), Стариков, со своим, еще не вовсе убитым чутьем, ищет для убедительности какой-нибудь непочтенный контраст. И находит — но какой!..

Возвращаюсь к статье, где я, вслед за критиком-панегиристом, цитировал финал леоновской повести, в котором эмигрантка Евгения Ивановна и ее муж-англичанин Пикеринг уезжают из Алазанской долины, с уже закончившегося осеннего храмового праздника: «Сквозь мутное овальное окно за спиной видно было, как среди поля разгорался покинутый костер. Ветер вычесывал из него пригоршни искр, они неслись вдогонку...»

А процитировав, продолжал:

«Д. Стариков, вполне сознавая, что „костер вовсе не был символическим — гости жарили на нем шашлык“, все же пишет: „Но позволю себе, подводя основной итог, воспользоваться этим образом“. И позволяет. Образ истолковывается символически: „Все более жарким пламенем, способным обогреть товарища и испепелить врага, разгорается покинутый Евгенией Ивановной костер людских сердец, неотрывно связанных с судьбой всего революционного народа...“

Звучит торжественно. В одном беда: это насильственное переосмысление леоновской прозы, оно не только разрушает ее ткань, но и рождает массу весьма неприятных двусмысленностей, за которые Леонов отвечать не может.

„Все более жарким пламенем“ разгорается костер? Но костер-то, как пишет Леонов, „прощальный“, почти все поразъехались с праздника „Как опустела за один тот час алазанская местность“, и разгорается он напоследок, ибо ветер силен, а о хворосте уже не заботятся.

„Покинутый Евгенией Ивановной...“? Но у Леонова просто сказано: „покинутый костер“, он, повторю, прощальный, утренний.

Костер революционных сердец? „Способный обогреть товарища и испепелить врага“? Но поддерживает огонь и заодно

греется у него не кто иной, как Стратонов, революции явно враждебный... Ну, никак не укладывается проза Леонова в стариковскую прозу. Как говорил Маяковский, „нажал и сломал“.

Зачем же понадобилось — ломать? Откуда вообще эта жажда соавторства? А вот!

Свое толкование повести Д. Стариков противопоставляет своему же толкованию стихотворения Пастернака „Зимняя ночь“. И вновь с одержимостью упростителя извлекает символ, только символ, ничего кроме символа:

„Настойчиво, словно заговор, словно заклятье, повторял поэт: „Свеча горела на столе, свеча горела“,— будто стремясь заворожить всесветную метель, бьющуюся в стены отшельнического дома; будто поверив, что колдовской силой певучего слова можно остановить неуловимый ход времен...“

Обвинение — старое, да и обращение с текстом нелюбимого поэта уже знакомо нам по тому, как Д. Стариков обошелся с чтимым прозаиком. Даром, что стихи Пастернака — о любви, о женщине, о свиданиях с нею. И свеча — не убогий символ отшельничества, а свидетельница страсти, она откровенно, даже нескромно освещает влюбленных:

И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал...

Пуще того:

Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

Вообще — если свидание при свече так криминально в общественном отношении, что может предложить Д. Стариков: свидание у костра? Почти так. Художественная многосмысленность и Леонова и Пастернака превращена в однозначность затем, чтобы подогнать их к чужому изречению: „История сокрывает малое и возвеличивает истинно большое, как ветер тушит свечу и раздувает пламя костра“.

Изречение-то прекрасное — и тем меньше оно подходит для роли прокрустова ложа. Ведь таким же манером, выхватывая частности и минуя смысл вещей, нетрудно противопоставить — ну, например, „Мой костер в тумане светит“ Полонского и пушкинское „Близ ложа моего печальная свеча...“ И написать: в то время, как костер мужественно светит, разгораясь все жарче и жарче в тумане самодержавия, а искры гаснут на лету, жертвуя собою в борьбе,— Пушкин отшельнически воспевает свою печальную (пессимистическую!) свечу, одиноко предаваясь эротическим мечтаниям: „Во тьме твои глаза блистают предо мною“...

В таком роде. И этот квазианализ не дальше от Пушкина и Полонского, чем анализ Д. Старикова от Леонова и Пастернака, может, еще и ближе: пушкинское стихотворение даже скорей, чем „Зимняя ночь“, может быть названо отшельническим — тут поэт один, а там он все-таки с дамой...

Когда Бог хочет кого-нибудь наказать, он лишает его... Разума, говорил гоголевский городничий. Не спорю, но, может быть, еще прежде — чувства юмора. Или чувства реальности, что, в общем, почти одно и то же.

Куда могло привести то, что Дмитрий Стариков сотворил со своими способностями, дарованными природой? А туда, куда не привести не могло. Для демонстрации абсолютной утраты критериев мог подвернуться уже решительно кто угодно, все равно кто. Подвернулся — Егор Исаев:

„...Трудно разделить поэму Егора Исаева „Суд памяти“ на строки большей или меньшей удачности,— такого мнения Д. Стариков,— она написана как бы на одном дыхании...“

И еще: „Особая (подчеркнуто мною — Ст. Р.) сила и ценность „Суда памяти“ — в той необычайно яркой поэтико-философской образности, какой исполнена вся поэма... Изумительно прост и содержателен уже сам исходный образ... „Крупный план“, детализация у Е. Исаева до предела — и очень органично — насыщается обобщенным содержанием, укрупняется на наших глазах до символа, многогранного и емкого, подчас поражающе неожиданного... Совмещением широких, вселенских ассоциаций с единичной человеческой судьбой поэма „Суд памяти“ напоминает Довженко; поэт смело берет самые „высокие“ ноты, поднимаясь до романтического пафоса, даже до фантастических символов, и ни одна строка поэмы не оставляет впечатления выспренности, искусственности, фальши — все по-земному сказочно и все правда...“

Смело скажу: даже Лев Толстой, о драме которого „Живой труп“ идет речь в той же статье, что и о „Суде памяти“, не удостоивается у Д. Старикова высших похвал. Да выше и некуда: как видим, достоинства поэмы дошли „до предела“, все в ней „самое“, „особое“, „необычайное“, „изумительное“...

Нагнетание комплиментов напоминает, по словам Ильфа и Петрова, рукопись Франца Листа, „где на первой странице указано „играть быстро“, на второй — „очень быстро“, на третьей — „гораздо быстрее“, на четвертой — „быстро как только возможно“ и все-таки на пятой — „еще быстрее“. И читатель Д. Старикова должен решить, что в нашей поэзии появилось произведение эпохальное, отмеченное не меньше как гениальностью,

Как знать, возможно бы, и решил, если бы не цитаты, собирающиеся подтвердить такую оценку. А они таковы:

Ты б видел их глаза —
Смотреть нельзя
И не смотреть нельзя.
Так только неотмстившие глядят.
Я говорил, что Гитлер виноват,
Что я солдат,
Что жечь я не хотел,
Но перед ними Гитлер не сидел,
А я сидел!

Или:

А наяву
Одно тревожит — старость.
А наяву, как по часам,
Что надо,
То исполнит.
Он не такой, чтоб верить снам.
Он не такой, чтоб помнить»...

Все, с цитацией старой статьи покончено, хватит, а остыть от нее пока не могу. «Но перед ними Гитлер не сидел...». Господи Боже мой! Разве это не элементарнейшая обязанность критика (коли уж прохлопал редактор) — сказать стихотворцу, что по-русски надо бы выразиться: мол, перед ними сидел не Гитлер, а я? «Гитлер не сидел» — это ведь далеко, далеко не то же самое! Заодно уж стоило бы отметить, что, скажем, строки той же поэмы: «Тогда на все ему плевать. Да-да, на все плевать! Он будет пули отливать, как все, и есть и спать», во-первых, косноязычны. Во-вторых, дергаются в необъяснимо плясовом ритме. А в третьих опять же в непримиримых отношениях с родным языком. Как известно, сочетание «отливать пули» в нем имеет не только прямое значение, и оттого строчка звучит негаданно пародийно в поэме, герой которой, немец-солдат, заклеймен за свою затею — собирать отстрелянный свинец на бывшем учебном стрельбище (кстати сказать, вправду ли эта затея ужасна рядом, положим, с промыслом тех, кто рыщет по рвам, отыскивая средь останков расстрелянных — фашистами или НКВД — кусочки золота?)...

Пафос, увы, как ничто иное, способен выдавать фальшивость замысла и поддельность чувства, и когда все там же автор грозно вопрошает: «Вы думаете, павшие молчат?», сам же поторапливаясь с ответом: «Конечно — да — вы скажете. Неверно!», торопливость его объяснима. Ибо — сыщите-ка мне дурака, который не расслышит в этой риторике патетического подвоха и спроста сунется со своим «да». Еще и — «конечно».

Феномен Егора Исаева (скромнее выразиться не хочу), даже и по количеству стихотворных строк сочинившего всего ничего, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, куратора всей отечественной поэзии и т. д. и т. п.,— вот, быть может, самый коварный сюрприз, подстерегший «загробную жизнь» или, прозаически выражаясь, репутацию критика. Живой памятник его неразборчивости. Не только конкретной, данной: признаюсь, уже в пору стариковских восторгов, при всей их сверхординарности, я с изумлением наблюдал за неким, как мне казалось, групповым помешательством, за каким-то обрядом возведения в сан большого искусства того, что плохо, неряшливо, неумело — до очевидности, подчас до непечатности. Того, что и в нашей обширной словесности, пораженной грибком непрофессионализма, есть явление нерядовое. Поистине — выдающееся.

Наблюдая, я пытался объяснить очередной приступ восторженного безумия всякий раз какой-нибудь частной причиной. «Дорогой Егор! Ты написал...» (и далее все, что можно вообразить и на что воображения не хватает),— восклицал, к примеру, в «открытом письме» Игорь Шкляревский; эге, подмигивал я сам себе, не зря я примечал за ним склонность к сервилизму. Безоговорочно восторгался Сергей Наровчатов, озадачивая тех, кто знал его как высокоодаренного стихотворца и человека серьезной культуры; что ж, приходилось напоминать себе о его карьерно-идеологическом повороте, располагающем к тактическим компромиссам. Ликовал Станислав Лесневский, ревнитель Блока, и... словом, и тут я искал какое-то объяснение, пока не махнул рукой. Пока не решил, что это — всеобщая, общественная беда, поделом ниспосланный нам потоп, в котором сгинут даже последние следы былой Атлантиды, преданной нами культуры; взбаламученная стихия, где тот же Исаев со своими неудобочитаемыми поэмами, вознесенный на гребень волны, все же не больше и не важней, чем случайно подвернувшееся суденышко (если уж развивать метафору). Просто его истерическое величание — это логически достигнутая крайность, предел абсурда, нечаянно, но и закономерно восторжествовавший фарс.

Многолетнее пренебрежение законами и обязанностями литературно-критической профессии, нарушение всех возможных критериев, подстановки и подтасовки, тактические уступки и беспардоннейшее вранье — все это, не встречая противодействия или не смущаясь при виде его, не могло не преобразиться в норму. В норму существования и выживания, видимых — не без основания — в том, чтоб затеряться среди большинства; в спасительную обезличку, где уже не имеют никакого значения — ибо не востребуются — ни уровень культуры, ни вкус, вообще ничто индивидуальное (судьба Дмитрия Старикова — часть и частность такой обезлички). «Смешались в кучу кони, люди...» Произошел взрыв на Ное-

вом ковчеге, так что не разобрать, где был чистый, а где нечистый. Все — одно.

Эстетическая безграмотность, будь она изначальна или же приобретена на тернистом пути деградации, была пропуском в клан пригретых официозом, членским взносом в Союз непрофессионалов. Да и не только эстетическая — просто безграмотность: взнос из самых внушительных.

В той статье я потешался над книжкой члена редколлегии софроновского «Огонька» Нины Толченовой, не умевшей писать иначе как: «...Роль набирает... все новые и новые драматические глубины... Решив познать себя вместе с Малым театром и Малый театр вместе с собой... „Прямое попадание" в образ, словно в мишень,— заветная мечта каждого театрального коллектива».

Или: «Словно на палитре оживает образ времени...» Страшно подумать, веселился я, что было бы с критикессой, сообрази она, что этой фразой ненароком восславила даже не ненавистных абстракционистов, но хуже того, шарлатанов, выдающих за произведения искусства свои нерасмазанные палитры. И при всей зловещести роли, которую долго играли статьи позабытой погромщицы, было в этом как бы и нечто умилительное (ну, не умеет — что с ней поделаешь!) и уж тем паче юмористическое. Но когда Александр Дымшиц, профессор и доктор, или Корнелий Зелинский, человек со скверной нравственной репутацией, слывший, однако, редкостным эрудитом, оба комически перевирали цитаты, путали Минаева с Мятлевым, Асеева с Маяковским, писателя российской старины Пересветова с иноком Пересветом — и т. д. и т. п., тут уж было над чем призадуматься. Тут подавал голос инстинкт стадности, железный закон большинства, требующего — ревнивей, чем хлеба и зрелищ: будь, как мы! Не высовывайся!

Сознательно или бессознательно (а скорей всего так: сначала — осознанное отступничество, потом — безвольная вовлеченность в общий маразм, происходящая без усилий сознания и оттого не мешающая самоуважению), но два ученых мужа делали в точности то, чего хотела тоталитарная власть, которая дорожит неумехами, неучами, непрофессионалами, даже если сама себе в этом не признается, и побаивается мастеров, «спецов». Как иначе? Мастер — неблагодарен, он независим, по крайней мере имеет шанс стать таковым, он знает себе цену, знает, что она объективна, «рыночна», а не произвольно определена начальством.

Профессионализм как то, что единственно дает художнику право на заслуженное и необходимое самоуважение (ибо, в отличие от таланта, от Божьей искры, гордиться которой — кощунство, он достигается самолично); профессионализм как ответственность перед собою и перед людьми,— он не только не нужен властям, он опасен как почва для недовольства ими, тем более, что они-то у нас неисправимо непрофессиональны. Были такими и такими покуда являются, продолжая враждебно чуждаться «спецов»; как знак этой неизбывной беды не уходят из памяти аплодисменты самого первого депутатского съезда, удовлетворенно узнавшего, что заносчивых профессионалов, академиков-экономистов, удалось-таки не пустить в Верховный Совет. Ура!

Поистине: СССН, Союз советских социалистических непрофессионалов...

Конечно, хочется утешаться — на любом уровне. Скажем, я ревниво ловлю... да хоть бы и сообщения про нашенских футболистов и хоккеистов, подавшихся в «ихние» профессиональные клубы. Ну, ладно, один, говорят, ускользнув от привычной тренерской палки, сразу утратил форму, другой вообще, вдохновившись свободой, что-то там спер в универмаге, но прочие, кажется, прижились? Значит, они — хотя бы они — не безнадежны? И, напротив, тоскую, встретив сведения из области, мне категорически чуждой и неинтересной: как (читаю в «Известиях», 1990 год, 13 ноября) семь наших фотомоделей словили себе шанс, пробились в Соединенные Штаты, позволили добросовестно-доверчивым американцам вбить в дело их профессионального преображения огромные деньги, ушедшие на тренеров по аэробике и преподавателей английского, на специалистов по макияжу и технике ходьбы, на дантистов и окулистов — и что ж? Одна, дорвавшись до американских харчей, как припилась за их поглощение, так не перестала жевать, пока ее, раздобревшую до утраты профессиональных кондиций, не впихнули в аэрофлотовский самолет; вторая загуляла; третий куда-то сбежал; четвертый ушел в парикмахеры, на прощанье и в знак благодарности произнеся: «Идите вы все на...» (правда, выразил доморощенное приветствие по-английски: учили все же не зря).

Соотечественники обоего пола! Не спешите бранить этих бедных дурней и дур, тем более не отворачивайтесь, полагая, что ежели ваши торсы, бюсты и талии некондиционны, значит, это и не про вас. Это — про нас. Это мы, члены Союза непрофессионалов, граждане СССН, обязаны выслушать огорченную американку:

«Какая серьезная претензия... к русским?

Их леность, их неготовность работать так, как работают американцы,— по-черному, если нужно, круглосуточно; необязательность; страсть вступать в пререкания по любому поводу...»

Про кого это? Только ли про незадачливых фотомоделей? А может быть, и про Советы любого рода и ранга? Про... Да про кого бы то ни было,— сказавши любое, не ошибемся. И при всей экзотичности для угрюмого нашего быта профессии фотомоделей, их история назидательна и наглядна до уровня притчи: «неготовность», «необязательность», непрофессионализм здесь подстегиваются сказочно-мифологизированным представлением о беспечно живущей загранице, куда только вырвись — и... А радужный миф, в свою очередь, порождается ими же, непрофессионализмом, невежеством, некомпетентностью,— как рождаются многие мифы, утешительные или ожесточающие, будь то возможность для нашей страны единым махом воспрянуть и разбогатеть (например, откопав медный провод между Москвой и Ярославлем) или же подрывная работа международных сил, жидомасонов и русофобов.

В атмосфере всеобщей депрофессионализации, когда внимающее большинство просто некомпетентно, а внушающий жертвует своей компетентностью ради смычки с этим большинством, самое раздолье для внедрения в головы сограждан любых мифов, любой чепухи. И я, допустим, не удивляюсь (помня, как укоренялась традиция борьбы с собственной просвещенностью), когда литературовед Вадим Кожинов, не являющийся, как можно предположить, специалистом по теории относительности, уверенно пишет, что слава Эйнштейна, и вообще-то весьма сомнительная, «сделана» сионистами.

Пусть тут же найдется специалист, который с легкостью докажет обратное,— неважно; необремененная профессиональными доказательствами, то есть облегченная до невесомости, наиудобнейшая для усвоения непросвещенным мозгом, идея эта уже брошена в массы,— и, без сомнения, даст свои всходы. Как случилось с кожиновским же внедренным в головы россиян злободневной (несмотря на свою тысячелетнюю давность) идеи о существовании на Руси «хазарского ига», тирании Хазарского каганата.

Два безусловных «спеца», Л. Сазонова и М. Робинсон, зубы съевшие на изучении древнерусской истории, обстоятельно и обходительно высекли в «Вопросах литературы» (1988, № 12) неосторожного неофита, доказав с точки зрения профессиональной науки сверхобилие передержек, сущих нелепостей, очевидных следов неосведомленности. «В. Кожинов никак не пояснил... не подтвердил... Исследователь перепутал исторические источники... Допущено немало путаницы, начиная с названия труда... Заявление В. Кожинова, что „хазарское иго было, без сомнения, гораздо более опасным для Руси, чем татаро-монгольское", не может не вызвать удивления... Нас удивляет, что В. Кожинов...» и т. д. Кажется, со стыда можно сгореть, но — «броня крепка». И вольно учености делать попытки поделиться самой собою с тем, кто раскрепостился от профессиональных обязанностей. Тут же следует — уж конечно, не покаяние, но громовая отповедь, где ничего не сказано по существу, и специалисты, которые никак не оставят привычку удивляться, вновь разводят руками: «Создается впечатление, что наш оппонент не владеет приемами научной полемики». Сокрушаются, деликатничают, вполне, я думаю, заслуживши своей наивностью глумливый смех «оппонента»: а я подряжался ответствовать перед наукой?

Что ж, рассмеявшись, он окажется прав. Наука осталась при своих, Кожиновым отнюдь не поверженная (он, полагаю, в качестве умного человека на это и не посягал), но ходовая, уличная, кичевая мысль, что Коганы и Каганы еще эвон когда зарились на матушку Русь, уже загуляла привольно по страницам журналов, коим она не чужда. И как слово «еврей» (хорошо бы, конечно, «жид», но для печати вроде бы рановато) заменяют с успехом на «сионист» и даже «масон», так и у «сионизма» появился респектабельный, как бы исторический псевдоним: «хазарское иго»...

Как для Кожинова должны быть смешны претензии историков-профессионалов, так им, может быть, невдомек, что все его ошибки, пробелы, передержки вовсе не являются признаком профессионального бессилия, но являют собой недоступный их испорченному наукой воображению парадокс: профессиональный непрофессионализм. И то, что им кажется всего лишь нечаянными промахами оппонента, не овладевшего, увы, «приемами научной полемики», на деле осознанно служит этому мастеру, я бы сказал, агитационного литературоведения. А агитация и не может, не должна быть «научной», ее язык — броский лозунг, но не система доказательств, и самый смысл она обретает, лишь обращаясь к явному или потенциальному большинству, к толпе, каковую ей надо вооружить очень наглядной целью. Какой бы то ни было: бить инородцев или защищать Гдляна и Иванова, вступать в Компартию или выходить из нее, рушить православные храмы или жертвовать на восстановление храма Христа Спасителя...

Большинство всегда непросвещенно — хотя бы и относительно, стало быть, восприимчиво именно к упрощенным идеям; иным оно просто не может и не обязано быть, и если с этим не очень хочется соглашаться, то, возможно, и потому, что мы уже много лет пленники еще одного мифа — о самой читающей стране и самом лучшем в мире читателе. Мифа,

который был, с одной стороны, естественным порождением традиции российского просветительства, подогретого революционным азартом, с другой — хитроумным изобретением сталинщины, сотворившей эту легенду по законам черного юмора — в 30-е годы, аккурат тогда, когда нас надежно отрезали от мировой культуры, предписав лопать, что дают. (Кстати сказать, миф никем никогда не был проверен: наша статистика лгала, «ихняя» просто отсутствует, ибо «им» не нужна; с чем же нам сравниваться, по сравнению с чем считаться самыми-самыми? Разговор, впрочем, особый, отдельный; о нем смотри, например, в превосходной статье директора Института книги Анатолия Соловьева — «Советская культура», 9 июня 1990 года).

Миф этот и соблазнителен и опасен; чем соблазнительней, тем опасней.

Мандельштам, не видевший ничего дурного в «чистом незнании народа», наоборот, выгодно противопоставлявший его чистоту «полузнанию невежественного щеголя», с трезвостью, не всегда сопутствующей поэтам, предупреждал: легче электрифицировать Россию, чем научить ее пониманию Пушкина,— но те ли еще горы собирались мы своротить? (Создавши, к слову, очередной миф — таскать их, не перетаскать,— ибо знакомство «самого лучшего в мире» с «солнцем русской поэзии» сводится, в общем, к знакомству с романсом «Я помню чудное мгновенье» и с фабулой оперы «Евгений Онегин»... Виноват: еще жгуче волнует вопрос, насколько далеко зашли отношения Натальи Николаевны с Дантесом, плюс к тому свежие уверения, что Пушкин, как и Лермонтов, и Есенин — заодно, кажется, и Маяковский? — погибли от заговора масонов, они же хазары).

Словом, «нет таких крепостей», и вот тот же Маяковский в искреннем, но и старательно возбуждаемом энтузиазме рисует совбуколику, колхозную пастораль: «Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи»... Умилительно, но если такой хитрый папаша впрямь напишет нечто стихоподобное, да еще пробьется в печать, он и пахать-то бросит, перестанет быть похож, как говорил Блок, на землю, которую пашет, и станет походить... Но этот многоликоодинообразный оборотень у нас перед глазами (нужна ль поименность, если хамский разгул «писательских» съездов и пленумов и так не уходит из памяти?): полуграмотный, агрессивный, исступленно ненавидящий интеллигенцию, мастеров, профессионалов — в том числе, разумеется, и вышедших «из народа»; их-то, пожалуй, пуще иных, как «предателей». А все потому, что в душе своей знает: место он занял или хочет занять чужое, не по таланту, вернее, не по бездарности.

И точно так же, как был — и не совсем прекратился — призыв ударников в литературу, так состоялось и не окончилось поголовное, всесоюзное, незаслуженно и опасно льстящее зачисление — будто бы в профсоюз — всех, кто умеет и не умеет читать, в сообщество «самых лучших читателей в мире».

Искусство в высшей степени демократично, так как никому не возбраняет подняться до своего уровня; но оно в той же мере и недемократично (уж во всяком случае, ежели понимать демократию понынешнему, как вседозволенность), потому что производит свой отбор, собирая вокруг себя тех, кто согласен его постигать и способен постичь. Так что наша привычная эйфория — у кого искренняя, от чистой души [1], у кого хитроумно, корыстно расчетливая — насчет этого самого-самого есть наихудшая, на мой взгляд, услуга читателю.

Те, о ком преимущественно говорю в этой статье (и говорил — в старой), несомненно, участвовали в дьявольском расчете, даже если делали это по причине собственной маломощности; понижая и отменяя критерии, они звали деградировать и читателя. Свершив в результате нечто — ну, если не вовсе необратимое, то исправимое с большим трудом. И во времени, отдаленном до неопределенности.

У нас в ходу термин «секретарская литература»; придумали, рассмеялись и вроде бы успокоились. Зря.

Поэт Семен Липкин рассказывал, что как-то завидел длиннющий хвост к дверям книжного магазина и поинтересовался: что, мол, дают? «Анатолия Иванова,— сказали ему,— „Вечный зов“, только на всех не хватит...»

«Но это же,— возопил наивный поэт,— все равно, что стоять в очереди на партсобрание!»

Он остроумен, однако неправ. И дело вовсе не обстоит таким оптимистическим образом, что вот начнем выпускать больше хороших книг — и сам собою произойдет естественный отбор. Не произойдет, и помешает этому даже не сопротивление

[1] Например: «У нас самый лучший зритель в мире. Я это утверждаю! И читатель у нас самый лучший!» (Всеволод Мейерхольд, записи, сделанные А. Гладковым). «Один американский писатель, интересовавшийся тиражами наших книг, сказал: „Черт возьми, у нас отличная литература, а читатель плохой; у вас же такой отличный читатель, хотя литература куда слабее нашей“. Мы скромно развели руками...» — и т. д. (Александр Твардовский. Выступление на XXI съезде КПСС). То есть и Мейерхольд и Твардовский могли быть — и, вероятно, были — правы относительно своего читателя, вообще значительной части людей с «просвещенным вкусом», но как всех тянуло на преувеличения! И ведь не на планетарные, нет, не у́же, однако, и не шире одной шестой света.

тех, кто умеет писать лишь плохо; сопротивляться будут и те, кто умеет и хочет читать только плохие книги. И уж права своего без борьбы не уступит.

Журналист Вячеслав Костиков писал (в той же «Советской культуре» 11 августа 1990 года), что слова, услышанные им в детстве, в деревне: «народ не обманешь», запали ему в душу и впоследствии обнажили свой не только гордый, но горький смысл. Да, народ не обманешь, не проведешь, и вот на лукавство власти он отвечает своим лукавством, на фальшивые лозунги — фальшивой работой, на оболванивающую «культурную политику» — пристрастием к эрзацам культуры.

Судья на процессе Бродского, возможно, искренне изумлялась, что поэт — призвание, что в поэзию не назначают приказом кадровика («кто вам сказал, что вы поэт?»); или всем уже памятный, в поговорку вошедший гегемон-экскаваторщик, заявлявший, что слыхом не слыхивал про Пастернака, но готов, как лягушку, швырнуть его ковшом своего экскаватора в канаву,— вот они, неизбежные и желанные плоды долгой «игры на понижение». Той самой, ради которой и литераторы, не обделенные дарованием, годы убившие на обретение знаний, жертвовали ученостью и талантом, деградировали, развоплощались. И то, что нас — пока рановато — стало смешить и только смешить: «не читал, но считаю долгом... не слыхал, но всегда готов...», все это есть весомейший членский взнос в Союз непрофессионалов, есть законное следствие затянувшейся лести нашему самому-самому. И вдобавок надежное — с его стороны — доказательство беспредельной лояльности, безоговорочного доверия к тоталитарной власти, то, чем ей следует дорожить и что стоит даже обосновать теоретически.

«Порой приходится слышать такого рода пояснения:

— Я не могу иметь суждение о судьбе писателя, так как не читал его произведений...

Но я хотел бы поставить вопрос в ином плане. Мне думается, если чуждый нам, враждебный, весьма сильный и умный лагерь пользует произведения какого-то писателя, находя в его литературе что-то для себя драгоценное, то есть то, что может служить орудием антикоммунистической пропаганды в бою. Если нет этой „изюминки“, то вряд ли это произведение может послужить поводом для того, чтобы прославить данного писателя и издавать в бесконечных количествах книжные тиражи и как-то пользовать его книги».

Тираду Леонида Соболева (напечатанную в «Октябре» — 1990 год, № 10, публикаторы Ю. Буртин и А. Воздвиженская) можно, конечно, списать на бескрайний цинизм, поддержанный личной деградацией автора «Капитального ремонта»; деградацией столь очевидной, что в ту пору роились слухи наподобие возникших потом вкруг «Тихого Дона»: полно, да сам ли Соболев сочинил ту недурную книгу? Но убожество изложения, неспособного управиться даже с российским синтаксисом, как оно бывает, лишь простодушно подчеркнуло совсем не глупую (ибо не лично соболевскую) логику. Апология глупости? Лучше сказать: апология некомпетентности, непрофессионализма, невежества, подчас принципиального, то есть осознанно стремящегося к абсолютному нулю, к тотальному незнанию, к исключительному нелюбопытству. Потому что ежели «не читал, но... не слыхал, однако...», то возможна ли, повторю, наилучшая демонстрация наивысшего доверия к любому слову, любому приказу власти?

Существование **такого** читателя (шире бери — **такого** советского человека) — есть то, что больше всего мешает сегодня жить и даже надеяться на успех. Оно же — позорная «загробная жизнь» литераторов, лишь о малой части которых я сказал здесь. И — справедливое возмездие тем, кто был к ним хотя бы всего лишь терпим и снисходителен.

Борис ЛИПИН

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ С ПРАВДОЙ?

Зачем писатель пишет дневник?

Это очень легкое занятие. Надо просто записывать то, что было, попутно занося туда мысли, которые придут в голову. Вот так, без особенных усилий, получается нечто похожее на литературное творчество.

Чтобы набить руку (настолько, чтобы за это когда-нибудь набили морду), писатель должен все время писать. Каждый день. Тогда появляется профессионализм, который, в свою очередь, вызывает желание писать. Нельзя каждый раз, садясь за стол, создавать что-то высокохудожественное. Даже если изредка на то и способен. Это все равно, что на каждой тренировке пытаться взять рекордную высоту. Может быть, на очень высоком уровне профессионализма писатель сам рвется к письменному столу, чтобы швырнуть Анну под поезд или дать покурить Ивану Денисовичу. Но писать художественную прозу по желанию могут далеко не все. Так, чтобы позавтракать и сесть за рассказ. А к обеду его кончить. Наверное, большие писатели так могли. Иногда начинаешь освежать в памяти любимые рассказы Бунина и видишь, как под одним стоит число и «Приморские Альпы», а под следующим — те же «Приморские Альпы», а число — на четыре или пять дней позже. Наверное, Вера Николаевна кричала ему:

— Ян, иди обедать! (или: Ян, иди ужинать!)

А он ей:

— Сейчас, вот только кончу рассказ.

Но, во-первых, не надо сравнивать себя с Буниным, во-вторых, мы не в Альпах, в-третьих, после завтрака надо бежать на работу. А после работы или устанешь так, что не будешь ничего соображать, или заставят делать что-нибудь по дому. Когда писать? В выходные?

А если даже здоров, полон сил, и есть время сесть за стол и поработать,— все не так просто. Еще только собираешься начать писать рассказ, а уже чувствуешь страх. Страх, что придется сидеть, тупо уставившись в чистый лист бумаги, и чувствовать, что не способен родить ни одной хорошей строчки. И вот в этот момент надо пересилить себя, перебороть страх, отвращение к себе и к творчеству и что-то написать. Парочку предложений. Каким должно быть третье, станет ясно, как только напишешь второе. И тогда поймешь, что первое должно звучать иначе. В голове появятся какие-то мысли. И надо все это записывать. Хорошо, если четко представляешь сюжет.

Когда придет состояние с всплывающими в сознании одна за другой строчками? Это может произойти в трамвае. Или когда бредешь вечером по Невскому и вспоминаешь написанное ранее. Лучше всего в этот момент сразу же остановиться, найти место, где можно присесть, и аккуратно записать все, что пришло в голову. Если этого не сделать сразу, потом может забыться. И сколько ни будешь напрягаться, не вспомнишь. А это могут оказаться очень удачные строчки. Такие, по которым писателя вспоминают, когда он сам уже давно находится в лучшем мире. А если никакого сюжета нет? Или недавно кончил рассказ, а на новый нет сил? Тогда надо править какую-нибудь статью, писать письмо с протестом против маленького тиража любимого автора или большого — какой-нибудь бездарности. Но публиковать это письмо никто не будет, а значит, и протестовать нет смысла. Говорят, что сначала писатель работает на имя, а потом имя на писателя. Вот если послать протест против издания хорошей книги, да еще составить его подубовей, тогда, возможно, и опубликуют.

Плохо быть начинающим писателем. Если пишешь прозу, от нее в редакции сразу отказываются. А если — публицистику, ее хвалят, говорят, что дадут почитать главному редактору, а через месяц все равно возвращают и, улыбаясь, советуют отнести в другой журнал. Если оставят в своем, то изрежут так, что стыдно станет. И все это тоже с улыбкой. Хоть забирай статью обратно. А напечататься охота.

К тому же с публицистикой у меня с течением времени возникли сложности. Чем больше читаю, тем меньше мне ее хочется писать. Я имею в виду историко-философские опыты. Писатель — человек, который думает: ему есть что сказать обществу. И мне тоже так казалось. Но по мере того, как по тамиздату я знакомился с наследием наших великих философов, меня все больше поражало, какая бездна мыслей высказана о России. Все уже сказано. Пока это все не было напечатано, можно и самому пытаться донести до читателя ту или иную мысль Чаадаева, Соловьева или Бердяева (их много — тех, мысли которых, на мой взгляд, актуальнее, чем соображения любого пишущего сейчас публициста). Сейчас они, слава Богу, начинают издаваться. Но меня все больше тревожит вот что. Это написано сто и больше лет назад. И если за сто с лишним лет общество не смогло и не захотело такие слова услышать, то, очевидно, надо искать причины глухоты.

Поиски уводят в столь дремучие дебри, что начинает трещать голова. А если, вдруг, в ней что-то мелькнет, то понимаешь, что это уж точно не напечатают. И снова опускаются руки.

Наверное, каждый начинающий проходит через это состояние. Когда ему везде откажут. И не один раз. После первых двух отказов появляется уверенность в себе. Автор периодически смотрит и показывает знакомым ответы из редакций, где на бланках напечатано «к сожалению, для Вашего рассказа нет места», и думает, что уж в третий раз его точно напечатают.

Но после того, как число отказов превысит десять, опускаются руки. Во-первых, если автор не графоман, начисто лишенный способности трезво оценить свое творчество, то начинает понимать, что пишет, чего греха таить, плохо. Кстати, появление этой способности свидетельствует, что писатель состоялся. А во-вторых, он осознает: мысли, с которыми начинал писать, должны уйти и уступить место другим. Но каким? Становится ясно, что мечты о том, как молодая, длинноногая и длинноволосая журналистка берет у него в Доме писателей интервью, после которого он в своих «Жигулях» или «мерседесе» уедет за город, где у него построен двухэтажный коттедж, никогда не сбудутся. А чем больше он будет писать, читать собратьев по профессии и узнавать их биографии, тем яснее ему будет, что мысли о машине, двухэтажной даче и длинноногой девушке не должны посещать человека, который хочет создать нечто, заслуживающее уважение потомства. Правда, заставить себя перестать думать про что-то длинноногое трудно. Плоть, как говорится, берет свое. Оказывается, писатели, которые писали хорошо и которым хочется подражать, делали это, рискуя и тем немногим, что имели, а если получали от общества машину, то «черного ворона». Хорошо писать,— значит писать правду. А за правду общество не платит. Она ему не нужна. И чем страшнее правда, тем злее огрызаются на того, кто ее пишет. Зачем тогда писать? Наверное, сначала писатель думает, что может что-то в обществе изменить. Но может ли он это? И вообще можно ли общество изменить? Однако ведь что-то в нем все-таки меняется. В какую сторону? И кто влияет на эти изменения? В XVIII веке Щербатов написал «О повреждении нравов в России», в XIX веке Чаадаев написал «Философические письма», в XX веке Солженицын написал «Архипелаг ГУЛАГ». А стало ли общество лучше? Скорее, наоборот...

Наверное, первое искушение, которое подстерегает начинающего писателя, состоит в том, что надо начать врать, и тогда он будет порядочным и уважаемым членом общества. Но врать тоже надо уметь. Надо все время говорить людям то, что они хотят про себя услышать. Это самый страшный вид лжи. Ибо выглядит она как правда. Тогда длинноногая и длинноволосая журналистка, которая тоже все время врет, будет пить с таким писателем черный кофе в Доме писателей. И никто никогда не скажет ему, что он врет. Нужно только не очень зарываться. А если кто-то вдруг закричит про него что-нибудь нехорошее, общество оградит его от оскорблений. Встанут тысячи таких же врунов и грудью защитят своего собрата. И после его смерти общество будет периодически вспоминать его теплыми словами. Правда, все реже и реже. Пока, наконец, совсем не забудет. Что выбрать? И выбирает ли писатель? Наверное, нет. Путь у него один. Тот, что предуказан его талантом. И на этом пути писатель совершает нравственные поступки и проступки.

Нравственность любого человека определяет его поведение в обществе. А нравственность писателя определяется тем, что он расскажет читателю об обществе, в котором оба они существуют. Сумеет ли он заставить читателя застонать? Если сумеет, неплохо. Но если тех, кто застонет,— много, и они будут делать это дружно, то вполне возможно, что эффект окажется ложным. Эффектом Горького, который, когда все его призывы осуществились, и общество от них застонало, спокойно пил и ел (правда, некоторые говорят, что он пил и ел неспокойно). А вот если общество, прочтя, заставит застонать писателя, значит, он добился своей цели. Сумел сказать людям правду, которую они от себя притали. Наверное, это справедливо не для всякого общества. Но мы столетия живем и еще долго будем жить в таком. И всегда ли писатель должен ставить перед собой задачу заставить застонать окружающих? Писатель поднимает ту проблему, которую считает важной. Говорят, что на Западе материальные ценности, у нас духовность. Американские писатели занимаются бытописательством, а наши обсуждают нравственные проблемы. Апдайк анализирует адюльтер, а Солженицын призывает всех нас покаяться. Неужели у американских писателей меньше совести? Наверное, нет. «Архипелаг ГУЛАГ» — великая книга, но в ней описываются издевательства одних людей над другими. У нас все время совершаются безнравственные поступки и обсуждаются их причины. Какая-то странная уродливость. Не писателя. Общества.

А как с теми писателями, которым общество рукоплещет? Все ли они врут? Некоторые откровенно врут. Но многие искренне убеждены в том, что пишут правду. И эта подмена правды ложью тоже определяется их нравственностью.

Точнее, изъянами нравственности. У каждого писателя своя правда. Да и нам сегодня правдой кажется одно, а завтра — другое.

Наверное, чем дольше держится правда, которую сказал писатель, тем больше он значит по сравнению со своими собратьями по профессии. Достоевский написал «Бесы», все возмутились и сказали — «пасквиль». А через несколько десятилетий даже запретили. Ныне же говорят, что «Бесы» — роман пророческий. А почему пророческий — скажут еще лет через пятьдесят. Вот это правда!

Есть большой слой образованных умных людей, которые в силу специфики *нашего* общества говорят одно, думают другое, а делают третье. Поскольку они нужны обществу, оно относится к этому спокойно или даже поощряет такое триличие. Если писатель не слишком забежал вперед со своей правдой, он найдет среди этих людей своих читателей. Для них небольшой кусочек правды вечером в интимной обстановке чем-то сродни кружечке холодного пива в жаркий день. Но никогда такие люди все разом громко не закричат, что правда им нужна, что они без правды не могут. Они без нее могут прекрасно. Так почему то один, то другой писатель ее пишет, за что ему очень больно достается?

Замечателен сам факт, что правду (то, от чего общество вздрагивает и озирается) пишут немногие. Написать ее совсем не просто. Тут нужен какой-то особенный дар. Не меньший, чем талант художника, подметившего: «небо было простоквашей». Правду очень трудно разглядеть, понять, где она. Впрочем, есть отличительный признак правды — ее не любят. И, наверное, тем она нужнее. Самое хорошее лекарство — самое горькое. Всегда ли это верно? Может быть, именно мы живем в таком обществе? А как его отличить от другого? Того, в котором за правду не бьют по морде?

Можно быть хорошим художником, мастерски владеть русским языком, замечательно писать пейзажи и совершенно не видеть правды. Или, наоборот, все видеть и глубоко прятать от себя эту правду? А потом она, как фотоотпечаток, начнет проявляться другими...

Иногда писатель искренне думает, что видит правду. Начинает в своих стихах и прозе всем ее рассказывать. Но проходит какое-то время. Писатель еще жив. Ему бы писать да писать. А правда, которую он всем говорил, оказывается ложью. Если писатель честный, это его ломает.

Наверное, так получилось с Блоком. Он сначала советовал всем слушать музыку революции. А потом эта музыка так громко зазвучала, что он оглох. И стал жаловаться окружающим, что не слышит звуков.

Конечно, есть писатели, работающие под придурков, которые прозревают вместе с газетными передовицами. Они будут добросовестно описывать, как видели Сталина, беседовали с ним, восхищались его мужеством, а потом плакали на его похоронах. Но по-настоящему глаза у них открылись после XX съезда. Относиться к Сталину, как раньше, они уже не могли. И сами себе верят. А почему бы и не верить? Они все чем-то похожи друг на друга. Даже внешне.

Мне доводилось читать и слышать рассуждения критиков о Саше Черном. Его всегда приводили как пример того, что писатель на чужбине не может, что талант без родины хиреет. Сейчас мне кажется, что я понял причину кризиса его творчества. До революции с чем только не мешал он интеллигенцию! И все народ воспевал. И, наверное, думал, что пишет правду. А потом ему пришлось от этого народа бежать за границу. Тут-то он, вероятно, уразумел: все, что раньше писал, было враньем. Это так его убило, что он больше ничего даже отдаленно похожего на прежние стихи не написал. Хотя что у него за стихи? Он же не лирик, а сатирик. У него есть стихотворение про то, как «из палатки вышла дева в васильковой нежной тоге, подошла к воде, как кошка, омочила томно ноги. И медлительным движеньем тогу сбросила на гравий». Фигура у девы была такая, что «даже чайки изумились форме рук ее и бедер». Саша Черный смотрел на все это из-за камышей, покуривал трубочку и ухмылялся. А потом «из-за палатки вышел хлыщ в трико гранатном, вскинул острые лопатки. И ему навстречу дева приняла такую позу, что из трубки, поперхнувшись, я глотнул двойную дозу».

Однажды, в пьяной компании, когда направление разговора сделалось фривольным, я зачем-то стал читать это стихотворение. Все смеялись, пока один из гостей не сказал: «А может, это были Ромео и Джульетта?»

Поэту же, наверное, вся интеллигенция казалась таким хлыщом.

Вот почему, по-моему, Саша Черный в эмиграции стал плохо писать. А Бунин, который никогда ни в чем не обманывался, в эмиграции стал писать лучше, чем прежде. И Георгий Иванов стал писать лучше.

Лично я, когда думаю о Бунине, испытываю священный трепет. В письмах Юрия Казакова я наткнулся на фразу: «Бунин — Бог, олимпиец». Как точно! Мне кажется, мы все плохо осознаем, писатель какого масштаба есть в русской литературе XX века. Когда я читал «Курсив мой» Берберовой, меня все время раздражали «странные» выводы. Я вдруг узнавал, что во всех российских бедах виноват царь. Хотя, на мой взгляд, он виноват меньше кого бы то ни было. Ведь он стал царем по закону. Он родился наследником престола. Тем не менее как только услышал со всех сторон, что ему надо уйти, отрекся. Особенно меня разозлили рассуждения о Бунине как о писателе, «не нашедшем себе настоящего места в своем времени». Но тем не менее свою неуютность в современном мире ощущал сам Бунин. Мне кажется, причина этому — в падении общественной морали. Демократизация общества, не готового к демократии, привела к тому, что неустойчивое состояние с двумя моралями сменилось тоталитарным режимом. Мораль толпы оказалась неизмеримо ниже морали культурного слоя, к которому принадлежал Бунин. Бунин принадлежал дворянской культуре. Той, которая дала Пушкина и Толстого. А падение морали в обществе привело к тому, что понадобилась «новая» литература. Воспевающая то, что делала толпа. В этом причина нравственного падения советской литературы. А Бунин устоял. Он даже не шатался. И вот сейчас, когда намечается нравственное возрождение, очень важно иметь ориентиры.

Есть такая тема: Бунин и Блок. Чего только не пишут, обсуждая неприязнь Бунина к Блоку. Даже внешность их сравнивают. А ведь главный аспект этой темы — нравственный. Что такое принять революцию? Признать возможным и нормальным убийство одних людей другими? Бунин этого признать не мог. Я был поражен, узнав реакцию Блока на гибель «Титаника». Радость, что океан (стихия) еще не сломлен. Погибшие люди — на втором плане. Наверное, он поэтому и революцию принял. «Полное равнодушие к добру и злу»,— писал про нас Чаадаев. Нравственный дегенератизм. Мы не отличаем хорошего от плохого. В той или иной степени это есть во всех нас. После семидесяти лет тоталитарного режима вряд ли найдется тот, кто скажет, что в нем нисколько этого нет. Кто скажет, что нет, к тому надо присмотреться особенно тщательно. А в Бунине этого не было.

И поэтому мне кажется очень интересной другая тема: Бунин и Достоевский. Почему Бунин не любил Достоевского? Дело в особенностях их мировосприятия. Достоевский увидел опасность в том, что общество поверит — добро можно сделать с помощью зла. И стал писать романы, где убеждал людей: «замучить всего лишь одно только крохотное созданьице», чтобы построить «здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой», нельзя. А общество не поверило ему. Это величайшее искушение, испытанное миром в XIX и XX веках — думать, что можно облагодетельствовать человечество, причинив кому-то зло. Общество решило, что можно не одно «крохотное созданьице», а множество и «крохотных созданьиц», и взрослых созданий «замучить». И принялось очень энергично это делать. А потом, спустя десятилетия, в обществе все-таки начало что-то происходить. Оно стало тупо смотреть на содеянное и говорить: «действительно, не очень хорошо получилось. Прав был Достоевский. Пророк, братцы! Воистину пророк!». Когда все еще только начиналось, трудно было угадать, чем кончится (не все же пророки). Но были люди, нравственная позиция которых просто не допускала возможности подобных мыслей. У этих людей все призывы убивать одних для счастья других ничего, кроме отвращения, не вызывали. И поэтому пророческая роль писателя, который предостерег человечество, была им не видна. Ну чего проповедовать то, что и так очевидно? Судя по тому, что произошло в мире, так были устроены немногие. Но Бунин, очевидно, был устроен именно так.

Из дневников Бунина и из мемуаров людей, его знавших, видно, что тема Достоевского-писателя очень его волновала. Но если проанализировать отзывы Бунина, то большинство их — резко критические. Даже полупрезрительные. Как правило, это упреки в том, что Достоевский — плохой художник. Конечно, Достоевский не напишет по-бунински изящного и красивого диалога. И женщины в его романах вызывают не желание, а жалость или брезгливость. И мокрым лесом у него на страницах никогда не пахнет. Но замечательно, что главную сторону романов Достоевского, ту, за которую его называют пророком, Бунин как будто не видит. Вероятнее же — видит ее настолько ясно, что нет тут для него никакой темы для творчества. То, что он все ясно видел, сказано в «Окаянных днях». Наверное, «Окаянные дни» ждет такая же судьба, как «Бесов».

Мы хорошо знаем Бунина-художника и плохо — Бунина-публициста. Причина — в некоем нравственном несовершенстве нашего общества. Оно знакомится с правдой, которую говорит писатель, когда само почти до нее дорастает. Небольшой рывок, и общество, вцепившись в протянутую писателем руку, выходит на новый рубеж. Однако, если писатель очень далеко впереди, оно не только оттолкнет протянутую руку, но и попытается заставить своего спасителя замолчать. Коли это невозможно (из Москвы в Париж, где жил Бунин, не дотянешься), надо делать вид, что его не существует.

Если проанализировать разные сказанные про нас правды, с которыми мы сейчас знакомимся, то бунинская — одна из самых глубоких. Наверное, общество скорее прочтет и примет всего Солжени-

цына, чем Бунина. Слишком долго лилась у нас кровь и творилась подлость в гигантских размерах. И вот сейчас, когда раны начинают заживать, а подлость начинает вылезать наружу, общество начинает искать виноватых. И по очереди выслушивает тех, кто укажет этих виноватых. Шатров скажет, что виноват Сталин. Это неубедительно. Получается, что один подлец вертел всеми. Значит, все остальные дураки. И потом, Сталин уже умер, и ему нельзя ничего сделать. Распутин скажет, что виноват Каганович. Он плохо влиял на нашего Иосифа Виссарионовича. Это лучше. Каганович еще жив. Кожинов скажет, что виноваты инородцы. Это еще лучше. Инородцев не так много. Если их турнуть, общество особенно не пострадает. Зато можно сплотить нацию. Все окажутся хорошими и смогут начать дружно работать. Еще Кожинов скажет, что виноваты коммунисты-инородцы. Это тоже неплохо. Почти всех коммунистов-инородцев поубивал Сталин. И они уже как бы наказаны. А Солженицын скажет, что виноваты коммунисты и инородцы. Это, с одной стороны, еще лучше: многие так злы на коммунистов, что если начнут их бить, то люди еще сильнее сплотятся. С другой стороны, коммунистов немало, у них оружие, и они могут крепко дать сдачи. Правда, есть еще один вариант. Коммунисты скажут, что все они хотели хорошего, а если получилось плохо, то тут виноваты инородцы. И тогда все вместе — коммунисты и беспартийные — выскажут свое отношение к инородцам. И, чем черт не шутит, вдруг осуществится единство партии и народа. Не дай Бог дожить до такого единства!

А Бунин скажет, что виноват народ. Что было государство. Не самое хорошее, но и не самое плохое. Были царь, любивший пропустить рюмочку, и царица, переживавшая за тяжело больного сына и поэтому верившая всяким проходимцам. Было правительство. И был культурный слой, очень переживавший за народ и очень любивший его. Идеализировавший его. В первую очередь потому, что сам культурный слой в России появлялся благодаря народу, на него работавшему. В отличие от Запада, где появление культурного слоя было естественным следствием развития общества, в России он возникал, как плесень. Ощущение собственной неуютности вело этот слой к другому чувству — преклонению перед народом. И вот культурный слой решил, что надо менять государственный строй. Что пропускающий рюмочку царь хуже, чем провоцирующие народ болтуны. Что надо устроить демократию. Как на Западе. Непонятно, что в этом играло бо́льшую роль: то ли искреннее желание демократии, то ли чувство стыда перед Западом, то ли безысходность собственного положения. Но факт состоит в том, что культурному слою в России всегда хотелось и хочется демократии такой, как на Западе. Культурный слой убедил в том и царя. Царь сказал: раз все хотят демократии, я не возражаю. И культурный слой протянул народу руку. А народ, отпихнув эту руку, выбрал себе в руководители уголовников и аферистов и под их руководством стал планомерно и методично уничтожать культурный слой. А потом народ стал петь им дифирамбы. И вот теперь, когда хор дифирамбов стихает, и народу становится ясно, что его завели не туда, он начинает искать виноватых. И обсуждать биографии уголовников. Но ведь они есть везде. Только в одной стране они сидят за решеткой, а в другой — в правительстве. Почему же дружно бросились по их призыву убивать и грабить?.. Вот, наверное, так спросил бы Бунин.

И тем не менее, наверное, это не самая глубокая правда. Просто потому, что десятилетия идут, и на многое мы сейчас можем посмотреть ретроспективно. Ведь понять причину происходившего — это значит вместо того, чтобы искать виноватых вне себя в прошлом, начать лечиться самому в настоящем. Это значит сделать правильные выводы.

Герцен перед смертью, вспоминая состояние России во время отмены крепостного права, написал: «Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался».

Он-таки зарезал сам себя в тысяча девятьсот семнадцатом. И какой грустный отклик этим мыслям нашел я в мемуарах члена ЦК партии кадетов Оболенского! Вспоминая свою встречу с Шингаревым в декабре семнадцатого года, Оболенский пишет: «...Шингарев был в возбужденном состоянии от только что происходившего у него спора с Родичевым.

— Ведь вот,— говорил он мне взволнованно,— как легко люди готовы отказаться от основных своих политических требований под влиянием испытанных неудач. Знаете, о чем мы спорили? — Родичев доказывал, что всеобщее избирательное право для России непригодно, то есть непригодно то, за что мы боролись с 1905 года. И не один Родичев такого мнения, его поддерживали и другие... Удивительно, как люди не понимают, что всеобщее избирательное право ни при чем в неудачных результатах выборов. Ведь Россия сейчас представляет из себя огромный сумасшедший дом, и какую бы избирательную систему ни применять в сумасшедшем доме — ничего кроме чепухи не может получиться. Нужно изжить массовое помешательство. А от своих демократических убеждений я из-за происходящей чепухи отказываться не намерен».

Через полтора месяца Шингарев — гордость демократического движения России — вместе с Кокошкиным был зверски убит революционными матросами.

Бедный Шингарев. Он только не понял, что в сумасшедший дом Россия превратилась в результате этого самого всеобщего избирательного права.

Нравственного здоровья, политической культуры, христианской любви к ближнему, без коих общество, в котором хотят внедрить демократию, превращается в сумасшедший дом, у нас тогда не оказалось.

Я об одном Бога молю. Чтобы нам снова в сумасшедший дом не превратиться. А ведь можем. Задатки есть.

Но почему народ был таким? Ясно: дикое состояние, в котором он находился, было следствием того, что крепостное право в России просуществовало до второй половины XIX века. А почему так долго? Чаадаев уверяет, что православие не выработало тех нравственных идеалов, которые бы не позволяли одному человеку владеть другими. Если бы вместо того, чтобы объявлять его сумасшедшим, общество начало изучать его письма!

«...Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека,— именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути».

Сколь емки и современны эти слова! В них все: и наш тоталитарный режим, и насильно созданный соцлагерь, и наша интервенция в Афганистан, и пять лет перестройки, за которые мы только раскачиваемся и никак не можем стронуться с места.

Между тем. слова эти — из статьи, написанной Чаадаевым в середине прошлого века для того, чтобы опубликовать ее под вымышленным именем в Париже. А Солженицын, сопоставляя Россию и СССР, говорит, что «применять первое ко второму — подобно тому, как признать за убийцей одежду и паспорт убитого».

Вместо того, чтобы проследить историю болезни и все-таки начать пытаться ставить правильный диагноз, нам предлагается считать, что все было в порядке, и нас просто заразил какой-то мерзавец.

А разве то надругательство над церковью, которое совершил в начале XVIII века Петр, не явилось причиной падения веры и не привело к трагедии русской православной церкви в начале XX века? По подсчетам Милюкова, при Петре численность населения России уменьшилась на двадцать процентов. Чем не большевик на троне? Бердяев его так и называл. Анализируя манипуляции с православием, проведенные Петром и большевиками, Георгий Федотов написал: «Далеко щенкам до льва!». Разумея под щенками большевиков, а под львом Петра.

Трудно понять, где правда. Я все время слышу о том, что исключительная бездарность царского правительства привела к трагедии семнадцатого года. Но каковы критерии способностей правительства? Все познается в сравнении. Один из главных — рост национального дохода и благосостояния населения. Сейчас, когда мы узнаем цифры, выясняется, что самыми высокими эти показатели были перед семнадцатым годом. И, значит, самое способное правительство в России было тогда.

У критиков царского правительства есть серьезный довод: Россия была втянута в абсолютно бессмысленную и ненужную войну. Но ведь вторая мировая война была куда бессмысленней и ненужней. А правительство (Сталин, Молотов) сделало все, чтобы втянуть в нее Россию. Тем не менее их никто не скидывал. Даже мыслей таких не возникало.

Но кто-то все-таки был бездарен. Увы, бездарной была интеллигенция, которая оказалась неспособной правильно осмыслить происходящее. И все-таки она не оказалась так безнравственна, как народ, который бросился ее уничтожать...

Но вернемся к тому, с чего начали. Так что же все-таки с правдой? Что ощущает писатель, который ее пишет? Наверное, ему кажется, что в конце тоннеля, по которому он на ощупь брел, вдруг вспыхнул свет. Это сияет истина. Ее необходимо узнать дерущимся народам и спорящим политикам. Ни народы, ни политики простить обладания такой истиной не могут. А писателю, который интуитивно чувствует, что обладание ею даром не пройдет, все равно неможется. Что мнится ему, когда он торопливо пишет, боясь, что общество вырвет перо у него из рук? Не может быть, чтобы не думалось о чем-нибудь хорошем. Не видится ли золотоволосая Маргарита, которая, признав в нем Мастера, ласково обнимет его и предложит отдохнуть от трудов праведных? А если окажется, что Маргарита — сиделка в реанимации?! И это еще далеко не самый худший вариант. Тот, кто долго говорит правду в лицо людям, а они или делают вид, что не слышат, или бьют за это со всего размаха,— понимает: изменить что-то вокруг почти невозможно. В лучшем случае общество после того, как

умертвит писателя, выпустит некролог, где похвалит его и слегка пожурит себя. Можно умертвить, просто не печатая (как Булгакова). А через некоторое время — начать издавать его. Потом все больше и больше. Пока не выйдет собрание сочинений, из которого изымут все, что покажется криминальным к моменту издания. А после этого, плотоядно облизнувшись, общество спросит себя, кто следующий.

Ходасевич писал, что писатели в России — пророки, и их неизбежно будут побивать камнями. А зачем? Чтобы приобщаться мощам побитого пророка. Ходасевич сделал неверный вывод. Простительный ему, потому что он сам относился к тем, кого побивают. Наверное, больно было думать, что его раздавят и равнодушно пойдут дальше. Поэтому Ходасевич сочинил красивую легенду о том, что общество, убив писателя, станет таким же хорошим, как он. Но если оно, уничтожив Пушкина, восприняло все лучшее в нем, многократно издав собрания его сочинений, то почему уничтожило Мандельштама и назвало тунеядцем Бродского? И почему писатели в России обязательно должны быть пророками? Почему вообще России нужны пророки? Раз их так методично уничтожают, получается, что они тут не нужны. Может быть, просто в России больное общество, и когда в нем попадается один здоровый человек, он выглядит, как пророк? А какой может быть критерий выздоровления общества?

Оно должно перестать уничтожать своих пророков. Оно должно внимательно их слушать. Как отличить пророка от непророка? Просто — уничтожать нельзя никого. И тогда все пророки останутся целы.

Вряд ли кому-то хочется, чтобы общество охотилось на него. И все же такие находятся. Почему? Да очень просто: иначе они не могут.

А зачем пишу я? Ведь я не Бунин. «Солнечный удар» я не напишу. И правды, никакой особенной, своей правды у меня нет. Но у меня есть своя задача, которую я ясно вижу. Дело в том, что, когда я смотрю на наше общество, меня охватывает ужас. И моя задача в том, чтобы это чувство донести до читателя. Кто-то скажет — зачем это нужно? Я думаю, затем, что только осознание ужаса, в котором мы живем, может что-то изменить в нас и вокруг нас.

Вот такие или примерно такие мысли пришли мне в голову, когда я смотрел на раскрытый дневник. Теперь надо, ничего не забыв, потому что мысли всплывают и тут же тонут, записать все это...

18 июля 1990 года

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Чуковская Л. Процесс исключения. Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт». М.: 1990

Наверное, самое тягостное в этой книге — кратенькое уведомление о том, что Секретариат Московского отделения СП РСФСР в 1989 году *единогласно* отменил свое же *единогласное* — от 1974 года — решение об исключении из СП Лидии Чуковской. Так и видишь — лес поднятых рук, просветленные (ранее — угнетенные) лица, единый счастливый порыв: «наконец-то...» Если хотите, здесь — ключик к разрешению заветной тайны нашего государства: почему позавчерашняя эйфория от брошенной в толпу, как кость, свободы так легко и быстро перешла во вчерашнюю усталость от любой политики и принятый довольно равнодушно сегодняшний крутой рывок вправо. С нами — *такими* — делать можно все. Сегодня — устыдились, а завтра, ежели нам прикажут — ржавая идеологическая машина, блистательно описанная Л. Чуковской (и весьма ощутимо проехавшая по ней самой), чуть скрипнув, заработает снова. В любом направлении.

А все-таки интересно: каково сейчас читать эти записи ныне здравствующим Ю. Яковлеву, И. Стрелковой, Н. Дуровой, И. Токмаковой, В. Медведеву (о М. Алексееве и Н. Грибачеве уж не говорю — они-то «не поступятся принципами»)? А детскому-то наставнику, взывающему, само собой, к Добру и Справедливости, возглавляющему детский фонд им. В. И. Ленина,— каково? Или уже спущен щедринский приказ — считать историю не бывшей?

Это раскачивание бюрократических качелей — вверх-вниз, да с размаху — по головам самых даровитых писателей — прослеживается удивительно ясно на протяжении всей книги. Невероятной книги. Потому что из русских писателей такой совестливости, такой непоколебимости, как Л. Чуковская, редко кому удавалось дожить до обнародования своих мытарств!

Е. ЩЕГЛОВА

Троцкий И. III отделение при Николае I. Лениздат, 1990

Книга эта появилась вновь — через несколько десятилетий после того, как имя ее автора было выброшено из истории советской науки. А что она не устарела, читателя убеждают с первых же строк и ее содержание, и ее композиция, и ее логика.

Первая часть книги — об истории русского политического сыска. И об истории русской словесности и культуры. С момента возникновения таких понятий это — пересекающиеся и взаимопроникающие пласты нашего гражданского существования. В анализе их пересечений (с той поры, как причудливый, но закономерный конгломерат был оформлен организационно) автор столь же обстоятелен, сколь и критичен — многие черты деятельности тайной полиции века XIX в глазах россиян XX века выглядят дилетантскими. Только сегодня это мнение зиждется на вещах, всем известных, а автор книги, как и его современник Ю. Тынянов, был провидцем.

Вторая часть — биография одного из известнейших в прошлом столетии шпиков Шервуда — с ее взлетами, падениями и провалами, непростыми и неоднозначными отношениями героя с сильными мира сего. И с вдохновенным доносом на добрую половину России во благо, конечно, России (ибо власти от зловредных умствований и опасных книг ее не берегут) — хоть для сегодняшней ура-патриотической периодики! Такой биографии в военно-полицейской империи не быть не может.

Но есть и третья часть. Современная автору и даже посмертная. История борьбы его вдовы за реабилитацию покойного мужа и свою собственную. Историк не мог описать, как будут развиваться некоторые тенденции его сюжетов — жизнь это проследила: например, явно абсурдным доносам, которые в XIX веке принято было оставлять без внимания, сто лет спустя внимали даже и весьма. И конца книга не имеет: «Для рассмотрения вопроса о назначении Вам пенсии ⟨за погибшего мужа⟩... сообщаем, что время нахождения в заключении засчитывается в стаж только по день смерти, а не по день реабилитации» (из документа Министерства социального обеспечения РСФСР).

А. ХОДОРОВ

Цукерман В. А., Азарх З. М. Люди и взрывы. «Звезда», 1990, № 9—11

Воспоминания о советских атомщиках заканчиваются в том же номере, в котором опубликованы последнее интервью А. Д. Сахарова («но Хрущев сказал, что на самом деле существует только одна политика, политика с позиции силы»)

и материалы алма-атинского антиядерного конгресса: лучше внушать доверие, чем страх. Семипалатинский ядерный полигон, лучевая болезнь, мужское бесплодие, превышенный в 2—2,5 раза уровень суицидальности (это в Казахстане!), каждый третий ребенок рождается мертвым или уродом, 6 000 000 павших в смертельной борьбе за мир, ответственность аппарата ЦК КПСС, творческий эгоизм ученых...

«Высочайшее чувство ответственности за порученное дело, бескорыстная преданность науке, душевная чистота»,— так пишет о них герой-рассказчик, сам крупный физик, не убоявшийся ни опытов со взрывчаткой, ни страшной болезни, и вместе с тем снисходительнейший человек: ему как будто встречались только превосходнейшие люди, часто еще и «всесторонне образованные». Однако упоминаемые клички, шутки, развлечения и розыгрыши (стрельба из водяных пистолетов, сброшенная на голову калоша, бритва для бородатого и парик для лысого) — все это напоминает, скорее, авиамодельный кружок при Дворце пионеров: чертовски изобретательные и увлеченные *подростки*.

А мы все допытываемся, каково им было нести на плечах столь страшную историческую ответственность... Академик за академиком, сидя в разоренной стране на бочке с порохом, продолжают твердить, что «для снятия опасности ядерного шантажа у СССР был *только один* выход» — ведь существует *только одна* политика. Но вот Сахаров («Знамя», 1990, № 11) добавляет, что это «может быть и не так»: в трагической ситуации *любое* решение грозит ужасными последствиями, и сделать его *без сомнений* способны лишь злодеи или младенцы. Впрочем, курчатовская формула «мы солдаты» тоже позволяет нейтрализовать собственный разум и совесть.

Глубоко штатскому Бору железный Черчилль угрожал смертной казнью за намерение поделиться Бомбой с дядей Джо, а наши Теллеры, кажется, не ссорились со своим начальством даже мысленно. «В борьбе между империализмом и коммунизмом никакие жертвы не имеют значения»,— сказал Сахарову генерал КГБ, под чьим, так сказать, руководством в Саратовской тюрьме уморили Н. Вавилова. Если ученый и жандарм составляют столь дружный дуэт, нетрудно догадаться, чья партия в нем является руководящей и направляющей. Пожалуй, современному ученому желательно иметь кое-что еще сверх ответственности за порученное дело и душевной чистоты — тогда и Сахаров оказался бы менее беззащитным при стольких милейших сослуживцах.

А. МЕЛИХОВ

Илья Митрофанов. Цыганское счастье. Повесть. «Знамя», 1991, № 1

Мы — самые бесправные и самые несчастные, но есть в нашей юной прекрасной стране люди еще несчастнее — бомжи. А в сторонке, никем не замечаемые, из маргиналов маргиналы — наши советские цыгане, по не те, что у Пушкина, и не те, что у Яра, и не те, которые в театре «Ромэн», а просто цыгане. Вот о них и пишет Митрофанов. Повествование кажется поначалу простодушным: краски — яркие, деление на тень и свет — резкое, фабула — мелодрама. Но стоит остановиться и приглядеться...

Сирота Сабина — из тех девчонок, что скользят среди вокзальных толп, тащат, что плохо лежит, поют: дай погадаю, красавица,— в общем, та самая. Но из-под грязных чужих подошв она зорко видит мир — с изнаночной стороны и судит о нем без наивности. Осиротила ее советская власть: кузнеца Бужора посадили за то, что работал чересчур хорошо для колхозника. В новой советской школе ее учат, что Москва — столица нашей родины, на что она резонно возражает: Москвы в глаза не видала, для нее столица — придунайский городок Ахиллея. Учителя учат не ребят — родителей, по чинам ставят оценки; директор школы шарит по телу дерзкой цыганочки; в приюте скорби хозяйничает хапуга-завхоз, морит больных голодом и муштрует; стрелок железнодорожной милиции насилует воровку и милостиво отпускает. Едва попав на хлебозавод, впервые попробовав честно трудиться, Сабина видит всеобщее воровство — но судят ее одну, потому что другие тащат возами, а она украла всего буханку. Мышление цыганки свободно от наших стереотипов, казенное лицемерие ей претит, она и впрямь живет по законам древней мудрости своего столь мало известного нам народа. Она изначально знает о людях больше, чем ее сверстники, так же, как художник Богдан, пишущий смерть своей матери и раскулачивание вместо оптимистической халтуры — и его отторгает самодовольный официоз. Богдан сходит с ума, но Сабину держит на плаву «цыганское счастье» — ранний опыт, ясный и трезвый взгляд на людей.

Повесть проникнута болью за отброшенного на обочину жизни человека — но и верой в его нравственную силу. Сабина знает: все продается на «сталины» (так называют здесь рубли), но определяет человека так: «ложка души в нем». Сталины — сталинами, а душа — все равно раньше. И тот сплав фольклорной поэтичности и жаргонной грубости, который составляет язык героини, позволиет проникнуть в ее собственную душу,— открытие для читателя.

И. ПРУССАКОВА



Совсем недавно. Совсем давно

Ольга ВЕЛИКАНОВА

«ПО ПРОСЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ...»

Фигура В. И. Ленина находится сейчас в центре ожесточенных споров. Но никто до сих пор не сделал даже попытки оценить его место в общественном сознании. Лишь в последние несколько месяцев социологи осмелились задать публике вопрос об отношении к Ленину. Ясно одно: на протяжении истории восприятие образа Ленина менялось, изменяется оно и сегодня.

Как народ воспринял смерть Ленина? По материалам официального характера — речам на траурных митингах, письмам трудящихся в партийные и государственные органы, печатавшимся в газетах, можно воссоздать картину всенародной скорби, но картина эта не будет полной. Неформальное же, как мы сейчас говорим, отношение людей к Ленину выявить весьма трудно, хотя и не невозможно. В какой-то мере здесь помогают такие источники, как фольклор и секретная информация ГПУ.

Внешние формы почитания основателя государства еще при его жизни начали приобретать форму культа. А после смерти Ленина образ вождя все более и более утрачивал индивидуальные личностные черты и постепенно превращался в абстрактный символ — символ партии, власти. Принимая решения об увековечении памяти Ленина — о переименованиях, о сооружении памятников, о сохранении тела, о строительстве мавзолея и т. д., партийные верхи неизменно ссылались на требования народа, на то, что, мол, поклонение вождям искони присуще русской душе, власть лишь выполняет волю масс. Однако абсолютизация роли народа в создании культа и затушевывание организующей роли партии в этом процессе представляется некорректным упрощением. Диалектическое отношение «массы — власть» характеризуется как прямой, так и обратной связью. Как народ выражал потребность в иконе, так и партия подогревала эмоции и направляла их в выгодное для нее русло. Созданием культа своего вождя правящая партия укрепляла эмоциональные связи между собой и массами, обеспечивала преданность народа и его послушание; она использовала при этом такие особенности русского национального сознания, как религиозность, этатизм, монархические традиции.

Вопрос об увековечении памяти Ленина сейчас принял прямо-таки болезненное звучание. Попробуем разобраться, откуда исходила инициатива беспрецедентного способа захоронения Ленина.

Есть данные, свидетельствующие о том, что впервые вопрос о похоронах и бальзамировании тела Ленина рассматривался еще при его жизни в конце 1923 года, когда здоровье его ухудшилось. Н. Валентинов, ссылаясь на Н. Бухарина, писал: «Идею бальзамирования впервые высказали Сталин и Калинин на совещании 6 высших советских руководителей в конце 1923 года... Подчеркнув необходимость заблаговременного тщательного планирования процедуры похорон, с тем, чтобы быть готовыми к такому событию, Сталин... напомнил, что современной науке известны способы сохранения тела усопшего в течение длительного времени, достаточного для того, чтобы народное сознание сумело свыкнуться с мыслью, что Ленина больше все-таки нет». Предложение Сталина было тогда решительно отклонено Троцким, Бухариным и Каменевым. Троцкий подчеркивал, что «бальзамировать останки Ленина — это значит под коммунистическим флагом воскресить практику русской православной церкви поклонения мощам святых угодников».

Первое бальзамирование тела В. И. Ленина обычным способом было произведено по заданию правительства А. И. Абрикосовым в первую же ночь после смерти 22 января «с целью предохранения его (тела.— *О. В.*) от всяких внешних изменений на несколько дней до предания его земле». В эти траурные дни в письмах трудящихся по увековечению памяти Ленина, печатавшихся в газетах, были предложе-

нии о создании памятника, образовании денежного фонда, о некоторых переименованиях, были и настойчивые требования петроградцев похоронить Ленина в Питере, но среди всех этих опубликованных материалов, никак не просматривается идея выставить бальзамированное тело в склепе. В отчете Комиссии ЦИК, опубликованном позже, в 1925 году, между тем говорится, что подобные пожелания высказывались в письмах и телеграммах, полученных Комиссией, начиная с 23 января. Именно на них и ссылался Президиум ЦИК в принятом в 11 часов утра 24 января постановлении: «Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК Союза ССР, и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем, Президиум постановляет: 1) гроб с телом В. И. Ленина сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения; 2) склеп соорудить у Кремлевской стены...». Обтекаемая формулировка постановления о сохранении гроба в склепе для прощания, но без указания срока, предоставляет исследователям возможность трактовать документ как решение о бессрочном сохранении тела. Однако все доступные источники — газетные информации, мемуары — говорят о другом: январское решение нельзя считать окончательным. К тому времени в верхах не сложилось единого мнения о ритуале: кремация, погребение или оставление тела в склепе, открытом для посещения. Наряду с воспоминаниями Валентинова, другими мемуарами, об этом свидетельствует суждение народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко. «Красная газета» (Петроград) 26 января писала так: «...по вопросу о погребении тела Владимира Ильича Н. А. Семашко считает необходимым его сожжение. Он считает возможным сохранение тела в бальзамированном состоянии до постройки спецкрематория, в котором можно будет сжечь тело». (Тогда в России ещё не существовало крематориев.— *О. В.*) О разногласиях вспоминал и В. Д. Бонч-Бруевич: «Временный мавзолей, как он был задуман ранее, превращался в постоянный, так как в эти дни было решено бальзамировать тело Владимира Ильича (речь идет о повторном бальзамировании.— *О. В.*). Идея эта быстро охватила всех, была всеми одобрена, и лишь я один, подумав, как бы сам Владимир Ильич отнесся к этому, высказался отрицательно, будучи совершенно убежден, что он был бы против такого обращения с собой и с кем бы то ни было: он всегда высказывался за обыкновенное захоронение или за сожжение, нередко говоря, что необходимо и у нас построить крематорий. Надежда Константиновна, с которой я интимно беседовал по этому вопросу, была против мумификации Владимира Ильича. Так же высказывались и его сестры Анна Ильинична и Мария Ильинична. То же говорил и его брат Дмитрий Ильич. Но идея сохранения облика Владимира Ильича столь захватила всех, что была признана крайне необходимой, нужной для миллионов пролетариата, и всем стало казаться, что всякие личные соображения, всякие сомнения нужно оставить и присоединиться к общему желанию.

— Ну что же! — подумалось мне.— Такова его счастливая и великая судьба! Пускай и после смерти, как и при жизни, послужит он пролетарскому делу, делу рабочего класса». О протестах семьи писала и А. М. Ларина, ссылаясь на Бухарина.

Итак, идея бальзамирования тела Ленина существовала. Ее оставалось провести в жизнь. Из-за разногласий в верхах, из-за сопротивления родных, этого нельзя было сделать сразу. Поэтому и газетные репортажи о подготовке к похоронам и о самой церемонии столь туманны и полны недоговоренностей: «У входа в склеп знамена скрещены, и гроб скрывается от взглядов десятков тысяч глаз, провожающих своего вождя».

С 23 февраля склеп некоторое время оставался открытым для посещения. Однако первоначальное бальзамирование не было рассчитано на длительный срок — на теле покойного появилась пигментация. Вопрос о сохранении тела встает ребром, и именно тогда он решается принципиально. В конце февраля по указанию Сталина, как свидетельствует биохимик Б. И. Збарский в своей книге «Мавзолей Ленина», Комиссия по увековечению памяти В. И. Ленина созвала совещание с видными учеными, на котором было сообщено, что партия и правительство решили удовлетворить просьбу народа о сохранении тела Владимира Ильича и Комиссия просит ученых высказаться о возможности этого. Большинство московских и ленинградских ученых не видели такой возможности. Взялси за эту трудную задачу харьковский анатом В. П. Воробьев. Вопрос о повторном бальзамировании тела обсуждался на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 17 марта, где по докладу Ф. Э. Дзержинского и было принято окончательное решение. Исследователям до сих пор не удалось познакомиться с текстом доклада Дзержинского — он по-прежнему укрыт в «спецхранах», так же, как и письма трудящихся с предложениями бальзамировать тело вождя.

25 марта «Правда» опубликовала решение Комиссии по увековечению памяти Ленина: «...принять меры, имеющиеся в распоряжении современной советской науки, для возможно длительного сохранения тела Ленина». 26 марта группа Воробьева и Збарского приступила к работе.

Предположим, что пожелания о сохранении тела Ленина действительно родились в «гуще народа», а не были инспирированы. Тогда почему из множества предложений, в том числе, например, и о захоронении Ленина в Петрограде, руководство вняло лишь тем, что отвечали его интересам, и оставило без внимания остальные?

«Ленин и из гроба продолжает служить делу социальной революции» — этот мотив бесконечно повторялся в газетах. Это ли не подтверждение тому, что выпестованная Лениным партия использовала имя и даже тело Ленина в своих политических целях? «Цель оправдывает средства». Принцип «полезности», «революционной целесообразности» позволял во имя высших целей пренебречь тонкими этическими соображениями, пренебречь даже волей умершего, его принципиальной позицией в этом вопросе, желанием родных и близких. Н. К. Крупская так и не смогла с этим смириться, и в мавзолей ходила крайне редко, это было слишком тяжело для нее, как свидетельствует сопровождавшая ее В. С. Дридзо, секретарь Крупской, в беседе со мной.

Соответствовал ли *уникальный* ритуал массовому, обыденному представлению о похоронах? Во всяком случае ленинградские газеты писали в те дни об *общепринятом* церемониале: «Сегодня в Москве прах великого учителя будет предан земле». «Вчера тело Ленина опустили в землю, освобожденную им от власти угнетателей».

Как этот церемониал реально преломлялся в сознании народа, говорят немногочисленные фольклорные свидетельства. Например, вятская сказка 1925 года.

«Вот сидит раз Ленин у себя в комнатке после обеда и разные книжки и газеты почитывает. Только в какую газету ни заглянет, какую книжку ни раскроет, все про себя чтение находит... Чудно стало Ленину...

Вызывает он доктора и говорит:

— Можешь сделать так, чтобы я умер, только не совсем, а так, для виду?

— Могу, Владимир Ильич, только зачем же это?

— А так,— говорит,— хочу испытать, как без меня дела пойдут. Чтой-то все на меня сваливают, во всяком деле мной загораживаются.

— Что ж,— отвечает доктор,— это можно. Положим тебя не в могилу, а в такую комнату просторную. А для прилику стеклом накроем, чтобы пальцем никто не тыкал, а то затычут.

— Только вот что, доктор, чтобы это было в пребольшом промежду нас секрете. Ты будешь знать, я да еще Надежде Константиновне скажем.

И скоро объявили всему народу, что Ленин умер.

Народ заохал, застонал, коммунисты тоже не выдержали — в слезы... Положили Ленина в амбаришко — маразолей называется, и стражу у дверей приставили...»

Далее рассказывается о том, как Ленин просыпается по ночам и идет в Кремль, на завод, в деревню, разговаривает с людьми, проверяет, как идут дела. Все в порядке. «В мавзолей лег успокоенный... Теперь уже, наверное, скоро проснется. Вот радость-то будет».

Факт сохранения нетленного тела в сознании простого народа был признаком святости. Возможно, формирование образа божества и было осознанной или неосознанной целью мумификации тела вождя. Раз тело нетленно, значит, вождь бессмертен — этот мотив повторяется и в узбекской песне:

«Ленин ли умер? Нет, умерло его тело.
А сам он не мог умереть. Пророки не умирают...
...Он не умер. Это видно из того, что его тело
До сих пор цело. А тело всякого другого
Давно бы стало прахом.
Он спит, и иногда
Он открывает глаза, и они горят радостно,
Потому что он видит, что у него есть достойные заместители
В лице Рыкова и Калинина;
Он видит, что они не допустили смуты
и исполнили все его приказания.
Пусть спит спокойно.
Он может быть уверенным,
Что ни одного его слова не переиначат».

Эти легенды объясняют место, которое занимал Ленин в сознании простого народа,— место, предназначенное для божества, в какой-то степени — для доброго царя. Мифологизированное сознание жило по своим законам.

Непосредственную реакцию населения на смерть вождя рисует документ, выявленный недавно в фондах Государственного музея Великой Октябрьской социалистической революции. Это «спецсводка» ГПУ об отношении рабочих, служащих и учащихся Петрограда к смерти Ленина. Она составлена на основе донесений тайных осведомителей и является свидетельством тотального контроля государства не только за поступками, но и за мыслями и чувствами граждан, который к январю 1924 го-

да уже действовал как хорошо отлаженный механизм. К тому же сама история этого документа несет на себе печать тоталитаризма.

Сводка предназначалась для начальника секретной оперативной части Петроградского губернского отдела ОГПУ (эту должность занимал тогда Иван Леонтьевич Леонов) и секретаря ПК РПК(б). Документ поступил в фонды музея из семьи Леонова (1888—1938). И. Л. Леонов был рабочим. Член РСДРП(б) с 1912 года, в феврале 1917 года — член исполкома райсовета Петрограда, в 1918 — председатель Василеостровского райсовета, член коллегии Петроградской ЧК. в 1931 году — председатель ЧК Сибирского края. К



Траурная демонстрация в Петрограде на площади Жертв революции в день похорон В. И. Ленина



Подготовка котлована для первого мавзолея (склепа)

моменту ареста 31 августа 1937 года И. Л. Леонов работал директором одного из Кокандских заводов; в 1938 г.— расстрелян, в 1957 г.— реабилитирован.

Его жена А. С. Самоварова 16-летней девушкой участвовала в гражданской войне как медсестра. В 1921 году по рекомендации партии направлена на работу в ЧК. В 1937 году, когда арестовали мужа, друзья, чтобы спасти ее от репрессий, помогли ей устроиться на другую работу. Несмотря на то, что это было очень опасно, она продолжала хранить документы, оставшиеся от мужа. Характерный для того времени эпизод: когда ее сестра узнала об этом — в ужасе принялась их жечь. То, что Самоваровой А. С. удалось выхватить из огня, она и сохранила.

Документ помечен датой 23 января 1924 года и представляет из себя 27 кратких сообщений с 11 заводов, из театра оперы и балета, из двух институтов и университета, а также с главного телеграфа, центрального рынка и из районов. Абсолютно все донесения отмечают подавленное, скорбное настроение большинства жителей Петрограда. Например, сообщение с Невской бумагопрядильной фабрики: «Настроение рабочих в связи с кончиной тов. Ленина — подавленное. Сообщение, полученное во время собрания Воспоминаний о 9-м Январе (присутствовало 1700 чел.), было встречено слезами рабочих, около 20 чел. было вынесено из зала. Собравшиеся просили ходатайствовать перед Центром похоронить тов. Ленина в Петрограде. Среди массы идут разговоры о преемнике тов. Ленина, намечаются: тт. Рыков и Каменев и некоторыми тов. Калинин. Контрреволюционной агитации ие замечаетси».

Что касается предложений по увековечению памяти Ленина, то в сводке звучит единственный вариант, который повторяется в семи сообщениях: похоронить Ленина в Петрограде. Это желание обосновывалось рабочими тем, что «тов. Ленин среди питерских рабочих начал свою революционную деятельность и больше связан с рабочим Питером». К тому же в Петрограде на Волковом кладбище складывался семейный некрополь Ульяновых: там были похоронены сестра Ольга Ульянова, мать Владимира Ильича Ленина Мария Александровна, зять М. Т. Елизаров. Правда, по даиным ИМЛ, нет иикаких документальных или мемуарных источников о желании Ленина быть похороненным там. Данное предложение, скорее всего, непосредственная ини-



Первый мавзолей (склеп)



Рабочие у входа в первый мавзолей (склеп)

циатива жителей Петрограда. В сводке есть лишь предложение по переименованию Петроградского района в район имени Ленина, оно высказано рабочими телефонно-телеграфного завода им. Кулакова. Более ни о каких иных формах увековечения памяти вождя, которых бы желали рабочие, в сводке не упоминается.

Здесь надо отметить, что, когда сообщения с заводов попадали в официальные органы печати, они видоизменялись. Так, в отчете о собрании на заводе им. Кулакова, опубликованном в «Красной газете» 25 января, работники просят уже не только о переименовании района, но и города. Предложение о переименовании города в Ленинград было внесено Г. Зиновьевым в письме в Петросовет, опубликованном в этот день.

В книге Б. Збарского «Мавзолей Ленина» приводится пожелание рабочих и инженеров Путиловского завода «не хоронить дорогое тело Владимира Ильича», хотя в донесении ГПУ с этого завода подобных просьб не зафиксировано. По-видимому, на этапе опубликования информация подправлялась и дополнялась в нужном направлении.

Пять раз в сводке говорится о предложениях прекратить работу по случаю траура, но после разъяснения коммунистов, как сказано в сводке, работы везде продолжались. Во многих донесениях заметно разделение массы рабочих на особые страты — членов партии и беспартийных. О реакции каждой из этих страт сообщается отдельно, подчеркивается, когда даже беспартийные относятся к кончине Ленина с соболезнованием. Например, на заводе им. Макса Гельца (ныне «Леннполиграфмаш») «настроение рабочих подавленное, к членам РКП относятся сочувственно, рабочие задают вопросы коммунарам (то есть членам партии), почему сегодня работают заводы».

В пяти сообщениях бдительно фиксируются малейшие признаки нелояльного отношения к Ленину, как к олицетворению власти, в этом случае сведения зловеще уточняются — фамилия, имя, адрес: «Замечен во враждебном отношении к покойному мастер Николаев Николай Дмитриевич (прож.: Б. Разночинная, 9)». Информация, касающаяся Петроградского университета, целиком негативная: «Экстренное сообщение о кончине тов. Ленина быстро распространилось среди студенчества. У пролетарского студенчества настроение печальное. Среди контр-революционного элемента замечается радость, говорят, что тов. Ленин — давно прогнивший труп и что не будь он этим трупом, не было бы и Октябрьской революции; белоподкладочники поговаривают о восстании, и что они примут участие в таковом, надеются, что со смертью Ильича начнутся раздоры в РКП». Сообщение адресов замеченных в нелояльности говорит о том, что информация имела не только иллюстративные цели, но и, возможно, репрессивные последствия.

Секретная информация ГПУ показывает настроения жителей Петрограда, несколько отличающиеся от парадной картины. Сравнение донесений с официальными сообщениями позволяет уяснить, какие предложения по увековечению памяти Ленина исходили от народа и какие «сверху». Картина непосредственной реакции, представленная сводкой, отражает вполне естественные проявления печали людей, не выходящие за пределы здравого смысла, лишенные исступления и фанатизма, характерных для культовых проявлений. Корни для формирования культа в общественном сознании были, но без направляющей и организующей руки власти естественные проявления скорби постепенно угасли бы с течением времени и не воплотились бы в те крайние формы, которые знала наша история. Культ вождя, всеохватывающий контроль государства над гражданами, над средствами массовой информации — эти свойства тоталитарной системы нашли отражение в рассмотренных документах.

Дело прошлое

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

ПЕРЕД ОБВАЛОМ

Спутник блестящей когда-то «звезды» Столыпина, умница, Мефистофель и властолюбец, мало во что верил Сергей Ефимович Крыжановский. Зато умел, как никто, работать. Имел волю. И, увлекаясь делом, всегда отличался чрезвычайной живостью в обращении и в работе (черты талантливого человека).

В министры Крыжановский не вышел. Но просиял «собственным политическим светом». И как спутник министра и как искусный делец за кулисами Государственного Совета — он был всегда, насквозь, чисто политическою фигурой. Прирожденным политиком.

Смолоду левый, казавшийся ярко левым даже и в либеральном министерстве юстиции, друг князя Д. И. Шаховского, Крыжановский стал впоследствии, под влиянием жизненного урока смуты, «правой рукой» П. А. Столыпина. Правой — и в деловом и в политическом смысле. Близость к Столыпину быстро вознесла его вверх по служебной лестнице: товарищ министра, государственный секретарь, статс-секретарь его величества. Но та же близость, в конце концов, преградила ему путь к настоящей власти. Болезненная ревность императрицы Александры Федоровны к чрезмерно властному, по ее оценке, Столыпину, была перенесена «по наследству» и на С. Е. Крыжановского.

По «Письмам императрицы» видно, какую бурю вызвала в ней кандидатура Крыжановского осенью 1915 года в министры внутренних дел. В те дни искали «правого человека» — на смену князю Н. В. Щербатову, обвиненному чуть ли не в «конкубинате со смутой» (известные стихи, приписываемые Мятлеву). Императрица «нашла» — Алексея Николаевича Хвостова. Но Горемыкин — премьер — долго противился этому назначению. Боялся молодости и разбойничьего наскока Хвостова. И тщетно выдвигал тогда Крыжановского. Тот тоже был, на его вкус, «молод», тоже был крут и по-американски напорист. Но зато имел неоценимое преимущество «школы», традиций русской исторической государственности.

В те же сентябрьские дни, когда с таким треском провалилась политическая кандидатура Крыжановского в министры внутренних дел, бесшумно проваливалась и другая, чисто деловая кандидатура: в министры земледелия — Г. В. Глинка. Психология отказа была та же: Глинка казался слишком близким спутником другой, также «закатившейся» в сердце императрицы звезды — А. В. Кривошеина.

Обстоятельства этого эпизода, отставки Кривошеина и неназначения Глинки, мне хорошо памятны. Пока еще не все былое унесено, вместе с жизнью, забвением,— и пока еще не все люди прошлого одинаково стерты и обезличены надвигающимся туманом,— хочется исправить то, что есть недоговоренного и неясного в представлениях огромного большинства эмиграции — о том, что же именно происходило «перед обвалом».

Обвал власти, повлекший за собою развал и жизни, начался и принял опасный, неудержимый характер со второго года войны. Тогда стала безвыходно нарастать распря: «Императрица — Дума».

Много было людей, повинных в бесцельном разжигании этой распри. В числе немногих, тушивших опасный пожар, был А. В. Кривошеин.

Причиной отставки Кривошеина считается, обычно, подписанный им и другими министрами протест против принятия на себя Государем верховного командования армией.

Причина, в нашем послевоенном сознании, скорее «неуважительная». Как же это: мешать Государю исполнить свой высший долг, да еще путем подачи, во время войны, какой-то бунтовщицкой «бумаги»...

А между тем именно Кривошеин дал тогда Государю и Совету министров мысль всячески *смягчать* отстранение вел. кн. Николая Николаевича от верховного командования армией, сглаживать углы в этом остром тогда вопросе. Не кто иной, как именно Кривошеин, писал, по желанию Государя, и прощальный смягчающий рескрипт великому князю.

Непримиримым в этом вопросе Александр Васильевич отнюдь не был. Как все тогда — колебался.

В начале августа, числа примерно 10-го, расстроенный Кривошеин сказал мне после доклада (директору канцелярии приходилось часто бывать «конфидентом» министра — в том, что выходило из рамок ведомства земледелия и относилось к общей политике; отрывистые, неохотные фразы министра не были мною тогда записаны, но запомнились, думаю, неискаженными):

— Государь решил встать во главе армии! Жутко!.. При его невезении, в разгар неудач!

— Что же, избавимся от генерала Янушкевича... Вы же так поносили его при нашем возвращении из Ставки.

— Это совершенно второстепенно. Государь... Не идет ли он прямо навстречу своей гибели?

— Так не прятаться же царю от своего жребия!

— Легкомысленное, как всегда, рассуждение,— был хмурый ответ начальства.— Петербург и Киев накануне эвакуации. Время ли выступать Государю? Удар и по великому князю: смещают — после поражений! Хорошо еще, что делают кавказским наместником... Нет, нет — отложить, подумать, смягчить, ослабить удар. Сделать перемену понятной, подготовить к ней и Россию и заграницу...

Продолжение. Начало см.: Нева, 1991, № 4 6.

— Хорошенько обдумать примирительный — на прощание — рескрипт великому князю...

— Да, конечно. Но как всего этого мало, мало...

Дня через три, поздним августовским вечером, Кривошеин прямо из заседания Совета министров заехал в Английский клуб на набережной и сразу же, круто, забрал меня и увез к себе.

— Великий князь отставляется от командования. Но мысль о рескрипте понравилась. Сазонов говорил о ней с Государем: как бы постлать соломки... Через Сазонова мне же поручено составить проект рескрипта. С таким добавлением (в котором узнаю Государя!): чтобы в рескрипте, кроме похвал великому князю, были хвалебные слова войскам кавказского фронта, во главе которых великий князь ставится. Попробуйте-ка сейчас набросать черновик, пока я отдохну от орания, своего и чужого, в Совете министров. Потом вместе поправим.

Рескрипт был составлен. Но подписан он был и появился дней через десять.

Что же происходило за эти несколько дней задержки?

Раскрываю том дословных записей А. Н. Яхонтова («Архив русской революции», т. XVIII). Секретные прении в Совете министров, августовские тяжелые дни...

И в душу врывается, как будто из невидимого исторического радиоаппарата, оглушительный гул, хрип и рев голосов, хорошо когда-то знакомых. Угадываешь и тембр, и интонации каждого. Голоса русских людей, мечущихся, охваченных жуткой, предсмертной тревогой за родину.

«...А старик так премудр. Когда другие ссорятся и говорят, он сидит расслабленно, с опущенной головой. Но это потому, что он понимает, что сегодня толпа воет, а завтра радуется, и что не надо дать себя унести меняющимся волнам».

Это уже не из книги Яхонтова, это из писем императрицы. Так картинно передаются Государю слова «Друга» (Распутина) о Горемыкине. Какой верный и замечательный образ! Он все время стоит перед глазами, пока читаешь яхонтовские записи. Вообще их надо непременно читать параллельно с письмами императрицы. Только так становится ясным многое, что было тогда неизвестно и автору записей, и министрам.

Ценность, точность и подлинность яхонтовских записей несомненны. Это не мешает им быть проникнутыми глубоким преклонением автора перед памятью Ивана Логгиновича Горемыкина. Но суждение о политическом деятеле должно быть свободно.

Лучшие воспоминания о семье Горемыкиных (дружба с сыном премьера) рисуют и мне привлекательный образ властного и умного старика, с большим достоинством, безупречною обходительностью и редкою внутреннею твердостью. История воздаст должное и политической силе этого человека — силе сопротивления.

Твердость! Нет высшей похвалы политику и мужчине. Но и твердость и волевое упорство не могут быть беспредметными, не должны переходить в безразличие.

Политическая роль И. Л. Горемыкина, его влияние на Государя и, в особенности, союз его с императрицей в решающие дни «перед обвалом» кажутся мне, и казались всегда, отрицательными.

Со времени роспуска первой Думы Горемыкин сохранял предубеждение против думцев. Но с тех пор многое изменилось. Дума была «укорочена» Столыпиным («по Крыжановскому»). Зато думская работа наладилась.

Этого-то правые круги никогда Столыпину и не простили! Им и Столыпин казался «левым»!

Для Кривошеина сближение и работа со Столыпиным были поворотным пунктом всей его жизни. Из правого политического деятеля он стал — «центральным». Работать с Думой; во главу угла ставить хозяйственное укрепление России «снизу»; прекратить наверху междоусобицу русских образованных людей, деление их на «мы» и «они». Одновременно подавлять воинствующую революцию, силы и шансы которой явно ослабевали по мере того, как страна *богатела*. Такова была продолженная и разработанная Кривошеиным «столыпинская традиция».

В первые месяцы войны и подъятого войной энтузиазма Кривошеин оказал власти и лично Горемыкину как премьеру неоценимые услуги, был «живой связью» с Думой.

Постепенно энтузиазм слабел: расхождения нарастали. Кривошеин, хотя и с оговорками, осуждая Думу во многом, верил в ее патриотизм, считал, что нельзя воевать в ссоре с обществом и ссорил обеим сторонам: «Надо ладить». Горемыкин вернулся к своей исходной точке: «пренебрегать». И увы! учил этому Государя, влиял на него в эту сторону — разлада, влиял всем своим авторитетом.

Умнейший человек, выдвинутый когда-то «за ум» Победоносцевым, Горемыкин всегда был «философом» и к своей растущей непопулярности относился более чем спокойно. Говорил: «Я счастлив отвлекать на себя от Государя общественное неудовольствие». Но своим упорством он, пожалуй, и навлекал на Государя часть лишних неудовольствий!

В позе Горемыкина — «служение только монарху» — было много искреннего старозаветного рыцарства. Но была и доля политического лукавства.

Никогда не забуду, как тот же С. Е. Крыжановский при встрече со мною в Мариинском дворце, на заседании Романовского комитета, членом которого я состоял, обратился ко мне, в перерыве, со своей обычной насмешливостью: «А не назначат вашего-то (Кривошеина) премьером! Иван Логгинович прочно окопался в своей непопулярности».

Происходил обычный в политике самообман и сдвиг настроений. Если бы вместо Горемыкина был поставлен царем кто-либо, лучше умевший ладить с Думой — тот же Кривошеин, или Григорович, или Харитонов,— вероятно, содержание и направление правительственной работы изменилось бы — во время войны! — очень мало. Но отношения сложились бы другие. Власть выиграла бы время у революции. Легче было бы «дотянуть» — до улучшения дел на фронте...

Но положение обострялось и разжигалось — почти нарочно!

Больной вопрос о смене премьера неожиданно запутался в один тугой узел с вопросом о смене верховного главнокомандующего. Запутался — к явной (на короткое время) выгоде для И. Л. Горемыкина. Но в итоге, думаю, к большому несчастью даже и лично для Ивана Логгиновича.

В вопросе о верховном командовании скоро выяснилось, что сам великий князь Николай Николаевич принял известие о своем назначении на Кавказ «как милость». Он даже торопил с этим! Пришлось бы умолять великого князя оставаться...

Настроения в Совете министров по этому поводу менялись, были и приливы и отливы. Кривошеин колебался и нервничал. Но непримиримым до конца, в вопросе о командовании Государя, был, из всех министров, только один — Самарин...

Температура в Совете министров поднялась, и страсти вновь накалились, когда посыпались телеграммы общественных учреждений с выражением «доверия» великому князю главнокомандующему. С другой стороны, стала известной похвальба Распутина, что это он «убрал» великого князя. Положение на фронте вновь ухудшилось... Заострился и вопрос о роспуске Государственной Думы.

Всем (в том числе и самим думцам) ясно было, что в военное время Думе особенно «разговаривать» нечего. Но тем полезнее казалось, чтобы на время отсутствия Думы власть находилась в руках людей «коронных», избранных царем, но не нарочито резко не популярных.

Кривошеин предложил тогда новый компромисс в вопросе о верховном командовании: царь берет командование, но оставляет великого князя своим помощником. Кривошеин затеял и собрание министров у самого Государя — для решения вопроса о внутренней политике на будущее: ладить или пренебрегать.

Заседание у царя состоялось 20 августа. Вопрос о его командовании решен был бесповоротно утвердительно. Вопрос же о политической линии был отложен. Но симпатии Государя скорее склонялись вправо: пренебрегать.

На следующий день, в отсутствие Кривошеина, в Совете министров произошли неслыханные по резкости прения. Горемыкина упрекали в разжигании болезненной ревности Государя к Думе и к великому князю, в непонимании положения, в личном упорстве и нежелании уйти и т. д. Тут же, по предложению морского министра Григоровича, в отсутствие, повторяю, Кривошеина, и решено было написать злосчастное общее письмо к Государю по двум темам: 1) не брать командования и 2) «убрать Горемыкина» (так формулировал эту вторую часть сам Иван Логгинович).

Письмо писал А. Д. Самарин. Очень горячо — и столь же неудачно. С явным непониманием царской психологии, с упором на безвозвратно проигранный пункт о командовании. Собрал министров у себя — для подписи письма — Харитонов. Кривошеин не был ни инициатором, ни автором письма. Но не подписать его, из солидарности, он уже не мог, даже чувствуя ошибочность тона. Также подписали (и остались впоследствии на своих местах) министр финансов Барк, министр торговли князь Шаховской, министр народного просвещения граф Игнатьев. Военные люди — Григорович и Поливанов — уклонились от подписи, но доложили Государю о своей солидарности с письмом.

Словом, *вне* письма оказались из всего Совета министров только двое: Горемыкин, против которого острие письма было направлено, и бывший директор горемыкинской канцелярии по министерству внутренних дел Ал. Ал. Хвостов (министр юстиции).

Самаринское письмо оканчивалось восклицанием: «Мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и родине».

Бунт, «забастовка министров»,— возмущалась императрица Александра Федоровна. Но и в сознании императрицы то был бунт не против Государя, а лично «против старика» — И. Л. Горемыкина.

Смена военного командования произошла, как Государь сообщал жене, «удивительно хорошо и просто». И очень скоро — уже 23 августа.

«Царь в гладких, красивых выражениях дал отставку великому князю»,— так называлась очередная корреспонденции

«Таймса». Докладывая Кривошеину вырезки из иностранной печати, не без удовольствия обратил я его внимание на эту заметку. Ответ был:

— Государь страшно доволен всем. И рескриптом, и названием «Царская Ставка», и поведением великого князя, а главным образом — своей собственной твердостью.

Победив в этом вопросе министров, пастояв на своем, Государь склонен был отнестись благодушно и к тем, кто тщетно сопротивлялся его командованию. Таков уж был царский характер! Вот если бы, наоборот, Государь был вынужден уступить министрам и отказаться от своего намерения,— о, тогда бы он никогда им этого не простил. Восторжествовав же над мнением своих советчиков, царь как бы утрачивал внутреннее побуждение их увольнять. Многие из подписавших письмо и остались. Ушли только наиболее враждебные «другу». Или близкие Думе.

Вопрос, кто уйдет — Горемыкин или «бунтовщики», был нерешенным почти три недели.

По письмам императрицы видно с неотразимостью, что вся сила положения Горемыкина заключалась тогда, в ее глазах, в его непопулярности в Думе. «Только не увольняй старика сейчас, ибо это-то им и желательно». Так же неотразимо вытекает из писем, что сам Горемыкин — хотя и заявлял министрам, что он «был бы счастлив уйти»,— в действительности энергично защищал свое положение, действуя через императрицу.

Письмо царицы от 23 августа:

«Старик был у меня. Он возмущен и в ужасе от письма министров... Ему трудно председательствовать, зная, что все против него и его мыслей, но никогда не подумает подать в отставку... Я просила его быть как можно энергичнее. Бедняга, ему было так больно читать имена подписавшихся против него».

7 сентября: «Бедный старик искал у меня поддержки, говоря, что я — сама энергия... На мой взгляд, лучше сменить бастующих министров, а не председателя... Наш друг прислал ему ободряющую телеграмму».

Горемыкин неоднократно ездил к императрице с докладами. Императрице это льстило; но в ее письмах выражается и тревога, что об этих поездках становится известным печати.

«Государь на фронте, царица должна помогать ему, *заменять* его в управлении. Так думают Андроников, Хвостов и Варнава». Министры против? Значит, они «не преданные люди». Такова была гибельная точка зрения, временно поддержанная Горемыкиным.

В начале сентября императрица писала: «Приняла Игнатьева. Они должны знать мое мнение о них и о *Думе* (подчеркнуто императрицей), я говорила о старике, об их безобразном отношении к нему, и обратилась к нему как бывшему преображенцу с вопросом, что стали бы делать с офицерами, которые бы подкапывались под своего командира, жаловались на него, ставили ему препятствия и выражали бы свое нежелание с ним работать,— они бы моментально вылетели!»

12 сентября: «Старик, который был у меня вчера вечером, очень расстроен. Он жаждет твоего возвращения... Нужно решить, уходит ли он или он остается, а меняются министры, что было бы, конечно, лучше всего».

Государь, как известно, уступил в конце концов настояниям императрицы. 16 сентября он вызвал к себе в ставку министров, сделав им, по горемыкинскому выражению, «нахлобучку». На следующий день после этого царь писал жене: «Вчерашнее заседание ясно показало мне, что некоторые из министров не желают работать со старым Гор., несмотря на мое строгое слово, обращенное к ним; *поэтому*, по моем возвращении, должны произойти перемены».

В ближайший же сентябрьский доклад у Государя Кривошеин подал в отставку. Перед отъездом он волновался, впервые на моей памяти, не зная, что именно Государь ему скажет. Вернувшись, коротко бросил:

— Я уволен.

Ясно было: уходит. Но не сразу можно было добиться от него правды.

Государь принял отставку Кривошеина, почти ей обрадовался, был, видимо, благодарен, но взял с Александра Васильевича слово, что тот останется еще месяц. «Сейчас ваш уход был бы демонстрацией против меня». Надо было вынуть политическое жало у этой отставки, надо было несколько обесценить и ее, и министра. Кривошеин принес эту верноподданническую жертву честно. Он «вознаградил» себя только тем, что не просто вышел в отставку, но уехал на фронт уполномоченным Красного Креста. Служба родине продолжалась.

Белецкий, один из закулисных участников «свержения» Кривошеина, в своих показаниях революционной следственной комиссии рассказывает об этой отставке, но в его показаниях нет ни слова о протесте против смены военного командования! «Горемыкин, боявшийся заместительства Кривошеина, постепенно и умело подготовил свой удар последнему». Посеял в душе Государя «семя недоверия» к общественным выступлениям Кривошеина.

Теперь все это — дело прошлое. Тыловой иеизвестный солдат, погубивший Россию, чтобы не идти на фронт, не думал ни о Горемыкине, ни о Кривошеине, ни о Думе. Ему было — «все одно, наплевать!»

К сожалению, та же формула «наплевать!», только в менее грубом ее выражении — «пренебречь», была усвоена сверху.

Ненужное взаимное озлобление между родственными группами культурных русских людей, горячо преданных родине, разгоралась — на радость вожакам красной черни. Вариант «ладить» испытан в нужную психологическую минуту не был.

Кривошеин сознавал слабость и примирительной позиции. «Наша либеральная пьеса,— говорил он мне вскоре после ухода,— из рук вон плохо игралась. Плохо и нами, министрами, и — еще хуже! — Думой. Всею русскою жизнью!.. Бестолково, нестройно, зря, несуразно. Но ведь там, в окружении императрицы, непримиримом и замкнутом, там — жуткая пустота смерти...»

Кривошеин и, с не меньшей силой, Сазонов не уставали повторять в Совете министров: «Нельзя власти висеть в безвоздушном пространстве и опираться только на одну полицию... К чему поддерживать в законодательных учреждениях озлобленность и напряженность? Это грозит конфликтами, особенно опасными в дни войны». И. Л. Горемыкин с твердостью отвечал (книга Яхонтова, стр. 120): «Это, все равно, пустяки».— «Нет, не все равно и не пустяки!» — выходил из себя Сазонов.

«Сазонов потерял голову, волнуется и кричит на Горемыкина»,— отмечает в своих письмах императрица. «Мой приятель Кривошеин — тайный враг, неверен старику. Что с ним случилось?»

«Неверен старику...» Для Кривошеина лично был тяжел разлад с И. Л. Горемыкиным. Но пойти на открытое пренебрежение к русскому обществу Кривошеин не мог, не становясь неверным самому себе!

Независимый от петербургских министерских влияний П. Б. Струве так (печатно) характеризовал А. В. Кривошеина и его роль:

«В старой России всегда бывало в ее бюрократическом аппарате одно ведомство, которому в культурной работе, производимой государственной машиной, принадлежала руководящая роль. С половины 60-х годов XIX века до первого десятилетия XX века эта роль принадлежала министерству финансов. При А. В. Кривошеине она совершенно явственным образом перешла к министерству земледелия, которое стало фокусом культурной работы всего государства...»

«...Любя Россию, Кривошеин научился *ради нее* духу соглашения. Человек консервативных убеждений, монархист по чувству и по разуму, он стал к концу жизни принципиальным сторонником широкого политического компромисса. Он стал таковым из политического реализма и в пределах, им диктуемых».

«...Как государственный деятель, он стал ловцом человеков, беря их везде, где только он их замечал, и с несравненным искусством ставя их на службу государственному делу...»

Все это придавало ему немалый вес в глазах и Государя, и Думы, делало его центральною политическою фигурою того времени. Поэтому Государь, чуткий и нерешительный, был озабочен: как все-таки ослабить, смягчить впечатление от этой отставки? Где найти заместителя с именем — общественным и достаточно веским?

Более последовательный и упорный И. Л. Горемыкин не считал нужным даже и «смягчать» увольнения Кривошеина. Он представил на его место просто «правого» Ст. Ст. Хрипунова, бывшего управляющего Крестьянским банком. Со своей стороны, Кривошеин возил тогда к Государю Глинку. (Он рассказывал мне потом, что Глинка чересчур волновался, «не вовремя вошел, не вовремя вышел...» Живо себе это представляю. Г. В. Глинка был монархистом, ребячески обожавшим Государя, и чувствовал себя в его присутствии «не на твердой земле».)

От окружения императрицы подослан был тогда «смотреть» Глинку пресловутый князь Андроников. Но Глинка его чем-то (невольно) обидел. Притом в глазах императрицы Глинка вообще был яблочком с кривошеинской яблони. В итоге, несмотря на любезное обещание Государя, кандидатура Глинки всерьез, в сущности, даже не ставилась — как и кандидатура, впрочем, Хрипунова. Императрица писала: «Тот, кого предлагал Горемыкин, немногого стоит,— забыла его имя».

На смену Кривошеину выплывало — к неудовольствию Горемыкина — новое для него имя самарского предводителя А. Н. Наумова. Императрица писала Государю в ноябре (так затянулось подыскание преемника Кривошеину!): «Оказывается, старик предложил министерство Наумову в столь нелюбезной форме, что тот отказался. Хвостов виделся после этого с Наумовым и уверен, что тот согласится и будет счастлив, если ты его просто назначишь. Он очень порядочный человек,— он нам обоим нравится».

Выбор действительно был удачен. Но, оставаясь в рамках темы, я должен проследить не судьбу министерства земледелия, а политическую судьбу И. Л. Горемыкина после его сентябрьской победы.

Победа эта была одержана в союзе с императрицей и ценою признания ее самодержавия. Последствия не замедлили сказаться — на самом же Иване Логгиновиче.

Раньше еще можно было бороться у Государя с влиянием императрицы. Даже

накануне увольнения Кривошеина, Сазонова, Самарина и Щербатова, императрица еще несколько волновалась: «Боюсь, что старик не сможет оставаться, раз все против него...» «Надеюсь, что ты разгонишь Думу; только кто сможет ее закрыть, раз старик боится оскорблений?»

После этой победы все стало казаться возможным. Недаром императрица писала: «Это последняя внутренняя борьба».

Когда Горемыкин попробовал сопротивляться назначению министром А. Н. Хвостова, у Государыни стали срываться в письмах фразы: «Со стариком нечего считаться... Милый старик слишком дряхл... Стар и не может применяться к новым требованиям...»

Ему было уже почти обещано звание канцлера. Но стоило старику показаться раз-другой несговорчивым — и все рушилось. Даже в вопросе о новом созыве Думы «старик» скоро оказался — о, насмешливая судьба! — «не прав и напуган».— «Наш Друг виделся со стариком, который очень внимательно его выслушал, но стоял на своем. Он намерен просить тебя совсем не созывать Думы (она ему ненавистна), но Гр. сказал ему, что нехорошо просить об этом тебя, так как теперь все желают работать... Нужно оказать им немного доверия».

Доверия Думе оказано не было. Но очень скоро И. Л. Горемыкин, к величайшему своему удивлению, был уволен; пришлось ему неожиданно уступить свое место Штюрмеру и уйти, даже без рескрипта и без графского титула (что предполагалось в сентябре). Белецкий подробно рассказывает, как он предупреждал Ивана Логгиновича о грозившей ему отставке, как тот самоуверенно не допускал даже мысли об этом и как на другой день был убит и подавлен увольнением. Им тоже пренебрегли, но уже без всякого выигрыша для общего положения.

Все назначения (через Друга) становились отныне возможными. В служилых кругах подымалось чувство права и чувство чести, главная опора монархии. Скоро и великие князья оказались «тайными врагами». Жуткая пустота вокруг трона ширилась.

В этих условиях «дотянуть» до военных удач на фронте было уже нельзя.

Ярким мученическим венцом искуплены все невольные прегрешения царицы, ослепленной лучшими душевными побуждениями. Но из числа неограниченных возможностей России историей избрана была возможность, казавшаяся ранее самой невероятной: гибели монархии,— и срыва народа в бездну.

1935

Публикация С. С. ТХОРЖЕВСКОГО

Изыскания

Алла Кторова — русская писательница и ученый-лингвист, самоотверженно собирающая и пропагандирующая за рубежом все, что имеет отношение к русской культуре. Закончила Первый московский институт иностранных языков и Джорджтаунский университет в Вашингтоне. В Америке живет с 1958 года. В разгар «оттепели» юной москвичкой она попала на работу в бюро обслуживания иностранцев в гостинице «Москва». Здесь познакомилась с капитаном 1-го ранга военно-морских сил США, участником Второй мировой войны Джоном Шандором. История ее замужества и отъезда из России напоминает занимательный литературный сюжет: «...расписать — расписали (закон, запрещающий браки с иностранцами, был уже отменен), но визу мне не давали, и Джон несколько месяцев обивал всевозможные пороги. Помог случай: на приеме в индийском посольстве он познакомился с Хрущевым, которому дочь посла рассказала нашу историю. Никитушка был в хорошем настроении и приказал выпустить... Короче, мне дали визу за номером пять. Это значило, что я была пятым по счету советским человеком, легально покинувшим страну после смерти Сталина. Уехала я с советским паспортом».

Книги Кторовой «Лицо Жар-птицы», «Экспонат молчащий и другое», «Крапивный отряд», «Дом с розовыми стеклами», «Мелкий жемчуг» широко известны русским читателям за рубежом, а с 1988 года начали издаваться в СССР. Написанные в Америке, все они посвящены России.

Алла КТОРОВА

РУССКИЕ ИМЕНА ЗА РУБЕЖОМ

Со времен Второй мировой войны и по сей день во всех европейских странах, в США, в странах Латинской Америки, в Австралии наблюдается необыкновенная тяга к русским именам. Существует предположение, что мода эта началась сразу же после Второй мировой войны в Германии, на территории которой некоторое время находились советские войска, и офицерский состав мог жить со своими семьями. Именно в то время, начиная с 1945 года, в СССР началось увлечение именами *Наталья* и *Татьяна*. Количество маленьких девочек с именами Наташа и Таня росло в СССР с необычайной быстротой, в то время, как матери и бабушки этих девочек именовались *Екатерина, Анна, Надежда, Александра, София, Ольга* и соответствующими деминутивами *Катя, Аня, Нюра, Надя, Саша, Соня, Оля*. Все эти женские сокращенные имена начали перениматься немецким населением от русских, живших после войны на территории ГДР, и входить в ономастикон этой страны, а потом перешли за ее границы и пошли «путешествовать» по Европе, появившись со временем во всех точках земного шара, включая Африку. Для сравнения можно заметить, что влечение к русским, в какой-то мере «экзотическим» именам в западных странах сегодня не менее сильно, чем тяга к иностранным именам типа *Эдуард, Рудольф, Жанна, Инесса* и т. д., которая наблюдалась в СССР в 20-30 годы.

Однако, по-видимому, указанный путь проникновения русских имен на Запад был не единственным. Америка стала вплотную знакомиться с русскими именами еще в начале XX века. Знаменитый скрипач, выходец из России *Иосиф Робертович Хейфец*, с детства был известен на родине, а потом и во всем мире, как *Яша Хейфец*. Другой скрипач, тоже уроженец России, *Михаил Эльман*, всю творческую жизнь именовался *Миша Эльман*. Русскими уменьшительными именами пользовались родившиеся в России пианист *Саша Городницкий*, пианистка *Витя Вронская*, скрипач *Яша Зайде*, преподавательница музыки *Надя Буланже*, актриса *Лиля Кедрова* и другие выдающиеся деятели русской культуры, творившие на Западе, в частности, в США.

Если в России до революции артисты цирка, а иногда и оперного театра брали себе в качестве сценического иностранное имя, то за границей была обратная картина: представительницы балетного искусства — англичанки, американки, француженки и другие считали за честь носить русские театральные имена. Среди них: *Алисия Маркова* (Lilian Alicia Marks), *Надя Нерина* (Nadin Judd), *Вера Зорина* (Eva Brigitta Hartvay), *Людмила Черина* (Moniqe Tchemersine) и др.

Массовая эмиграция из России в США, начавшаяся в конце XIX в., в ономастическом отношении дала следующую картину: родители-эмигранты продолжали называть своих появившихся на новой земле детей русскими именами, но имена эти неизбежно американизировались. Так *Миша* становился *Майклом* или *Майком*, *Петр — Питером*, *Мария — Мэри* и т. д. Бывали случаи и полной переделки имени или заменены его. Так, русский по имени *Владимир*, за неимением точного эквивалента в английском именнике, начинал носить имя *Уолтер* или *Уильям*, а *Борис* становился *Робертом* по совпадению одного из русских деминутивов имени *Борис — Боб*, употребляемого в среде интеллигенции, с той же формой уменьшительного *Боб* от англосаксонского *Роберт*. *Прасковьи* превращались в *Патти*, *Федосьи* в *Фанни* и т. д. Однако, говоря о начале века, следует отметить, что в те времена именослов США почти не допускал в свой состав ни русских, ни каких-либо других инородных имен, а сами иммигранты всех национальностей старались поскорее американизироваться, чтобы не выделяться из основного состава населения. В связи с этим они в первую очередь меняли свое национальное имя на англосаксонское, чтобы хотя бы своей основной «визитной карточкой» походить на аборигенов Соединенных Штатов.

Правда, в начале 20-х годов среди американской интеллигенции как белой, так и негритянской наблюдался небольшой всплеск моды на имена, образованные от фамилий русских большевиков и коммунистов других стран, но это были лишь единичные случаи, хотя до сих пор можно встретить пожилых американцев, уроженцев США, с официальными именами *Ленин* (Lenin), *Троцкий* (Trotsky), *Радек* (Radec), а в Западной Германии и сейчас живет нестарый еще режиссер, мужчина по имени *Роза фон Праунхайм* (Rosa von Praunheim), названный в память немецкой коммунистки Розы Люксембург. Западные ономасты утверждают, что во время Второй мировой войны в США промелькнуло несколько раз мужское имя *Петя*, данное коренным американцам. Однако все это были лишь очень редкие, единичные случаи, и процесс вживления русских имен в иноязычную среду жителей Нового Света не ускорился даже тогда, когда в Соединенные Штаты начала бурно проникать и становиться предметом внимания и восхищения русская литература.

Обновление инвентаря личных имен в Соединенных Штатах происходит в гораздо большей степени, чем в каких-либо других странах по причине постоянной эмиграции разных национальностей, поставляющих в Новый Свет не только свои обычаи, нравы, традиции и характерные черты образа жизни, но также и свои имена.

В конце прошлого и начале нынешнего веков национальные фамилии и имена представителей разных народов, эмигрирующих в США, подвергались америка-

низации в эмиграционном управлении, лишь только новые эмигранты сходили на берег. Так, *Михаил* и *Анна Степановы* из России записывались как *Майкл* и *Энн Степ*, *Самуил* и *Рахиль Матковские*, супруги еврейского происхождения с Украины, начинали официально именоваться *Сэм* и *Рэчел Мэт*, словены *Божидар* и *Мария Пиплак* стали *Биллом* и *Мэри Пайп* и т. д. Процедура американизации национального имени не была ни насильственной, ни обязательной, но практически это было очень удобно в данной стране, и в дальнейшем новые эмигранты продолжали называться своими американизированными именами и фамилиями. Однако, если их дети еще хорошо знали историю жизни своих родителей, а внуки интересовались этим, то правнуки зачастую проявляли полное равнодушие ко всему, что касалось их родословной, и только за последние 20 лет, когда в Америке вспыхнула тяга к изучению своих этнических корней, состав личных имен в США обновился и стал гораздо разнообразнее, чем был еще 50 лет назад.

В настоящее время наблюдается, правда, в слабой степени, несколько обратная картина. У потомков тех далеких россиян, которые стремились в первую очередь хоть как-то, хотя бы через американизацию своего имени, поскорее приобщиться к общественной жизни новой страны, наблюдается тенденция к возрождению своих национальных имен в их настоящем русском произношении и написании. Так, американка *Кэтрин* (Katherine), начинает произносить и писать свое имя как *Екатерина* (Ekaterina), Элизабет представляется всем как Елизавета и имя свое транслитерирует соответственно как Elisaveta, *Питер* начинает называть себя *Пётр* и пишет свое имя как Piotr, *Мэри* изменяет свое имя на *Марья*, в правописании Marya, а дочь свою называет не *Хелен*, а *Елена* (Elena). Удержится ли эта тенденция и расширится ли она?

У русских по происхождению, попавших в Соединенные Штаты в разные периоды, детям, родившимся уже на новой земле, дают по американскому принципу два имени: одно, имеющее точный эквивалент и звучащее «похоже» на родное русское, и второе американское, хотя и не обязательно английское, но модное в Америке в момент рождения ребенка. Среди мужских имен в русских семьях, попавших в США в 40-60 годы, первое место занимают *Эндрью (Андрей)*, *Питер (Пётр)* и *Майкл (Михаил)*. Имена *Николас (Николай)* и *Алекс (Александр и Алексей)* следуют за первыми тремя. *Владимир* и *Василий* у мальчиков, рожденных в Америке, встречаются крайне редко по причинам, указанным выше. Таким образом, у молодых американцев русского происхождения можно очень часто встретить такие сочетания, как *Андрей Дональд* (Andrew Donald), *Майкл Стивен* (Michael Steven), *Питер Джеймз* (Peter James), *Вася Роджер* (Vasia — Roger), *Николас Чарльз* (Nicolas Charles) и др. Среди женских особой любовью у русских пользуются имена *Наташа, Маша, Анна, Елена, Катя, Марина*, которые дают как в полной, так и в сокращенной форме. И часто среди молодых американок (после 30 лет и старше), родившихся в семьях с русскими корнями, имеются *Катя Мелисса* (Katya Melissa), *Марина Джессика* (Marina Jessica), *Елена Дженифер* (Elena Jennifer) и т. д. Интересно отметить, что именами *Таня, Тоня, Тамара, Нина, Лара* и др. сейчас американских девочек в русских семьях называют крайне редко.

У прибывших из России в Америку в 60-70-е годы наблюдается та же картина, которая характерна для эмигрантов всех национальностей в начале процесса их приспосабливания к жизни в чужой стране. Прежде всего они меняют свое русское имя на американское: *Саша* на *Алекс, Дмитрий* на *Дэвид, Катя* на *Кэйти* или *Кэтрин* и т. д. Дети же этих «третьих» эмигрантов, рожденные в Соединенных Штатах, начинают называться теми же «красивыми» иностранными именами, которые были в большом ходу в СССР в 30-е гг. Главным образом это женские имена, такие, как *Марионелла, Клементина, Далия, Аделина, Джорджиана, Генриэтта* и т. д. Родителям кажется, что приобщиться к новой жизни будет проще, если у человека не иноземное, а западное, такое же, как у всех коренных жителей США, имя. Родители эти, думается, впадают в глубокую ономастическую ошибку, не зная, что все вышеперечисленные женские имена сейчас у коренного американского населения относятся к категории давно забытых и старомодных, и женщинам с именами *Клементина* или *Джорджиана* теперь по крайней мере за 60 лет, в то время как в моду вошли короткие двух- и трехсложные имена. За последние несколько лет в США стали распространяться в качестве официальных паспортных — русские женские уменьшительные *Маня* (Manja) и *Люба* (Lubba или Ljuba). Первое, вероятно, заимствовано у женских представительниц потомков эмигрировавших из России евреев, употребляющих эту сокращенную форму в качестве полного имени. Имя *Люба* (Lubba) обязано своим появлением такому же факту. Кроме того, в США сейчас нередко можно встретить женщину с таким именем, являющуюся уроженкой Сирии и исповедующую православие.

Русские имена за последние десять лет стали пользоваться огромной популярностью в Швейцарии. Девочкам все чаще даются русские деминутивы: *Таня, Наташа, Соня, Саша* и полное имя *Лариса*. Мальчики зовутся русскими уменьшительными *Миша* и *Саша*. В Цюрихе на первом месте среди русских женских стоит *Таня*.

Русские имена в настоящее время даются и в странах Латинской Америки. Больше всего встречаются они на Кубе, и причина их широкого использования там понятна. Мода на русские имена проникла и в Венесуэлу, где особой любовью пользуются женские сокращенные: *Таня, Наташа, Саша* и *Лариса*. Есть в Венесуэле и интересное явление — употребление русского ласкательного *Ниночка* (в произношении, увы, *Нинóшка* — с ударением на «о») в качестве полного имени. Попало это имя в Венесуэлу вместе с американской кинолентой «Ниночка» 30-х гг., где героиней была русская женщина с таким именем.

В Бразилии русские деминутивы умеренно популярны. Самые употребительные из них на сегодняшний день — *Таня, Соня, Катя, Надя*. Однако самым женственным считается у бразильянок русское женское имя... *Ваня*. Вероятно «женское» имя *Ваня* попало в Бразилию через американский справочник-пособие для молодых родителей с указанием разнонациональных имен.[1]

Как в Венесуэле, так и в Бразилии, а возможно, и в других странах Латинской Америки, особенно часто встречаются мужские русские имена, из которых наиболее популярны *Борис* и *Саша*. Среди латиноамериканцев, носящих эти имена: *Борис де Грифф* (Boris de Griff) — уроженец Колумбии, участник Международного чемпионата по шахматам 1957 г., и *Борис Литс Кастильо* (Boris Leets Castillo) — политический деятель, уроженец Гондураса.

Говоря о мужских русских именах в различных странах мира, необходимо отметить, что им меньше повезло в смысле распространения, чем женским. За исключением деминутива *Саша* (Sasha, Sacha), который встречается довольно часто у молодых людей не только в США, но и во многих странах Европы, нередки случаи употребления в Америке имени *Дмитрий* (Dmitry). За последние годы нередко стало встречаться в США мужское имя *Андрей* (Andrei), звучащее почти по-русски. Вообще имя *Эндрью (Андрей)* приобрело за послевоенные годы (50-80-е годы) огромное распространение и, кроме англосаксонской формы, в США стали заимствоваться формы, принятые в других языках. Самые известные из них фр. *Андрэ* и греч. *Андреас*. Теперь к ним присоединилась и русская форма *Андрей*.

Имя *Борис*, кроме Латинской Америки, часто встречается в ФРГ, например, *Борис Беккер* (Boris Bekker), победивший в 1985 г. на соревнованиях по теннису в Уимблдоне, Великобритания.

Имя *Саша* (Sasha) заслуживает пристального внимания. Дело в том, что традиционный англоязычный деминутив для мужского полного имени *Александр* (Alehander) и женского имени *Александра* (Alexandra) всегда было *Алекс* (Alex). В Великобритании имена *Александр, Александра и их сокращенная форма Алекс* встречаются гораздо чаще, чем в США[1]. За последнее десятилетие с именем *Александр(а)* происходит удивительное ономастическое явление: мальчиков и девочек с этим именем начинают сокращенно называть не *Алекс*, а *Саша*. Этот удивительный феномен встречается не только в Англии, но и в Америке. В столице США Вашингтоне есть «*Дом Саши Брюс*» (Sasha Bruce House). Саша Брюс — основательница этого дома, прибежища для подростков из неблагополучных семей (недавно она умерла совсем молодой). Полное ее имя было *Александра*. Есть и другие примеры. Так, сына экс-премьера Канады Пьера Трюдо зовут *Саша*. Имя *Саша* известно в Европе уже давно. У популярного в начале XX века французского артиста Люсьена Гитри был сын Сашá, тоже артист.

Кроме сокращенного *Саша* от *Александр* и *Александра*, автору статьи встретилась 12-летняя американка по имени *Наташа*, полное имя которой *Наталья* (Nathalia), молодая женщина-негритянка, которую звали *Таша*, уменьшительным от того же Nathalia, и совсем недавно — немолодая уже англичанка — писательница и актриса *Виктория* Саквилл-Уэст (Uictoria Sakville-West), которую сокращенно зовут не обычным американским деминутивом *Викки* (Vicky), а по-русски — *Вита* (Vita). Возможно, мы стоим перед зарождением новой моды или интересного ономастического явления, когда к полному англосаксонскому имени уменьшительным выбирается русская форма. Можно предположить, например, что росту моды на имя *Таня* в Австралии после 60-х годов послужило то, что в те времена «Мисс Юниверс», т. е. «Королевой Вселенной», была избрана *Таня Верстак*, австралийка украинского происхождения. В той же Австралии количество девочек по имени *Тамара* в 80-е годы весьма высоко, вероятно, потому, что жену премьер-министра Австралии, у которой бабушка была русской, зовут *Тамара*. Моду на имя *Наташа* можно было бы объяснить огромным успехом американской экранизации рома-

[1] 3000 names for girls. N. Y., 1964.

[1] Начиная с 1987 г., женские *Александра* и *Александрия* стали входить в авангард модного именника в Америке.

на Толстого «Война и мир», но это будет выглядеть некоторой натяжкой, так как популярность имени Наташа стала расти в Европе задолго до появления кинофильма и почти в то же самое время, когда это имя начало выходить на одно из первых мест в СССР. Получающее распространение русское женское имя *Кира* вне всякого сомнения связано с любимой малышами детской телевизионной программой *Маппит Шоу* (Muppet Show) с участием марионеток-зверюшек, одну из которых зовут *Кира*.

В настоящее время одни из самых популярных иностранных имен в Америке — русские. Предполагаемую их частотность и рост за последние годы вычислить трудно из-за отсутствия точных официальных данных, но на первом месте, как и в предыдущие годы, стоит деминутив *Таня* (с двойным написанием Tania и Tanya), полное имя *Тамара* (Tamara), деминутивы *Наташа* (Natasha), *Таша* (Tasha), *Тоня* (с двойным написанием Tonia и Tonya) и *Катя* (с двойным написанием Katia и Katya). За ними следуют деминутивы и полные имена *Лара* (Lara), *Лариса* (Larissa), *Нина* (Nina), *Саша* (с двойным написанием Sasha и Sacha), *Соня* (с двойным написанием Sonia и Sonya), *Ольга* (Olga), *Ульяна* (Ulyana), *Кира* (Kyra), *Вера* (Vera), *Надя* (с двойным написанием Nadia и Nadya) и *Аня* (Ania, Anya, Annia).

Все приведенные имена встречаются как у белых, так и у черных жителей Соединенных Штатов, но их количественное распределение у разных групп населения постоянно меняется. Так, сейчас имена Таня и Тамара очень часто встречаются в южных штатах США в негритянских кругах, а имя Наташа пользуется особой любовью в северных штатах Америки у белого населения. Имя *Таня* присутствует на Юге и на Севере Соединенных Штатов приблизительно в равных количествах как у белого, так и у черного населения.

Итак, Таня — самое известное и популярное сейчас русское женское имя не только в Америке, но и во всех англоязычных странах. Оно равно любимо как в США, так и в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а также почти во всех европейских странах, особенно в ФРГ, Италии и во всей Скандинавии. Кроме того, как указывалось выше, русские имена вообще, а в частности имя Таня, очень часто употребляются в странах Латинской Америки, Бразилии и Венесуэле. Впервые имя *Таня* с вариантным написанием Tania и Tanya появилось в американском пособии по рекомендации выбора имени новорожденным девочкам в начале 60-х годов. Популярность имени Таня росла поразительными темпами. Так, до 1975 года имя это только набирало свою силу, но в 1975 году оно совершенно неожиданно вышло на тридцать шестое место в США, на двадцать второе в Австралии и на третье в Канаде. В английском языке имя *Таня* в обоих вариантах написания звучит одинаково и произносится как *Танья и Тэнья*. Из американок, носящих это имя, можно упомянуть известную исполнительницу песен в стиле «кантри» по имени *Таня Таккер* (Tanya Tucker).

Тамара — второе по распространенности русское женское имя, ставшее необычайно популярным во многих странах мира. Оно встречается очень часто на Юге США у черного населения. В 1978 году автору этой статьи довелось встретить в городе Лейк Чарльз, штат Луизиана, сразу четыре *Тамары* (три девочки черные и одна белая). Интересно, что еще в 1850 г. в Великобритании, в церковных книгах, регистрирующих рождения и смерти, были записаны две Тамары; но потом это имя исчезло, а теперь вновь появилось в Великобритании, хотя и встречается у дочерей Альбиона гораздо реже, чем у американок. «Вспышка» популярности имени Тамара стоит того, чтобы об этом рассказать подробнее.

Еще сравнительно недавно, в 1964 году, в американском пособии по рекомендации разных имен новорожденным авторы писали следующее: «Имя Тамара настолько необычно, что родители вряд ли захотят так назвать свою дочь». Однако прогнозисты ошиблись, а непонятно почему возникшая мода на это имя победила, ибо теперь имя Тамара ведет активное наступление на имя Таня и спешит, по всей вероятности, занять первое место в англосаксонском ономастиконе. Так, в Канаде, где оно особенно любимо, имя Тамара в 1957 году стояло на двадцать девятом месте в числе наиболее любимых из первых 50 имен. Американские ономасты часто высказывают мнение, что имя Тамара, так же как и Таня, становится необычно любимым во всем мире. В США примерно до 70-х годов были особенно популярны его формы *Тэмми* (Tammy), *Тара* (Tara), последняя созвучна ирландскому имени, и *Тэмра* (Tamra), пожалуй, самая распространенная и любимая. Произносятся имена *Тэмми, Тара и Тэмра* с ударением на первом слоге. Полное имя Тамара также иногда имеет ударение не на втором, как по-русски, а на первом слоге. Из известных американских Тамар назовем олимпийскую лыжницу *Тамару Маккинзи* (1983 г.).

Наташа (Natasha) — третье по распространенности русское женское имя, особенно полюбившееся иностранцам. Это имя произносится по-английски с мягким, как бы двойным «ш», но для человека русского происхождения не представляет никакой трудности его мгновенно

распознать. В 1975 году в Канаде и Великобритании деминутив Наташа был в числе первых пятидесяти любимых женских имен, занимая в Канаде тридцать второе и в Великобритании сороковое место. Наташей зовут дочь известной актрисы Ванессы Редгрейв. В Соединенных Штатах имя Наташа пока что не вошло в число первых пятидесяти.

Уменьшительное имя *Лара* вошло в моду в Америке в начале 60-х годов после появления романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и американского фильма того же названия. В английском произношении есть тенденция произносить первую гласную имени как э, по правилам чтения английского языка, и оно звучит как *Лэра*. Деминутив Лара в настоящее время никак не равен по популярности именам Таня, Тамара и Наташа, но мода на него растет, и есть тенденция произносить его Лара, а не Лэра. Соответствующее полное имя Лариса встретилось автору статьи только один раз, в Сан-Франциско. Так звали женщину средних лет, коренную американку китайского происхождения. О том, что она носит русское имя, женщина не имела никакого представления.

Русское сокращенное имя *Тоня* (пишется вариантное Tonia и Tonya), как и деминутив Таня, встречалось до середины 70-х годов относительно редко, но потом частотность его стала расти. Своим появлением на антропонимической сцене оно обязано второй героине «Доктора Живаго». А в английском произношении имя Тоня звучит как Тонья или Тониа. В Америке существуют две версии толкования происхождения этого деминутива. Одни считают, что Тоня — это сокращение от английского *Антония* (Antonia), другие утверждают, что Тоня — русское имя. В Австралии в 1960 г. имя Тоня занимало двадцать второе место среди первых любимых женских имен.

За последние десять-двенадцать лет в Соединенных Штатах у девочек стало попадаться имя *Улана* и в вариантном произношении *Улэна* (Ulana). Это не что иное, как русское имя Ульяна, которое тоже начало завоевывать свое место в Новом Свете. Используется имя Улана (Улэна) как у белого, так и у черного населения, но даже приблизительная статистика его еще не ясна.

Во время Второй мировой войны двум девочкам в Англии дали имя *Зоя* (Zoe) в честь *Зои Космодемьянской*. Редко, но можно найти у американок и просто экзотические имена. Так, в конце 60-х годов в г. Миннеаполис, штат Миннесота, по телевизионной программе выступала американка средних лет, имя которой ведущий произносил как *Грусинка*, с ударением на «и». В титрах, сопровождающих текст, имя это писалось как Groshenka. Оказалось, что это... *Грушенька*, имя, данное этой американской даме ее отцом по любимой им героине романа Достоевского «Братья Карамазовы». А сейчас все знают молодую голливудскую актрису *Настасью Кински* (Nastassia Kinski). Настасья Кински — немка, родившаяся в Польше. Возможно, и она названа так в честь героини Достоевского — Настасьи Филипповны, из романа «Идиот».

Говоря о широко употребляемых теперь за рубежом русских женских именах, таких, как *Катя, Соня, Вера, Нина* (последнее начало входить в моду в семьях черного населения за последние годы), необходимо отметить, что имя Катя, по всей вероятности, стало популярным у англоязычного населения потому, что многие принимают эту форму за модификацию своего национального имени *Кейти* (Kathy). Имя Вера считается зарубежными ономастами англосаксонским, образованным от нарицательного virtue — «добродетель». Оно было распространено в Великобритании в 20-е годы.

Если для русского человека в сочетании Иван Иванович Иванов совершенно ясно, где имя личное, где отчество и где фамилия, то для говорящего на английском то же сочетание (если иметь в виду только грамматическую форму) совершенно непонятно. Поэтому убедить американца или англичанина в том, что Иванов или Иванович — имя, а Иван — фамилия, не составляет труда. Известно, что и английской ономастике не чужды такие сочетания, как Джон Джон Джон, где первое Джон — первое имя личное, второе Джон — второе имя личное, а третье Джон — фамилия. В английском ономастиконе вообще уменьшительных гораздо меньше, чем в русском, и употребляются они реже. Так, трудно себе представить, чтобы русского младенца в возрасте от грудного до двух-пяти лет родители и окружающие звали полным именем Александр, Елизавета, Евгений, и т. д., но в среде англосаксов маленькие дети все еще традиционно нередко откликаются на свои полные имена. Новый Свет внес значительные коррективы в этот британский обычай, и американцы все чаще и чаще называют друг друга сокращенными именами.

Между тем наш век ускоренных темпов коснулся и ономастики, и если еще 50 лет назад дать ребенку в Соединенных Штатах деминутив в качестве официального полного имени было делом неслыханным, то за последнюю четверть века в Америке, так же как и в СССР, начала расти мода на уменьшительное имя в качестве полного, и родители все чаще записывают своих детей в метрике такими именами, как Боб или Бобби — сокращенные формы от Роберт, Джонни от полного Джон, Майк или Майки от по-

лной формы Майкл и т. д. Яркий тому пример — Джимми Картер — тридцать девятый президент Соединенных Штатов. Полное имя Картера — Джеймз Эрл, но, вероятно, под влиянием ширящейся моды, и, частично, как было уже сказано, по американскому (но не британскому) обычаю, он утвердил за собой не полное имя, а деминутив, что, в понимании американцев, в большой степени упрощает отношения с людьми и избавляет от сухой официальности.

Что касается русских уменьшительных и их восприятия англоязычным миром Америки, то тут дело обстоит сложнее. Известно, что при встрече с сокращенными именами в переводе художественных произведений с русского на английский переводчики сталкиваются с огромными трудностями. Так, если имя Владимир и его деминутив Володя еще как-то укладываются в сознание иностранного читателя и не отягощают его внимание трудностью запоминания нескольких форм одного и того же имени, поскольку в подстрочнике объясняется, что *Володя* — это уменьшительное от *Владимир*, то когда в тексте появляются квалитативы от уменьшительного типа Володька, Володенька, Володичка, переводчик обычно не вводит этот ряд имен в текст на английском языке, опасаясь излишней громоздкости и отвлечения внимания читателя непривычными для его ономастического «сознания» разнообразными деминутивами, и оставляет только одну сокращенную форму Володя от имени Владимир. В таких случаях, однако, специалист в области литературы, в совершенстве владеющий языками, замечает определенную утерю эмоциональной окраски имен.

У коренных американцев издавна существует обычай сохранения родового имени у потомков каждой отдельной семьи в той форме, в какой оно когда-то существовало у предков, но без учета ономастического значения в трехчленном сочетании, и такие имена и фамилии англосаксов, как *Кейсон Гринвел Смит*, где Кейсон — первое имя личное по фамилии одной бабушки, Гринвелл — второе имя личное по фамилии другой бабушки и Смит — своя фамилия, нередкое явление. Американские семьи отдаленного русского происхождения заимствовали сугубо формально, без учета особенностей морфологического строения антропонимической трехсоставной русской формы имени-отчества-фамилии. Поэтому с утерей знания русского языка становится невозможным понять отличие имени от фамилии или разницу между мужским и женским именем. Люди совершенно теряются при столкновении с отчеством. Вследствие этого происходят различные аномастические курьезы. Так, в Бонне, ФРГ, на Боннгассе, в доме, где родился Бетховен, висит портрет русского вельможи с надписью Кириллович Разумовский, где Кириллович, с точки зрения иностранца, вероятно, выступает как имя личное. Если портрет этот висит до сих пор с такой же надписью, то трудно полностью утверждать, что времена, когда во Франции в 20-е годы нашего столетия в каком-то театральном действии участвовали три персонажа с «типичными русскими мужскими именами» *Аннушка, Петрушка и Бабушка*, а основателями русской оперы, по мнению какого-то немца, были *Аскольд* и *Могильда* и *Руслан* и *Люджмильда*,— давно прошли.

У одного американца по имени Чарльз Хенри и по фамилии Мороз далекие предки — выходцы из России. В семье Мороз русская традиция на протяжении 85 лет свято сохраняется в именах членов семьи, хотя значение нарицательного имени «мороз» давно забыто. Внука старого Чарльза зовут *Мороз Дональд Мороз* (Moroz Donald Moroz), где первое Мороз — первое отфамильное имя личное, а третье — фамилия. В школе соученики называют мальчика *Мор* (Mor), дома называют его или Мор или Мороз, но учительница русского языка в школе называет его *Морик* (Morik), предварительно объяснив мальчику и его родителям существование многорядности русских деминутивов.

В горах Колорадо, вероятно, и по сей день живет лечивший автора статьи доктор *Заяц*. Полное имя и фамилия доктора *Джим Заяц Заяц* (Jim Zaiyats Zaiyats), бабушка и дед которого с Украины. У другого гражданина США, по предкам российского происхождения в четвертом поколении, имя и фамилия которого *Эдвард Джордж Фиалкин* (Edward George Fialkin), дочь зовут *Дебра Фиалкин Фиалкин* (Debra Fialkin Fialkin).

Маленькой девочке из семьи, где родители мужа были с российскими корнями, недавно дали имя *Айрин Кузьмич* (Irene Kuzmich). Второе, патронимное имя личное, дано в память отчества деда Айрин, Николая Кузьмича, жившего в России в конце прошлого века. Полное имя с фамилией у этой маленькой девочки звучит как *Айрин Кузьмич Томлинсон*.

Пи Джордж Теситор (P. George Tessitor) — так зовут одного из жителей штата Нью-Йорк. Инициал Пи, что часто практикуется американцами, заменяет полную форму его первого имени личного *Полено*, от русского нарицательного *полено* и дано ему по фамилии его украинского деда по матери. Знакомые называют его Пол или Полено (Poleno), часто принимая это имя за итальянское.

Ниже следуют другие забавные антропонимические сочетания русских имени, отчества, фамилии в американских семьях отдаленного русского происхождения:

Голубчик Эдвард Конь (Goloobchik Edward Kon) — мужчина.

Юзеф Лореле Рис (Yusef Lorelea Riss) — женщина.

Нюрка Содуп (Niurka Sodupe) — имя и фамилия молодой девушки.

Наташа Пенелопа Квас (Natasha Penelope Kvas) — молодая женщина.

Цецелия Маня Кошмар (Ceceilia Manya Koshmar) — очень пожилая женщина с прародителями из той части Польши, которая когда-то была русской территорией.

Доця Кимберли (следует фамилия) (Dotsya Kimberly) — здесь в качестве первого имени собственного выступает диалектная форма бывшего звательного падежа от нарицательного *дочь* (доча, доця). На данном примере можно проследить интересную параллель. В родословной книге одной семьи англосаксонского происхождения отмечается имя *Дочь* (Daughter) — XVIII век, штат Канзас. Внучку этой особы звали Америка. Женское имя *Америка* (America) и сейчас нередко встречается в районе Аппалачских гор.

Анюта Отелло Здуренсик (Aniuta Othello Zdurensic). Первое имя Анюта — по русской прабабке. Второе имя Отелло — очень понравилось матери по «романтическому» звучанию, но кого звали именем Отелло — она не знала. Здуренсик — девичья фамилия по отцу-поляку.

В числе имен-курьезов можно назвать женское имя *Одесса* (Odessa), вошедшее в моду после появления телефильма «Дело О.Д.Е.С.С.А» о событиях Второй мировой войны. Оно часто встречается среди негритянского населения Америки у девочек дошкольного возраста, родившихся в конце 70-х — начале 80-х годов.

Девушку 19 лет зовут *Танна Такер* (Tanna Tucker). Имя Танна, а не Таня, дано ей для того, чтобы окружающие не путали ее с известной певицей в стиле «кантри» Таней Такер (Tanya Tucker). Сокращенное имя Танна (произносится как Тэна) имеет форму *Тэн* (Tan) или *Тэни* (Tany), что полностью укладывается в фонетическую и грамматическую модель англосаксонских сокращенных имен, таких, как Билли, Пэти, Дэни и т. д.

Дочь известной актрисы Шерли Маклейн, тоже актрису, зовут *Саши Паркер* (Sashi Parker). Саши — модификация русского деминутива Саша.

В 20-х годах двум американским девочкам в США были даны имена *Телиа Тина* (Telia Tina) и *Телега* (Telega), то есть телятина и телега, после пребывания их родителей в России. Действительно, если Анюта Отелло Здуренсик — живой персонаж, то вполне можно поверить и в существование леди с именами Телятина и Телега.

Известно, что многие русские деятели искусства и литературы подолгу жили и творили в США и каждому культурному американцу знакомы такие имена, как Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Игорь Сикорский, Сергей Кусевицкий, Алла Назимова и др. Имена эти, однако, не вошли в моду, но вот любимый жителями Соединенных Штатов русский композитор Римский-Корсаков оставил заметный след в именослове Нового Света, поскольку от его фамилии образовалось отфамильное мужское имя *Римски* (Rimsky). Имя Римски можно встретить в обеих этнических группах США, белой и черной, но беда в том, что большинство американцев воспринимает сочетание Римский-Корсаков не как двойную фамилию, а как имя личное Римски и фамилию Корсаков. Один из носителей этого имени, белый, среднего возраста государственный служащий по имени *Римски Аткинсон* (Rimsky Atkinson).

Изложенные факты свидетельствуют о том, что в настоящее время во всем мире происходят интересные антропонимические перестройки, вызванные расширением культурных связей между народами. За последние десятилетия во многих странах все шире распространяется тенденция официального именования взрослых людей с помощью усеченных, издавна принятых в неофициальных ситуациях форм имен. На этом фоне легко осуществляется заимствование в западные языки сокращенных форм русских имен, особенно женских.

В традиционные «Четьи-Именеи» США вливаются не только русские, но и другие женские славянские имена, к которым, как к собственным, начинает привыкать слух американцев. Так, в городе Гэри, штат Индиана, расположенном в центральной части США, куда в конце прошлого и начале нынешнего века направляли свои стопы в поисках заработка эмигранты-славяне — поляки, чехи, сербы, хорваты и другие народы Восточной Европы,— задержались и используются американцами-аборигенами такие славянские антропонимы, как *Катринка* (Katrinka), *Аниска* (Aniska), *Хеленка* (Helenka) и *Марыська* (Maruska). Еще десять лет тому назад в центре Вашингтона, почти напротив Белого Дома был салон дамской одежды под названием *«Моды Марыськи»* (Maryska's fashions), который принадлежал дочери выходцев из Польши.

Кроме того, среди всех групп населения США, а также Латинской Америки давно получили права гражданства славянские женские имена *Роксана* (Roxana), *Русудана* (Russudana), *Роксалана* (Roksalana и Roxalana) и другие, и встретить в американских семьях девочек с межнациональными именами, такими, как *Аниска*

Джессика (Aniska Jessika), *Катринка Мейган* (Katrinka Magen), *Мелисса Хеленка* (Mellisa Helenka) и т. п.— в порядке вещей.

Выше упоминалось, что в 20-30-х годах в парижском театре шла пьеса «из русской жизни», в которой главных действующих лиц мужского пола звали *Аннýшка* (Annushka), *Петрушка* (Petrushka) и *Бабýшка* (Babushka) с ударением на втором слоге. В те времена для русских это было смешно и «клюквенно», но сегодня все эти три имени вошли как равноправные члены в ономастикон целого ряда стран.

В Соединенных Штатах ширится мода на имя *Аня* (Ania, Anya) и есть даже роман для юношества из американской жизни, который называется «Anya» по имени героини; встречается и имя *Аннушка* (Annushka), правда, пока только в названии салона красоты, а в странах Латинской Америки уже десять лет как девочкам дается личное двойное имя *Анна Каренина* (Anna Karenina). Девочка Анна Каренина Родригес Санчес учится недалеко от моего дома в штате Мэриленд, вблизи столицы Соединенных Штатов.

Жители Западной, а теперь уже, вероятно и Восточной Германии, после прочно вошедшего в репертуар всех стран Европы балета Игоря Стравинского «Петрушка» пленились этим именем и стали усиленно давать его девочкам, так что если вы встретите в Германии молодую немку по имени *Петрушка Шмидт* — не удивляйтесь.

Что же касается имени *Бабушка*, то несколько лет назад его дали мальчику в Индии, и с тех пор оно медленно, но верно начало пробираться в состав антропонимов страны. Есть сведения, что этим именем называют теперь в Индии девочек, но с уверенностью утверждать этого не берусь. Интересно, что апеллятив бабушка, русский термин родства, используется в США двояко: как имя нарицательное в значении головной платок и в семьях выходцев из России всех национальностей в своем прямом значении. Внуки и правнуки давно покинувших страну предков россиян, уже не знающие родного языка прародителей за исключением двух-трех слов, в основном эквивалентов своих американских имен по-русски (*Томочка* — Tammy, *Женька* — Gene, *Алёшка* — Alex, *Мила* — Mellissa) называют престарелую мать семейства на родном ее языке — «бабушка» или американским деминутивом *бабби* (Bubby). Так, в двухлетней давности американском кинофильме «На улице Диленси» некто миссис Кантор, старая еврейская женщина, называется *Бабби*.

Русские деминутивы с окончанием «ка», которые, по понятиям уроженцев России, все еще относятся к разряду уничижительных, хотя давно приобрели и некий ласкательный оттенок, воспринимаются американцами как современные, приятно звучащие, короткие, созвучные ономастическому увлечению нашей эпохи имена, которыми они с удовольствием называют своих девочек, и в одном только моем личном «биополе» я встретила в семьях аборигенов США девочек по именам *Мишка* (Mishka — от русского Михаил), *Тришка* (Trishka — по басне Крылова «Тришкин кафтан», где имя героя удачно совпало с деминутивом американского Триша (Tricia) от полного *Патриша* (Patricia), *Майка* (Maika) и *Нюрка*, указанном выше в тексте.

Полюбились американцам и русские женские ласкательные, и в добавление к имени Ниночка недавно прибавились Верочка и Сашéнка (Сашенька). Однако ни родители, ни имяносители не имеют никакого представления о происхождении этих имен и относят их к африканской модели очень нежных и женственных антропонимов типа *Миарка, Тиарка, Одика, Тамика* и тому подобных. Все они пишутся латинскими буквами в полном соответствии с произношением, русское «к» дублируется в английском как «к» и «с».

Что же касается имени *Верочка* (Verochka), то недавно мне пришлось столкнуться с совершенно новым толкованием американского имени Вера. Это имя известно в Англии давно (от лат. Verus в значении «правда»), а в 20-х годах нашего века оно было даже в списке наиболее часто встречающихся среди крестильных, но во время Второй мировой войны один из американских военнослужащих, дав дочери имя Вера, растолковал его по анаграмме:

В — Победа (Victory)
Е — Европа, Англия (Europe, England)
Р — Россия (Russia)
А — Америка (America)

Это толкование настолько привилось, что многие американские и британские Веры из тех, кому за сорок, негодуют, когда корни их имен объясняют иначе.

Из русских уменьшительных, широко бытующих во всем мире, остается назвать имя *Надя* (Nadia, Nadya). То, что это имя сокращение от русского Надежда, знает только очень узкий круг специалистов-ономастов. Популярно это имя не только в Европе, но и на Ближнем и Среднем Востоке, где у арабов есть свое национальное имя Надия́, с ударением на последнем «я». Теперь произносят там это имя как с арабским, так и с русским ударением. Самая красивая женщина в мире — *Надя Бахио* (Nadia Bahio), а прекрасную скрипачку, победительницу многих конкурсов и очень хорошенькую молодую женщину зовут *Надя Солерно* (Nadia Solerno). Не лишним будет добавить, что особую популярность имени Надя «разогрела» Надя Команечи, молодая румынская спортсменка, живущая с 1990 года в США. Две другие спортсменки 60-70-х годов, русские Наташа Кучинская и Ольга Корбут в свое время способствовали моде в Америке на имена Наташа и Ольга, хотя последнее было широко популярно и у американцев греческого происхождения, которые не забывают царицу Ольгу, пользовавшуюся огромной любовью своих подданных в 20-х годах нашего века. Имя Ольга одно из самых любимых славянских имен в Бразилии.

В результате тщательного анализа пришлось прийти к заключению, что антропонимы *Ольга, Нина, Вера* и *Соня* можно лишь относительно считать типично русскими, так как они давно вошли в ономастикон Германии, Швейцарии, Аастрии, а также некоторых стран Азии, не говоря о Скандинавии, где все эти имена не менее популярны, чем в России.

Для иллюстрации даю выборочно несколько примеров: *Ольга Пикабия* — жена известного художника Франсиса Пикабия (Швейцария), *Ольга Геринг* — родная сестра гитлеровского пособника Германа Геринга (Германия), *Нина Валленберг* — сестра Рауля Валленберга, спасшего во время Второй мировой войны от уничтожения нацистами в Венгрии девяносто процентов евреев страны, *Нина Штауфенберг* — жена одного из заговорщиков против Гитлера (Германия), *Соня* — жена Раджива Ганди (Индия).

Все вышеперечисленные имена начинают в настоящее время проникать в Японию и даже Китай, где еще тридцать лет назад именослов казался неприкосновенным для интеграции чужеродных антропонимов. Деминутив Наташа продолжает жить в именослове Соединенных Штатов, и недавно 11-летняя сирота, девочка-кореянка, удочеренная американской парой как амерэйжен (название национальности, или, скорее, расы детей от брака американцев и жителей стран Азии), едва освоившись в новой для нее стране, заявила, что отказывается от своего национального имени Ун Сук и выбирает себе новое, самое, по ее словам, типичное, самое красивое для девочки и самое популярное американское имя... *Наташа*.

Имя *Таня* прочно вошло в антропонимикон всех народов мира, приобретя массу производных: Tan, Tanna, Tany, Tawna, Tawnya, Tanhya и т. д., и частотность его употребления растет с каждым годом. Судьба этого имени интересна тем, что полная его форма *Татьяна* (Tatiana) вошла в именник США и Европы только за последние пять лет после своего уменьшительного, что, однако, не помешало тому, что иноземные *Татьяны* получают уменьшительное имя *Таня*. Феномен этот частично напоминает ономастическое явление, происшедшее с именем Саша, деминутивом от *Александр*.

Имя Tatiana быстро входит в моду среди всех слоев населения западных стран, это имя носит как дочь бельгийской красавицы Дианы и австрийского принца Von Fürstenberg'а, так и огромное число девочек среди всех национальных групп граждан США и Латинской Америки.

В мае 1990 года имя Tatiana дала своей второй дочери *Керолайн* (Carolyn), дочь убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди. А сокращенно, как было объявлено по радио, внучку покойного президента будут называть Таня.

Полюбились женские русские имена и в кругах наследственной аристократии Британия. Так, у Джеральда шестого герцога Вестминстерского, жена *Наталиа* (Natalia, ур. Natalia Phillips — имя в произношении и написании следует русской, а не французской или английской модели) и семилетняя дочь *Лэди Тамара* (Lady Tamara).

Среди девочек-близнецов встречались неоднократно имена Лара и Кира, но по отдельности рост частотности этих имен незаметен.

Есть ли новые женские русские имена, вошедшие за последние пять лет в моду в США и во всем мире? Есть, но их немного. Так, в Америке стали встречаться имена *Зина* и *Марина*, а в порядке частной информации услышала я и имя *Галина*, данное двум американским девочкам в честь любимой учительницы русского языка их родителей. Имя *Зина*, однако, только по созвучию русское, оно пришло из Африки: *Зина Гэриссон* (Zina Garrison) известная теннисистка из ЮАР и *Зина Лавей* (Zina Lavey), американка, дочь члена церкви Сатаны, очень часто показывались в телепрограммах, что, без сомнения, дало некий толчок ономастическому сознанию тех, кто почувствовал интерес к этому имени и начал давать его своим детям, включая и американо-русские семьи.

Личное имя *Марина* — новое в обиходе американцев. Ранее это слово употреблялось только как апеллятив в значении «морская пристань, причал». За последнее десятилетие антропоним *Марина* все чаще и чаще встречается в Западной Германии (*Марина Киль* — молодая горнолыжница из Мюнхена). Имя Марина, которое так же, как и Сергей среди мужских, задавило почти все женские в России, было привезено новыми советскими эмигрантами в разные страны мира и естественно влилось в их именослов, ибо воспринимается представителями не только христианской, но и иудейской религии как модификация библейского *Мириам* и начинает расти в употреблении,

немалая доля которого падает на семьи из России.

Попало в Соединенные Штаты и модное сейчас в России имя Анастасия, Настя. Некрасивое (объяснение опускаю) и занявшее первые ряды по праву модной сейчас в Союзе будто бы «простонародности», имя это стало в удесятеренной степени непривлекательным в Америке, где его сокращенное, *Настя*, совпало по случайному созвучию с английским nasty, что значит отвратительный, противный, вбирая в свое значение все другие негативные понятия подобного рода. Девочки-американки российского происхождения устроили полный бойкот этому имени и называются теперь *Стэйси*, *Стэйша* или *Стася* и *Ася*.

Два раза, после посещения США Раисы Максимовны Горбачевой, встретилось в негритянских кругах Нью-Йорка имя *Раиса*, в написании Raissha и Raysha.

Заканчивая свои дополнения о женских именах за рубежом, укажу, что хотя имя Таня прочнее всего укрепилось в интерантропонимиконе, но самое известное и популярное теперь в мире женское имя *Екатерина*, русская модификация которого, *Катюша* особенно любимо, благодаря славе довоенной советской песни «Катюша» и смертоносному оружию того же названия, изобретенному в СССР во время Второй мировой войны. Деминутив *Катя*, считающийся русским, давно известен в Европе (так звали дочь немецкого писателя Томаса Манна), издавна бытовал он в Швейцарии, Швеции и других странах. В самой России имя Екатерина стоит в 80-х годах в первой десятке наиболее модных, а многие родители настаивают на том, чтобы у новорожденной стояла официальная форма Катя или даже Катюша, что, особенно вторая форма, по-русски является нарушением нормы. Гражданок разных возрастов по имени Катя и его трансформаций в изобилии на всем земном шаре, и на московский фестиваль «Катюша», устроенный в Москве в 1983 году, прибыли, увековечивая ономастический памятник самим себе, Кати, Екатерины, Катюши, Катрин, Китти и прочие имяносительницы этого антропонима со всех концов нашей планеты, включая всю Европу, Австралию, Новую Зеландию, Африку и Японию.

В заключение, желая потешить своих читателей, скажу: зная, в какой восторг приходят граждане разных возрастов, профессий, интеллекта и коэффициентов умственного развития от курьезных антропонимических сочетаний (см. о них выше), доношу до сведения штудирующих эту статью, что за истекшее пятилетие среди американцев далекого русского и украинского происхождения я встретила «янки» с именами и фамилиями *Петя Боря Козлик* (Petia Boria Kozlic), *Сюзанна Акуля Палка* (Susanna Akulia Palka) и *Маланья Пердита Козёл* (Malanie Perdita Kozel).

Между Маланьей Козёл и Петей Борей Козликом никакого родства нет, а второму имени гражданки Козел прошу не удивляться. Имя Пердита считается изобретенным Шекспиром, так зовут героиню его пьесы «Зимняя сказка», есть оно и в одной из пьес Лопе де Вега, но в отечественных переводах его всегда заменяли другим, более благозвучным для добродетельного русского уха. Ономастическое наше мышление столь несовершенно, что без особой реакции на, мягко говоря, страннозвучащие имена мы обойтись не можем, забывая, что и у русских есть такие имясочетания, с которыми в США являться рискованно. И трудно, если вообще не невозможно убедить даже высшего класса интеллектуала в том, что «хер» превратилось в неприличное для русских слово благодаря экстралингвистическим факторам (истории, социологии и т. п.), а корень его и происхождение — библейское, высокодуховное слово *херувим*. Но это особый раздел ономастики, требующий специальной разработки.

А что же происходит в антропонимическом стане сильного пола, какова ситуация сегодня среди русских мужских имен в мире?

В послереволюционной России власти не жаловали мужские иностранные, «вычурные» имена. Никакого отношения к вычурности в своем родном языке эти антропонимы не имели, нормальным российским гражданам они были очень по вкусу, но поскольку Эдуарды, Рудольфы, Арнольды и т. д. это будущие отчества, напоминающие детям социализма об англичанах, немцах, французах и вообще о западном мире, вершителям идеологии они не нравились. Негативное отношение к иноземным антропонимам можно проследить и в литературе того времени, где отрицательные персонажи «все эти Эдики, Рудики, Арики и Фредики» всячески высмеивались, а родители поощрялись давать детям «свои, простые, хорошие русские» имена. Все эти перекосы прошлого, не изжитого, надо сказать, и сейчас, свидетельство того, что ономастически малограмотные управляющие чужой жизнью не знали, да и теперь не имеют никакого представления о том, что «хорошие... русские» имена вообще наперечет, а в православных канонических списках господствуют греко-византийско-иудейско-латинские антропонимы, заимствованные у народов стран, принесших в Россию христианство.

Зато так называемые «идеологические» имена, как бы иноязычно они ни звучали, поспешили войти в русский именослов, и *Вилены*, *Марлены*, *Марксэны*, *Озры*, *Мэлсоры*, *Индустрианы*, *Кооперации*, *Лентроцзины* (Ленин-Троцкий-Зиновьев) и другие того же типа прочно заняли там свое место. Ничего страшного в этом нет: новые имена необходимо поощрять, а некоторые, особенно приятно звучащие, такие, как Владилен, Арлен, Марлен (два последних — варианты старинных англо-кельтских имен, кроме значений «Армия Ленина», и «Маркс-Ленин»,— и это еще одно свидетельство невежественности «запретителей»), и другие горячо приветствовать. Такого рода новые, «революционные» имена, за редким, вероятно, исключением, ни Европой, ни США в 20-30-х годах не перенимались, но после Второй мировой войны экзотическая лексика многих стран мира стала, в общем порядке, модной в Латинской Америке, вобрав в себя, в свою очередь, многие имена, слова и названия, отражающие историю России.

В наше время (40-80-е годы) больше всего русских имен, так или иначе связанных с политикой и идеологией, можно найти в Латинской Америке. Сочетание *Владимир Ильич Ленин* (Vladimir Ilych Lenin) встречается как целиком, так и по частям почти во всех странах этого континента. То же, но гораздо реже, и с именем *Иосиф Сталин* (Iosif Stalin) (отчество не встречается). Однако часто при наречении ребенка именем «великого человека» возникают проблемы, которые и не снились родителям, и вместо прославления выдающейся личности наступает ее полная дискредитация.

Так, всему миру известны три брата семьи *Рамирес* (Ramires), сыновья адвоката, которых он назвал Владимир, Ильич (патроним в качестве личного имени, который по частотности употребления, возможно, стоит на первом месте в некоторых латиноамериканских странах) и Ленин (отфамильное имя собственное). Второй из них — *Ильич Рамирес* по кличке Шакал — самый страшный и жестокий террорист в мире, уже много лет разыскиваемый Интерполом с участием Советского Союза.

Главу секретной полиции сандинистской хунты зовут Ленин Серна (Lenin Serna), и по всей Латинской Америке ходят мужчины и мальчики по имени *Владимир Хуан Ильич Гонсалес* (Vladimir Juan Ilych Gonsalez), *Ильич Сталин Владимир Педро Гранде Эскобар* (Ilych Stalin Vladimir Pedro Grande Escobar), где *Педро Гранде — Петр Великий*; есть антропоним *Иван* (Ivan) по Ивану Грозному, несмотря на то, что в языке имеется национальное Хуан (Juan), Карл (Karl) по Карлу Марксу, который соседствует с исконно испанским Карлос (Carlos), а также масса других имен, отражающих русскую лексику разных сторон жизни современной России, типа *Кремль* (Kreml) — мужское, *Кремлина* (Kremlina) — женское, *Спутник* (Sputnik) — мужское, *Космос* (Cosmos) — мужское, *Товарищ* (Tovarich) — мужское и, наконец, после пребывания в мирах заоблачных русских собачек-космонавток, в странах латиноамериканского континента родились мужские отзоонимные (образованные от кличек животных) имена *Белка* (Belka) и *Стрелка* (Strelka). Латиноамериканцы средних лет, которые представляются вам как *Хуан Белка Эдуардо* (Juan Belka Eduardo) или *Стрелка Ильич Энзо* (Strelka Ilych Enzo), никого сейчас не удивят.

Поветрие на подобные наименования свидетельствуют не о сознательной любви к России, социализму или коммунизму, а об (разрешите употребить свой новый термин) ономастическом попугаизме, то есть бессознательном подражании моде по принципу «пусть моего ребенка зовут так, как сына или дочь соседа», и поэтому не только многие Владимиры Ильичи Ленины, но и более молодые Белки и Стрелки среди испаноговорящих жителей Латинской Америки забыли или вообще никогда не знали, почему они так названы, как не имел об этом представления до знакомства с русскоговорящими американцами некий служащий бензоколонки в районе города Ютика, США — американец с двойным личным именем *Николай Ленин* (Nicolai Lenin). Так его назвала мать. Почему? Он и сам не знает. А мать ему сказала, что ей просто понравилось как звучат «вместе» эти два слова. О том, что вершителя Октябрьской революции звали Владимиром Ульяновым, что Николай (имя) — один из его псевдонимов, а Ленин (фамилия) — тоже псевдоним, она не знала не ведала.

Среди наиболее употребительных мужских имен в иностранном мире ни одного русского антропонима. Задавшись целью прояснить причину этой неприязни, я решила провести свой собственный опрос лиц разного возраста, профессий, национальных корней и даже темперамента. Из тех антропонимов, которые, теоретически, могли бы занять свое место в именнике США, поскольку они хорошо известны жителям этой страны по миру музыки и литературы, я выбрала три: *Юрий*, *Борис* и *Игорь*.

Имя *Юрий* (Juri) начинает появляться в США вслед за полетом в космос Юрия Гагарина и, особенно, после появления романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» и кинофильма того же названия. Логически следовало бы ожидать крупной вспышки моды на антропоним Юрий, но этого не произошло. По утверждению моих анкетодержателей, имя это «не срабо-

тало», ибо оказалось неприятным на слух и, еще очень важно, в написании Jury может совпадать со словом jury, означающим «жюри» — группу судебных заседателей, и стать дразнильной кличкой.

Имя *Борис* (Boric) давно было известно в Соединенных Штатах по опере «Борис Годунов», но моды на него никогда не было, потому что царь Борис — личность, не заслуживающая прославления. Был, однако, на Западе артист *Борис Карлофф* (Boris Karloff — псевдоним Уильяма Пратта), но он пользовался особой популярностью не в США, а в Австралии, где это имя стало умеренно (10 на 25 000) даваться младенцам в 50-х годах. Имя *Бóрис* (ударение на «о») и его модификации встречаются иногда в англоязычных странах в качестве второго имени, и редактор одной из американских газет именуется *Кэтрин Борис Хэмилтон* (Katherine Boris Hamilton). Борис — имя ее деда-россиянина. К этой же категории экс-патронима (патроним — имя отца) относится и потешное сочетание *Петя Боря Козлик*, упомянутое выше. За последние годы имя Борис приобрело еще более негативную, чем в прошлые годы, окраску, чему способствовала популярная в 60-х годах песня «Boris the Spider» («Борис-паук»).

Так же отрицательно воспринимает англоязычная публика и имя *Игорь* (Igor). Нелюбовь к этому «застревающему в горле» имени (цитирую одного из опрошенных аборигенов Америки) выразилась в том, что Игорем зовут очень несимпатичного персонажа детских телевизионных передач, что заставило русских мальчиков, приехавших с этим именем в Новый Свет, отказаться от него и изменить *Игорь* на *Грег*. Любимые американцами мотивы из оперы Бородина «Князь Игорь» не способствовали возникновению положительных ассоциаций с этим антропонимом.

Поинтересовалась я и отношением к имени *Сергей* — самому популярному в России послевоенного периода. Антропоним этот, возможно, и вошел бы в обиход в Америке, но этому помешало то, что в английском произношении Sergei звучит как sir gay, то есть «господин гомосексуалист», и поэтому в русских семьях, не желая рисковать, называют своих Сергеев итальянской формой *Серджио* (Sergio).

Имя Никита не приобрело даже малой частотности, но встречается в среде англоязычной публики у девочек.

Мужские имена Саша, Миша и Гриша все чаще приобретают в конце слова окончание «и», характерное для английских деминутивов — Саши (Sashi), *Миши* (Mishi), *Гриши* (Grishi).

Так же, как когда-то в России иностранные имена Эдуард, Рудольф и проч. руссифицировались в форму Эдик, Рудик и т. д., так и теперь молодые люди из Советского Союза зовутся в США упрощенно по английской ономастической модели *Алеш* (Alesh) от Алеша, *Влэд* (Vlad) от Владимир, *Вэл* (Val) от Валерий и т. д. Случаи заимствования подобных имен коренными американцами пока неизвестны.

Удивительным кажется то, что аборигены США так редко используют самое простое для написания, интернациональное и очень часто встречающееся среди обиходных в России имен *Виктор* (Victor, Viktor) и не попробовали еще, хотя бы в порядке эксперимента, модификации Михаил Горбачев, хотя *Горби* (Gorby), сокращенное от фамилии, встречается в других разделах ономастики.

Недавно, побывав в Восточной Европе, я убедилась, что мужскими русскими именами переполнена Венгрия, и Саша, Миша, Сергей, Игорь, Олег и прочие вот-вот станут национальными именами.

И все-таки русские мужские имена, несмотря на малый процент их использования в качестве антропонимов, пользуются сейчас в США (да и во всем мире) огромным успехом.

Петербург. Петроград. Ленинград

Микалоюс-Константинас Чюрленис родился 22 сентября 1875 года в местечке Варена на юге Литвы. Через три года семья переехала в Друскининкай. Отец — органист местного костела — с раннего детства приобщает мальчика к музыке. В 1889 году Константинаса отправляют в Плунге в оркестровую школу князя Огинского. После окончания школы Чюрленис продолжает учебу в Варшавской, а затем в Лейпцигской консерваториях. Закончив в 1902 году музыкальное образование, он переезжает в Варшаву и, увлекшись живописью, начинает посещать рисовальные классы Каузика. В 1904 году поступает в Школу изящных искусств, его учителями становятся Стабровский и Рушиц, окончившие Петербургскую Академию художеств. С 1907 года Чюрленис живет в Вильнюсе и все силы отдает возрождению литовской культуры. Он был одним из организаторов Литовского художественного общества, организатором и руководителем литовского хора.

Но желание получить оценку своей работы, как музыкальной, так и живописной, среди авторитетных специалистов и подготовленной публика влекут Чюрлениса в столицу культурной жизни России — Петербург.

Юрий ШЕНЯВСКИЙ

ЧЮРЛЕНИС И ПЕТЕРБУРГ

Среди имен серебряного века нашего искусства одним из ярких, несомненно, является имя литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса. Огромную роль в признании его таланта сыграл Петербург.

Еще в 1902 году он пишет из Лейпцига своему другу: «...отсюда я поеду в Петербург. Там буду промышлять уроками и учиться инструментовке». Это желание сбылось только в 1908 году.

Но первое знакомство Петербурга с Чюрленисом-художником состоялось еще в 1906 году, когда весной этого года в залах Академии художеств проводилась выставка рисовальных школ. Всего на выставке было представлено около 5000 работ. Среди них работы Варшавской школы изящных искусств. В центре внимания зрителей и прессы оказались картины Чюрлениса. В петербургских газетах появились статьи об этой выставке. Более половины текста этих статей посвящались Чюрленису. Вот как писал в «Санкт-Петербургских ведомостях» 25 апреля 1906 года журналист Брешко-Брешковский: «О будущем гадать не берусь, но из этого Чюрлениса может выработаться крупный самобытный художник... он совершенно самобытен, никому не подражает, прокладывает собственную дорогу... вот это действительно искусство будущего». И это было написано в столичных газетах тогда, когда Чюрленис еще только начинал рисовать и никому не был известен. Конечно, эти отзывы произвели на начинающего художника большое впечатление и еще больше укрепили его желание приехать в Петербург. Приехать не только для того, чтобы показать свои работы и получить отзывы на них, но и для того, чтобы учиться. Учиться музыке, живописи, посещать концерты, музеи, общаться с людьми, которые могли подарить ему что-то новое.

И вот в октябре 1908 года, имея при себе рекомендательное письмо литовского художника Л. Антакольского к М. Добужинскому, Чюрленис едет в Петербург. Добужинский знал о Чюрленисе, знал о нем и круг бывших «мирискусников» и с нетерпением они ждали «удивительного художника, изображающего красками музыкальные темы». Ждали, чтобы познакомиться с человеком, стоящим у зарождения движения литовской интеллигенции, ждали, чтобы лучше узнать и понять это движение, Литву, ее культуру.

Чюрленис поселился в узкой и темной комнате бедной квартиры дома № 55 по Вознесенскому проспекту (пр. Майорова).

В некоторых изданиях упоминается адрес Вознесенский пр., 51, кв. 102 (в письме Чюрлениса — дом 55). Необходимо исключить подобные неточности, тем более, что в доме 51, сохранившемся до настоящего времени, всего 40 квартир. Здесь 17 октября художника посетил Добужинский, рассматривал и восторгался его работами: «Главное, что все оригинально, черт знает, все из себя». Это была известная «Соната моря». Добужинский настоял, чтобы свои работы Чюрленис показал петербургским художникам. По своей скромности автор даже не пришел на эту встречу. Картины показывал Добужинский. Оригинальность и необычность работ поразила зрителей, среди которых были Бенуа, Рерих, Сомов, Бакст, Лансере. С. Маковский в это время организовывал выставку, и единодушно было принято решение пригласить участвовать Чюрлениса.

Литовский поэт Юргис Балтрушайтис подчеркивал, что «Добужинский первый духовно и в мело-



Пр. Майорова (б. Вознесенский), 55

чах жизни поддержал в Петербурге нашего Чюрлениса и вместе с Бенуа раздувал огонь этого нашего великана».

Мы знаем, что в начале века в живописи появилось такое множество направлений, что казалось, нет художника, которого нельзя было бы отнести к тому или другому из них. Но творчество Чюрлёниса не вписывается ни в одно из этих направлений. Оригинальность и художественная индивидуальность присущи ему. Интересно, что Чюрлениса не волнуют работы символистов из «Голубой розы», он не высказывает своего отношения к новым течениям в живописи. Зато явные симпатии проявляет к художникам бывшего «Мира искусства». И в то же время далеко не всё из творчества этих художников принимает Чюрленис. В его письмах содержится критическое отношение к творчеству Сомова, Билибина.

Кружок Бенуа, куда на короткое время вошел Чюрленис, являлся школой, которая объединяла художников, школой, через которую в той или другой степени проходил каждый ищущий новые пути в живописи, впоследствии с благодарностью вспоминая ее. Здесь проходило становление многих молодых художников. Бенуа создавал вокруг себя атмосферу творческого горения, особого восприятия всего нового. Художники начала века искали «третий путь» в искусстве, который был бы не похож на пути академизма и передвижничества. Художники кружка Бенуа, разные по творческим индивидуальностям, были художниками новой формации — они готовы были принять совершенно новый путь в искусстве живописи — путь Чюрлениса.

Заслуга кружка Бенуа еще и в том, что он дал возможность молодым художникам показать свои работы, категорически не принимаемые на «академические» и «передвижные» выставки. То же было и с работами Чюрлениса. Отметим для себя, как органично он вписался своим творчеством в круг «Мира искусства». Как дополнили его своеобразные, неповторимые работы, его мир созвездие таких разных, таких неповторимых миров Врубеля, Рериха, Бенуа...



Пр. Римского-Корсакова, 65

Здесь, в Петербурге, Чюрленис задумывает создать национальную оперу «Юрате — королева Балтики» по мотивам литовского фольклора. Сценарий должна написать София Кимантайте — его невеста, он — музыку и эскизы декораций. Эта работа поглощает Чюрлениса, но нет инструмента, и он пользуется роялем у Добужинских, а чаще всего работает в «Литовском зале» на Серпуховской ул., 10. «Купил себе свечку (был отвратительный серый день) и, запершись в огромной комнате, один на один с Юрате, погрузился в морские пучины, и мы бродили там вокруг янтарного дворца и беседовали...» — пишет он невесте.

Его новые друзья с большим вниманием относятся к Николаю Константиновичу — так по-русски они его называют. «Обещают в свое время познакомить меня и втянуть в жизнь этой художественной аристократии».

В Петербурге Чюрленис посещает концерты в консерватории, он восхищен Эрмитажем, музеем Александра III (Русский музей), об этом он пишет родным в Литву — там осталась невеста, с которой он должен вот-вот обвенчаться, и в самом конце 1908 года Чюрленис уезжает на родину. Обвенчавшись в первый день 1909 года в жемайтийском местечке Шатейкяй, молодые приезжают в Петербург и поселяются на Малой Мастерской ул. (Мастерская). О том, что Чюрленис с женой жили на Малой Мастерской, вспоминает Добужинский. В письме Софии к брату мужа — Повиласу (с припиской самого Чюрлениса) указан адрес — Екатериновский (правильно Екатерингофский) пр., дом 65, кв. 33. Сопоставление этих адресов дает возможность установить, что Чюрленис с Софией по приезде в Петербург жили в доме (по современным наименованиям) угол пр. Римского-Корсакова, 65, и ул. Мастерской, 11, в квартире 33.

4 января 1909 года открылась выставка «Салон». И уже 7 января в газете «Речь» появляется статья А. Бенуа, где он огорчается, что «комиссия Третьяковской галереи пропустила наиболее характерные и красивые... среди которых находились работы Чюрлениса». 28 февраля открывается VI выставка «Союза русских художников», где среди других работ Чюрлениса демонстрируется известная картина «Rex». И вновь А. Бенуа откликается статьей, в которой уже более подробно разбирает творчество Чюрлениса. В конце статьи он пишет: «Я как-то сразу поверил ему, и если люди осторожные (а их только теперь и встретишь) мне скажут, что я „рискую“, то я отвечу им: меня вопрос о риске совсем не интересует, да он и по существу не интересен. Важно быть тронутым и быть благодарным тому, кто тронул. Весь смысл искусства в этом!»

В январе-феврале 1909 года петербуржцы услышали музыку Чюрлениса. Организаторы общества «Вечера современной музыки» В. Нувель и А. Нурок пригласили Чюрлениса принять участие в концертах, где исполнялись лучшие произведения современной русской и западной музыки. На этих концертах прозвучали фортепианные произведения Чюрлениса. Сохранилась программа вечера, состоявшегося 28 февраля 1909 года в Концертном зале при Реформатском училище на Мойке, 38, с пометками А. Н. Римского-Корсакова, где были исполнены два прелюда и цикл маленьких пейзажей «Море».

Имя Чюрлениса уже известно широкому кругу



Измайловский пр., 5

любителей музыки и живописи. Его картины участвуют в выставках, и сам факт этого участия вселяет в Чюрлениса большие надежды. Но наступает весна, и молодые спешат на родину, где проводят самое счастливое лето в Друскининкае и Плунге.

В сентябре 1909 года Чюрленис возвращается в Петербург с надеждой на то, что судьба, наконец, будет благосклонна к нему. Ведь начало положено — его признали в Петербурге. Живет он в это время на Измайловском проспекте в доме № 5. И вновь встречи с художниками, с людьми, так расположенными к нему. Из письма к жене: «Сегодня Добужинский смотрел мои картины, очень радовался, пять из них решил взять с собой на выставку в Москву». Появляется возможность заработка — Чюрленис дает частные уроки. И работа, работа... «Работаю по 25 часов в сутки», — пишет он домой.

Несколько раз Чюрленис бывал в доме Бенуа, где он еще ближе познакомился с широким кругом петербургских художников. Но особенно часто посещает он семью Добужинских, здесь он чувствует себя свободно, пропадают его стеснительность, много играет в четыре руки с женой Добужинского на фортепиано, рассматривает огромную коллекцию рисунков и гравюр, много читает, пользуясь прекрасной библиотекой хозяина квартиры. Вот как пишет в своих воспоминаниях Остроумова-Лебедева о встрече с Чюрленисом у Добужинских: «Он был чрезвычайно богато и своеобразно одаренный человек... Краски его были нежны и гармоничны и звучали, как прекрасная, тихая музыка... Его произведения меня глубоко трогали и покоряли».

Наряду с занятиями живописью Чюрленис не оставляет и музыку. В петербургский период им написаны около двадцати фортепианных прелюдий и фуг, пожалуй, лучших из созданных композитором. Чюрленис посещает костел св. Екатерины, где играет на органе.

Его работа во имя возрождения литовской культуры не прекращается и в эти дни, когда он живет в Петербурге. Отсюда в Литву идут предложения учредить национальную ассоциацию музыкантов, программа популяризации музыки среди народных масс, проекты литовского музыкального конкурса. Здесь он пишет рецензию на сборник песен Ч. Саснаускаса «Литовская музыка», посылает в Вильнюс другие свои статьи, посещает собрания литовских студентов.

Интересы Чюрлениса в художественном творче-

стве расширяются, он много работает в графике, в том числе и книжной. Создает эскизы декораций, эскизы росписи занавеса для Вильнюсского театра «Рута». Появляются планы сотрудничества с Московским художественным театром, которым не суждено было осуществиться. Безусловное влияние художников Петербурга, и, в первую очередь, «Кружка Бенуа», оказало на занятие Чюрленисом театральной живописью и книжной графикой. И очевидно — дальнейший путь в искусстве должен был принести его к монументальной живописи.

Несмотря на растущее признание, художник терпит нужду. Напряженная работа подрывает здоровье Чюрлениса. В его работах этого периода появляются мрачные мотивы — «Демон» — символ зла, трагическая «Баллада о черном солнце». «Чюрленис — художник вертикалей,— утверждает Валериан Чудовский.— Город, который грезился Чюрленису, который изобразил он много раз, почти сплошь состоит из башен. Такого города нет на земле и лишь обратный есть, противоположный, глубоко враждебный ему по смыслу своему — город торжествующей горизонтали, город власти и земных самодовольств, наш великолепный, трагедийный Петербург», Петербург, давящий, как в тисках, город-подстрекатель, город-палач. Душа Чюрлениса, сформированная литовской природой, была заключена в стены плотной, каменной доходной застройки, в стены, которые, по словам Достоевского, «душу и ум теснят». «Я здесь один и мне очень тоскливо»,— пишет художник из Петербурга. Очень хорошо понял его Вяч. Иванов, который писал: «Чюрленис, думается, прежде всего,— одинокий человек. Одинокий — не во внешнебиографическом смысле и даже не в психологическом только, но и в более глубоком и существенном: одинок он по своему положению в современной культуре, как, в частности, и по своему промежуточному и как бы нейтральному положению между областями отдельных искусств».

Вот как определил положение Чюрлениса в современном ему обществе В. Чудовский: «В толпе все понимают друг друга. И каждый говорит лишь то, чего хотят другие. Но время от времени раздается одинокий голос, говорящий слова необычные и странные. Его не понимают и не хотят понять. И о чем бы ни говорил он, хотя бы о Солнце, хотя бы о Боге; к чему бы ни звал он, хотя бы к свету, к счастью, к вере — судьба говорящего всегда трагедийна. Иногда называют его безумцем и тогда встречают его смехом, тем смехом толпы, в котором гибнет дух. Или называют его пророком и тогда побивают камнями».

Еще более резко высказывался об отношении к Чюрленису определенного круга Николай Константинович Рерих: «Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились? В их запыленный обиход пытается войти нечто новое — разве не нужно принять самые зверские меры к ограждению их условного благополучия?.. Такого самородка следовало поддержать всеми силами. А между тем происходило как раз обратное».

Да, не все понимали и принимали творчество Чюрлениса. В петербургских газетах появилось несколько статей, в которых было высказано недоумение по поводу работ, демонстрировавшихся на выставках за последние два года. Правда, необходимо отметить, что такое отношение к творчеству Чюрлениса в прессе Петербурга было единичным.

Приехавшая на Рождество, по вызову Добужинского, жена застает Чюрлёниса в состоянии крайнего нервного истощения. Они срочно покидают Петербург и уезжают в Друскининкай. Через несколько месяцев друзья устраивают Чюрлениса в Пустельникскую больницу под Варшавой. 5 ноября 1910 года он пишет последнее письмо жене — поздравляет с рождением дочери, надеется на скорую встречу.

Ранней весной, выйдя на прогулку в лес, навстречу просыпающейся природе, Чюрленис простудился, заболел воспалением легких и 10 апреля (28 марта) 1911 года скончался. Похоронен Микалоюс Константинас Чюрленис в Вильнюсе, на кладбище Расу.

Но нельзя закончить рассказ о связи литовского художника и композитора с Петербургом его смертью.

Еще в апреле 1910 года на VII выставке «Союза русских художников» в Петербурге демонстрируются работы Чюрлениса. А в декабре того же года на выставке возрожденного «Мира искусства» всего одна работа художника — «Всадник». А. Бенуа пишет по этому поводу: «Но я думаю, что из всех картин выставки это — самая одухотворенная, самая вдохновенная страница». Всадник — старинный герб Литвы. Это Литва, устремленная в Будущее. И в наше время, когда этот всадник стал официальным национальным символом Литвы, особенно чувствуется связь Чюрлениса с будущим своего народа.

Смерть Чюрлениса потрясла петербургских художников. От имени «Мира искусства» отец Добужинского возложил в Вильнюсе венок на его могилу. Вдове была направлена телеграмма соболезнования, которую подписали Добужинский, Бенуа, Рерих и другие художники «Мира искусства». Вот как писал Сергей Маковский в статье, посвященной памяти Чюрлениса: «Есть художники, судьба которых обрывается, как грустная, полувнятная песнь. Они приходят к нам одинокие, загадочные, с руками, полными сокровищ, желая рассказать много — о чудесах далеких, о странах мечты нездешней, но внезапно уходят, не открыв своей тайны... Недолгая жизнь Чюрлениса — тоже недопетая песнь. Смерть ревниво увела его от нас в ту минуту, когда казалось — вот-вот из рук его польются сокровища и осветятся сумерки его мечты...»

Не без помощи петербургских художников уже в апреле 1911 года была открыта посмертная выставка в Вильнюсе, затем в Каунасе, в Москве и в начале 1912 года — в Петербурге. На ней демонстрировалось 125 работ художника.

20 апреля 1911 года в костеле св. Екатерины (Невский пр., 32—34) была отслужена месса, на которой присутствовали Рерих, Добужинский и другие петербургские друзья Чюрлениса. За органом, на котором не раз играл здесь Чюрленис, был его друг Ч. Саснаускас.

15 апреля 1912 года в помещении малого зала Петербургской консерватории состоялось «Музыкально-художественное утро», посвященное годовщине смерти Чюрлениса. Программа включала выступления С. Маяковского, В. Чудовского, Вяч. Иванова, Ю. Зубржицкого, исполнение фортепианных и вокальных произведений композитора, исполнение кантаты «De Profundis» и первое исполнение симфонической поэмы «В лесу». Нужно заметить, что ленинградцы не забыли эту дату, и 12 апреля 1987 года, спустя 75 лет, в помещении музея Римского-Корсакова, был проведен литературно-музыкальный концерт, посвященный М. К. Чюрленису. В книге стихов петербургского поэта А. Скалдина, выпущенной издательством «Оры» в 1912 году, был опубликован цикл из двенадцати стихотворений, посвященный памяти Чюрлениса. Цикл имел название «Зодиак» и был написан под впечатлением известных картин художника.

В журнале «Аполлон» № 5 за 1911 год о художнике написал большую статью С. Маковский, а № 3 за 1914 год этого же журнала был полностью отдан работам Вяч. Иванова и В. Чудовского о Чюрленисе. В 1912 году в издательстве Бутковской была выпущена монография Б. А. Лемана о жизни и творчестве Чюрлениса (в 1916 году вышло второе издание). Нужно сказать, что в 1906—1916 гг. только в прессе Петербурга 64 публикации были посвящены Чюрленису.

И в наши дни Ленинград много раз обращался к творчеству литовского художника и композитора. В 1957 году ленинградским издательством впервые были изданы ноты симфонической поэмы «В лесу» и других музыкальных произведений. 7 декабря 1969 года в Большом зале Филармонии впервые в Ленинграде была исполнена симфоническая поэма «Море». Оркестром дирижировал Юозас Домаркас.

В 1968 году ленинградская лаборатория реставрации и консервации документов АН СССР производила реставрацию рукописей и карандашных эскизов Чюрлениса. Сестра художника Валерия Чюрлените-Каружене, принимая реставрированные работы, дала высокую оценку проделанному лабораторией.

В сентябре 1975 года к 100-летию Чюрлениса на Ленинградском заводе «Монументскульптура» была отлита в бронзе композиция литовского скульптора В. Владаса, которой сегодня мы любуемся в Друскининкае.

В Ленинграде находятся три работы Чюрлениса — две в Русском музее и одна в частном собрании.

Журнал «Искусство» в 1965 году сообщил, что к 90-летию со дня рождения Чюрлениса в Ленинграде будет установлена мемориальная доска на доме, где он жил. Прошло уже 25 лет, а память Чюрлениса в Ленинграде так и не увековечена.

Заканчивая рассказ о моментах жизни, творчества и памяти М. К. Чюрлениса, которые связаны с Петербургом, хочется привести слова Сергея Маковского.

«Искусство Чюрлениса без сомнения — национально, несмотря на субъективизм манеры и отвлеченность тем. Он не только — сын века, но и певец своего народа. И, может быть, потому так ощутима „легенда“ в его картинах, и лиризм уживается в них с каким-то оттенком эпичности. Выражая себя, свое иррациональное постижение мира, свою болезненно чуткую душу, Чюрлёнис говорит невольно и о своей родине, о поэзии литовского примитива. Он был одним из культурных зачинателей Молодой Литвы. И это особенно дорого нам: национальная почва всегда будет охраняющей силой искусства; художник, умеющий прислушиваться к векам народной жизни, как бы ни было лично его мироощущение и как бы плохо ни был понят он современниками, не уйдет бесследно. Пусть не допета песнь Чюрлениса: другие продолжат. Его безвременно угасшее творчество да откроет путь молодым, дерзающим и верующим в пробуждение родной культуры певцам Литвы!»

Сдано в набор 27.03.91. Подписано к печати 10.06.91. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,46 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 778.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15